90 коп. Индекс 70331

## В КОНЦЕ 1989 — в 1990 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Ф. ИСКАНДЕР. Ока. Повесть

А. ПРИСТАВКИН. Рязанка. Роман

В. КАРПОВ. Маршал Жуков

А. ТВАРДОВСКИЙ. Из рабочих тетрадей (1953—1960)

Н. С. ХРУЩЕВ. Мемуары

Д. ШЕПИЛОВ. На трудном пути. Воспоминания

Рой МЕДВЕДЕВ. Брежнев

Р. ГУЛЬ. Азеф. Роман

Г. БЕЛЛЬ. Из наследия

Подробнее об основных публикациях второго полугодия 1989 — в 1990 гг. см. стр. 239—240.

ISSN 0130-1616. Знамя. 1989. № 7. 1—240.

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

7

1989

Июль

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

**7**

**ИЮЛЬ**
**1989**

## Содержание



Москва
Издательство
«Правда»

© Издательство ЦК КПСС «Правда». «Знамя». 1989.

Геворг Эмин

# АНГЕЛ АРМЕНИИ

●

Быть может, я союзников найду,
А может быть, пущу слова на ветер...

Но в равной мере подлежат суду
Убийца и бесчувственный свидетель:
Гвоздика у гестаповской стены —
За то, что так бессовестно алела,
И синь адриатической волны
В пяти шагах от подлого расстрела,
И лунный серп, прильнувший к облакам,
Бесстыдно льющий свет из отдаленья
На грозный оттоманский ятаган
Над тишиной армянского селенья,
И соловей, поющий все звончей
Под боком у освенцимских печей,
И ветви, без малейшего разлада
Внимавшие заливистым руладам,
И лист бумаги, спящий мирным сном,
Хотя исписан катом и лгуном,
И небо — над руиной — голубое.
А может быть, и многое другое...

## *Ангел Армении*

*Памяти армянских детей, жертв*
*страшного землетрясения*
*7 декабря 1988 года.*

О Господи, какой-то дикий бред!
Вот девочка, вот дитятко двух лет.
Хоть минет год и хоть другой настанет,
А ей три года никогда не станет...
Не знаю кто — Ануш ли? Анаит?
Но знаю, что прошла сквозь Сумгаит
И сгинула, в провал зловещий канув,
В сиротском доме под Ленинаканом.
И все же — нет, не превратилась в прах,
Но ангелом на раненых крылах
Витает под родными небесами,
Глядит на нас печальными глазами.
За кругом круг, опять за кругом круг —
Бесплотный дух, чистейшая идея.

И падает оружие из рук
Вчерашнего подонка и злодея.
Армянский дух парит над головой,
Дух воскресенья, вековечный донор,
И отступает наш нелепый гонор
Пред немотой печали мировой.
За кругом круг, опять за кругом круг,
И снова круг по бесконечной сини,
Чтоб наш народ-страдалец понял вдруг,
Что он Творцом отмечен и доныне.
Стихают звуки суетной молвы.
Нет, не напрасны декабри-апрели.
И мы глядим, как некогда волхвы
На знак Святого Рождества смотрели.

1988

## Горестные дни

*«Горестные дни,*
*Словно зима, придут и уйдут».*
Дживани

О, сколько вас прошло, суровых бурь и зим!
А новый ваш приход, увы, неотразим...
Спокойствие и тишь конечны, быстротечны,
Но эти бури — лишь они и бесконечны.

И вот пришла моя последняя зима,
И снова надо мной сгустилась тьма,
И я в глухой провал шаги мои направил,
О Господи, почто ты нас в беде оставил!

## Странный армянин

О странный, странный армянин,
Изгой планиды!
Твой дед — турецкий армянин,
Отец — французский армянин.
Все апатриды.

О странный пасынок времен,
Судьбы-разини!
Хотя в Сасуне был рожден,
На жизнь в Бейруте осужден
И напоследок погребен
В Эчмиадзине.

Твоя звезда темным-темна,
Удел — стенанье.
Отчизна у тебя одна,
Зато гонителей — сполна.
Дорога дальная длинна,
И ты — в изгнанье.

О странный, странный армянин,
Твой сын — в Севане,
Давно осел в Милане внук,
А правнука снесло на юг —
Он в Тегеране.

Каких дверей ни отворял!
Язык наш вечный растерял
По заграницам.
Как странник входишь в отчий дом,
Очаг свой узнаешь с трудом
И возвращаешься потом
В Шанхай и Ниццу.

Ты знаешь, что кругла земля.
Дают ракеты кругаля,
Но, глядя в небо, журавля
Ты ждешь, как брата.
Но, как ни сладостны мечты,
Лишь пол-Аракса видишь ты,
Пол-Арарата.



Удел ты проклинаешь свой,
Извечный, тяжкий, горевой,
Облыжность хартий.
Ты знаешь угол свой
родной
По типографской, по цветной
Бездушной карте.

А мир к тому же говорит:
Беглец, ловкач и сибарит,
Хитрец загранный...
Дитя ущелий и стремнин,
О бесприютный армянин,
О странный, странный армянин,
О странный...

●

О бедный мой народ,
Тебя такая малость!
Столетья протекли —
Лишь горсточка осталась.

Но это — соли горсть,
Хотя щепотку эту
Жестокостью врагов
И разнесло по свету.

Но если род людской
Сойдется воедино —
Для трапезы его
Ты так необходима!

Что́ этот братский пир
Без твоего кристалла?!
Знать, потому тебя
По миру разметало...

## Мирное сосуществование

Вот старцы — как влюбленные — по паре
Сидят рядком на городском бульваре.
Все те же камни, те же тополя,
В дрожащих пальцах четки или кости,
Словами пустотелыми пыля,
Сидят весь день. Ни горечи, ни злости.

Сидят с утра до вечера они,
Как будто и война не лютовала,
И тьмы тридцать седьмого, и резни
Пятнадцатого года не бывало.

Сидят на длинных лавочках теперь,
Как будто не было иных отсидок —
Ни ужаса ночного стука в дверь,
Ни Колымы, ни Воркуты, ни пыток...

Убитые не восстают из мертвых.
А старцы и не помнят ни о чем.
Да надо ли о палачах и жертвах,
Когда они сидят себе рядком?

И нету в них ни горечи, ни злости,
В дрожащих пальцах четки или кости,
И те же речи мирные звучат —

О снохах, притесняющих внучат...
Они нелепы, суетны, болтливы,
Их рты беззубы, а глаза слезливы.

Твой враг служакой доблестным слывет,
И побратимы вы по всем приметам.
И он живет — пускай себе живет!
И ты живой — спасибо и на этом!
Так надо ли былое ворошить?
Вы оба живы — значит, нужно жить!

Все прожитое минуло давно
И кануло — какие тут резоны!
Сидят рядком. Им нынче все равно,
Кто зэк из них, а кто начальник зоны.
И каждый собеседнику двойник —
И жертва клеветы и клеветник.

А может, их и не было — лишь сон —
Ни голода, ни войн, ни революций,
Раз эти старцы хнычут в унисон
И в унисон над шутками смеются?
И это байки, выдумка и ложь,
И все уравнено размером пенсий,
Коль не имеют старцы ни на грош
Друг к другу ни обиды, ни претензий?
И надо ли о зле и о добре? —
Все примирились. Все в одной игре.

Всё миновало — горечь и вражда.
Что толку от мучительных историй,
Когда прошло полвека и когда
Дана тебе путевка в санаторий.
И не упомнить, кто и что сказал,
И кто кого в застенках истязал?
И никого ни в чем не убедишь —
Нет ни на ком ни бирки, ни кокарды.
И он сидит, а рядом ты сидишь
На лавочке, весь день играя в нарды?..

Ура! Все мохом поросло давно.
Конец пришел пустому гореванью.
Ты прав, премудрый Брежнев: вот оно —
Прекраснейшее сосуществованье...

1966

## *Монолог Фомы неверующего*

Ложь ваши словеса, блудливые пророки!
Ложь ваши изукрашенные строки!
Ложь ваши все дела — их видеть невтерпеж!
Ложь! Ложь!

Каким богам вы фимиам курили!
А мы молчали, онемев, увы.
Ложь всё, что делали, и всё, что говорили,
И всё, что скажете и сделаете вы!

Я вижу вас насквозь — повадка та же,
Хоть задушевны вы, а нет души.
Вы так изолгались, что ложно даже
Признанье ваше во вчерашней лжи!



## *К Арарату*

Ты рядом, Арарат, такой телесный, плотный,
Как памятник или как дом высотный...

А в летние расплавленные дни,
Мне кажется, лишь руку протяни —
И горстку снега зачерпнешь с вершины,
И будешь наслаждаться, как дитя,
Мороженым целительным, хотя
Твои снега, увы, недостижимы...

Я каждый божий день тобой дышу,
А ты, мой Арарат, все ближе, ближе.
Я неотрывно на тебя гляжу —
Всю жизнь гляжу. И все-таки не вижу...

Ты за окном моим, почти в окне...
Да, видно, слезы застят зренье мне.

●

Когда же ты сделаешь всё,
Что тебе суждено?
Когда же напишешь ты всё,
Что тебе суждено?
Ведь знаешь, что спросится,
Ежели было дано,
Пока ты еще на плаву
И покуда в седле.

И ты понимаешь,
Торопишься, комкаешь, но,
Видать, твое время
Уже миновало давно.
Что делать тебе,
Если милых знакомцев твоих
Уж больше в земле,
Чем осталось еще на земле?

●

Умершие, покинув отчий дом,
Ложатся в землю, да. А что потом? —

Художник превращается в цвета,
Строитель — в храм и в звуки — музыкант,
Поэт — в слова, поскольку неспроста
Дан каждому единственный талант.
И будет все возмещено сполна
Без суеты, без шума, без затей.
Мы ляжем в землю, словно семена,
Чтоб стал народный дух еще святей,
Чтоб из родимой горестной земли
Таланты внуков, как ростки, взошли.
И не напрасен будет новый труд,
Хотя потом и отпрыски умрут,
Затихнут и покинут отчий дом,
И лягут в землю, да. А что потом?

Я знаю, но об этом умолчу —
Я просто повторяться не хочу...

Перевел с армянского Леонид Григорьян

*Фазиль Искандер*

# СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

**ПОВЕСТЬ**

## Знакомство с героем

Здесь, в горах, на альпийских высотах в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота.

Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш и пошел по цветущему лугу к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых, рыжих, мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот — глаза вроде добрые, а душа поганая.

С одушевленной человеческой осторожностью Дунай заглянул в обрыв, мотнул головой, скорее всего в знак неодобрения увиденного, и, повернувшись к обрыву спиной, брякнулся у моих ног.

Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушились золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелел темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху на Рицу.

Меня ударило в грудь воспоминание о Викторе Максимовиче. Он тоже всю жизнь занимался летательным аппаратом, движущимся на мускульной силе пилота. Аппарат его назывался махолетом, то есть он после разбега набирал высоту взмахами крыльев. Виктор Максимович шесть раз ненадолго взлетал на своем махолете, четыре раза падал, но отделывался сравнительно легкими ранениями.

Сейчас, узнав об англичанине, перелетевшем Ла-Манш, мне стало горько за Виктора Максимовича и стыдно за себя. Англичанин, вероятно, получит премию в сто тысяч фунтов, назначенную за такой перелет неким любознательным богачом. Об этой премии Виктор Максимович неоднократно говорил, и он был так близок к последней, самой леткой конструкции махолета. Зная Виктора Максимовича, невозможно было усомниться, что эта премия его интересовала как мощная возможность окончательного усовершенствования своего любимого детища.

Мне стало стыдно за себя, потому что ни разу в жизни я не проявил настоящего интереса к тому, что он делал. Как и все мы, поглощенный своими заботами, я не придавал должного значения жизненной цели этого огненного мечтателя. Ну, получится, ну, полетит, думал я, что тут особенного в век космоса?

Но я любил этого человека за многое другое. Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом человеке



такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес некоторых местных интеллектуалов.

Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею насладиться.

— Культура,— говорил он,— это не количество прочитанных книг, а количество понятых.

Жил он за городом у моря. Изредка он появлялся в городе, одетый в штормовку защитного цвета и такого же цвета спортивные брюки. Он был чуть выше среднего роста, худ, загорел, крепкого сложения. На хорошо вылепленном лице кротко и неукротимо светились маленькие синие глаза. И иногда трудно было понять — то ли свет его глаз неукротим от уверенности во всепобеждающей силе кротости, то ли сама кротость в его глазах — следствие неукротимой внутренней силы, которая только и может позволить себе эту кротость.

На шее у него всегда был повязан платок, что придавало ему сходство с художником или артистом. Кстати, из-за этого шейного платка однажды тень разочарования омрачила мое отношение к нему. И раз я вспомнил об этом — договорю, чтобы больше к этому не возвращаться.

Так вот, обычно у него шея была повязана голубым платком. Но однажды он явился в кофейню с красным платком на шее. Я шутливо спросил у него, мол, не означает ли этот новый платок некие сдвиги в его мировоззрении.

— Нет,— сказал он без всякой улыбки, глядя на меня своим кротким и неукротимым взглядом,—неделю назад я услышал какие-то жалобные крики, доносящиеся с моря. Я подошел к берегу и увидел дельфина, кричащего и бьющегося у самой кромки прибоя. Я подошел к воде, наклонился и заметил на спине дельфина глубокую рану возле хвоста. Не знаю, то ли в драке с дельфинами он ее получил, то ли напоролся на сваю возле каких-то ставников.

Я стоял некоторое время над ним. Дельфин никуда не уплывал и продолжал издавать звуки, подобные стону. Я понял, что он ищет человеческой помощи. Я вернулся домой, взял в аптечке у себя несколько пачек пенициллинового порошка, подошел к берегу, разделся, вошел в воду и высыпал ему в рану весь пенициллин. После этого я перевязал ему спину своим платком. Дельфин продолжал биться мордой о берег и барахтаться в прибое. Тогда я приподнял его, отошел на несколько метров в глубь воды, повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл.

Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно ошарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал: он спятил! У него пропал шейный платок, а остальное — галлюцинация!

— Ну и как, дельфин этот больше не приплывал? — осторожно спросил я, делая вид, что поверил ему.

— Нет,— сказал он просто. Мне показалось, чересчур просто.

Я любил этого человека, и меня некоторое время мучил его рассказ. Он меня настолько мучил, что я придумал сказать ему: мол, местные рыбаки поймали в сети дельфина, обвязанного голубым

платком. Мне хотелось посмотреть, опустит он свои глаза или нет. Однако сказать не решился и никак не мог понять, был этот дельфин в конце концов или нет.

Все же через некоторое время я как-то успокоился на мысли, что в жизни всякое бывает. Тем более, об этих чертовых дельфинах чего только не рассказывают. Да и мало ли в жизни случается неправдоподобного. Я, например, однажды бросил окурок с балкона восьмого этажа и попал им в урну, стоявшую на тротуаре. Неправдоподобность этого случая усиливается тем, что я именно целился в эту урну и попал. Если б не целился, было бы более правдоподобно. Так и дельфин этот, если бы плавал в море не в этом голубом платке, а как-то поскромнее, скажем, обвязанный бинтом, было бы более похоже на правду. Во всяком случае, более терпимо.

Обычно, придя в город, Виктор Максимович останавливался возле одной из открытых кофеен и пил кофе. Я знал, что чашечка турецкого кофе — это единственное баловство, которое он может себе позволить на собственные деньги. Я знал, что последние десять по крайней мере лет он питается только кефиром и хлебом, не считая фруктов, которые растут на его прибрежном участке. Все, что он зарабатывал, уходило на сооружение очередного махолета.

Сам он об этом говорил просто, считая, что невольная диета помогает ему сохранить форму, ибо каждый лишний килограмм веса — это трагедия для свободного воздухоплавания. Впрочем, для полной точности должен сказать, что его охотно угощали и он с царственной непринужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц.

Обычно, приходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами, вороватыми рабочими, которые доставали необходимые ему краски, смолы, полиамидные пленки, пластмассу, одним словом, все, чего нельзя было купить ни в одном магазине.

Думаю, что пора рассказать все то, что я знаю о прошлом Виктора Максимовича Карташова. Отец его, дворянин по происхождению, приехал в Абхазию вместе с семьей в 1920 году.

В те времена довольно много представителей русского дворянства, я говорю, довольно много, учитывая масштабы маленькой Абхазии, бежало сюда. Это было своеобразной полуэмиграцией из России. По имеющимся у меня достаточно надежным сведениям, их здесь почти не преследовали, как почти не преследовали и местных представителей этого сословия. Я думаю, тут сказались и закон дальности от места взрыва и более патриархальная традиция близости всех сословий, которой невольно в силу всосанности этих традиций с молоком матери в достаточно большой мере подчинялась и новая власть.

Настоящее озверение пришло в 1937 году, но тогда оно коснулось всех одинаково.

Отец Виктора Максимовича, по образованию агроном, устроился работать в деревне недалеко от Мухуса. Мать маленького Виктора, когда он чуть подрос и его уже можно было оставлять на попечение бабушки, тоже пошла работать в районную больницу. В те годы отец Виктора чуть ли не первым построил дом на диком загородном берегу моря, впоследствии ставшем крупным курортным поселком.

Перед войной Виктор Максимович окончил летную школу и на фронт попал военным летчиком. Судя по всему, он хорошо воевал, был трижды ранен и однажды дотянул до аэродрома горящий самолет. После войны он демобилизовался, вернулся в Абхазию, устроился на местном аэродроме и стал летать на По-2 по маршруту Мухус— Псху.



Однажды из-за нелетной погоды самолет его на несколько суток застрял в горах на Псху. В это время на Псху жил немецкий коммунист. Они встретились на какой-то вечеринке, и Виктор Максимович, вероятно, находясь в состоянии легкого подпития, рассказал анекдот о Сталине.

Услужливый немец написал донос. Не исключено, что донос полетел вместе с почтой, загруженной в самолет Виктора Максимовича, потому что другого цивилизованного пути из Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на вьючной лошади.

Так или иначе Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший стенгазету, рассказывал, что комиссия подняла номера стенгазет за многие годы в поисках подрывных материалов.

После смерти Сталина постепенно стало ясно, что рассказанный анекдот потерял свою актуальность, и Виктора Максимовича отпустили домой. Он приехал в Абхазию, но дома его ждало печальное запустение: отец и мать умерли. Бабушка умерла еще раньше, перед самой войной.

Отец его, страстно любивший своего единственного сына, в сущности, умер от горя, и мать вскоре последовала за ним. В те времена политические заключенные, даже если отсиживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто обоготворял его, как бы слились в согласии, что он никогда не умрет.

Виктор Максимович вернулся домой, но к своей старой профессии не вернулся или, вернее сказать, теперь решил вернуться к ней более сложным путем. Он решил сам создать воздухоплавательный аппарат и сам полететь на нем.

На жизнь он зарабатывал, починяя окрестным жителям все, что можно было починить, от моторов автомашин до электроутюгов. Он хорошо зарабатывал, но приходилось на всем экономить, потому что только через спекулянтов удавалось доставать материалы, необходимые для его дела.

Виктор Максимович когда-то был женат и притом, говорят, на красавице, но я ее никогда не видел. Ко времени нашего знакомства он был один. Много лет назад они разъехались или разошлись, и она отправилась к себе в Москву.

Возможно, однажды, показав ему рукой на очередной махолет, она сказала: «Или он, или я»,— и, не дожидаясь ответа, потому что ответ и так был ясен, навсегда уехала в Москву.

Виктор Максимович и сам почти каждую зиму, разобрав и сложив свой летательный аппарат, на два-три месяца уезжал в Москву. Там у него были друзья, поклонники его дела, которые, кстати, присылали ему лучшие русские книги — почтой советские издания, с оказией — заграничные.

Встречался ли он там со своей бывшей женой, не знаю. Скорее всего нет. За все время нашего знакомства, которое длилось лет десять, он только однажды упомянул о ней во время застолья.

— А правда ли,— спросил один из застольцев у него,— что ваша жена была необыкновенной красавицей?

— Это была гремучая змея,— ответил Виктор Максимович и по-

сле небольшой паузы добавил: — но с глушителем, что делало ее особенно опасной.

Он об этом сказал совершенно спокойно, как о давно установленном зоологическом факте. Однако в этом спокойствии было нечто такое, что исключало, для меня, во всяком случае, задавать вопросы на эту тему.

В городе он всегда появлялся один или в редких случаях со своим махолетом. В таких случаях махолет был прицеплен к старенькому «Москвичу», принадлежащему одному из друзей Виктора Максимовича. Машина осторожно проезжала по центральной улице, и серо-голубой махолет покорно следовал за ней, покачивая дрябловатыми крыльями, кончавшимися разрезами наподобие крыльев парящего коршуна.

Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные люди давно к этому привыкли. Машина направлялась в сторону Гумисты. Там, в зеленой плоской пойме реки, Виктор Максимович испытывал свой аппарат. Обычно эту процессию сопровождал милицейский мотоцикл. Я сначала думал, что милиция в данном случае следит, чтобы махолет не нарушал правила уличного движения, и только позже узнал, что испытания его проходят под неизменным надзором милиции.

Мне кажется, что мечта о таком воздухоплавательном аппарате, который действовал бы за счет собственных сил летуна, у Виктора Максимовича впервые возникла в лагере. Так мне кажется, хотя сам он об этом никогда не рассказывал.

Как я уже говорил, мы с Виктором Максимовичем встречались в основном в кофейнях. Может создаться ложное впечатление, что он очень часто там бывал. Нет. Он вообще в город приезжал очень редко, но, приехав и посетив кофейню, никуда не спешил и призывал собеседника помедлить.

— Куда торопиться,— говорил он с некоторым наивным эгоизмом,— раз я в город приехал, все равно день потерян.

Я, слава богу, никогда его не торопил. В рассказах о жизни он любил вспоминать необычайные случаи, иногда взрывные выходы в новое сознание. Как я потом понял, эта его склонность была мистически связана с делом его жизни. Само собой разумеется, что я ни разу не усомнился в подлинности его воспоминаний.

Ничего похожего на дельфина с голубой повязкой никогда не повторялось. Да и дельфин этот в конце концов, если подумать, только моя придирка. Как будто Виктор Максимович, помогая дельфину, обязан был проявить хороший вкус к правдоподобию и не отпускать его в море таким уж нарядным.

Разумеется, с Виктором Максимовичем мы не раз выпивали. Он любил это дело, но должен сказать, что никогда в отличие от меня по-настоящему не хмелел. Казалось, никакое вино не может дохлестнуть до той высоты опьянения, до которой опьянила его пожизненная мечта о свободном парении.

Пожалуй, хмель сказывался только в том, что он начинал читать стихи. И всегда он читал одного и того же лагерного поэта, с кем свела его судьба, а потом наглухо раскидала по разным лагерям. Несмотря на косноязычие некоторых строк, стихи этого поэта казались мне удивительными. Несколько раз я пытался их записать, но он всегда отмахивался.

— Успеешь,— говорил он, да и кофейня не слишком располагала к переписыванию стихов. Только одна первая строфа из стихотворения, пронизанного свежей тоской по далекой усадебной жизни, и осталась в памяти.



Не выбегут борзые с первым снегом
Лизать наследнику и руки и лицо.
А отчим мой, поигрывая стеком,
С улыбкою не выйдет иа крыльцо...

# Зана

Когда мир залихорадило поисками снежного человека, Виктор Максимович нередко приходил в кофейню с журналами или газетными вырезками, в которых говорилось об этом. Он с явным волнением ждал, что снежного человека вот-вот поймают или в крайнем случае сфотографируют. Кстати, я тоже разделял его волнение и любопытство.

— Поиски снежного человека,— говорил он,— это, может быть, тоска человека по своему началу в предчувствии своего конца. Люди хотят увидеть своего далекого пращура, чтобы попытаться понять, когда и где именно они свихнулись.

И вдруг эти поиски обрушились на Абхазию. Оказывается, в абхазском селе Тхина в прошлом веке поймали дикую или лесную, как говорят абхазцы, женщину. Нарекли ее Заной.

Кстати, крестьянин, поймавший ее, сначала подарил Зану местному князю. Князь как будто принял подарок, и она некоторое время жила, привязанная на цепи к огромному грецкому ореху, росшему во дворе князя. И он охотно показывал ее своим высокородным гостям. Но потом князь по каким-то непонятным причинам вернул Зану поймавшему ее крестьянину. Не исключено, что в его решении отказаться от Заны сыграли роль соображения сословной гордости. Возможно, кто-нибудь из гостей ему на что-то намекнул или он сам испугался, как бы кто не подумал, что Зана спрыгнула с его личного генеалогического древа.

Привязанная на цепи, Зана жила под открытым навесом возле дома своего хозяина, время от времени неизвестно от кого рожая детей.

По рассказам очевидцев, рычанием и визгливыми выкриками она выражала злобу или неудовольствие. Иногда издавала каркающие звуки, которые надо было понимать как хохот. Очевидцы отмечают, что никто никогда не видел ее улыбки. И это очень интересно. Это лишний раз нам подтверждает, что улыбка — следствие более тонкого психического состояния, чем смех.

По прошествии нескольких лет она немного привыкла к людям, и ее больше не держали на цепи. Любимым ее развлечением было разбивать камни о камни. Не исключено, что Зана была на пороге открытия каменного топора.

Вскоре она научилась выполнять несложную хозяйственную работу: молотить колотушкой кукурузу, таскать на мельницу мешки, приносить из лесу дрова. Под открытым навесом, где она жила, Зана вырыла яму, обложила ее папоротником и таким образом устроила себе довольно уютную спальню, куда по ночам явно спрыгивали так и неопознанные любвеобильные тхинцы, потому что Зана беспрерывно продолжала рожать. Многие дети ее тут же погибали, скорее всего ввиду ее крайне неумелого обращения с ребенком, но некоторых тхинцы успевали у нее отобрать и воспитывали их у себя дома, как обычных детей.

Холод Зана переносила хорошо, а жару плохо. Стоило ее ввести в дом, как она начинала сильно потеть и выказывать признаки неудовольствия. Кстати, два-три раза под угрозой палки хозяину удавалось

ее приодеть, но как только угроза палки отдалялась, Зана с яростью разрывала на себе платье, топтала его и даже зарывала в землю. В конце концов хозяин махнул на нее рукой, видимо, решив, что на эти опыты не напасешься одежды. Слухи о набедренной повязке, которую в качестве компромисса Зана якобы в более зрелые годы приняла, мне кажутся выдумкой позднейших сельских моралистов.

В летнюю жару она вместе с местными буйволами погружалась в реку Мокву и подолгу наслаждалась прохладой. Так и вижу ее первобытную голову, вероятно, не лишенную с точки зрения некоторых тхинцев своеобразной привлекательности, торчащую из воды рядом с буйволиными головами, только разве что жвачку не жует. Впрочем, голову современной женщины, жующей жвачку даже в воде, гораздо легче представить.

Умерла Зана в восьмидесятых или девяностых годах прошлого века, так что долгожители села ее еще хорошо помнят.

Так вот, из Москвы в Тхину была снаряжена экспедиция с конкурирующими между собой учеными и журналистами. Ученые и журналисты просили старейшин села показать им место, где расположена могила Заны.

Но старейшины села заупрямились, потому что по абхазским понятиям, что отчасти совпадает с понятиями других народов, раскапывать могилу — святотатство. Однако старейшины села Тхина в этом вопросе пошли еще дальше, они решили, что раскапывать могилу дикой женщины, раз уж ее приручили, тоже святотатство.

Все же им не хотелось прямо отказывать почетным гостям, и они, как мне кажется, устроили небольшой спектакль, главным героем которого оказалось дерево карагач. Они признавали, что Зану похоронили под карагачем, но по вопросу, где именно рос этот карагач, высохший и порубленный на дрова еще в начале нашего века, у стариков возникли непримиримые разногласия.

Они называли самые разные места, достаточно далеко отстоящие друг от друга. При этом старики всеми силами пытались утешить журналистов и ученых тем неоспоримым фактом, что Зана была, без всякого сомнения, зарыта под карагачем, даже если так и не удастся вспомнить, где именно стоял этот карагач.

— Так и пишите и не ошибетесь,— говорили они,— мы ее, как настоящего человека, зарыли под карагачем.

Но журналистов и ученых никак не мог утешить сам факт погребения Заны под карагачем. Судя по всему, они этому карагачу вообще не придавали значения. Судя по всему, им было все равно, что возвышалось над могилой Заны — могучий карагач или куст бузины.

Они даже заподозрили стариков в проявлении патриархальной хитрости. И тогда конкурирующие журналисты и ученые объединились между собой и сами пошли на военную хитрость. Они сказали, что у них, в сущности, не научная экспедиция, а правительственное задание найти кости Заны и немедленно на самолете доставить их в Москву. Они сказали, что раз старики не могут вспомнить, где рос карагач, что само по себе выглядит странно, ибо обычно старики хорошо помнят, где, когда росло какое дерево, а уж где рос карагач, и подавно должен помнить любой старик,— но раз уж, сказали ученые и журналисты, в селе Тхина развелись такие слабопамятные старики, что они не помнят, где рос столь важный для науки карагач, придется завести в Тхину бульдозер, который в ходе выполнения правительственного задания вполне может коснуться и некоторых семейных кладбищ.



Тут память стариков вроде бы прояснилась, и они, вспомнив, где в начале века рос карагач, ткнули теперь своими согласными посохами в одно место и сказали: «Ройте! Если это надо правительству...»

Экспедиция раскопала могилу, вынула оттуда все кости и приехала в мухусскую гостиницу, чтобы на следующий день отбыть в Москву. Но тут временный союз журналистов и ученых распался. Журналисты, естественно, стремясь к мировой славе, собирались устроить большую пресс-конференцию, и кости Заны им нужны были позарез для наглядного доказательства своего открытия. Ученые же, стремившиеся к более кропотливой работе с костями, боялись, что журналисты, показывая кости Заны и давая их щупать всяким развязным иностранным коллегам, многое попортят.

Из-за этого непримиримого противоречия ночью в гостинице, говорят, произошло не вполне пристойное событие. Не то журналисты выкрали часть костей у ученых, не то ученые лишили журналистов причитающихся им костей. Одним словом, там произошла какая-то чушь, и я не знаю, чем это все кончилось. Вернее, не знаю, в чьих именно чемоданах кости Заны, если это вообще были кости Заны, отбыли в Москву.

Оказывается, битва вокруг костей Заны на этом не кончилась. Оказывается, часть ученых в Академии наук, которая не принимала участия в экспедиции, не признала кости Заны за кости первобытного человека. Они сказали, что исследования черепной коробки по методу профессора Герасимова доказывают негроидное происхождение скелета. При этом они почему-то сильно обиделись и даже жаловались начальству, что ученые, добывшие кости пресловутой Заны, пытаются при помощи этих костей сделать себе карьеру, что недопустимо. Они настаивали на праве женщины иметь очень крупный скелет, при этом обладать негроидным черепом и все-таки не быть неандерталкой.

Судя по всему, начальство на этот раз не реагировало на их вопли, боясь повторения ошибок времен Лысенко. Начальство предложило решить вопрос с костями Заны в дискуссионном порядке. Мне рассказывали об этой дискуссии, и там каждый говорил, что хотел. И это было удивительно. И было решительно непонятно, на чьей стороне правда.

Виктор Максимович сам съездил в село Тхина, и вот что он рассказал, приехав оттуда:

— Я говорил со стариками этого села. Видел снимки правнуков Заны. Они сейчас там не живут, разъехались по всему Кавказу. Между нами говоря, лица их отнюдь не отмечены печатью мудрости. У меня сложилась такая версия ее происхождения.

Видимо, Зана была необыкновенно рослой, здоровой и слабоумной от рождения деревенской девушкой. Настолько слабоумной, что не могла освоить человеческую речь.

Однажды она ушла или сбежала в лес и заблудилась в нем, что могло случиться и с нормальным человеком. В условиях абхазского леса она могла несколько лет жить там, питаясь ягодами, дикими фруктами, орехами, каштанами. Зима в Абхазии мягкая, и выжить можно было вполне. Живя в лесу, она все дальше и дальше забредала от своего села, одежда на ней, естественно, изорвалась, истлела, и она ходила голая.

В таком виде ее обнаружил и поймал житель села Тхина. Так как она за несколько лет пребывания в лесу окончательно одичала, от рождения не умела говорить, в окрестных селах никто о ней не слыхал, он ее и принял за лесную женщину. А то, что она рожала от смельчаков, которые овладевали ею, или от ротозеев, которыми овла-

девала она, когда они слишком близко к ней подходили, только и доказывает, что она биологически была вполне нормальной бабой.

По-моему, Виктор Максимович, несмотря на веру в существование снежного человека, дал довольно трезвое объяснение истории Заны. Правда, в его толковании происхождения Заны остается неясным вопрос о ее шерстистости.

По уверению ученых, Зана была покрыта шерстью, как и все описанные в мировой литературе снежные люди. Но и тут не исключено, что старики, рассказывавшие ученым о Зане, могли пойти на хитрость. Заметив страстное желание ученых, чтобы Зана оказалась покрытой шерстью, как и положено снежному человеку, и опасаясь, что в противном случае они переворотят обещанным бульдозером все семейные кладбища, они могли заверить ученых, что Зана была покрыта отличной шерстью, не хуже хорошей овцы.

Одним словом, вопрос о происхождении Заны остается не до конца ясным, и мы надеемся, что пытливый ум ученых в конце концов разрешит эту проблему в чисто теоретическом плане.

При этом я хочу предупредить, что было бы крайне неэтично привлекать к исследованию этой темы живых правнуков Заны, все еще сохранивших ниточку связи с родным селом и даже имевших трогательную неосторожность присылать туда свои фотокарточки.

Я уже не говорю об объявлении всесоюзного розыска тех правнуков Заны, которые решили добровольно затеряться на необъятных просторах нашей родины. Я уверен, что среди них немало честных тружеников и даже хороших административных работников. Конечно, психологически они вполне наши люди, в этом нет никакого сомнения, но, возможно, некоторое, даже малозаметное своеобразие их физиологической организации могло бы оказать помощь науке. Соблазн, конечно, велик, но мы всегда твердо стояли и стоим на том, что наука у нас должна быть нравственной. И мы не можем травмировать человека назойливыми поисками гоминидного сходства со своей прабабкой, если сам он по каким-либо причинам не желает признаваться в своих родственных связях. У нас человек имеет полное право скрывать от окружающих свое происхождение, если это его происхождение в классовом смысле не представляет для общества ни малейшего интереса.

## Две женщины

**(Рассказ Виктора Максимовича)**

— Удивительные встречи бывают в жизни,— как-то начал он и на минуту замолк, глядя через дугу залива туда, где сквозь легкий туманец виднелся его поселок. Мы сидели за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра», слегка закусывая и выпивая.

— Когда в разгар коллективизации начался страшный голод на Украине, в Абхазию повалили люди, которым удалось выбраться из родных мест. К нам в поселок попала девушка по имени Клава. Мама накормила ее, дала кое-что из одежды, и Клавушка стала приходить к нам почти каждый день. Она возилась у нас в саду, стирала, ходила на базар, готовила обед. Отец, работавший агрономом, на целый день уходил в деревню, мать — в районную больницу, где работала медсестрой, и помощь Клавушки по дому была как нельзя кстати.

Клавушка с каждым днем расцветала, веселела, и я помню это детское ощущение бесконечного счастья оттого, что мы, наша семья, вернули девушку к жизни. Конечно, тут она и без нас не пропала бы. Но у меня было это счастливое чувство, которым я и сейчас дорожу. Я ведь помнил страшный в своей простоте ее рассказ о том, как вся их деревня вымерла от голода и только двум девушкам удалось чудом добраться, доползти до поезда, который увез их в Новороссийск.

Я уже знал, что и наша семья во время революции перенесла много горя, и мне казалось, что это роднит нас и связывает чуть ли не навеки. Одним словом, вся наша семья, кроме бабки, полюбила Клавушку.

Бабка моя, казавшаяся мне тогда очень старой, хотя она была не такой уж старой, недолюбливала Клаву, считала ее неисправимой неряхой. Впрочем, она не жаловала и весь победивший пролетариат и почти не скрывала этого.

Нелюдимая, суровая бабушка моя, вероятно, на соседей производила впечатление какой-то дикой барыни. Обычно она почти целыми днями сидела на кухне, повесив на спинку стула палку с загнутой ручкой, раскладывала пасьянс или читала книгу, разглядывая строчки через лупу.

Иногда в хорошую погоду она, опираясь на свою палку, гуляла по нашему участку. Рядом с нами тогда строил дом один человек. Однажды он в еще не застекленное окно своего дома, обращенное на наш участок, приклеил газету, на которой была напечатана большая фотография Ленина. Разумеется, сделал он это совершенно случайно.

Оказывается, бабку это вывело из себя, но нам она ничего не говорила. Я заметил какую-то странность в ее поведении, но причины не мог понять. Обычно, гуляя, она обходила весь наш участок по кругу. Теперь она гуляла только с одной стороны, откуда не было видно окна с газетой.

Иногда она, правда, ходила и на ту сторону, но не как обычно — по кругу, а прямо, то есть ходила посмотреть, висит там все еще газета или нет. Но нам она ничего не говорила, и я это все только позже осознал.

Потом она совсем перестала выходить во двор, но я все еще ничего не понимал. И вдруг, сидя на кухне, она послала меня в сад, чтобы я посмотрел, висит на окне соседа газетный лист или его уже застеклили. Про фотографию она мне ничего не сказала, и просьба ее показалась мне странной. Но когда я подошел к дому соседа и увидел фотографию Ленина, я понял, что она имела в виду. Я вошел на кухню и сказал бабушке, что газета по-прежнему висит на окне. Она, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс и ничего мне не ответила.

Вскоре я об этом забыл, но дня через два бабушка опять послала меня посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Я посмотрел и сказал, что газета по-прежнему висит. Она опять ничего мне не ответила. На этот раз она читала книгу, и я теперь повнимательней присмотрелся к ней и заметил, что лупа, которую она держала над книгой, так и ходит ходуном. Обычно рука ее, сжимавшая лупу, никогда не дрожала.

На следующий день она меня опять попросила посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Про фотографию она мне и теперь ничего не говорила, хотя я, конечно, знал, что она имела в виду, и она, конечно, знала, что я это знаю. Безусловно, у родителей был с ней тайный уговор ни о чем подобном со мной не говорить, и она придерживалась его. Но когда я и на этот раз ей сказал, что окно не застеклили, она не выдержала.

— Господи!— воскликнула она, с размаху захлопнув книгу, ле-

жавшую перед ней,— за что такое наказание?! Ни молиться, ни читать не могу!

В тот же вечер сосед наш подозвал отца к забору между нашими участками и, смеясь, рассказал, что наша бабка попросила его сменить газету на окне, что он и сделал. Мама была в ужасе, но сосед оказался порядочным человеком, и просьба бабушки никаких последствий не имела.

К бабушке у нас в семье было особое отношение. Хотя от меня многое скрывали, но я знал, что двое сыновей бабушки, братья отца, погибли в гражданскую войну. Бабушка не то чтобы тяжело пережила гибель своих сыновей, она, надев вечный траур, добровольно превратила себя в живую могилу своих детей. Мама не смела ей ни в чем возразить, а отец всегда относился к ней с подчеркнутым вниманием.

Меня всегда забавляло, что Клавушка ничего этого не замечала, и, хотя бабка часто поварчивала на нее, она к ней относилась точно так же, как и к моим родителям. Никакой повышенной почтительности. И мне это нравилось. Я это интуитивно воспринимал, как здоровый народный демократизм, хотя, разумеется, думал не этими словами.

Мне тогда было лет двенадцать, я бегал у моря, купался, ловил крабов и рыб, запускал змея, но вместе с тем временами очень болезненно задумывался над какой-то особостью нашей судьбы.

Я верил, что власть теперь у народа, и считал это вполне справедливым. И в то же время меня коробила грубость, с которой учителя всех бывших помещиков (с капиталистами я легко смирялся) называли трусами, негодяями, паразитами. Я твердо знал, что мои родители не такие и многие приятели моих родителей не такие, и мне обидно было за них. С другой стороны, в школе меня никто не угнетал, не интересовался моим происхождением, ко мне относились, как ко всем остальным детям, и я это ценил. Хотя рана уже была в том, что я это ценил.

Разумеется, родители от меня старались скрыть все, что можно было скрыть, но сам страх перед властью они, конечно, скрыть не могли. И этот страх мне всегда казался комически преувеличенным, и в то же время сам я, с детства склонный к беспредельной искренности, все-таки твердо знал, что никому нельзя говорить о том, на чьей стороне погибли братья отца. И вопреки тому, что мне говорили в школе, и вопреки грустным воспоминаниям родителей о старой жизни я носил в душе тайную мечту, что две эти жизни можно склеить, старую и новую, что родители мои будут счастливы в этой жизни и сами по себе. Было тоскливо думать, что они живут для меня. Мне все казалось, что обе стороны чего-то недопонимают, но пройдет немного времени, и все будет хорошо.

И вот появилась у нас в доме Клавушка, девушка из народа, и оттого, что она говорила полуукраинским языком, она казалась мне особенно подлинной в своей народности.

Конечно, я привязался к веселой, ребячливой Клавушке и сам по себе. Этому, наверное, способствовало и то, что у меня не было ни братьев, ни сестер. Но и та заветная мысль была, что все склеится и вот уже все склеивается через Клавушку, девушку из народа, которому принадлежит власть. Почему девушка из народа, которому принадлежит власть, чуть не умерла с голоду при своей власти и почему здесь не мы кормимся при ней, а она кормится при нас, мне както не приходило в голову. Вернее, мне это казалось случайными частностями.

Как ребенок, никогда не знавший родного отца, привязывается к новому мужу матери, разумеется, если он не изверг, так и я, сиротски лишенный своего народа, и, видимо, неосознанно тосковавший по нему, вдруг приобрел его в Клавушке.



Я как бы весь народ получил в свое личное пользование, и мне с ним было хорошо, и народу — Клавушке — было с нами весело. А говорили — они нас ненавидят. Вот уж глупость!

Конечно, Клавушка была старательной, но довольно бестолковой хозяйкой. Так, однажды она полдня мыла котел для варки мамалыги, пытаясь соскрести с его наружной стороны толстый слой нагара, который никто не соскребает. Соседи, узнав об этом, долго смеялись ее наивности.

Первый раз услышав рожок керосинщика и заметив, что соседи с бидонами побежали за керосином, Клавушка схватила ведро для питьевой воды и побежала в очередь. К счастью, соседка, узнав ведро, отослала ее домой за надлежащей посудой. В другой раз она забыла, где расположена сапожная мастерская, куда она сдала всю нашу обувь, и мы с ней полдня прорыскали по городу, пока ее не нашли. Впрочем, в те годы было столько сапожных мастерских, что запутаться было нетрудно. В те годы люди в основном не покупали обувь, а чинили ее, потому что покупать было негде.

Одним словом, несмотря на эти неловкости, мы все любили Клавушку за простодушие, преданность и веселый нрав. А я даже и за все эти ее неловкости любил. Вскоре она устроилась работать уборщицей в нашей школе, но и теперь после работы она частенько забегала к нам помочь по хозяйству, сходить на базар, сготовить обед.

К этому времени на нашем участке уже плодоносили фрукты. Отец держал пчел, так что у нас всегда был свой мед. И хотя с хлебом тогда и в Абхазии было трудновато, отец получал в деревне, где он работал, кукурузу. Мы научились готовить мамалыгу и даже полюбили ее. Одним словом, жили по тем временам вполне прилично.

Милая Клава считала нас богачами и не могла нарадоваться на наше богатство. Однажды она привела к нам какую-то землячку, видно, только приехавшую с Украины. Бабушка и я в это время были на кухне. Я читал книгу, а бабушка, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс.

Желая похвастаться нашим богатством, Клавушка влетела на кухню, таща за руку робеющую землячку, одетую, как побирушка.

Клавушка отмахнула крышку ларя, где у нас была насыпана кукуруза, вынула пригоршню и, ссыпая ее назад, воскликнула:

— Подывись, Любо, це кукуруза!

Бабка, искоса следившая за ней, буркнула Клаве: «Прочь!»

Но бедная Клавушка, восторгаясь нашим богатством, не обратила на это внимания. Теперь она распахнула ящик поменьше, где у нас хранилась фасоль, и опять, набрав пригоршню зерен, стала ссыпать ее назад, приговаривая:

— А це фасоль. Абхазы дуже люблять.

— Прочь, говорю! — повторила бабка.

Но Клавушка, все еще переливаясь восторгом, подошла к кувшину с медом, открыла крышку и сказала:

— А це мэд!

Не останавливаясь на этом, она сунула руку в кувшин, мазнула палец медом и протянула его своей землячке. Не успела та дотянуться бледными губами до меда, как в воздухе мелькнула бабкина палка и ударила Клаву по кисти руки. Мне кажется, нет, я услышал, как хрустнула кость!

Клавушка вскрикнула и побежала из кухни, завывая и тряся ру-

кой, как собака перебитой лапой. Землячка ее затрусила вслед. На крики из комнаты выскочила мама и, поняв, что произошло что-то страшное, побежала за Клавой, догнала ее у калитки и с трудом вернула домой.

Я оцепенел от возмущения, душившего мое детское горло. Возмущение это было особенно мучительно, потому что я не мог его выплеснуть, не мог ничего сказать бабке. Смутно вспоминая все, что писалось в школьных учебниках о дореволюционном отношении помещиков к простым людям, чему я раньше не очень верил, я сейчас отчаянно повторял про себя: «Правильно! Правильно! Все правильно с вами сделали!»

Мама перевязала Клаве руку. Постепенно она кое-как успокоила ее, и потом, когда она уходила вместе со своей землячкой, мать дала им литровую банку меда и мешочек кукурузной муки килограммов на пять.

Мама всегда была милосердной женщиной да и Клавушку любила, но на этот раз она еще испугалась, что Клавушка пожалуется на нас. Страх за наше происхождение всегда незримо витал над родителями. Именно по этой причине меня не обучили ни одному языку, хотя отец в совершенстве знал французский и немецкий, а мать говорила по-французски. Они не хотели, чтобы я в этом отношении отличался от остальных школьников, хотя отец придирчиво следил за моими остальными занятиями. Так, он замучил меня, заставляя делать бесконечные гербарии флоры Кавказа.

То, что я тогда увидел на кухне, навсегда потрясло мою детскую душу. И сейчас перед глазами у меня стоит эта картина: Клавушка в пестром ситцевом платье, подаренном ей мамой, выбегает из кухни, завывая от боли и тряся рукой, как собака перебитой лапой. И позже я тысячи раз перебирал в памяти детали этой картины, находя в ней все новые и новые оттенки жестокости. И мамино платье на Клаве казалось особенно невыносимым, как будто ее, Клавушку, нарочно приманивали, кормили, дарили одежду, чтобы добиться ее полной доверчивости, а потом вот так неожиданно стукнуть по руке, чтобы хрустнула косточка. И в том, что Клавушка, не жалуясь, не защищаясь, а только завывая, побежала из нашего дома в сторону калитки, было разрывающее сердце простодушие животного, которое бежит оттуда, где ему делают больно, туда, где, оно надеется, боли не будет.

Не правда ли, странно мы устроены? Человек, которому причиняют слишком большую боль, делается похожим на животное, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость. И точно так же животное, которому причиняют слишком большую боль, начинает напоминать нам человека, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость.

Мать ничего не могла сказать бабушке, но, конечно, вечером все рассказала отцу. Между отцом и бабушкой был крупный разговор. Чтобы я ничего не понимал, говорили по-французски.

— Оставь, пожалуйста,— вдруг перешла бабушка на русский,— они изгадили Россию, а теперь сюда понаехали, голодранцы!

Отец опять что-то терпеливо говорил ей по-французски, и вдруг бабка стукнула палкой о пол и крикнула по-русски:

— Если б вы были настоящими мужчинами, с Россией не случилось бы то, что случилось!

Стало ужасно тихо. Мама, прижав ладони к щекам, умоляюще смотрела на отца широко распахнутыми глазами. Отец неподвижно стоял перед бабушкой. Смуглота его загорелого лица вдруг стала особенно заметной.



— Мама,— тихо сказал он по-русски,— ты забыла, где твои сыновья...

— Мои мальчики,— гордо начала бабушка и вдруг поперхнулась, затряслась, заикала и все-таки с каким-то жутким упорством продолжала пытаться что-то выговорить и даже махнула рукой, как бы досадуя на мгновенную слабость и давая знать, что она сейчас справится с собой и договорит то, что хотела сказать, но, так и не справившись с душащими ее спазмами, уронила палку и запрокинулась на спинку стула.

— Валерьянку! — крикнул отец, хотя мать уже бежала за ней. Отец, приподняв голову бабушки и случайно взглянув на меня, молча, взглядом вытолкнул меня за дверь. Я вышел.

Первый раз в жизни суровую, гордую бабушку я видел такой. И я был второй раз за этот день потрясен жалостью, на этот раз к бабушке, которую днем так возненавидел, и сейчас хорошо помнил, что днем я ее возненавидел за Клаву, и не понимал, куда теперь делась эта ненависть, и с какой-то неизбывной тоской догадался, что то далекое, а для меня непомерно далекое, случившееся с ее сыновьями, все время при ней и никогда никуда от нее не уходило и никогда не уйдет.

Больше Клавушка у нас не появлялась ни разу. С месяц я ее иногда видел в школе, сначала с повязкой на руке, а потом уже без повязки. Нам обоим было стыдно встречаться, и мы оба делали вид, что не замечаем друг друга. Но при этом, когда мы встречались, я смотрел перед собой, а она всегда куда-то отворачивалась, и я уже тогда понимал, что это она делает от большей душевной тонкости, что ей стыдней, чем мне. Но я все надеялся на какой-то случай, который вдруг нас примирит, и она поймет, что я ее по-прежнему люблю и мама ее любит и папа ее любит... Но случай так и не представился, а Клавушка куда-то исчезла из школы, и я ее никогда больше не видел.

Может, именно потому, что Клавушка исчезла навсегда, а бабушка продолжала быть рядом, она умерла перед самой войной, я снова привык к ее замкнутому, суровому облику. А Клава, бегущая, завывая от боли и тряся рукой, как собачонка перебитой лапой, навсегда осталась в моей душе.

И осталась долгая на всю школу мальчишеская мечта встретить ее однажды и сделать для нее что-нибудь необыкновенное, прекрасное: может, спасти ее от смертельного ножа какого-то хулигана, может, вытащить из моря тонущего ребенка, который вдруг окажется ее сыном, словом, сделать что-нибудь такое, чтобы она после этого всегда помнила о нас и нашем доме только хорошее.

И вот прошло с тех пор больше десяти лет. Война. Наш аэродром был расположен в ста километрах от Новороссийска. В свободное от боевых вылетов время я ходил охотиться в одичавшие хлеба, где развелось за время войны множество зайцев. Свежая зайчатина хорошо скрашивала наш казенный солдатский стол.

В тот день я убил четырех зайцев. Поблизости от нашей базы ютилось в землянке несколько семей, которым мы помогали чем придется. На обратном пути после охоты я завернул в одну землянку, где жила женщина с двумя детьми. С этой женщиной я договорился, что она сошьет мне и двум моим друзьям плавки. Материал для шитья я ей принес в предыдущий приход и тогда же договорился, что сегодня зайду к ней.

Когда я вошел в землянку, рядом с хозяйкой сидела какая-то женщина. Я на нее не обратил внимания. Вынув из сумки одного из

убитых зайцев, я положил его на стол. Хозяйка ужасно обрадовалась моему гостинцу и попросила немного подождать, она кончала работу.

Я присел и разговорился с ее гостьей. Оказывается, она жила в трех километрах отсюда. Там тоже несколько семей погорельцев ютилось в землянках. Узнав, что я из Абхазии, она сказала, что и она долгое время там жила.

— Где же вы жили? — спросил я.

— Я по вербовке работала пять лет в шахтах Ткварчели,— сказала она,— а до этого жила под Мухусом в поселке...

Она назвала наш поселок.

— Карташовых не знали? — спросил я без особого интереса.

— Как же не знала! — воскликнула она, вглядываясь в меня.— Я докторше помогала по хозяйству...

— Клавушка? — спросил я, вглядываясь в ее когда-то цветущее, а теперь изможденное лицо и уже с трудом узнавая его и только никак не понимая, куда делся ее украинский акцент. Ах да, она ведь столько лет провела с шахтерами!

— Витько... Виктор Максимович,— проговорила она и заплакала.

Она поплакала немного и постепенно успокоилась. Я подумал, сколько раз за всю свою юность я вспоминал тот случай с бабушкой, сколько раз я мечтал встретиться с Клавой, сделать для нее что-нибудь прекрасное и выпросить у нее прощение.

Не то чтобы этого чувства совсем не было, но куда делась его прежняя острота? Тогда я этого не мог понять, но все было просто: война. Я уже потерял нескольких друзей-фронтовиков, видел столько крови, что тот далекий случай, мучавший меня, школьника, теперь казался мне не таким уж значительным.

Но до войны я так часто об этом думал, так часто мечтал о встрече с Клавой, что и теперь по инерции заговорил об этом.

— Клавушка,— сказал я,— прости бабку за ее выходку. Тем более, она уже умерла.

— Что вы, что вы! — вскинулась Клавушка.— Я же сама была виноватая! Глупая была! Надо же, мед руками цапать!

Мы поговорили о житье-бытье. Клавушка в Ткварчели вышла замуж за шахтера, а потом через пять лет они перебрались сюда на родину к мужу. Сейчас муж у нее на фронте, деревня сгорела, и она с тремя детьми живет в такой же землянке, как эта.

Господи, подумал я, сколько лет прошло, и опять голод, опять запустенье! Я отдал Клавушке трех оставшихся зайцев, взял плавки и, попрощавшись с женщинами, ушел.

Когда-то в юности я мечтал сделать для Клавушки что-нибудь прекрасное и вот отделался тремя зайцами. Впрочем, может, для ее голодных детей это и было тогда самым прекрасным...

Вот какие встречи бывают иногда в жизни...

Вскоре мы перебазировались на другой аэродром, и я ее больше никогда не видел.

# Сердце

В верхнем ярусе ресторана «Амра» сейчас не только пьют кофе, закусывают, потягивают вино, но и довольно много играют в шахматы. Блестящие успехи Ноны Гаприндашвили, а за ней и целого созвездия грузинских шахматисток, вызвали у мужчин, жителей Грузии и Абхазии, обостренный интерес к этой древней игре.



Во всяком случае, добрая часть времени, которую они раньше тратили на застолья и нарды, теперь перепадает шахматам. Возможно, это некоторым образом попытка, впрочем, достаточно обреченная, догнать женщин и поставить их на место. Если не на место вообще, то хотя бы на прежнее место. Тем не менее догнать женщин в этом деле мужчинам пока не удается и, судя по всему, навряд ли удастся. Я не хочу сказать, что слишком много выпито за прошедшие века, я просто хочу напомнить, что нет обнадеживающих фактов. Однако мужчины стараются. В шахматы сейчас играют много и шумно, в том числе и в верхнем ярусе ресторана «Амра».

Здесь и мы с Виктором Максимовичем иногда усаживались за столик с освобожденной шахматной доской. Играли мы примерно на одном уровне. Виктор Максимович в отличие от некоторых любителей и даже, к сожалению, великих гроссмейстеров (вот тема трагикомического разрыва между изощренностью интеллекта и вандализмом этического состояния человека), так вот, Виктор Максимович в отличие от них был в игре абсолютно корректен. Это тем более надо ценить, потому что он ужасно, просто по-мальчишески, не любил проигрывать.

Однажды во время игры над его королем нависла матовая сеть. Я уютно задумался, чтобы в этих условиях не поспешить, не сделать глупого хода и не дать ему выскочить из этой сети. Но Виктор Максимович до того не любил проигрывать, что во время моей затянувшейся паузы нервы у него не выдержали, он схватил мою фигуру и, сделав несколько взаимных ходов, провозгласил:

— Мат!

Таким образом, поставив мат самому себе, но сделав это своими руками, он как бы отчасти поставил его мне. Вот до чего он не любил проигрывать!

Но на этот раз дело шло к его выигрышу. Был жаркий солнечный день, мы сидели за столиком под тентом, с моря навевал легкий бриз, и предстоящий проигрыш не казался мне катастрофой.

Рядом за соседним столиком столпились наиболее заядлые шахматисты. Играли на высадку и те, что дожидались своей очереди, иронизировали над ходами тех, что играли, давали советы, острили, смеялись. Среди них выделялся самый азартный игрок с нехитрым прозвищем Турок, потому что он и на самом деле был турком.

Виктор Максимович довел партию до победного конца, я не настаивал на возобновлении игры, и он, откинувшись на стуле, вознаградил меня таким рассказом:

— Мне в жизни нередко приходилось попадать в условия, когда страх смерти заполнял мое существо, и мне всегда или почти всегда удавалось его преодолеть, потому что я был подготовлен к нему. С самой юности я закалял себя в этом, я заставлял себя привыкать к мысли, что в известных обстоятельствах необходимо принимать вариант смерти, и это многое определяло. Великой максимой моей юности было: не дать себя унизить ни перед кем и не дать никого унизить в моем присутствии.

И все-таки настоящий, всепоглощающий страх я испытал не на фронте, не в тюрьме, а здесь, в мирной жизни. Лет десять назад, я, как и многие, увлекся подводной охотой. Я сделал себе ружье с таким мощным боем, какого я не видел не только у ружей нашего отечественного, но и иностранного производства. У меня было отличное дыхание, что неудивительно: я вырос у моря, с детства много нырял, позже занимался боксом, легкой атлетикой. Три-четыре минуты я свободно мог провести под водой. Было большой редкостью, чтобы я вернулся с охоты без рыбы.

Однажды, нырнув возле подводной скалы, я заметил великолепного лобана. Пошевеливая плавниками, он стоял в нескольких сантиметрах от нее. Я осторожно подплыл поближе, прицелился и нажал на спусковой крючок.

Обычно после выстрела ныряльщик выплывает на поверхность воды, и, если стрела пронзила рыбу, он подтягивает ее за шнур, на котором она висит, сдергивает ее, подвешивает к поясу и перезаряжает ружье. Если ныряльщик не попал в рыбу или она каким-то образом сошла со стрелы, он снова заряжает ружье и ныряет. Стрела на крепком капроновом шнуре привязана к поясу.

На этот раз я не попал в лобана и стал выныривать. До поверхности воды оставалось примерно полметра, когда я вдруг почувствовал, что шнур, к которому была привязана стрела, натянулся и не пускает меня дальше. Я понял, что стрела плотно вклинилась в расщелину скалы и не выходит оттуда. Я попытался нащупать на поясе нож и вспомнил, что забыл его дома. Страх стал овладевать мной. Я попытался оторвать шнур от пояса, но он не поддавался. Шнур был очень крепким, и в воде без точки опоры его невозможно было разорвать.

И тут я почувствовал ужас. Через несколько секунд я потеряю сознание, а еще через несколько минут мой труп будет колыхаться в полуметре от поверхности воды. И, разумеется, никто не узнает, куда я делся. Я взглянул наверх и увидел сквозь небольшую толщу воды ослепительно расплывающееся золото солнечного диска. Инстинктивно вытянул руку над водой, словно пытаясь ею зацепиться за воздух и вытащить себя. Но это было невозможно.

И тут, уже почти теряя сознание, я попытался использовать последний шанс. Надо донырнуть до скалы, упереться в нее ногами и изо всех сил дернуть шнур. Если он оборвется, я спасен, если нет — каюк. Легко сказать! Я уже почти задыхаюсь и все-таки ныряю с единственной мыслью не потерять сознание, пока не упрусь ногами в скалу. Только держась на этой мысли и только на ней, я, перебирая в руках шнур, дошел до скалы, уперся в нее ногами, изо всех сил дернул шнур и потерял сознание.

Не знаю, через сколько секунд или минут, я пришел в себя на поверхности воды. Состояние было такое, какое бывает, когда просыпаешься утром после тяжелого приступа малярии: тело раздавлено. До берега было метров пятьсот. Кое-как доплыл. И впервые в жизни, плывя к берегу, я боялся утонуть от слабости, и море, любимое с детства море, впервые внушало мне отвращение, словно я плыл в теплом, грязном болоте.

На берегу я выкашлял из легких воду и вытравил ее из желудка. Отлежался и поплелся домой. Охотился я у себя в заливе напротив дома.

Дней десять я чувствовал себя все еще плохо, а потом оклемался. Однажды вхожу в море и плыву. Отплыв от берега метров на пятнадцать — двадцать, вдруг чувствую: сердце делает какой-то сдвоенный удар и останавливается. Может, на две-три секунды — не знаю. Но ощущение очень неприятное.

Тут я вспомнил, что накануне выпил, и решил, что дело в этом. Никогда раньше я не знал никаких сердечных явлений, это было впервые. Я снова поплыл. И вдруг опять сдвоенный удар и ощущение, что сердце остановилось и я сейчас захлебнусь. Боясь потревожить его, я осторожно поплыл к берегу.

Утром на следующий день лезу в воду, прислушиваясь к работе своего сердца. Вроде все в порядке. Да, думаю, возраст дает о себе знать, и уже сердце после выпивки начинает барахлить. Только я это



подумал — и снова повторение вчерашнего. Я страшно разозлился на свое сердце и решил, ни на что не обращая внимания, плыть и плыть. И снова то же самое. Я плыву. И опять то же самое! И тут я не выдержал. Главное, ощущение такое, что сердце только случайно остановилось на эти две-три секунды, а может остановиться и на больший срок. И тогда конец.

И все-таки я не так быстро сдался. Я обратил внимание, что эти перебои в сердце настигают меня, когда я отплыву от берега уже метров на двадцать — тридцать. Может, это какой-то неосознанный страх глубины? Я нарочно выхожу в море на лодке, прыгаю за борт, плаваю, чтобы преодолеть страх глубины, если это именно он. Но и там меня каждый раз настигает это странное явление. Последний раз я с трудом влез в лодку, так меня напугали эти перебои и остановки сердца.

Одним словом, иду к врачу. Терапевт выслушивает меня, отправляет на электрокардиограмму и в конце концов говорит мне:

— Сердце у вас, как у двадцатилетнего юноши. Я ничего не понимаю, вам надо обратиться к психиатру.

Меня знакомят с самым модным в Мухусе психиатром. Во время беседы он выслушивает меня, наклонив голову сердитым петушком, и, что я ни скажу, все ему не так.

Перебивая меня, сыплет какими-то непонятными терминами, а что со мной случилось, объяснить не может. Выслушав все, что я рассказал про подводную охоту и про плавание, он, словно разоблачив меня в сокрытии самого главного, переводит разговор на мой махолет.

Кто-то ему, видимо, сказал, что я занимаюсь сооружением летательного аппарата, движущегося на мускульной силе пилота. Спрашивает, сколько времени я им занимаюсь, рекомендует вспомнить, не явился ли мне образ махолета после фронтовой контузии, какие сверхцели я себе ставлю, какие травмы получал во время падения и так далее. Я спокойно пытаюсь ему объяснить, что махолетом я занимаюсь давно и никакого отношения он не имеет к тому, что случилось со мной в море.

— Мне лучше знать,— обрывает он меня,— что к чему имеет отношение.

И опять, петушком наклонив голову, как-то очень лично сердится на меня и предупреждает, что если я не перестану заниматься махолетом, во мне будет неуклонно возрастать ощущение дискомфортности сначала в море (уже начинается), потом на суше, а потом, видимо, окончательно рехнувшись, я провозглашу воздух единственной средой обитания.

Я, может, слегка утрирую, но, честное слово, передо мной был полный псих. Когда же я, отвечая на его полувопрос-полуутверждение, сказал, что у меня в родне не было ненормальных людей, он просто взвился.

— Да вы что, лечиться ко мне пришли или все отрицать! — воскликнул он.

Одним словом, я еле унес ноги от этого поврежденного то ли наукой, то ли пациентами человека. Но что делать? Я еще несколько раз пытался плавать, но все повторялось. И тогда я пришел к печальному выводу, что придется отказаться от плавания и подводной охоты. Это шаги старости, пытался я себя утешить, к разным людям она приходит по-разному.

С морем меня еще все-таки связывала лодка. Я мог в свободное время рыбачить с лодки, что я и делал. Прошло с тех пор около года. В море я больше не купался, ружье для подводной охоты подарил одному любителю.

Однажды в апреле, примерно за километр от берега, рыбачу с одним соседским мальчишкой. Это был очаровательный десятилетний мальчуган с хитренькими черными глазками, до смешного похожий на своего деда, дружившего с моим отцом. Он жил с дедом и с матерью, без отца. Отец ушел из семьи. Отчасти, может, поэтому мальчик хаживал ко мне, часами любуясь, как я вожусь со своим махолетом, иногда я его брал на рыбалку.

Мы ловим на самодуры ставриду. Рыба хорошо идет, но работает течение, и то и дело нас относит от стаи. Приходится время от времени подгребать. Вдруг раздается тарахтенье моторной лодки все ближе и ближе, и вот совсем рядом с нами она проносится, обдав нас брызгами и раскачав лодку крупной волной. Я посмотрел вслед и увидел хохочущее лицо рыбака, рулившего на корме. На средней банке сидел второй. Ясно было, что они под газом. Они резко развернулись, и я подумал, что их может перевернуть. На лодке был очень сильный мотор.

Рыба хорошо шла. Мы опять увлеклись ловлей, и я забыл об этих пьяных рыбаках. Примерно через полчаса опять завывание мотора, но на этот раз они, может быть, не соразмерив расстояния, так близко прошли, что наша лодка от обдавшей ее большой волны перевернулась.

Все произошло в одно мгновение. Трудно представить, чтобы мерзавцы, перевернувшие лодку, не заметили того, что случилось. Видимо, заметив, что наша лодка перевернулась и, боясь некоторой ответственности за случившееся, они рванули в сторону города, и вскоре мотор затих.

Очутившись в воде, я испугался, не ушибся ли мальчик, когда лодка перевернулась.

— Ты не ударился? — спросил я у него.

— Нет,— ответил он достаточно безмятежно.

Я знал, что он плавает, как рыбка, но апрель — вода ледяная. Пока мы очухались и я подплывал к нему, нашу лодку отнесло метров на пятнадцать. Что делать? Я ее, конечно, мог догнать. Но, с одной стороны, мне было боязно мальчика оставлять одного, а с другой стороны, какая от нее польза? Перевернуть и поставить ее на киль мы все равно не смогли бы. Вцепиться в нее и ждать, пока нас найдут и снимут с нее,— опасно. Я принял решение плыть к берегу с некоторой надеждой, что эти сволочи хотя бы кому-нибудь скажут, что перевернули лодку, и за нами подойдут. Разумеется, скажут своим дружкам, которые их не выдадут.

И тут я вспомнил о своем сердце. Но как-то мимоходом. Мысль о том, что со мной мальчишка, которого во что бы то ни стало надо довести до берега, целиком поглотила меня. Вспомнив о сердце, я почти сразу услышал тот сдвоенный стук и мгновенную остановку в груди. Все было, как раньше, но в несколько раз слабей. Как будто то, что случилось с моим сердцем, мне теперь говорило: «Я все еще здесь, но сейчас ты намного сильней меня».

И я это прекрасно почувствовал. Страх за мальчика вышиб из меня все на свете. Я подплыл к нему, расстегнул на нем рубашку и, поддерживая его одной рукой, приказал:

— Снимай.

Он стянул рубашку вместе с майкой. Я нащупал в воде ступни его ног, скинул с них башмаки. Потом нашарил ремень его брюк, расстегнул его, слегка откинул мальчика на спину и стащил с него брюки. То же самое я сделал со своей одеждой и отбросил ее. Подхваченная течением, она еще некоторое время плыла в стороне от нас. Мы остались в одних трусах.



— Ты ничего не бойся,— сказал я мальчику как можно спокойней,— мы обязательно доплывем до берега.

— А я и не боюсь,— ответил он,— только я не пойму, за что они опрокинули нашу лодку?

Он внимательно смотрел на меня своими черными глазенками, пытаясь осознать смысл случившегося.

— Пьяные болваны,— сказал я,— но ты ничего не бойся. Мы доплывем до берега.

Сейчас мальчик выглядел хорошо, но я знал, что холод скажется минут через пятнадцать. Далекий зеленый берег нашего поселка отсюда казался приплюснутым к воде. Я оглядел пустынное море, но нигде поблизости не было видно ни одной лодки. В это время года здесь редко рыбачат.

— Дядя Витя,— спросил мальчик через некоторое время,— а ваша лодка теперь пропала?

— Нет,— сказал я,— ее прибьет к берегу где-нибудь в Гульрипшах.

Минут через пятнадцать, как я и ожидал, смуглое лицо его побледнело. Но плыл он пока хорошо. Я только боялся, как бы его судорога не скрутила. От боли он мог потерять самообладание, и тогда навряд ли я сумел бы дотащить его до берега. Еще минут через десять я заметил, что лицо его подернулось синевой.

— Ты замерз?

— Нет.

А у самого уже зубы клацнули. Мальчик держался замечательно.

— Подожди, я тебя разотру,— говорю.

Я подплыл к нему и, балансируя в воде одной рукой, другой изо всех сил стал растирать ему спину, живот, ноги.

— Мне больно,— вдруг сказал он.

— Потерпи,— ответил я, продолжая изо всех сил растирать его тело,— так надо.

— Если надо, буду терпеть,— сказал он и закусил губу.

Я столько энергии вложил в растирание его худенького ребристого тельца, что у меня рука занемела. Но с лица его сошел землистый оттенок. Мы снова поплыли.

— Ты не устал? — спросил я у него минут через десять.

— Нет,— сказал он и, подумав, добавил: — Все равно надо плыть.

Мы продолжали плыть. Я ему с самого начала сказал, чтобы он плыл не саженками, а брассом, как я его учил. От плавания саженками руки гораздо быстрей устают.

— Дядя Витя,— спросил он, взглянув на меня погрустневшими черными глазенками,— а пьяные становятся как сумасшедшие?

Видно, он напряженно думал о тех, кто нас перевернул.

— Эти люди негодяи,— сказал я ему,— а когда человек пьяный, его негодяйство, если он негодяй, выходит наружу.

Он кивнул и продолжал плыть. Было заметно по его лицу, что он напряженно о чем-то думает.

— Это все равно, как жадные,— сказал он через некоторое время, взглянув на меня,— пока Жорик не имел велосипеда, я не знал, что он жадный, а теперь знаю.

— Точно,— согласился я.

Через некоторое время я почувствовал, что сам замерзаю. Я посмотрел на мальчика. Лицо его опять подернулось синевой.

— Подожди,— сказал я ему и подплыл.

И опять, балансируя одной рукой в воде, другой я растер ему тело. Я растирал его из всех сил, но он терпел и не стонал. Потом,

когда рука у меня онемела, я сменил ее и растер его тело другой рукой.

Лицо его снова ожило. Мы поплыли. Хотя я видел, что он устает, я не останавливался, боясь, что так он быстрей замерзнет. Краем сознания я иногда прислушивался к своему сердцу, но оно никак себя не проявляло, и я почему-то знал, что оно не может и не должно себя проявить.

До берега оставалось метров четыреста, и уже хорошо были видны зеленые купы деревьев на прибрежных участках. И вдруг я почувствовал, что правую ногу мою скрутила судорога. И вместе с костяной болью судороги я ощутил опережающий эту боль страх за мальчика.

Стараясь гримасой не выдавать боль, я подплыл к нему и снова стал растирать его тело. Теперь одна нога моя совсем не действовала и балансировать в воде было гораздо трудней. Надо было сделать все, чтобы не дать ему переохладиться. Теперь, если б его тело свело судорогой, я бы явно не смог дотащить его до берега.

Меня еще смутно тревожила мысль, что, если судорога сведет мою левую ногу, я вообще не смогу больше растирать его тело. Поэтому я сейчас старался выложиться. Я дотягивался до самых его щиколоток, щипал и выкручивал его худенькие бедра и икры, растирал спину и разминал ему живот. Видимо, чувствуя серьезность положения, он терпеливо, только иногда покряхтывая, все переносил.

Наконец лицо его порозовело, а я выдохся. Только я подумал, что не мешало бы промассировать свою левую ногу, чтобы уберечь ее от судороги, как чуть не вскрикнул: костяная боль перекрутила и левую ногу.

Я слишком хорошо плавал, чтобы утонуть, но я не знал, что будет дальше. Я слыхал, что, если судорога добирается до мышц живота, человек не может ни двинуться, ни разогнуться. Я стал изо всех сил разглаживать, щипать и расцарапывать себе живот.

До берега оставалось метров двести, и я теперь, гребя одними руками, едва поспевал за мальчиком. Берег был пуст, море было пусто и ждать помощи было неоткуда. Я плыл на одних руках, сердце стучало у самого горла. Господи, думал я, дай продержаться еще метров сто, а там, даже если со мной что-нибудь и случится, мальчик сам доплывет. Потом я, видимо, на некоторое время впал в забытье. Очнувшись, я заметил, что мальчик позади, хотя я никак не мог прибавить скорости, скорее, я ее сбавлял. Я остановился, дожидаясь его. Он подплыл. Лицо его было серым.

— Маму жалко,— вдруг сказал он и осекся, стыдясь договорить свою мысль.

— Что ты говоришь! — прикрикнул я на него.— Посмотри, мы совсем у берега.

Он ничего мне не ответил. Это был замечательный мальчик, и он прекрасно держался до конца. Последние метры я плыл в каком-то полусне. У берега я попробовал стать на дно и упал, не сразу поняв, почему меня не держат ноги. Мальчик вылез из воды и шлепнулся на теплый песок. Я выполз на руках, как животное. Теперь мне незачем было скрывать, что у меня ноги свело судорогой.

Течение нас отнесло метров за пятьсот от нашего поселка. Как отходчиво детство! Через полчаса мальчик уже играл в песке, а я только часа через два смог встать на ноги. День был очень теплый и, глядя на ласковое море, трудно было поверить, что мы чуть не замерзли в нем.

Мы пошли берегом к своему поселку. Мне казалось, что мальчику не следует говорить дома всю правду. Стоит ли расстраивать маму? Можно сказать, что все это случилось близко от берега. Но потом я передумал. Пусть говорит все, как было! Не надо комкать праздник его первой, настоящей победы.



В тот же день пограничники пригнали мою лодку.

Но я это дело не собирался так оставлять. Дня через три, к счастью, ни мальчик, ни я не простудились, я отправился в город. Я знал, что рано или поздно найду того, кто рулил, сидя на корме, и хохотал, глядя на нас. Они все, как куры на насесте, собираются на лодочном причале, даже когда не выходят в море.

Я зашел на причал и увидел его за столом играющим в домино. Некоторые из рыбаков знали меня как чудака-интеллигента, но никто из них не знал, что я старый лагерник.

Я подошел к столу. Он поднял свою рожу, не столько узнавая меня, сколько догадываясь, что я связан с его преступлением.

— Пойдем в милицию или так поговорим? — спросил я у него. Я знал, что он предпочтет. Я тоже это предпочитал.

— Ну, чо, чо, поговорим,— пробормотал он, видимо, соображая, во сколько бутылок обойдется ему этот разговор.

— Тогда иди туда,— сказал я ему, показывая на одну из будочек, где рыбаки держат свои моторы и снасти. Он молча встал и отошел туда.

Я вкратце рассказал рыбакам о его делах, и они в ответ возмущенно поохали. Я знал, что грош цена их возмущению. Повозмущавшись, один из них шутливо заметил:

— Тут, Максимыч, без пол-литра не разберешься...

Другой, менее миролюбиво, добавил:

— Подумаешь, делов... Ребята слегка подзарулили и раздухарились...

Я подошел к будке, где стоял этот амбал, и завел его за будку. Даже мальчишкой никогда я первым не подымал руку. В лагере приходилось, как правило, защищая других. Я ударил его с ходу. Голова его закинулась, но он не упал. Неужто оскудела рука, подумал я, и ударил его второй раз. Теперь он, как бык, рухнул на колени.

— Чо, я один был?.. — бормотал он, мотая головой и пытаясь утереть кровь, стекающую из угла рта.

Я вдруг представил, что могло случиться с мальчиком, и настоящая ярость сотрясла меня: нет мне, падло, до того дела, что и свою-то жизнь ты не очень ценишь!

— Ты сидел на руле,— сказал я ему, как можно внятней, и, приподняв его тяжело обвисающее тело двумя руками, дал ему в морду третий раз. Он завалился основательно.

Примерно через месяц я случайно оказался на этом лодочном причале, и, когда проходил мимо стола с доминошниками, они почти все вскочили, радостно приветствуя меня. И было не совсем ясно, что они приветствуют: щедрость, с которой я отказался от причитающейся мне выпивки, или быстроту расправы с этим кретином. Скорее всего они восторгались и тем, и другим.

Вот так, расставшись с морем на год и оказавшись в роли хранителя жизни мальчугана, я навсегда избавился от этих таинственных сердечных явлений. Больше они ни разу не повторялись. Интересно, что бы сказал мой безумный психиатр, узнав об этом? Толстой это, кажется, называл — забывать себя? В народе еще лучше говорится: клин клином вышибают...

Кстати, будь я энциклопедически образованным человеком, я бы посвятил свою жизнь раскрытию мировых идей, заложенных, как я абсолютно уверен, в сжатом виде в народных пословицах и пого-

ворках! Какая увлекательная работа! По-русски, по-моему, такой книги нет, но есть ли она у других народов? Я не слыхал.

...На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ, и мы еще некоторое время сидели за столиком, рассеянно глядя на кейфующих любителей кофе и шумных шахматистов.

Там сейчас Турок играл со своим партнером, а вокруг толпились болельщики, насмешничая над игроками и обсуждая возможности упущенных комбинаций.

Мороженщица со своим лотком и до этого несколько раз подходившая к ним и безуспешно предлагавшая им купить мороженое, сейчас снова подошла, по-видимому, надеясь на новых, более сговорчивых покупателей. Но тут Турок не выдержал.

— Сколько стоит полный лоток мороженого? — спросил он у продавщицы.

— Двадцать рублей,— ответила она охотно.

— А сколько стоит лоток? — продолжал любопытствовать он.

— Пять рублей,— с той же готовностью ответила она.

Турок вытащил из кармана бумажник, вынул оттуда три десятки и протянул ей.

— Зачем? — спросила мороженщица, но протянутые деньги почему-то взяла.

— Сейчас увидишь,— сказал Турок и, выхватив у нее голубой лоток с мороженым, выкинул его в море.

Такой остроумной комбинации никто не ожидал. Под хохот шахматистов и крики мороженщицы мы покинули гостеприимную палубу «Амры». Конечно, навряд ли в подобных условиях рождаются великие шахматные композиции, но мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам, по чертежу этого жеста, постепенно восстановлен во всей его полноте. Терпения и мужества, друзья.

# Время большого везенья

**(Рассказ Виктора Максимовича)**

Никогда, ни до, ни после войны, я не чувствовал себя на таком подъеме, как во время войны. Я не чувствовал себя в таком полном соответствии внутреннего состояния и окружающей жизни. Все проклятые вопросы были отброшены реальной общенародной бедой, реальным участием в борьбе с этой бедой. И ни разу за всю войну не было ощущения скрежещущей дисгармонии, отравившей столько дней моей юности.

Именно поэтому, несмотря на потери друзей, ежедневный риск, годы войны оставили в душе мощную и даже веселую музыку бесконечного внутреннего подъема.

Только первая смерть, которой я был свидетелем, потрясла все мое существо и больше с такой силой я не переживал ее, хотя к смерти невозможно привыкнуть. Это случилось еще во время учебы в летной школе. Мы были в одной части, отпрыгались, и веселые, возбужденные, ввалились в столовую обедать.

Летчик, подымавший нас в воздух, и инструктор-парашютист обедали за столом рядом с нами. И вот я вижу: к ним подходит повар и упрашивает инструктора разрешить ему прыгнуть с парашютом.

— А ты когда-нибудь прыгал? — спросил у него инструктор, потягивая компот из стакана.



— Конечно,— кивнул повар,— я до армии ходил в аэроклуб и много раз прыгал.

Безусловно, инструктор не имел права разрешать ему прыжок. Но я, как сейчас, помню благодушное выражение его лица, то ли вызванное отличным обедом, которым угостил их повар, то ли еще какими-то причинами. Он взглянул на летчика и сказал:

— Ну, что, стряхнем его разок?

— Пожалуй,— засмеялся летчик, кивнув на повара,— если он снимет колпак хотя бы перед тем, как выйти на крыло.

Как потом выяснилось, повар этот никогда не прыгал с парашютом. Ему было на вид лет двадцать пять. Вероятно, он и раньше мечтал прыгнуть с парашютом, а тут вдруг видит — вваливаются в столовую девятнадцатилетние салажата, вваливаются после прыжков, сияющие, шумные, счастливые! И он решил: что тут особенного, если эти пацаны прыгают и в ус не дуют. Но он не понимал, что каждое дело требует подготовки, и мы, хоть и салажата, но уже хорошо обучены прыжкам.

Когда мы отобедали, все высыпали наружу, а вместе с нами официантки и работники кухни вышли посмотреть, как их повар будет прыгать.

Все произошло на наших глазах. Самолет поднялся в воздух. Сделал круг над аэродромом. Мы увидели, как повар вышел на крыло, а дальше произошло вот что. Повар еще стоит на крыле и вдруг парашют его выструивается вдоль корпуса самолета, белый шелк, как молоко, обтекает фюзеляж и обматывает хвост. Самолет мгновенно теряет управление, несколько секунд идет со снижением, входит в штопор и врубается в землю в конце аэродромного поля. Когда мы подбежали к обломкам, все было кончено: все трое были мертвы.

Только что люди обедали, смеялись, шутили и вдруг — смерть. Ясно, почему все так произошло. Когда повар вышел на крыло и посмотрел на землю, он, конечно, испугался, и со страху, еще стоя на крыле, дернул за кольцо.

Обычно начинающих парашютистов учат после прыжка отсчитывать три секунды и только потом дергать за кольцо. И хотя начинающий парашютист от волнения, как правило, считает быстрей, чем положено, все равно время дается с большим запасом. И одной секунды достаточно, чтобы парашют не задел самолет.

Да, вот эта первая смерть меня потрясла больше всего, и хотя, конечно, к смерти привыкнуть невозможно, но я уже такой силы потрясения не испытывал при виде погибших людей. А ведь приходилось видеть все, приходилось по частям собирать разбившихся летчиков, чтобы предать их земле.

И все-таки главное чувство того времени — это веселая, могучая музыка подъема. Уверенность, что все или почти все будет так, как мы хотим.

Однажды я получаю приказ командира полка лететь в один пункт, где расположены авиамастерские. Там меня должен был встретить инженер-капитан для установки радиооборудования к штурманскому сиденью. В те времена на По-2 никакой связи с землей не было, и летчик, взлетев, был полностью предоставлен самому себе.

Более того, на По-2 обычно не было никакой огневой точки. Иногда устанавливался пулемет, чтобы защищать машину с хвоста. Но чаще всего ни черта не было, кроме пистолета «ТТ» на поясе у летчика. По-2 в основном использовались как ночные бомбардировщики, каковым в то время я и был.

И вот, значит, лечу в расположение авиаремонтных мастерских.

Лечу на бреющем, чтобы не повстречаться с «мессершмиттом». «Мессера» в те времена, как хотели, издевались над По-2.

Как правило, встретившись с этим самолетом, они не сразу их расстреливали, а сначала вдоволь наиздеваются над летчиком, облетая его и показывая, что его ждет смерть, а потом уже пулеметная очередь, и самолет вспыхивает, как спичка,— фанера, перкаль, кроме мотора, на них почти не было никакого металла.

Именно из-за этого пруссаческого издевательства они сами иногда увлекались, забывая о близости земли, и врезались в нее.

С одним нашим летчиком, развозившим почту на По-2, произошел курьезнейший случай, едва ли не единственный за всю войну. Дело происходило на Кубани. Так вот этого летчика, развозившего почту, настиг «мессер».

Прежде чем расстрелять его из пулемета, он, как обычно, стал изголяться над ним. Снижает скорость до предела, пролетая возле него, хохочет, показывая на горло, и что-то кричит нашему летчику, скорее всего: «Рус капут!»

Раз пролетел, два пролетел и, главное, все ближе и ближе притирается к нему. Наконец нашему летчику надоело это. Он решил: и так и так погибать, дай попробую убить его из пистолета! Он берет ручку управления в левую руку, вытаскивает пистолет, но не высовывает его над бортом, а ждет, когда «мессер» пролетит рядом с ним.

И в самом деле немец снова летит рядом, хохочет, кричит, а наш летчик успевает пару раз выстрелить из пистолета и попадает в него. «Мессер», потеряв управление, врубился в землю. Об этом случае много говорили в те времена. Но обычно встреча По-2 с «мессершмиттом» кончалась гибелью нашего самолета.

И вот, значит, прилетаю на бреющем в назначенный пункт и встречаю там инженер-капитана. Это такой крупный, грузноватый мужчина лет тридцати пяти, и по лицу видно — выпивоха. Только я об этом подумал, как он хлопнул себя по боку, там у него фляжка висела, и сказал:

— Литр чистейшего медицинского спирта. Может, поговорим о душе?

— Нет,— отвечаю,— выполним задание, тогда с удовольствием.

Он устанавливает свое радиооборудование возле штурманского сиденья, и мы летим назад к себе в полк. Прилетели — новое задание: лететь в расположение штаба фронта, дальнейшие указания получим там.

Заправляемся горючим и летим. Он сидит на штурманском месте. У нас допотопная шланговая связь.

— Не пора ли поговорить о душе? — слышу голос инженер-капитана.

— Нет,— говорю в переговорный раструб,— выполним задание — тогда с удовольствием.

— Напрасно,— отвечает он,— вы избегаете разговоров о душе. В боевых условиях опасно откладывать такие разговоры.

Своеобразный юмор этого инженер-капитана заключался в том, что он самые забавные вещи говорил серьезным голосом без малейшей улыбки. И при этом, несмотря на большую разность наших возрастов, обращался ко мне вежливо, называя по имени-отчеству.

Прилетаем в расположение штаба фронта. А для нас, фронтовиков, штаб фронта был тогда все равно что столица — прекрасная столовая, парикмахерская, кино, приличный поселок.

Дежурный офицер встречает меня и говорит, мол, никуда не уходите, дожидайтесь приказа. Проходит час, два, уже вечереет, никакого приказа. А тут еще инженер-капитан мрачно ходит за мной и зудит насчет необходимости поговорить о душе. При этом уверяет, что мы сегодня никуда не улетим. Нет, говорю, потерпим, будем ждать отбоя.



Заходим в парикмахерскую постричься и встречаем там моего приятеля летчика-туркмена. Мы раньше служили с ним в одном полку. Это был опытный летчик, хороший парень, только по-русски, мягко выражаясь, говорил с большим акцентом. Он, оказывается, прилетел сюда с заданием из своей части и застрял здесь на двое суток. Мы обрадовались неожиданной встрече, он сказал, что у него припасено пол-литра водки и надо отметить это событие, потому что и мы, скорее всего, застрянем здесь, как и он.

Мы постриглись, побрились, поодеколонились и выходим из парикмахерской. Теперь инженер-капитан, получив подкрепление в лице моего приятеля, кстати, звали его Руфет, стал еще больше настаивать на необходимости поговорить о душе, попутно выяснив, что о ней думает мусульманин. Но я крепко держался, и они меня не смогли уговорить.

Но вот проходит еще примерно час, мы встречаем дежурного офицера и он говорит:

— Отбой! Можете идти ужинать и располагаться на отдых.

Мы пошли в столовую и надолго засели там. Официантка принесла прекрасный бифштекс с жареной картошкой, такой бифштекс можно было получить только в столовой штаба фронта. К тому же у нас в запасе были еще две банки тушенки, мы отправили их на кухню разогреть. Одним словом, пируем. Водку выпили почти сразу и теперь потихоньку посасываем спирт.

Слегка подвыпив, мы с Руфетом начинаем ухаживать за нашей официанткой. Должен тебе сказать, что после первой моей любви я больше двух лет не мог видеть в женщине женщину. Для меня женщиной оставалась только она. Потом, постепенно, природа взяла верх, и я не то чтобы впал в обратную крайность, но от других фронтовых летчиков не слишком отставал.

И вот мы наперебой ухаживаем за официанткой и чем больше пьем, тем неотразимей она нам кажется. А между прочим, она так забавно приглядывается к нам обоим, так напряженно соображает своей глупенькой головкой, кого из нас выбрать, что я никак не могу удержаться от смеха. И именно от того, что я все это воспринимаю более легко и более весело, чаша весов постепенно склоняется на мою сторону.

— Состязание за право первой ночи,— говорит инженер-капитан, поглядывая на нас,— при любом исходе опоздало лет на десять!

Руфет, чувствуя мой перевес, грустнеет и наконец выкладывает свой главный козырь. После войны он обещает увезти ее в Ашхабад, о существовании которого она, как выясняется к ужасу Руфета, не имела представления.

— Овсянка штаб фронт — Ашхабад не знает! — воскликнул Руфет и так горестно задумался, подперев ладонью щеку, словно усомнился: а можно ли в условиях такого невежества даже внутри штаба фронта вообще выиграть войну?

Помрачнение Руфета окончательно проясняет расстановку сил. И вот, когда мы выпили уже весь спирт, я подхожу к официантке и потихоньку договариваюсь с ней. Она сначала немного ломается, но потом, бросив последний взгляд на Руфета («а вдруг я чего-то недоглядела»), назначает мне свидание.

Она называет дом рядом со штабом фронта, где она живет, номер комнаты и говорит, что ключ лежит под ковриком перед дверью.

Я должен тихо-тихо войти в дом, открыть дверь, ложиться и ждать, пока она придет, закончив свои дела в столовой.

Я подхожу к нашему столу, говорю, что у меня все в порядке, остается пристроить на ночлег инженер-капитана. Только я это сказал, как в столовую вбегает вестовой и кричит:

— Летчика Карташова к телефону!

Я иду к телефону. Стараюсь изо всех сил держать себя в руках, но чувствую — дело плохо. Беру трубку и слышу сердитый начальственный голос: вылетать на Оскол, оттуда инженер-капитан свяжется с приемно-передаточной станцией штаба фронта.

Я настолько пьян, что боюсь дышать в трубку. Мне кажется, что на том конце почувствуют мое дыхание. И в то же время я хоть и пьян, но знаю, что посадочная площадка не готова для ночного взлета. И я говорю ему об этом.

— Что я вам, базовый аэродром рожу? — кричит он в ответ.— Выполняйте приказ!

Что делать? Я возвращаюсь в столовую и говорю инженер-капитану, что нам надо готовиться к немедленному вылету. А Руфет сидит рядом и все слышит, но я о нем теперь забыл. Но он, разумеется, о себе не забыл. Услышав мои слова, он начинает неудержимо хохотать, а официантка издали тревожно смотрит на нас, не понимая, почему веселье переместилось в сторону Ашхабада и не стоит ли ей самой последовать за ним.

Но мне уже не до них. Чувство ужасной ответственности пробивается сквозь хмель. С одной стороны, конечно, был объявлен отбой, но, с другой стороны, в этих условиях никто нам не разрешал напиваться.

Я связываюсь с аэродромной службой, домогаюсь, чтобы они пригнали и поставили два «виллиса» в конце взлетной полосы, осветив ее фарами, чтобы я мог держать направление взлета.

Самое трудное в авиации посадка, а не взлет. Но я сейчас по пьянке об этом не думаю, думаю только, как бы взлететь. «Виллисы» пригнали, и я взлетел.

Летим на город Оскол. Прилетели. Инженер-капитан связывается с приемным пунктом радиопередаточной станции, и мы делаем над городом круги, а точнее, четырехугольники. Проверяем радиосвязь на разных высотах. Работаем. И вдруг я выглядываю за борт и ничего не понимаю. Город, который был погружен в темноту, почему-то во многих местах озарен огнями. Я встряхиваю головой, думаю, не мерещится ли мне это спьяну.

Нет! Внизу пожары. Что за черт, думаю, неужели город бомбят? И вдруг слышу в кабине характерный запах тротила. Кабина у По-2 открытая, только впереди козырек, как у мотоцикла. Запах тротила можно почувствовать только тогда, когда поблизости разрываются зенитные снаряды. Прислушиваюсь и слышу сквозь гул мотора слабые звуки разрывов: тук! тук! тук! тук!

И по запаху слышно, что очень много разрывов поблизости. Прямо скажу — я от страха наполовину отрезвел. Сверху бомбят немцы, того и гляди угодят бомбой в самолет, а снизу поливают наши же зенитки.

И вдруг я слышу спокойный голос инженер-капитана:

— Слушайте, Виктор Максимович,— говорит он,— у меня такое впечатление, что ваш дружок именно сейчас спикировал!

— К черту официантку! — кричу ему в раструб.— Немедленно запросите штаб фронта, что нам делать! Город бомбят немцы!

Он запрашивает радиостанцию, и ему оттуда отвечают: да, город бомбят «юнкерсы», выходите из зоны огня и ждите конца бомбежки.



Мы, слава богу, целыми выходим из зоны огня и ждем. А «юнкерсы» идут на город волнами.

Примерно через полчаса из штаба фронта сообщают, что «юнкерсы» отбомбили, и мы можем продолжать выполнение задания. Мы снова над городом. Теперь внизу сплошные пожары. Наконец выполняем задание и получаем приказ лететь, но не в расположение штаба фронта, как мы ожидали, а называется некий новый пункт.

Запрашиваю через инженер-капитана:

— Оборудован там аэродром для приема самолета?

— Да,— отвечают,— оборудован.

Я смотрю на карту и никак не могу найти этот пункт. На По-2 нет никакого специального освещения, только бортовой фонарик да приборы фосфоресцируют. И в этом слабом свете, а главное, конечно, спьяну, я никак не могу найти этот проклятый пункт. И уже начинаю нервничать.

И именно в эту минуту раздается спокойный голос инженер-капитана:

— Вы поняли, почему нас не приняли?

— Нет,— говорю в раструб,— не понял.

— Штаб фронта,— говорит,— пришел к мудрому решению: не ослаблять наши воздушные силы братоубийственной борьбой двух летчиков за обладание сердцем одной официантки.

Вот черт, думаю, нашел время шутить! Но тут я догадываюсь запросить у радиостанции штаба фронта (а ведь он напомнил мне про него!) направление в градусах и расстояние до этого пункта. Они отвечают. Я засекаю время и ставлю самолет по курсу.

Но теперь, когда я наполовину отрезвел, я по-настоящему почувствовал, как трудна будет посадка. Готов ли аэродром для приема? Господи, думаю, помоги на этот раз, и я никогда в жизни не приму рюмки в подобных условиях! Но, разумеется, вместе с тем напрягаю сознание, чтобы держать голову в полной ясности. И это нелегко...

Точно вовремя вышли на аэродром. Сжал в кулак всю свою волю и пошел на посадку. Но что за черт! Посадка не получается! Самолет проносится и выскакивает за полосу освещения прожектора! Я понял, что сажусь по направлению ветра, а не против ветра, как положено. Что они там, у прожектора, уснули, что ли?!

Захожу против ветра, начинаю планировать, показываю, чтобы они перенесли прожектор, потому что он меня слепит, вместо того, чтобы помогать. Нет, ничего не получается! Делаю пять-шесть попыток — никто меня не понимает. Человек у прожектора или уснул или там вообще никого нет. Если бы прожектора совсем не было, я бы рискнул сесть по фонарикам посадочного знака. А так невозможно — прожектор слепит.

Тогда я принимаю решение садиться по ветру. Отлетаю как можно дальше, снижаюсь и, рискуя врезаться во что-нибудь, ведь я не знаю ландшафта, лечу, прощупывая землю слабым светом плоскостной фары. Перед самой посадочной полосой, уже на скорости парашютирования, выключаю мотор, чтобы быстрее снижаться и не загореться в случае аварии.

Даже несмотря на все эти принятые меры нас пронесло через полосу освещения и мы остановились в двух метрах от стоянки штурмовиков ИЛ-2. Еще бы чуть-чуть и врубились!

Вот так мы прилетели. Но что там случилось с прожектором? Обычное наше российское разгильдяйство. Возле прожектора был поставлен не работник аэродромной службы, а обычный солдат, ни чер-

та не понимающий в этом деле. Когда его поставили, ветер был встречным, а потом ветер переменил направление, но ему никто не подсказал, что прожектор надо перенести.

Переночевали мы в общежитии. Утром просыпаюсь, и после всего пережитого и перепитого мне ужасно захотелось вымыться в бане. Бужу инженер-капитана.

— Слушайте,— говорю,— давайте сходим в баньку?

— А у вас есть выпивка? — спрашивает он у меня, зевая.

— Нет,— говорю,— по-моему, мы вчера выпили все, что можно было выпить.

— Какой же русский человек,— отвечает он,— ходит в баню, не запасясь водкой? Вы, наверное, турок, Виктор Максимович. Недаром вы откуда-то с Кавказа.

— Ну, ладно,— говорю,— как хотите, а я пойду.

Встаю, одеваюсь, выхожу в коридор. Вижу, там похаживает какой-то старичок, вроде комендант общежития.

— Скажите,— говорю,— у вас тут баня есть?

— А как же,— охотно отвечает он и показывает в окно,— вон там, на пригорке. Как раз сегодня работает.

Поселск, где мы устроились, находился примерно в километре от аэродрома. И хотя пригорок, на который показал мне комендант, был в стороне от него, я все-таки подумал: как здорово, что вчера ночью я не шарахнулся в него.

— А мыло с полотенцем,— говорю,— у вас найдется?

— Конечно,— кивает он,— у нас порядок. Хорошему человеку мы все можем достать.

Чувствовалось по его голосу и взгляду, что он так и жаждет, чтобы я попросил у него чего-нибудь посущественней. И вот он приносит мне мыло, мочалку, полотенце. Я спускаюсь вниз. Пригорок, на котором была расположена баня и несколько других строений, находился примерно в трехстах метрах от поселка.

Я поднялся на него, вошел в баню, вымылся от души, оделся и выхожу. Сверху хорошо виден и аэродром и поселок. Не успел я сделать и десяти шагов, как вижу, откуда-то выскакивает «мессер» и идет со снижением в сторону пригорка. Только подумал: чего ему здесь надо? И вдруг догадка — он идет на меня! На несколько мгновений я почувствовал тот ужас, который, вероятно, чувствует цыпленок, заметивший, что на него пикирует ястреб. У «мессершмитта» оружие неподвижное, поэтому он на цель идет всем корпусом. И я по зловещей направленности его корпуса понял, что он целится в меня.

Только я об этом подумал, как вжик! вжик! вжик! — вздымая столбики пыли, вокруг меня полоснула пулеметная очередь. Я шмякнулся на землю! «Мессершмитт» с грохотом пролетел надо мной и пошел дальше, набирая высоту. Смотрю, сволочь, разворачивается. Быстро оглядываю пригорок. Вижу — чуть пониже, метрах в пятнадцати, куст сирени. Больше никакого прикрытия. Я бегом туда и падаю за куст. Но он успел заметить, куда я бегу. И дал очередь по этому кусту. Несколько веток как бритвой срезало.

Но, между прочим, расстрелять человека с самолета больших скоростей, каким в то время считался «мессершмитт», не так просто, если дело не происходит в чистом поле. Пока самолет далеко, попасть в человека трудно, цель слишком мелкая, а близко подойти к нему рискованно, потому что самолет летит со снижением и может, замешкавшись, врезаться в землю. Так что у него всего две-три секунды прицельного времени.

А между тем он опять разворачивается. Видно, решил во что бы то ни стало меня добить. Но и я не даюсь. Я приметил — ниже, метрах в десяти от меня торчит сосновый пень. Я бегу и ласточкой прыгаю под него. Снова пули ложатся вокруг, и «мессер» с грохотом проносится надо мной.

Когда он пролетел, я переполз на ту сторону пня. Но пень все-таки недостаточно широкий, и я хоть вжимаюсь в землю, а все-таки высовываюсь из-за него. Опять веером пули, и самолет с грохотом пролетает надо мной.

Я быстро оглядываюсь и вижу уже далеко внизу, метрах в пятидесяти, довольно здоровый камень торчит из земли. Ну, думаю, была не была — добегу — спасен!

Я к нему со всех ног и слышу по нарастающему грохоту — «мессер» уже развернулся, приближается и вот-вот снесет мне голову! И все-таки я успеваю упасть под камень. Слышу — пули на этот раз чиркают и рикошетируют от камня. Ну, тут ты меня не возьмешь, думаю, стараясь отдышаться от быстрой перебежки. Когда он пролетал надо мной, я переполз на ту сторону камня.

Он опять развернулся. Грохот нарастает, а пуль, между прочим, не слышно. Только пролетел надо мной, вижу — машет крыльями и улетает. В авиации это знак прощания. Видно, расстрелял все патроны, помахал крыльями и улетел.

Спускаюсь в поселок, а там возле общежития, где мы ночевали, столпились солдаты, офицеры, летчики. Оказывается, они все видели и наблюдали за всем, что происходит на пригорке. Поздравляют меня, обнимают, смеются.

— Главное,— хохочет один,— сколько ни прыгал, как заяц, а полотенце не выпустил из рук.

В самом деле, я как сжал в руке полотенце, свернутое жгутом с мочалкой внутри, так и не выпустил его из ладони. Конвульсивно, конечно.

Постояли, поговорили, посмеялись, и я наконец подымаюсь к себе в комнату. А там мой инженер-капитан уже за столом. На столе хлеб, консервы, четвертиночка. Старичок-комендант вертится рядом. Он, конечно, все это устроил ему за деньги и успел рассказать про меня.

— Слышал,— говорит инженер-капитан,— про ваши дела. А кто вас останавливал от этой глупой затеи? Все норовите тело ублажить... Кстати, именно теперь вам самое время идти в баню... Посмотрите, на что вы похожи?

Я посмотрел на себя и только заметил, что весь в пылище с головы до ног.

— Выпейте на дорогу рюмулю,— говорит он,— и снова идите в баню... Если, конечно, немецким летчикам не дан секретный приказ подстерегать вас у выхода из бани.

— Нет,— говорю,— я поклялся перед полетом больше никогда не пить. А нам сегодня лететь.

Я вышел в коридор, где долго отряхивался от пыли и приводил себя в порядок. В тот же день я доставил инженер-капитана туда, где он служил, и вернулся в свой полк. Но ты думаешь, необычайное везенье этих суток на этом закончилось? Нет!

Через четыре месяца встречаюсь с Руфетом, мы с ним снова попали в один полк.

— Везунчик! — кричит он мне, здороваясь,— такой везунчик мир не знал!

— Да,— говорю,— повезло мне.

Я думал — он что-то прослышал про «мессершмитт», охотившийся за мной.

— Ты везунчик,— повторяет Руфет,— я подцепил от овсянка штаб фронта то, что ты должен был подцепить. Сипасибо, старший брат!

— Ну, теперь-то ты здоров? — спрашиваю серьезно, хотя самого распирает смех от всей этой перекрутки.

— Типер, конично,— кивает Руфет,— но, оказывается, хуж нет, чем овсянка штаб фронта... Ашхабад не знает... Испорченный ченчин! Но я был пияный — не догадался...

И смех и грех, как говорится. Конечно, такого сгустка везенья за всю войну больше не повторялось, я трижды был ранен, горел, но одни такие сутки были. Честно скажу — я практически сдержал свое слово и выпившим больше никогда не подымался в воздух. Это было в первый и последний раз.

# Охотник-ясновидец

Однажды Виктор Максимович спросил у меня, не случалось ли в моей жизни что-нибудь такое, чего нельзя объяснить никаким разумом и логикой. Мы пили кофе у пристани, стоя за столиком под низко нависающей ветвью ливанского кедра.

Я ему рассказал такой случай. Много лет назад я сидел в своей комнате за письменным столом. Вдруг в приоткрытое окно кто-то с улицы постучал пальцем. Обычно так извещала о своем появлении почтальонша.

Жуткая волна необъяснимого страха при звоне стекла сковала все мое тело. Знал ли я в тот миг, что это обычный стук почтальонши? Не помню. И в то же время я разумом понимал, что для страха не может быть никакой причины, надо встать и подойти к окну. Увидев, что за окном, как обычно, стоит почтальонша и уже роется в сумке, чтобы передать мне письмо, я не только не успокоился, а почувствовал источник своего страха, я понял, что его источает именно то, что она мне сейчас передаст.

Почтальонша передала мне письмо с иностранными марками. Я сразу понял, что это письмо от отца, потому что заграничных писем я больше ни от кого не получал. Это было письмо из Персии.

Письма от отца приходили в полтора-два года раз. И, конечно, я с обычной почтой не привык ожидать писем оттуда. С ужасом, преодолевая какое-то предчувствие, я раскрыл конверт и увидел в нем собственное письмо, посланное ему год назад. Больше в конверте ничего не было.

Я начал успокаиваться, недоумевая, почему мое письмо пришло назад. Перевернул листок письма и увидел на обратной стороне моей недописанной страницы какую-то приписку, сделанную дрожащим, крупным, старческим почерком: «Ваш отец умер в 1957 году. Царство ему небесное!»

Приписка была сделана другом отца, который так же, как и он, был выслан туда из Абхазии и на адрес которого мы обычно посылали письма.

Виктор Максимович, отставив чашку с кофе, внимательно выслушал меня и, дослушав, кивнул головой.

— Со мной лично,— сказал он,— ничего такого не бывало. Но я близко видел человека, который был одарен настоящим сверхчувственным опытом.



В молодости я любил походы в горы. Да и сейчас люблю, хотя приходится экономить время. А тогда я вдоль и поперек исходил всю горную Абхазию и Сванетию.

Красоту гор описать еще никому не удалось. Когда стоишь на какой-нибудь вершине и видишь плавно уходящий от тебя изумрудный склон, обильное высокотравье, в котором мерцают голубые горечавки, белые, ярко-желтые, синие крокусы, бледные анемоны, золотые лапчатки, а дальше ледниковое озеро ангельской синевы, а над ним стройные, темно-зеленые пихты и все это погружено в прозрачный родниковый воздух, озарено солнцем и видится весь этот божий мир с утоляющей душу четкостью, ты вдруг чувствуешь, хотя бы на несколько минут, что достиг истинного человеческого состояния и это состояние — предощущение полета или счастья.

Однажды мне рассказали про абхазского пастуха, который ни разу не приходил с охоты без добычи. Абхазский бог Ажвейпшаа подает ему знак, говорили мне пастухи. Я, конечно, ни в какой знак не поверил, но, решив, что это очень опытный охотник, захотел с ним встретиться.

В то лето он жил с пастухами своего села в горах Башкапсары. Дорогу туда я знал хорошо. И вот подымаюсь на альпийские луга Башкапсары, встречаю какого-то пастуха и спрашиваю у него, где тут располагается охотник Щаадат. Так звали его. Пастух показывает мне дорогу к его шалашу, и я через полчаса там.

В шалаше жили четыре пастуха. Трое из них кое-как говорили по-русски, а четвертый, самый молодой, говорил прилично. Узнав о цели моего визита, они закивали головой на Щаадата, и тот, застенчиво улыбнувшись, обещал взять меня на охоту.

И вот я живу с ними, присматриваюсь к своему охотнику и ничего в нем особенного не вижу. Сухощавый, пожилой крестьянин-пастух, молчаливый, услужливый, однако никогда не теряющий чувства собственного достоинства, о котором он сам явно не задумывается. Это прирожденное.

Погода стоит отличная, но почему-то на охоту он меня не берет. Утром доит коз и гонит их на зеленые склоны, в полдень приходит обедать, вечером пригоняет коз, снова доит, а потом, подвесив на огонь большой котел с молоком, закатывает рукава и, по локоть погрузив руки в молоко, начинает выколдовывать оттуда сыр.

— Когда пойдем? — показываю я ему на горы дня через три.

Он смеется.

— Сичас коза нет,— говорит,— когда будет, пойдем на гора.

— Откуда знаешь,— спрашиваю,— когда будет?

Он опять смеется и что-то говорит своим товарищам по-абхазски. Они тоже смеются.

— Моя знай,— кивает Щаадат мне,— когда будет, пойдем на гора.

Проходит еще несколько дней, и вдруг однажды просыпаюсь на рассвете. Оказывается, меня осторожно будит Щаадат. Прижимает палец к губам, чтобы я шумом не будил остальных пастухов. Я быстро одеваюсь, винтовку через плечо, в руки посох, и мы начинаем подыматься в горы.

Подымаемся час, два, три, а конца пути не видно. И хотя я был тогда замечательный ходок, но подъем крут, чувствую, устаю.

— Долго еще? — киваю ему вверх.

— Скора, скора,— успокаивает он меня.

Однако мы еще часа два карабкаемся по скалам, а он только идет впереди мерным шагом, и большая толстая палка торчит у него

через плечо. Он ее вырезал в леске, когда мы только вышли на дорогу. Я знал, что к такой палке подвешивается крупная добыча.

Наконец он оборачивается ко мне и, приложив палец к губам, показывает, чтобы я молчал, хотя и так молчу. Знаками показывает, чтобы я как можно осторожней, не потревожив камушки, переставлял ноги. Метрах в пятидесяти впереди нас скалистая вершина. За несколько метров до вершины он лег и стал ползти, показывая, чтобы я делал то же самое. Доползли до вершины. Осторожно выглядываем.

Перед глазами распахивается слепящая белизна огромного ледника, над которым торчит зубчатая скала. Глазам больно от непривычного сверкания льда. Щаадат тихонько толкает меня и кивает наверх, туда, где начинается ледник. Я смотрю и ничего не вижу. Он опять толкает. Я старательно вытираю слезящиеся глаза, присматриваюсь и вдруг вижу на крошечной лужайке, над самым ледником у скальной стены неподвижно стоит тур. Я вглядываюсь и вдруг вижу, что еще три тура рядом с ним, но они не стоят, а сидят на лужайке. Все они так удивительно сливались с цветом скал, что я их не сразу различил.

Я снимаю с плеча винтовку. Щаадат кивает, мол, давай. Азарт торопит меня, а он знаками показывает, мол, спешить не надо, они никуда не уйдут. Я прилег, тщательно прицелился в стоящего тура и выстрелил. Тур упал. Я думал, остальные разбегутся, но они не разбежались. То ли не услышали выстрела, то ли приняли за грохот камнепада, не знаю. Только один из сидевших туров встал, подошел к упавшему и понюхал его. Увидев, как удобно в него сейчас стрелять, я снова почувствовал охотничий азарт, вскинул винтовку, но вдруг Щаадат яростно вырвал ее у меня из рук.

— Бог серчай! — крикнул он мне так сердито, что я опешил.

Я тогда не знал, что по древней абхазской охотничьей этике травоядного зверя больше одного нельзя убивать. Я-то встречал охотников, которые, если им удавалось, убивали не одного тура и не одну косулю, но, видно, бывали еще и охотники, которые придерживались древних правил.

Мы спустились к леднику, осторожно ступили на него и, вонзая в него посохи, наискосок поднялись до самой лужайки, где лежал мой тур.

Щаадат знаками показал, что я могу отдохнуть. Чувствуя смертельную усталость, я растянулся на траве. Щаадат скинул с плеча бурдючок с кислым молоком, снял с пояса кружку, встряхнул бурдючок, вынул затычку и налил мне. Я выпил три кружки густого, утоляющего голод и жажду кислого молока и почувствовал себя посвежевшим. Щаадат тоже выпил пару кружек, но в отличие от меня сделал это не спеша, стараясь, как это принято у горцев, не оскорблять взор спутника слишком явным проявлением телесной жажды.

После этого он вынул из чехла свой пастушеский нож, вспорол брюхо тура, выволок оттуда ненужные внутренности, а потом за ноги подвязал тушу к своей палке. Я обратил внимание, что тушу тура он подвязал не к середине палки, а поближе к одному концу.

Мы посидели еще с час, а потом Щаадат показал рукой на солнце, давая знать, что нам пора в дорогу. Мы приподняли с обоих концов палку с подвешенным туром и подставили под нее плечи. Он встал впереди и, конечно, взялся за тот конец, ближе к которому был подвешен тур. Опираясь на посохи, мы медленно стали спускаться к леднику. В самых опасных местах Щаадат продалбливал посохом лед, чтобы мне удобней было ставить ногу.



Вечером у пастушеского костра, поверчивая на деревянном вертеле шашлык из турьего мяса, Щаадат раскрыл свою тайну. Оказывается, абхазский бог охоты Ажвейпшаа ночью во сне указывает ему на место, где ждет его добыча.

Прошло с неделю. Я живу с пастухами и больше уже не тормошу Щаадата, а жду, когда ему бог охоты подскажет время и место нашей следующей вылазки.

И опять слышу, на рассвете меня осторожно будит Щаадат. Я тихо встаю, одеваюсь, беру винтовку и выхожу из шалаша. Теперь мы идем совсем в другую сторону, на юг. Мы вышли к подножию небольшого обрывистого плато, поросшего кустарником. Щаадат кивнул головой на вершину. Я всмотрелся в заросли и увидел головку косули. Словно почуяв нас, головка косули с минуту оставалась неподвижной, явно к чему-то прислушиваясь, а потом дотянулась до куста и стала срывать с него листья. Мы долго всматривались в заросли, и я видел время от времени то тут, то там шевелящиеся кусты. Мы набрели на стадо.

Щаадат знаком показал, что надо ползти вверх, и мы поползли. Время от времени останавливались, всматривались в кусты на вершине плато, а Щаадат, мазнув палец о язык, пробовал ветер. Ветер нам благоприятствовал, он дул со стороны косуль.

Как мы ни прятались, чем ближе мы подползали к вершине, тем беспокойнее вели себя косули. И если теперь головка косули показывалась в кустах, она все дольше и дольше замирала, прислушиваясь к чему-то.

Мы подползли к ним метров на пятьдесят. Щаадат велел остановиться. В шевелящихся кустах их почти не было видно. Наконец высунулась голова одной косули, замерла, и Щаадат кивнул мне. Я тщательно прицелился и выстрелил.

Косуля, как подброшенная, выпрыгнула из кустов и побежала в противоположную от нас сторону. И сразу же кусты ожили, и грациозно прыгающие косули, то появляясь над кустами, то ныряя в них, побежали за первой.

У меня была шестизарядная боевая винтовка, и я стрелял и стрелял вслед выныривающим из кустов и словно бултыхающимся в кусты косулям. И все они бежали вслед за первой, спрыгивая с края плато на каменистый склон, мелькая в воздухе желто-золотистой шкуркой, и ни одна из моих пуль не достигла цели. Когда последняя косуля подбежала к краю плато и отделилась от него, Щаадат вскинул ружье и выстрелил. Но и он промахнулся. Косули исчезли.

— Чужой судьба! — сказал Щаадат, махнув рукой в сторону ускакавших косуль, и мы не солоно хлебавши вернулись в свой шалаш.

На следующее утро снова просыпаюсь от того, что меня будит Щаадат. Видно, бог охоты, подумал я, жалея нас за вчерашнюю неудачу, показал ему новое место.

Я быстро оделся, взял винтовку и вышел из шалаша. Щаадат с посохом в руке дожидался меня. Посмотрев на меня, он знаками показал, чтобы я винтовку оставил. Тут только я заметил, что у него за плечами нет ружья.

Ничего не понимая, я снял с плеча винтовку и внес ее в шалаш.

— А куда мы идем? — спросил я у него, выходя наружу.

— Моя знай,— сказал он и пошел вперед.

Я беру свой посох и отправляюсь за ним. Вскоре я понял, что мы идем туда, где были вчера. Зачем? Сам я никак не мог догадаться, а спрашивать не хотелось. У таких людей, я уже по опыту знал,

ни о чем спрашивать нельзя. То, что нужно сказать, они скажут сами, а то, что, по их разумению, нельзя говорить, они никогда не скажут. И все-таки я со жгучим любопытством раздумывал, зачем он меня туда ведет? Если б мы шли туда с оружием, я бы подумал, что бог охоты дал ему во сне еще один шанс попытать счастья на том же месте. А так было ничего непонятно.

Вскоре перед нами показалось вчерашнее плато. Мы стали подыматься к нему. Сколько я ни всматривался в кусты, никаких косуль сегодня не было.

Мы выбрались на плато и вошли в кустарники. Щаадат стал показывать на обломанные ветки держи-дерева, смятые кусты кликачки, раздвинутые папоротники. Здесь пробегало стадо. Двигаясь по следу, мы подошли к краю плато и заглянули вниз. В этом месте оно круто обрывалось, переходя в каменистый склон, в глубине своей покрытый буковым лесом.

Мы стояли минут десять — пятнадцать над краем плато, и Щаадат, как я заметил, внимательно всматривался в усеянный крупными камнями склон. И вдруг, вытянув руку в сторону одного из камней, он стал на что-то показывать мне.

— Коза! Коза! — закричал он. Так он называл косуль. Я посмотрел в направлении его руки, но ничего не увидел, кроме камня, обросшего с противоположной стороны кустами чубушника.

Он спрыгнул с края плато и побежал по склону, притормаживая посохом. Я спрыгнул за ним. Когда мы подошли к камню, на который он показывал, я увидел в кустах чубушника навзничь лежащую косулю с вытянутыми, растопыренными, одеревеневшими ногами. Задние ноги высовывались над камнем, но я их принял за высохшие сучки.

И тут я, наконец, ему поверил. Понять, что это ноги косули торчат из-за камня, мог только человек, твердо знавший, узнавший в эту ночь, что где-то здесь на склоне должна лежать убитая косуля.

— Твой судьба,— сказал Щаадат, показывая на косулю, но я сильно подозревал, что косуля убита его единственным последним выстрелом.

Вечером у костра, поджаривая мясо, молодой пастух, кивнув на Щаадата, сказал:

— Он видит во сне не только место, где ждет его хорошая охота. Он видит и то, что он должен встретить: коза, тур, олень, медведь.

Пожалуй, охотник Щаадат был единственным носителем необъяснимого сверхопытного знания, которого я встречал в своей жизни. Конечно, можно говорить о телепатической связи старого охотника с животными, на которых он охотится. Можно говорить о каком-то почти неприметном для глаза изменении в полете смертельно раненной косули и только позже расшифрованного им во сне, но так можно развенчать любое чудо.

## Тайга и море

Море пахло так, как пахнет здоровое тело после купания в море. Был чудесный день начала октября. Ничего в мире нет слаще этой прощальной щедрости осеннего солнца.

Мы рыбачили в море. Оно было спокойно. Его миражирующая даль сливалась с горизонтом. Казалось, дыхание могучего и доброго



животного то слегка приподымало лодку, то опускало. Дремотный шлепок волны вдруг откачнет ее, и снова спокойное, ровное дыхание.

В светящемся, струящемся воздухе — без преувеличения — стояла температура рая. Да и пейзаж с берега с легкими строениями и купами деревьев, с холмами, прохладно лиловеющими вдали и зелеными вблизи, на которых сквозь зелень уютно высовывались пятна домов (вон в том хотелось бы жить или лучше вон в том: дымчатая эйфория бездомности), в немалой степени приближался к ландшафтам рая.

Однако ржавый остов разбомбленного во время войны танкера «Эмба», торчавший из моря недалеко от нас, напоминал о реальности нашей грешной земли и о шалостях народов, еще не попавших в рай. Даже по скудным сведениям, время от времени поступающим оттуда, ясно, что такие вещи там абсолютно невозможны.

Мы с Виктором Максимовичем рыбачили на моей лодке, которой я дал название «Чегем», еще сам того не ведая, что во мне уже зреет тема моей будущей книги.

Справа от нас, ближе к берегу, сгруппировалось около пятнадцати лодок. Рыбаки время от времени ревниво поглядывали на соседние лодки, чтобы узнать, как у кого идет рыба. Иногда происходила таинственная перегруппировка всей флотилии.

Какой-нибудь рыбак замечал, что на другой лодке несколько раз подряд тащили хорошую рыбу. Зрелище вообще невыносимое. Если же это наблюдение совпадало с промежутком, когда у него самого рыба не клевала, он потихоньку снимался с места и устраивался поближе к той лодке, где рыба брала. Его переход на новое место не оставался незамеченным и другими временными неудачниками, и они снимались с места и устраивались поближе к нему.

Перемещение нескольких лодок не могло не растревожить остальных рыбаков и, даже если у них рыба неплохо клевала, они, решив, что стая отошла и на новом месте рыба будет клевать еще лучше, тоже снимались с места и пристраивались к переместившимся.

А тот первый рыбак, не зная, что он сам и есть источник всех перемещений, вдруг спохватывался, что все перешли на новое место, а он один, как дурак, рыбачит на старом. Он заводил мотор или садился на весла и, так как поблизости все места были уже заняты, да он и не стремился к близости, ибо не знал, к какой близости надо стремиться, и потому пристраивался к последнему в перегруппировке, при этом, как и все, молча делая вид, что сам прекрасно знает о причине всех перемещений. Такова технология мировой глупости.

Слева от нас далеко в море мелькали белые и цветные паруса яхт. Позади лежал город. Мы ловили ставриду на самодуры. Виктор Максимович, время от времени подергивая шнур и как бы прислушиваясь к тому, что делается в глубине моря вокруг его ставки, рассказывал о тайге. Возможно, воспоминание это всплыло в его памяти по контрасту с тем, что он видел вокруг. Вот его рассказ.

— В ту зиму я попал в тайгу на геологоразведочную работу. Мы забуривали шурфы в поисках золотоносной породы. Шурф — это колодец, иногда глубиной до тридцати метров. После каждой проходки вынимается порода и подвергается промывке на предмет проверки — есть золото или нет.

Постепенно колодец углубляется, и шурфовщик опускается на дно при помощи бадьи, которую на тросе опускают два человека, работающие на воротке.

Шурфовщик, опускаясь на дно колодца, выдалбливает кайлом несколько лунок, так называемых бурок, закладывает туда аммонит,

втыкает бикфордов шнур и запаливает его. После этого дает команду наверх, чтобы его подымали. А наверху два человека, так называемых воротовщика. Они крутят ворот и подымают его. После взрыва шурфовщик снова опускается на дно колодца и вынимает в бадье очередную порцию породы, которую тут же промывают.

Зима на Колыме начинается с того, что запоздалые гуси и лебеди ходят с растопыренными крыльями по берегам озер и рек. Крылья растопырены потому, что обмерзли. Бедняги взлететь не могут и становятся жертвами зверья и людей, если таковые оказываются поблизости.

Самые сильные морозы иногда доходят до шестидесяти градусов. При большом морозе долины и распадки ручьев окутаны колючим, приземистым туманом. Идешь — словно плывешь по разлившейся реке. В пяти метрах ничего не видно.

В это же время на вершинах гор совсем другая картина. Там ослепительное солнце, и, когда сверху смотришь в долины рек и распадки ручьев, пронизывает жуть — мрак, адская мгла. Кстати, температура воздуха на вершинах на десять, пятнадцать градусов выше, чем внизу.

При сильном морозе в тайге космическая тишина. Не слышно ни птиц, ни зверей. И только время от времени далеко разносится треск лопающихся стволов.

Итак, в ту зиму впервые бесконвойно мы жили в тайге. Нас было шестеро в одной палатке. В ней тепло, потому что обыкновенную брезентовую палатку обкладывают снегом, потом обливают водой, и снег, притертый коркой льда, хорошо держит тепло. Внутри железная печка.

Это была первая зима, когда постоянный лагерный голод остался позади. К обычной своей пайке мы глушили рыбу: взрыв — и рыба вместе с кусками льда разлетается в разные стороны. Кроме того, мы научились ловить полярных куропаток. Бутылкой продавливаешь в снегу лунку и насыпаешь туда брусники или голубики. Куропатка пасется на снегу, заглядывает в лунку, пытается дотянуться до ягод, шлепается туда и замерзает, потому что не может вылететь.

Все было бы хорошо, если б не одно обстоятельство. Я замечаю, что один из заключенных заставляет другого на себя ишачить. То ему чефирь завари, то ему консервы открой, то ему портянки постирай, то ему валенки просуши.

Они были из одного лагеря и, конечно, эти отношения у них возникли давно. Вероятно, в лагере тот, что пользовался услугами своей шестерки, защищал его от уголовников. Но здесь он в такой защите не нуждался, и видеть вблизи в одной палатке это постоянное холуйство было мучительно.

Звали этого барина Тихон Савельев. Здоровенный верзила с неподвижным взглядом зеленых, почти не мигающих глаз. Он вроде видит тебя и не видит. Взгляд из какого-то другого измерения, очень неприятный взгляд. Кто он был в прошлом, не знаю. Он уже восьмой год сидел за убийство в драке.

А человек, которого он сделал своей шестеркой, звали его Алексей Иванович, в прошлом был директором завода одного из подмосковных городков. Он был лет на двадцать старше Тихона, и потому особенно неприятно было это холуйство.

Если б не бушлат, ватные брюки и валенки, его можно было бы назвать вполне импозантным мужчиной. Он был выше среднего роста, имел красивые правильные черты лица и только в его больших, голубых, как бы теоретически плачущих глазах застыл тоскливый идиотизм ожидания справедливости.



Он сидел уже по второму сроку с тридцать седьмого года. Какая-то чушь там получилась с его заводской стенгазетой, что-то там не то напечатали. И вот он уже пятнадцать лет писал прошения и горестно недоумевал, почему в его деле не разобрались.

Он простодушно и охотно о себе рассказывал. Вот несколько случаев из его жизни, которые мне запомнились.

В тридцатые годы молодые рабфаковские инженеры все время что-то изобретали. Он тоже изобретал. Судя по тому, что он имел несколько патентов, был он инженером не без изобретательской жилки.

Но однажды ему в голову пришла гениальная идея. Он решил изобрести такое магнитное поле, которое во время войны будет отклонять вражеские пули от наших окопов.

Несколько месяцев он не спал по ночам в своей коммуналке, изучая степень отклонения железных предметов, падающих возле магнитной подковы. Он настолько увлекся своим открытием, что жена его стала роптать на то, что он из-за своего магнита совершенно перестал ощущать магнетизм ее собственных чар. Но он мужественно не обращал внимания на ропот жены, потому что хотел сделать нашу армию неуязвимой для вражеских пуль.

О своем открытии он написал в наркомат обороны, и его вызвали туда. И он там заседал с какими-то военными чинами и учеными. Среди ученых был академик, а среди военных присутствовал сам маршал Буденный.

Можно представить, что это было за время, если академик не посмел ему сказать, что он чушью занимается. Доклад его одобрили и рекомендовали продолжать опыты. Он продолжал.

Но однажды в трамвае он оказался рядом с военным, и его осенило спросить, из какого металла делаются пули. Услышав, что из свинца, он похолодел от ужаса. Он знал, что свинец равнодушен к чарам магнита.

Ни жив ни мертв он пришел домой. Он решил, что его вот-вот заберут за обман армии и доверчивого маршала Буденного. Несколько ночей он не спал, а его все не брали. Видя, что его не берут, он пришел в полное отчаянье и написал покаянное письмо в тот же наркомат, указывая, что причина ошибки в его крестьянском малограмотном происхождении, а не во вредительском желании оголить нашу армию под пулями противника. Как это ни странно — пронесло. Его больше по этому поводу не вызывали.

А вот еще случай из его жизни. Однажды, будучи в Москве в командировке, он влюбился (опять магнетизм) в одну женщину. Тогда он еще не был директором завода. Женщина эта предложила ему перебраться к ней, и он покинул жену, сказав, что по секретному заданию партии на три года отправляется за границу. Почему он был уверен, что будет любить эту женщину ровно три года, аллах его знает.

Через полгода он приехал в деревню наведаться к своим родителям. Входит в дом, а там жена его сидит в горнице. Она, бедняга, соскучившись по нему, решила немного пожить с его родителями. Вот тебе и тайное задание партии! Не помню, что он ей там соврал, но на этот раз жена оторвала его от московской магнитки.

А вот самый удивительный его рассказ. Однажды утром по дороге на завод, проходя мимо какой-то церквушки, Алексей Иванович увидел такое зрелище. Он увидел монаха, который, прикрепив веревку к колокольне и сделав на другом конце петлю, стоял возле табуретки, явно готовясь взобраться на нее.

Что же предпринял представитель самой гуманной идеологии

в мире? Он тут же пошел в милицию и сообщил об увиденном. Когда он вместе с милицией приехал на место происшествия, монах мертвый висел в петле.

— Что же вы, Алексей Иванович,— говорю,— сразу же не подошли к нему и не остановили его?

Он подумал, подумал, уставившись на меня своими теоретически плачущими глазами, и сказал:

— Город у нас маленький, Виктор Максимович, а я директор завода. Люди могли неправильно понять, почему я, член партии, общаюсь с монахом.

— А почему вы пошли в милицию?

Он опять подумал, уставившись на меня замороженными глазами, и сказал:

— Надо же было прореагировать.

Значит, какое-то смутное представление об общественном долге у него было: то ли своевольный поступок монаха должен быть наказан, то ли непорядок в виде трупа, висящего в общественном месте, должен быть устранен.

Я, конечно, вспоминаю с определенным выбором. Он и вполне невинные вещи говорил... Кстати, вот еще один случай из его золотых студенческих лет.

Однажды все студенты его курса ушли с лекции. Деканат начал дознаваться, кто был заводилой. Когда к нему сильно пристали, он назвал студента, который явно не был заводилой, и он об этом знал. Кстати, заводилы вообще могло и не быть.

— Почему же вы его назвали?

— Но они, Виктор Максимович, пристали ко мне: назови да назови. Я понял, что не отстанут, и назвал.

— А что же он?

— А он — ничего. Только перестал со мной разговаривать до конца института.

Поразительней всего в его рассказах — простодушная откровенность. Идеология — страшная вещь, и мы ее недооцениваем. Обычно мы считаем, что она навалилась и заставила. Правильно — навалилась. Но идеология, разделив людей на исторически полноценных и неполноценных, разрушила в человеке универсальность и цельность нравственного чувства. Его заменяет ничтожный рационалистический расчет, по которому своих следует любить и жалеть, а чужих надо ненавидеть и держать в страхе.

Образно говоря, по идеологии получается, что если рабоче-крестьянская старушка переходит улицу, ей надо помочь. А если буржуазная старушка переходит улицу, ей нельзя помогать. Но идеологизированный человек, то есть человек с разрушенным нравственным чувством, вообще никакой старушке не будет помогать. И если б его поймали на том, что он не помог перейти дорогу пролетарской старушке, он бы сказал: «Я ей не помог, потому что в тот момент она мне показалась буржуазной старушкой».

Он это мог сказать искренне и неискренне. Неискренний, конечно, циник, он уже понял, что все это игра и эта игра ему выгодна. Искренний страшней, ибо, не понимая, что внутри него разрушено нравственное чувство, и в этом вся суть, он, рационалистически сожалея, что не помог близкой по классу старушке, будет стремиться ввести во все сферы жизни многочисленные знаки, по которым можно отличить своих от чужих. Что и случилось. Отсюда грандиозность бюрократической машины, которая окончательно запутывает вопрос и дает новые многочисленные преимущества циникам и мошенникам.

Думать, как некоторые, что наша идеология, разрушив старую



нравственность, создала новую, хотя бы зачаточную, хотя бы частичную, хотя бы для правящей элиты, абсолютно неверно. Нравственное чувство или универсально, или его нет. Простейшее доказательство — безумная жестокость, с которой идеологи расправлялись со своими же соратниками. Сейчас жестокость снизилась, но ровно настолько, насколько снизилась идеологичность. Но я слишком далеко отошел от моего Алексея Ивановича. Я просто хотел понять, почему он в истории с этим монахом поступил столь странно и почему он даже в позднем рассказе не испытывал никакого покаяния.

Так вот, значит, этого самого Алексея Ивановича, командовавшего заводом, пусть небольшим, приспособил к себе этот Тихон. И Алексей Иванович теперь обслуживал его с той же степенью добросовестности, как, вероятно, раньше обслуживал свою идеологию.

И вот хотя я знаю все про него, а все-таки мне его жалко. И видеть его униженным для меня мучительно, и я ничего с собой сделать не могу. А ведь я уже не раз получал за это.

Однажды нас этапом пригнали в один из лагерей. У вахты встречал нас комендант с помощниками. У некоторых в руках дрыны. Все, что понравится из вещей заключенных, тут же отбирают.

Рядом со мной стоял парень лет восемнадцати. Оказывается, у него под бушлатом был надет шерстяной спортивный костюм, который дала ему мать во время свидания. Бушлат у этого парнишки был плохо застегнут, и один из людей коменданта увидел новую шерстяную фуфайку. Хотя заключенным формально и не положено ничего носить, кроме казенной одежды, но тот, конечно, хотел взять ее для себя.

— А ну, сымай! — дернул он его за бушлат.

— Не отдам, это мамин подарок! Это мамина память! — завопил парнишка.

Что-то во мне перевернулось.

— Оставь парня! — крикнул я и оттолкнул этого мерзавца.

Как они на меня навалились! Минут пять я еще держался в глухой защите, а потом рухнул. Оказывается, мне дрыном проломили череп, и я шесть суток без сознания пролежал в больнице. Прихожу в себя: злой, как змея. На весь мир и собственную глупость. На что, на что я надеялся, когда пытался его защитить?! Но, слава богу, свет не без добрых людей. В больнице оказалась чудесная врачиха. Она не только выходила меня, но я и душой постепенно оттаял за месяц выздоровления.

И вот опять чувствую, назревает бешенство, но остановить себя не могу. Однажды утром Алексей Иванович подает Тихону, который возлежит на нарах напротив меня, кружку с чефирем. Потом подает ему завтрак. И тут Тихон, поварчивая, что Алексей Иванович сам не может ни о чем догадаться, велит ему высушить над печкой валенки.

И когда этот бывший директор завода, стоя у печки, стал сушить ему валенки, я не выдержал. Сидя на нарах, я ударом ноги выбил у него из рук валенки.

— Если кому надо подсушить валенки, пусть он сам их и сушит,— сказал я, взглянув на Тихона. Он возлежал напротив меня. Тихон, не меняя позы, взглянул на меня своими зелеными, невидящими глазами.

— А ты, летун, с душком,—сказал он, наконец, а через мгновение добавил,— жалко, что такие в тайге долго не живут.

— Давай выйдем,— сказал я,— посмотрим, кто дольше проживет.

Я был сейчас готов на все и знал, что таких людей надо переламывать сразу. Он снова посмотрел на меня своими длинноресничными, сонными глазами.

— Нам спешить некуда,— сказал он и, привстав с нар, стал надевать валенок, упавший возле него. Второй валенок отлетел ко входу в палатку, и Алексей Иванович несколько раз посмотрел на меня, потом на Тихона, как бы не зная, что теперь ему делать. Потом он поднял второй валенок и поставил его возле Тихона. Тот, не говоря ни слова, надел его...

...Завывание приближающегося на большой скорости глиссера прервало рассказ Виктора Максимовича. Метрах в десяти от нас на глиссере выключили мотор, и он по инерции прошел рядом с нами. Портовый милиционер сидел на средней банке.

— Быстро сматывайте удочки,— крикнул он,— греческий пароход идет!

Я вопросительно посмотрел на него, но он взглядом дал знать, что разговоры излишни.

— Быстро! Быстро! — повторил он. Моторист дернул за шнур, и мотор снова взвыл. Наша лодка сильно качнулась от большой волны. Развернувшись на бешеной скорости, глиссер пошел в сторону рыбаков. В открытом море другой глиссер мчался к далеким яхтам. На горизонте висел белый призрак приближающегося судна.

— Пошли к берегу,— сказал Виктор Максимович и стал сматывать леску,— сейчас они море очистят.

Редкие заходы иностранных судов в наш порт всегда сопровождались освобождением поверхности моря от любых плавсредств. Считалось, что таким образом они лишают потенциальных злоумышленников возможности контрабандой перейти на судно или что-то принять от него. Но это абсолютно исключено, потому что и в порту, и поблизости от порта иностранное судно всегда находится под неусыпным дозором пограничников.

Я смотал свою снасть и, сев на весла, стал грести в сторону города. Виктор Максимович, наклонившись, собирал рыбу в целлофановый пакет. Мы поймали килограмма два ставриды. Рыбаки, ловившие рыбу бережнее нас, постепенно расползлись. Одни, как и мы, в сторону города, другие, жившие на Маяке, удалялись в противоположную сторону. Почихивая, глохли и взвывали моторы. Те, что были на веслах, взялись за них. Виктор Максимович полулежал на корме, вытянув ноги и упираясь босыми ступнями в банку. Он продолжил свой рассказ:

— ...И вот, значит, с тех пор наступила для меня странная жизнь. Ощущение такое, что рядом с тобой хищник и ты не знаешь, когда и как он на тебя накинется. Иногда мы работаем на одном шурфе, и я стараюсь следить, чтобы он не оказался за моей спиной, особенно если у него в руках кайло.

Иногда мы работаем в разных местах, и тогда я, проходя под обрывистой сопкой, поглядываю, не свалится ли мне на голову обломок скалы. Однажды ночью просыпаюсь и вижу: он, приподнявшись на нарах, смотрит на меня из полутьмы. Что задумал? Что у него под подушкой? Нож? Скоба?

Ладно, думаю, посмотрим, чем это все кончится. Алексей Иванович продолжает подавать ему завтрак в постель и по малейшему знаку заваривает ему чефирь. Но валенки, между прочим, тот уже не просит просушить. Что это означает? Не знаю.

Однажды нам, как обычно, привезли на нартах продукты и ящики с аммонитом. Кстати, мы перевыполняли норму по сдаче золота, и поэтому у нас вдоволь было чаю, курева да и спирту перепадало. Так вот, выгружаем продукты и ящики с аммонитом. И вдруг Тихон мне говорит:



— А ну, летун, посмотрим, у кого гайка крепче. Давай, кто больше выжмет ящик!

— Хорошо,— говорю,— только ты первый.

Все остановились и смотрят на нас. Все понимали тайный смысл того, что произойдет. От того, кто окажется сильней, зависит мое будущее.

Ящик с аммонитом весит пятьдесят два килограмма. Он кладет его на грудь и начинает выжимать. Я знаю, что он физически сильней меня, но у него, как у заядлого чефириста, сердце разболтано. К тому же он не умеет правильно распределять силы. А я, хоть и не занимался специально штангой, но во время боксерских тренировок в спортзале иногда подходил к штанге и знал основные правила.

Пытаясь сохранить силы, он выжимал ящик, не задерживая его на груди. Он не понимал, что гораздо правильней после того, как выжал вес, спокойно выдохнуть и с новым вдохом тянуть его с груди. Не сообразуясь с дыханием, он выжал ящик четыре раза. Попробовал в пятый раз, лицо его побагровело, ящик затрясся в руках, которые он так и не смог распрямить. Пришлось поставить его на снег.

Теперь я подошел к ящику. Я взял его на грудь. Выжал. Поставил на грудь. Выдох, и снова, набирая воздух, выжал. Я понимал, что должен его во что бы то ни стало сломать именно сейчас. Я выжал ящик семь раз. Хотел для наглядности преимущества (в два раза!) выжать его восемь раз, но почувствовал, что больше не вытяну, и поставил ящик на снег.

Смотрю на Тихона. Он все еще тяжело дышит. Не может прийти в себя. Теперь его зеленые глаза смотрят не как обычно сквозь меня, а именно на меня. И весь его облик как бы говорит, что хищник смирился.

— Силен, летун,— процедил он нехотя,— а на вид вроде не скажешь.

И с того дня я перестал его опасаться. Я понял, что он смирился. Прошло недели две. В тот день мы втроем, Тихон, Алексей Иванович и я, работали на шурфе на одной из дальних сопок.

Они спустили меня в бадье на дно колодца. Я продолбил кайлом четыре бурки, вставил туда аммонит, воткнул в каждую бурку бикфордов шнур и запалил.

— Тяните! — крикнул я наверх, влезая в бадью. Они стали поднимать меня и вдруг метрах в восьми от дна колодца бадья остановилась. Я не понял, в чем дело.

— Тяните! — крикнул я еще раз.

— Можешь помолиться,— вдруг слышу спокойный голос Тихона. Он склонился над шурфом.

Я похолодел. Через две минуты аммонит взорвется и от меня ничего не останется.

— Тяните! Тяните! — заорал я в ужасе и одновременно ненавидя себя за то, что в моем голосе дрожала мольба.

— Еще сто секунд покричишь,— спокойно сказал Тихон сверху.

И тут я мгновенно взял себя в руки и принял единственное решение. Держась руками за трос, я осторожно становлюсь на край бадьи и спрыгиваю вниз, стараясь на лету не задеть стенки колодца и вовремя спружинить ногами. Я удачно приземлился, не вывихнув себе ног. Сказался опыт прыжков с парашютом. Я загасил бикфордов шнур. Пьянящая радость спасения и одновременно буйная ярость душат меня. Идиот! Как я мог поверить в его смирение! А они молчат, не поймут, куда делся взрыв. Они, конечно, не совсем точно рассчитали, но и слишком высоко подымать меня не имело смысла, взрыв мог не достать.

Вижу, кто-то наклоняется над колодцем шурфа, и раздается унылый голос Алексея Ивановича:

— Вы живы?

Эта осторожная вежливость в обращении с возможным трупом меня почему-то безумно смешит.

— Нет,— кричу ему,— я с того света! Тут один монах тебя спрашивает! Опускайте бадью, гады!

Прошло несколько минут, видно, они о чем-то переговорили, и бадья пошла вниз. Я сел в нее, сжав в руке кайло. Ярость душила меня. Я знал, что драка будет смертельная. Я был готов на все. Бадья поднялась над колодцем. Вижу — Алексей Иванович стоит с одной стороны воротка, Тихон с другой. Алексей Иванович смущенно поглядывает на меня, словно хочет сказать, мол, что я мог поделать, хозяин велел. А Тихон нисколько не смущен, смотрит с кривой ухмылкой, мол, будешь теперь знать, как со мной связываться. У него в руке не было даже кайла. Значит, он был уверен, что раздавил меня страхом. Я вспомнил свой голос, умоляющий опустить бадью, и совсем взбесился. Я бросил кайло, выпрыгнул на снег, и мы сцепились.

Он, конечно, был сильней меня, но на моей стороне был неистовый напор, и первые несколько минут я уравновешивал его силу своей яростью. Но эта же слепящая ярость помешала мне в первые секунды свалить его точным ударом, а потом, пропустив эти секунды, я уже никак не мог отцепиться от него, чтобы нанести хороший удар. Но минут через пять, а мороз дикий, градусов сорок, он стал задыхаться, ослаб. Я отодрался от него и сильным ударом свалил его с ног. Он упал и потерял сознание. Но ярость все еще клокотала во мне. Мне хотелось покончить с ним навсегда!

Я схватил его за шиворот и поволок к старому отработанному шурфу, чтобы сбросить его туда. Здесь в тайге наша жизнь и смерть — копейка. Никто особенно не будет дознаваться. Начефирился, скажу, и оступился в колодец. Отчетливо помню, что, пока я его волок, и это мелькнуло у меня в голове.

Я уже был в десяти метрах от шурфа, когда он вдруг ожил и схватил меня за ноги. Я остановился и посмотрел на него. Все еще держа меня за ноги, в каком-то полубессознательном состоянии, он подкарабкался к моим ногам, прильнул к ним, прижавшись обессиленным телом, приютился.

Что-то пронзило мне душу. Я очнулся. Казалось, тело его, прижавшись к моему телу, просит о пощаде. Не меня просит, на мое сознание оно уже не рассчитывало, а мое тело просит. Тело просило тело! И эта странность, которую я сейчас расшифровываю, но тогда почувствовал, потрясла меня.

Я оттолкнулся от него, и он повалился на снег. Стараясь отдышаться, я стоял, ничего не видя вокруг.

— Виктор Максимович! Виктор Максимович! — донесся до меня голос Алексея Ивановича. Он тряс меня за плечо. Я посмотрел на него. Он протягивал мне мою ушанку.

— Наденьте, замерзнете! — сказал он. Приходя в себя, я взял у него ушанку и надел ее на голову.

Я посмотрел на Тихона. Он сейчас уже сидел на снегу. На голове у него тоже не было ушанки и один валенок соскочил с ноги, когда я его волок к шурфу.

— Принеси ему валенок и ушанку,— кивнул я Алексею Ивановичу.

— Ему? — удивленно переспросил он.

— А кому же еще, болван! — прикрикнул я на него.



Услышав мой окрик, он заторопился, подхватил валенок, нашел ушанку, и, подойдя к Тихону, кинул ему то и другое. Тихон надел ушанку и, время от времени выплевывая кровь изо рта, натянул на ногу валенок. Кстати, мне тоже порядочно досталось, один глаз у меня оплыл.

Я не стал упрекать Алексея Ивановича за то, что он принимал участие в попытке убить меня. Как-то все отошло. Я устал. Алексей Иванович развел костер, мы погрелись и выпили с Тихоном по кружке чефиря, приготовленного Алексеем Ивановичем. Сам он выпил обыкновенный чай. Чефирь он не пил. Берег здоровье. Как следует отдохнув и согревшись, мы снова принялись за работу.

На следующее утро я проснулся от того, что меня кто-то тормошил.

— Виктор Максимович! — услышал я вкрадчивый голос Алексея Ивановича.

— А я вам, Виктор Максимович, чефирек приготовил,— говорит он родственным голосом.

— Зачем,— говорю,— разве я вас просил?

— Для бодрости,— сказал он, слегка опешив,— я думал, вам захочется.

— Если мне захочется выпить чефирь,— говорю ему как можно внятней,— я сам себе его заварю.

Он смотрит на меня теперь уже в недоумении плачущими глазами, словно вопрошая: разве теперь не вы хозяин? Ну, что ты ему скажешь! А вся палатка проснулась и слушает нас. Уже все знали, что было вчера в тайге. И Тихон, приподнявшись с нар, смотрит в нашу сторону своими зелеными и теперь уже отчасти невидящими глазами.

— Так что же мне, вылить его? — наконец спрашивает у меня Алексей Иванович.

— Хотите вылейте,— говорю,— хотите, отдайте тому, кому отдавали.

Он подумал, подумал и поднес кружку Тихону. Тихон с достоинством принял кружку и стал прихлебывать чефирь, поглядывая на меня с видом человека, который потому-то и смотрел сквозь меня, что знал о жизни нечто такое, чего не знаю я.

И я вдруг понял, что те отношения, которые сложились между Тихоном и Алексеем Ивановичем и которые я пытался разрушить, приятны и желательны обоим. Именно обоим. И напрасно я вмешался в эту холопскую идиллию.

Но и видеть их я больше не мог. В тот же день я попросил бригадира перевести меня куда-нибудь подальше. Меня перевели к другим золотоискателям, работавшим в пяти километрах от этого распадка. Больше мы практически не встречались. Но случай этот врезался в память на всю жизнь. Как сказал мой поэт:

То, что было пережито,
Жито, жатва на века.
Пережито, значит, жито,
Перемелется — мука.

Я много думал об Алексее Ивановиче. Не будем все сваливать на идеологию. Предрасположенность к дурной гибкости, к рабскому артистизму тоже была. Это облегчило безумную рокировку... Кстати, бери мористей, пристань...

Заслушавшись Виктора Максимовича, я слишком близко подошел к ней. Я налег на правое весло и обогнул ее. Обычно там, свесив ноги, часами сидят рыбаки-любители и ловят кефаль на хлебную наживку. Сейчас милиционер гнал их оттуда. Рыбаки, слегка огрызаясь, неохотно сворачивали снасти.

— Греческий пароход,— долетел властный голос милиционера.

Устье Бееледки, где находились лодочные причалы, было запружено лодками, скутерами, байдарками и яхтами с погасшими парусами. Яхтсмены, спрыгивая за борт, заталкивали в речку свои яхты. Смех, шум, крики:

— Быстрей, быстрей, греческий пароход!

Все так спешили, правда, подгоняемые дежурным причала, словно этот греческий пароход собирался войти в нашу речушку и тогда, того и гляди, подомнет все эти хрупкие суденышки.

Я вошел в речку, подошел к своему месту на причале и привязал лодку. Я убрал весла и спрятал снасти. Мы приоделись, Виктор Максимович подхватил целлофановый пакет с рыбой, и мы вышли на берег.

Я уговорил Виктора Максимовича попытаться пройти на пристань, выпить там в кофейне по кофе и под этим хитрым предлогом полюбоваться вблизи греческим пароходом и его обитателями.

Мы вышли на приморское прадо, по которому обычно гуляют нарядные курортники и местные пижоны. В самом начале улицы у разрытого асфальта стояли два человека и смотрели в дыру, откуда доносились голоса. Виктор Максимович почему-то заинтересовался тем, что происходит под разрытым асфальтом. Возможно, после колымских шурфов дыры в земле не давали ему покоя.

Оказалось, что два инженера наблюдают за работой двух рабочих, возившихся внизу с трубами теплоцентрали. Соотношение сил, характерное для развитого социализма. Один инженер за двумя рабочими, конечно, не углядит.

Инженеры были в свежих рубашках, в галстуках и строго отутюженных брюках. Так что со стороны можно было подумать, что это дефилирующие пижоны случайно остановились поглазеть на подземные работы. Думаю, что сами инженеры тоже не были чужды такой сверхзадаче. Они были местного происхождения. По выговору я понял, что один из них мингрелец, а другой абхазец. Рабочие были русскими. Они переговаривались с инженерами, и голоса их были совершенно несоразмерны глубине траншеи. Инженеры показались мне трезвыми и глуповатыми. Рабочие были пьяными и хитроватыми.

Виктор Максимович вдруг заметил, что резиновая прокладка, которой пользуются рабочие, соединяя трубы, не годится. Горячая вода ее быстро разъест, и трубу обязательно разорвет.

— Нужна паранитовая прокладка,— сказал всезнающий Виктор Максимович,— у меня дома она есть. Могу привезти.

— Без тебя знаем,— сказал один из инженеров,— иди своей дорогой.

По-моему, он не знал, что та прокладка, которой они пользуются, непригодна, и был профессионально уязвлен. А Виктор Максимович, не понимая этого, продолжал настаивать, чтобы они приостановили работу, а он съездит домой за паранитом. Видимо, материалом этим он запасся для своего махолета.

— А этот фраер в нашем деле кумекает,— сказал один из рабочих и, приподняв чумазое лицо, посмотрел на нас с шельмовским весельем.

— Строит из себя,— сумрачно заметил другой, не подымая головы,— я бы таких давил...

Ясно было, что они пили независимо друг от друга. Вернее, до того, как они выпили вместе, они еще пили отдельно, при этом время и количество предыдущей выпивки явно не совпадало. Возможны и другие варианты. Но разбор их дал бы повод какому-нибудь психоаналитику обернуть этот анализ против меня. Просто я хотел сказать, что первый рабочий был на вершине кейфа, а второй уже входил в тоннель похмельного мрака.



Виктор Максимович продолжал настаивать на своем, и тут оба инженера взорвались и, громко ругаясь, стали с угрожающей злостью подступаться к моему другу. Виктор Максимович мгновенно подобрался, он даже слегка наклонился вперед, и на скулах его обозначились желваки.

Я кинулся между ними, одновременно пуская в ход абхазский язык. Я давно заметил, что если наш кавказец, пользуясь русским языком, входит в раж, его можно осадить неожиданным переходом на его родной язык. Эффект внезапного появления патриарха. Абхазец растерялся и замолк, а второй инженер с дружественной деловитостью приценился к рыбе, которую держал в руке Виктор Максимович.

— Если все делать по правилам,— уже мирно заметил абхазец, однако, на родном языке,— нас слишком далеко занесет...

Он как бы намекал на опасность приближения к истокам хаоса. Мы пошли дальше. Я подумал, что инженеры, вероятно, не такие уж глупые. Может, и рабочие не такие уж пьяные? Одним словом, хорошо, что все обошлось.

Забегая вперед, должен заметить, хотя это и вносит в наш рассказ некоторый резонерский оттенок, что Виктор Максимович оказался абсолютно прав. Через год трубу прорвало. Мой товарищ, живший за два дома от того места, случайно все видел в окно. Первая струя, пробив асфальт, выфонтанила на высоту двухэтажного дома.

Но тогда я еле сдерживал смех, вспоминая бурное столкновение инженеров с Виктором Максимовичем. Особенно смешно было, что оба инженера, перебивая друг друга, называли его пьяницей. Можно было подумать, что вид пьющего человека им так уж невыносим.

— За что они вас пьяницей называли,— спросил я у погрустневшего Виктора Максимовича,— может, они вас видели пьяным?

— Нет, конечно,— сказал он и, пожав плечами, добавил,— видят русский, значит, пьяница.

Мы подошли к пристани. Теплоход уже причалил. У входа на пристань стоял знакомый милиционер. При виде меня он тут же дал знать выражением своего лица, что никогда не придавал большого значения нашему знакомству.

— Кофе пить,— сказал я, якобы не замечая греческий теплоход.

— Нельзя,— сказал он миролюбиво.

— Почему? — удивился я, как человек, совершенно далекий от всякой политики.

— Греческий пароход,— важно заметил милиционер.

Собственно, осматривать его было даже незачем. И отсюда все было видно. Он был похож на обычный наш теплоход, и только труба у него была горбатая, как греческий нос.

Дуга залива, еще два часа назад расцвеченная яхтами и лодками, была пуста. Залив был приведен в состояние идейной чистоты. То, что на туристов Средиземноморья столь пустынная бухта произведет малоприятное впечатление, никого не интересовало.

Мы зашли в открытый ресторан «Нарты». Я отдал нашу рыбу повару, чтобы он ее нам поджарил. Повар охотно согласился, потому что обычно в таких случаях половину улова он забирает себе. Нас это вполне устраивало.

— Поддержим вашу репутацию? — спросил я у Виктора Максимовича.

— Поддержим,— согласился он.

Мы сели за свободный столик. Подошла официантка. Я ей заказал два кофе по-турецки и две бутылки легкого вина «Псоу». Официантка радостно взглянула на Виктора Максимовича, но он этого не заметил. Кажется, он еще доспоривал с инженерами. Официантка вздохнула и пошла.

— Потом принесите из кухни жареную рыбу,— сказал я ей вдогон.

— Сама знаю,— ответила она, не оборачиваясь, и пошла за кофе.

Было приятно, что она видела, как я с рыбой прошел на кухню. Было приятно думать, что она слегка влюблена в Виктора Максимовича. Было приятно сидеть с ним за чистым столиком под открытым небом. Было приятно ожидать кофе, легкое вино «Псоу», ожидать свежую жареную ставриду. Было вообще приятно. Такие минуты не забываются, и лучше кончить на этом.

Окончание следует

---

Евгений Рейн

# СТИХИ

## Старокрымская баллада

В Старом Крыму стоит девятисотый год,
козы пасутся, и важно растет осот.
В старой пивной в тени честное пиво льют,
давние млеют дни, медленный чистый люд.
Не докатилась весть, и Порт-Артур не пал,
там, где на площадь въезд, длинный стоит портал.
В левом его окне — общество «Инвалид»;
в правом его окне чей-то портрет стоит.
Узкий мундир плечист, выношен аж до дыр...
Кто он? Кавалерист, Врангель или Якир,
или татарский хан, или заезжий хрен,
может ли истукан дать столь заметный крен?
Я захожу тогда в эту фотоартель:
«Добрые господа, дабы не длить канитель,
вы объясните мне, кто у вас там в окне?»
Мне говорит один, турок или еврей:
«Добрый наш господин, выйдите из дверей,
сядьте на табурет, мы повернем портрет.
Как вы сказали? Нет, этого нет как нет!
Это герой войны, дважды майор Петров.
Это заказ жены. Только здесь нет цветов.
Ибо вянут цветы вот уже пятый год,
а получать заказ женщина не идет.
Выгорел весь мундир, лучше портрет не стал,
и показалось вам, будто бы генерал,
даже один погон сходит за эполет.
Точно сказать, кто он — этого нет как нет!
Может быть, сняться вам? Просимо в павильон.
Сядьте пока на стул около тех колонн».
«Это подходит мне»,— твердо я говорю,—
«Буду стоять в окне, выгорю — не сгорю.
Здравствуй, майор Петров, здравствуй и будь здоров,
штатский я человек, будь ко мне не суров.
Будем теперь стоять тысячу двести лет.
В левой руке сжимать камушек-амулет».
Тут и щелкнул затвор, вышел я в коридор,
ласково на меня Вечность глядела с гор.

## Борис и Леонид[1]

В пятьдесят шестом на бульваре Тверском
я у них в гостях побывал,
и огромный арбуз на столе стоял

[1] Б. Слуцкий и Л. Мартынов

сахарист, надтреснут и ал.
Я читал им запальчивые стихи,
возмечтав о судьбе Рембо,
и внимательно за ними следил
в створки сдвинутые трюмо.
И один недовольно в усы ворчал,
а другой веселел зрачком.
Так я понял, что я их пронять не смог,
что явился я с пустяком.
Я, пожалуй, был симпатичен им,
но ведь ждали они не меня,
каждый час мог явиться другой поэт,
представляющий времена.
Потому для меня самый смачный кусок
из арбуза вырезан был,
и усатый десятку в прихожей мне
дружелюбной рукой вручил.
Дверь неплотно захлопнулась, и когда
я шагнул на ступеньку вниз:
— Как ты думаешь, будет толк, Леонид?
— А из нас вышел толк, Борис?

## *В старом зале*

В старом зале, в старом зале,
над Михайловской и Невским,
где когда-то мы сидели
то втроем, то впятером,
мне сегодня в темный полдень
поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо,
и по сути — поделом.
Ибо, что имел — развеял,
погубил, спустил на рынке,
даже первую зазнобу, даже глупую слезу,
но пришел сюда однажды
и подумал по старинке:
«Все успею, все сумею, все добуду, все снесу».
Но не тут, не тут-то было —
в старом зале сняты люстры,
перемешана посуда, передвинуты столы,
потому-то в старом зале и не страшно и не грустно,
просто здесь в провалах света слишком пристальны углы.
И из них глядит такое, что забыть не удается —
лучший друг, и прошлый праздник, и неверная жена.
Может быть, сегодня это наконец-то разобьется,
и в такой вот темный полдень будет жизнь разрешена.
О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом, дайте слово —
никогда меня не бросить и уже не обмануть.
Боже мой, какая осень! Наконец, какая проседь!
Что сегодня ночью делать? Как мне вам в лицо взглянуть?
Этот раз последний точно, я сюда ни разу больше,
что оставил — то оставил, кто хотел — меня убил.
Вот и все: я стар и страшен, только никому не должен.
То, что было — все же было. Было, были, был, был, был.

---

*Криста Вольф*

# ОБРАЗЫ ДЕТСТВА

**РОМАН**

## 6. ПРОБЕЛЫ В ПАМЯТИ. «МИРНЫЕ ВРЕМЕНА». ТРЕНИРОВКИ В НЕНАВИСТИ

Вспоминает человек, а не память.

Человек, научившийся видеть в себе не «я», а «ты». Стилистический элемент такого рода не может быть произвольным или случайным. Скачок из третьего лица во второе (которое лишь кажется стоящим ближе к первому) утром после яркого сна.

Тебе снился — много позже той летней поездки в Л. — некий город, не твой родной, но якобы он самый, во сне ты это знала. Сумбурный, беспорядочный город, в разгар ломки — такой, каким ты его видела тогда. Ты кое-что купила, кладешь в авоську — красивые желтые яблоки. Подошедший мужчина упрекает тебя в том, что ты, мол, прикарманила одну вещь, которую тебе отдали на хранение. Ты уверяешь, что положила ее в «другое место». Грубияном мужчину не назовешь, он вовсе не хочет тебя унизить. У него волнистые светлые волосы. Обижаться на него за то, что он тебя подозревает, нельзя. Ты понимаешь: такая у него должность. Вместе шагаете вы по запущенной рощице. Полицейский в белой фуражке грубо шпыняет какую-то старуху, которая-де украла хворост, один-единственный сук. Твой спутник назидательно замечает, что порядка ради надлежит сурово карать даже за мелкое воровство, а уж о твоем проступке — сокрытии чужого имущества — и вовсе говорить не приходится! Ты киваешь. Ведешь его в большой серый квадратный дом на опушке хилой рощицы: так поредели леса к концу войны. В доме вы обнаруживаете некое подобие гардероба, две женщины громогласно беседуют о будничных вещах. Предмет, о котором ты спрашиваешь, они якобы и в глаза не видали. Ты в отчаянии твердишь, что оставила его здесь. В конце концов одна из женщин кивает на авоську с какими-то сверточками, из которой высовывается красивая, изящной формы бутылка. Да, она самая! — восклицаешь ты с беспредельным облегчением, хотя смутно сознаешь, что искала что-то другое. И спутник твой тоже доволен. Смотрит бутылку на свет: нежно-зеленая и прозрачная, чистая и безупречная — даже сердце щемит. Вот видите, говорит спутник, это был настоящий пробел в памяти! Как же ты рада, что всему есть объяснение, оправдывающее тебя и не вызывающее протеста.

Провал. Это здесь, на косогоре, поросшем травой и населенном ящерками, играла Нелли; судя по всему, ее тянет спрятаться, уйти с тех открытых для обозрения мест, где была бы надежда или опасение ее отыскать. Теперь тебе ясно, почему целых двадцать шесть лет ты сюда не рвалась. Невысказанные и утаенные зацепки — потеря родины, возможная боль свидания — скоро оказались несостоятельны. Ты робела одной встречи, которая будет неизбежной. Может статься, отнюдь не достойны зависти люди, не ведающие *этого* — смущения перед ребенком.

Вот досада, до этого дома ты пробилась не по прямой, а словно бы наугад, зигзагами, чтобы «зацапать» ребенка, — глядишь, и с помощью памяти, которая, беспомощная перед натиском подробностей, начинает выдавать удивительные мелочи. Тут, однако, ты была вынуждена признать, что никогда не сумеешь снова стать союзником ребенка, что теперь ты назойливый чужак, идущий не по более или менее четкому следу, а в ко-

---

Продолжение. Начало см. «Знамя» № 6 за 1989 год.

нечном итоге гоняющийся за ним самим, за его сокровенной, только ему принадлежащей тайной.

Это была уже не игра, и ты струхнула. Если ты будешь настаивать, ребенок выйдет из своего укрытия. И отправится в те доступные для обозрения места, куда тебе за ним идти не хочется. Ты бы должна, как раньше, шагать по его следу, решительно довести до конца полное его окружение, а внутри у тебя все крепнет желание отвернуться, отречься от него. Путь, на который ты ступила, был перекрыт запретами, и безнаказанно их нарушить не может никто.

Это было одно из мгновений полнейшей ясности, какие мы обязаны ценить, более того, искать — даже когда поиски грозят обернуться манией, а такие секунды прозрения неопровержимо свидетельствуют, что планы, которых нам нельзя оставить, невыполнимы. Освещение царило яркое, но необычное — такое бывает от горячего июльского солнца. «Свет детства» — как ты только могла надеяться вновь его обрести! — остался незримым.

Ты попросила Лутца сказать, какую поставить выдержку, ведь с этого места можно было отчетливо видеть, насколько расщепленная макушка тополя возвышается над крышей дома и каким толстым стало дерево. Рассказано ли уже, что когда-то Нелли разрешили собственными руками посадить тополевый прутик? Старый Гензике («Садоводство и древесный питомник») выгрузил из тачки деревце с земляным комом и опустил в яму, а вот засыпала ее Нелли, и она же утрамбовывала землю, пока вокруг стволика не образовалось небольшое углубление, куда она залила воду, принесенную вместе с парнишкой, учеником каменщика, в ведре из-под известки. Старик Гензике отпустил по этому случаю одну из своих сакраментальных фраз насчет благополучия дерева и благополучия человека, его посадившего, а из подвала, где пировали каменщики, неслась песня «Василечек синенький». Вершина жизни. Впечатления, которые из нормальной памяти выпасть не могут. Так же вот и она, говорит Ленка, всегда будет помнить день, когда детям отдали в полное распоряжение полусгнившую беседку в одном из старых садов. Значит, слыша слово «родина», она думает и о старой беседке? — спрашиваешь ты. — Нет. — Тогда о чем же? — Слово «родина» не вызывает у меня конкретных зрительных образов, отвечает Ленка.

Ты призадумываешься. Возможно, это и правда.

Родной дом, говорит Ленка. Да. Это люди, несколько человек. Где они, там и дом.

Она, чуть ли не озадаченная собственным подозрением, допытывается, уж не тянет ли вас, тебя и Лутца, в родные места. Сюда, например.

Вы медлите с ответом. Ведь так много изменилось, и очень сильно. Но с другой стороны... Нет, сюда вас, безусловно, не тянет, отнюдь.

Ленка молчит. Ты говоришь ей, что Нелли даже представить себе не могла, что будет когда-то жить в другом месте, а не здесь.

Ленка желает подробно узнать о Неллиных играх. Она же знает, в определенном возрасте Нелли играла в принца и принцессу, самозабвенно, как и она сама. Тебе вспоминаются долгие пешие переходы и ска́чки по жесткому дерну этого холма; вуаль и плащ вьются на ветру за спиной у Нелли, она — принцесса, а Хелла Тайхман, ее новая подружка, в бархатном берете с пером, — принц и, сообразно головному убору и обстоятельствам, все прочие придворные. Злодейства случались на каждом шагу. Отвратительное предательство одного из слуг, обнаружение, погоня влекли за собою ужаснейшие кары, а вершились суд и расправа здесь, на этом залитом солнцем песчаном холме, в воображаемых пещерах и гротах, и процедура их была чрезвычайно долгой и мучительной, что, кстати говоря, Ленкиным играм в принцессу совершенно несвойственно. Ей помнится лишь густо-зеленая сень боярышника, служившая за́мком, и горькие неудачи множества принцев, которым было просто-напросто не по силам выполнить все три задания и освободить ее.

Здесь состоялось и знаменитое выступление Зиги Дайке. Этот мальчик, поменьше Нелли, жил в первом из баровских домов. Подкравшись к ним, он неожиданно выскочил на самый край Провала (как раз там вы и стояли), вскинул вверх правую руку и зычным, визгливым от восторга голосом проорал: «Я ваш фюрер Адольф Гитлер, вы — мой народ и должны мне повиноваться. Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!» Когда Нелли с Хеллой подхватили его троекратное «зигхайль!», он вполне этим удовлетворился и более веских доводов покорности от них не потребовал.

С головкой у него было плоховато, сказала Ленка. — Почему? отозвался Лутц. Мальчишка просто повторил слышанное по радио. — Бедняга, сказала Ленка.

И вот наступило то, что люди старшего поколения и теперь еще зовут «мирными временами»: три-четыре года, которые их сознание растягивает сверх всякой меры.

Почему это ощущение не вернулось, ни разу за двадцать восемь мирных лет? Неужели войны в других частях света, где вершится ныне история, не дают покоя тем, кто не имеет к ним прямого касательства? Это был бы шаг вперед. Или же, что вероятнее, на родном нашем континенте вполне достаточно напряженностей — пусть и не приведших к горячей войне, а только к холодной, — чтобы ни на секунду не умолкало в нас чувство опасности?

Какая ошибка — ехать зимой на отдых в этот престижный пансионат. Вот и торчи теперь две недели в окружении верхушки среднего класса, отцы семейств именуются тут не иначе, как «господин профессор», матери носят западный текстиль, и все поголовно томятся скукой и распространяют убийственную стерильность. Ночью тебе снится, что едешь ты на машине по чистенькому, спланированному по линеечке красно-белому городу, что всюду попадаешь в тупики, а в конце концов поднимаешься в гору по заваленному снегом серпантину, машина идет юзом и передними колесами зависает над бездной.

Что означает этот сон в этой мирной долине, среди этих мирных людей? Наутро в газете — траурное извещение; все-таки слишком рано, хоть ты и ожидала его. Ты повторяешь про себя то, что Б., ныне покойная, сказала тебе пять дней назад. Оптимистическая скорбь, сказала она, возможно ли такое? Ты была сама не своя, поскольку знала, что видишь ее в последний раз.

Х. соглашается съездить в город. Отпускает тебя одну по магазинам и не говорит ни слова о твоих нелепых покупках. Платье, блузка, сумка. Какое наслаждение — посидеть в заурядном кафе. На обратном пути — наслаждение игрой несчетных оттенков серого на небе. Ты замечаешь их, потому что жива. Засыпаешь и пробуждаешься с мыслью о ее смерти, но ты — жива.

Мирные времена. Когда все у нас было хорошо. Мирный товар: шерстяная ткань без деревянных волокон. Когда фунт сахару стоил тридцать восемь пфеннигов, пачка масла — марку, а бананами так просто швырялись. Когда толстая кредитная книга Бруно Йордана похудела до тоненькой тетрадочки, да и записывали туда не безденежных, а всего-навсего забывчивых клиентов. (12 мая 1937 года число безработных в рейхе упало до 961 тысячи человек.) Когда в пироги клали сливочное масло.

Забыто вот что: рационирование бытовых жиров началось в разгар мирных времен, и Закупочное товарищество немецких торговцев (ЭДЕКА), только что избравшее своего образцового участника Бруно Йордана секретарем правления, вынуждено обсудить «создавшееся положение» с партайгеноссе Шульцем из «Имперского земельного сословия»; Бруно Йордан выступает перед собранием бакалейщиков по вопросам четырехгодичного плана, законодательства о рынках и специальной периодики — первый и единственный случай, когда его имя упоминается в разделе местной хроники «Генераль-анцайгера». Зима тридцать шестого — тридцать седьмого года выдалась мягкая, это подтверждено документально. После того в целом весьма успешного заседания 3 января 1937 года Бруно Йордан, конечно, еще долго сидел со своими коллегами — а может, и партайгеноссе Шульц из Берлина составил им компанию, — так что домой он явился скорее ни свет ни заря, чем за полночь, а когда, слегка пошатываясь, добрел до спальни, то увидал, что его постель занята дочкой, Нелли; Шарлотта Йордан, из предосторожности осуществившая эту санкцию, холодно сообщила мужу, что ему постлано в большой комнате, на новом диване, когда же он пустился было в пространные объяснения, она оборвала его тираду одним-единственным словом: Шатун.

Она сказала ему «шатун», подумала Нелли, снова засыпая, и спря-

тала это слово подальше. А благодаря тому, что подумала, сохранила его. Мы с ним хорошо жили, так скажет Шарлотта позднее, в первый послевоенный год, когда Бруно Йордан был еще в советском плену, а Шарлотта Йордан показывала всем семейную фотографию, где изображен и он, в мундире унтер-офицера. Мы хорошо жили. Настоящий коммерсант, муж-то мой. За что ни возьмется, во всем удача. Между супругами — на фотографии — новый низенький столик, выложенный шестнадцатью кафельными плитками («bleu», то есть в голубых тонах), причем на угловых плитках нарисованы парусники средь бурного моря. За столиком, на диване с цветастой терракотовой обивкой, вытянулись в струнку дети. Мы всегда жили хорошо.

Ленка, которой не очень-то интересна семейная жизнь деда и бабки, все ж таки навострила бы уши при слове «шатун», но ей это слово не назвали. Нельзя и незачем говорить все — вот что надо уяснить. Куда бы еще ни проникло слово, нет нужды ставить перед собой задачу сказать все, что можно выразить словами, — пусть в зоне неизреченного уцелеют стыд, и робость, и почтение.

Доказано вроде бы, что дети не желают знать все о жизни своих родителей. Нелли, сверх меры любопытная и вынужденная в детстве утаивать это свое ценное качество — даже от себя самой, рискуя утратить его, — нимало не жаждала разоблачений, которые могли бы уронить родителей в ее глазах. Она страдала, когда причудливые настроения, которые все чаще обуревали мать и все чаще обращались против отца, выходили за рамки того узкого семейного круга, где их терпели и обходили молчанием. Ведь иной раз — бывало и так! — тетя Лисбет и тетя Люция суетились в йордановском кабинете вокруг рыдающей Шарлотты, а наверху, за кофейным столом «усишкиной» бабули, все дожидались, когда же в конце концов начнется праздник в честь дня рождения. Шарлотты нет как нет. За столом пожимают плечами и вот уж принимаются разливать кофе, а тетя Лисбет, еще умевшая быть веселой и непосредственной, уговаривает свою племянницу Нелли не делать «такое» лицо и рассказать стишок. И Нелли, конечно, встает и декламирует: Нашей милой бабушке шестьдесят пять лет...

Сама сочинила, прямо не верится.

Шарлотта Йордан способна целыми днями не разговаривать с мужем, если и скажет, то разве что самое-самое необходимое. По делу, ледяным тоном, которого Нелли боится пуще всего на свете. Сколько раз утренние часы перед школой проходили в молчании, адресованном друг другу, но не детям, отчего за столом велись какие-то ненатуральные разговоры, сколько раз все-таки вспыхивал скандал, для которого достаточно было самого пустячного повода — потерянной перчатки, нечищеных башмаков, детской неряшливости, сколько раз Нелли наконец-то захлопывала за собою дверь, и столько же раз она давала себе клятву, что ее дети ничего такого не увидят. (Не раз ты проглатывала резкое слово, с раннего утра вертевшееся на языке из-за немыслимой, неистребимой детской безалаберности, — слово, да. Но не раздражение, которое передается им. И против которого они, кстати говоря, могут и взбунтоваться, не в пример Нелли; Нелли приходится либо молчать, либо дерзить.)

Почему, собственно, родители любят своих детей? — спрашивает Ленка. Как назло, сейчас, как назло, здесь. Вы по-прежнему стоите на краю Провала; прошло минуты четыре, пять, не больше. Ты вдруг осознаешь, что Х. не сказал еще ни слова. И говоришь: Спроси у отца. Х. ерошит ей волосы, встряхивает за плечи. От эгоизма, зайчонок. — Ясно, а еще почему? Когда Нелли столкнулась с такими вопросами? Более чем поздно. Родительская любовь была неприкосновенна, как и любовь супружеская.

Лутц пожелал дать племяннице исторический очерк развития родительской любви. Любовь, говорит он Ленке, имеет вполне определенный смысл на вполне определенном этапе развития вида. Мы к ней привыкли и считаем ее «естественной». Не думай, однако, что родительская любовь получила бы развитие, если б человечество несло из-за нее большие потери.

А почему слоны хоронят своих собратьев только в родных местах? — спрашивает Ленка. Она сама видела по телевизору: стадо тащит мертвого слона нередко за много километров к месту погребения клана и там хоронит по определенному ритуалу. Кому это нужно? И что это — животный инстинкт? Или? Что думают слоны? Во что они верят?



Лутц убежден, что происхождение этого животного инстинкта рано или поздно будет выяснено. И незачем Ленке пускаться в сверхъестественные толкования.

С каких же пор родительская любовь так тесно переплелась со страхом? Лишь с тех пор, как всякому новому поколению приходится отрекаться от того, во что верили родители?

Твой брат Лутц — удивительное дело, но и ему, и его сверстникам не пришлось ни единого дня быть солдатами в полном смысле слова, и это в центре Европы, в середине нашего столетия, — твой брат Лутц одиннадцати-двенадцатилетним юнгфольковцем пристреливался по картонным головам Черчилля, лорда-вруна, и Сталина, большевистского вождя. Об этом, однако, уместно рассказать в другой главе, ведь пока мы еще не готовимся к настоящей войне, а ведем битву за выпуск продукции, воюем за рождаемость и даем бой пороку — битвы, войны и бои, которые входят в привычку, так же как и периодические учения по затемнению. А нашто подвал выдержит бомбежку? — Не смеши. Расходы!

В День германского вермахта Бруно Йордан со своими детьми угощается в казарме имени генерала фон Штранца вкуснейшим гороховым супом из походной кухни, но по картонным мишеням в тире попадает не так метко, как двадцать лет назад, когда он, единственный в роте, получил три дня внеочередного отпуска за выдающиеся результаты в стрельбе. Зрение у него все ухудшалось, особенно в левом глазу, — этот изъян он передал по наследству своей дочери Нелли, но заметит она это лишь в четырнадцать лет.

После первоначального уныния и одиночества в новом районе Нелли открыла «на бочках» школу и учит соседскую мелюзгу основам счета и чтению, распевает с ними английскую песенку «Бэ-бэ блек шип», а из закона божьего рассказывает про рождество Христово и распятие. «Бочки» на самом деле не бочки, а излишки канализационных труб, которые забыли вывезти, и они так и валяются на заросшем бурьяном пустыре между песчаной горой и йордановским домом. Одна из самых популярных игр в «бочечной» школе — в нее играют на переменках — «Мостик, мостик золотой». Навсегда испорченная, изгаженная Силачом Руди с Феннерштрассе. Силач Руди с девчонками никогда не играл, а в «бочечную» школу явился потому, что Нелли, эта дура набитая, вконец ему обрыдла, — он так прямо и сказал. И влез на переменке в игру. «Сломали мост, сломали мост — его чинить мы будем». Вместо «сломали» Руди пропел «зас..ли», прогорланил текст, от которого Нелли, хоть она толком его не поняла, не мешало бы, пожалуй, оградить своих маленьких учениц. Что она и сделает.

Засим следует огненно-красная сцена — красная, невзирая на то, что в глазах у Нелли темно, — страшное, хриплое рычание, причем издавал его не только Руди, нет, но и она тоже, режущая боль в переносице и яростный восторг — наконец-то можно лупить кулаком по мягкой плоти. Потом она, бледная как мел, сидит на нижней ступеньке своего красивого нового дома, а из носа у нее хлещет кровь. Мама, в тревоге, быстро принимает меры: ребенка плашмя на диван, холод на затылок, в ноздри — пропитанные уксусом тампоны; «усишкина» бабуля кладет Нелли на лоб сморщенную шершавую руку: Ничего, все обойдется.

Никто не понимает, отчего она безутешна. Им ведь неизвестно, что открылось Нелли, прежде чем у нее потемнело в глазах: Силач Руди ненавидел ее и пришел нарочно, с твердым намерением унизить ее и погубить. А сама она, начиная с некоего резко очерченного мига, оказалась во власти того же стремления: одержать верх над противником! Одолеть! Отколошматить его! Но тут он ее отпустил: добился своего. Сделал ее такой, как он сам.

Школа «на бочках» не могла более стать тем, чем была. Никто в целом свете не мог вернуть Нелли прежнее гордое сознание, что она не чета всяким там Руди. Хотя ею отныне восхищались и непременно звали поиграть в мяч. Она-то и набирала теперь команду, а если играть ей было неохота, значит, неохота, и тогда, бог весть почему, она вихрем гоняла

на своем допотопном велосипеде, который вечером после драки с Силачом Руди против обыкновения упорно и беззастенчиво выпрашивала у матери, и в конце концов та со вздохом пошла и за двадцать рейхсмарок купила у одной клиентки этот драндулет.

Ежедневные тренировки сделали свое дело: Нелли в совершенстве овладела машиной. Теперь она могла поехать куда угодно, остановиться всюду, где только увидит ребячью потасовку, и помочь слабому; могла приходить и уходить, никому не отчитываясь, а после, вечером, снова спокойно сидеть с остальными на валунах у подножия песчаной горы или в комнате «усишкиной» бабули, меж тем как солнце далеко за Провалом будет клониться к закату, а «усишкина» бабуля затянет дребезжащим голосом: «Солнце вечера златое, как прекрасно ты, не могу без упоенья зреть твои лучи».

Мы уже говорили, что «усишкина» бабуля пела? Ведь они с «усишкиным» дедом жили теперь не на Адольф-Гитлерштрассе, а в верхнем этаже йордановского дома. Две комнаты, кухня, уборная, печное отопление, в месяц за все про все тридцать две рейхсмарки, каковые она пунктуально по первым числам вручала зятю, под расписку в особой тетрадке.

После долгого перерыва она приснилась тебе сегодня ночью. Странным образом она была почти слепая — она, а не Неллина мама, у которой под конец нашли глаукому, правда, тогда она уже страдала смертельным недугом и все прочие болезни не имели значения. Слепая — «усишкина» бабуля, которая до последнего дня шила своей дочери Лисбет тончайшие вещицы. Быть может, эта приснившаяся слепота отражает не что иное, как упрек себе: ведь, пока она была жива, ты не выкроила времени показать ей Рут, первую ее правнучку, которой она связала мягкую шерстяную кофточку с капюшоном, и эта кофточка пережила ее на долгие годы, переходя в семье от одного младенца к другому...

Возможно и иное: «слепота» Августы Менцель означает лишь, что она видеть не хотела тот город, где жила последние годы, и ту реку, на берегу которой он раскинулся, — Эльбу. Мои глаза повидали достаточно, часто говорила она. Без объяснения осталась совершенно чужая квартира, по которой она водила тебя во сне, и рвение, с каким ты принялась вытирать пыль с чужой полированной мебели, покуда она в праздном ожидании сидела в кресле, — нелепая ситуация. При этом она вполне естественно с тобой разговаривала, а ты, радуясь, что человек, давным-давно умерший, может снова, как прежде, вести беседу, хотела сказать ей наконец, что все до сих пор горюют о ней. Но она не дала тебе слова сказать, а обратила твое внимание на то, что мертвые снятся к хорошей погоде, а вот когда во сне теряешь зуб — тогда жди в доме смерти. Бóльшая часть сказанного ею утратилась. Память сохранила только, что ей, мол, нельзя нагибаться над паром, из-за глаз, — это ей-то, кого ты сплошь и рядом видела за стиркой, среди густых клубов пара.

Потом вдруг ты очутилась — не ты, а Нелли, девочка Нелли, — в родительском доме, в узком проходике между гладильной, где стоял электрокаток для белья, и магазином, на мешке сахару, а «усишкина» бабуля, слепая, стояла рядом с Нелли и до неприличия грузно опиралась ей на плечо. От тяжести ты и проснулась. Не могла эту тяжесть стряхнуть.

Немецкая девочка должна уметь ненавидеть, говорил господин Варсинский, ненавидеть евреев, коммунистов и прочих врагов народа. Иисус Христос, твердит господин Варсинский, нынче был бы на стороне фюрера и ненавидел бы евреев. Ненавидел? — сказала Шарлотта Йордан. В этом он, пожалуй, был не силен. Вечером она спрашивает мужа: Слыхал, что́ он преподносит детям на законе божием? — Пусть рассказывает, что хочет. Незачем во все это вникать!

Ходить в церковь Йорданы не любили. Они любили своих детей, и свой магазин, и свой новый дом. Бруно вдобавок любил ЭДЕКА, Шарлотта — свой альпинарий, который устроила террасами на прежде голом склоне и мало-помалу засадила так, что он стоял в цвету с весны до осени. Здесь только и отдыхаю, говорила она, от проклятущего торчания за прилавком. Слово «проклятущий» в связи с магазином.

Нелли ненавидит Силача Руди. Евреев, насколько ей известно, она еще не видела, коммунистов тоже. Ненависть к этим неведомым группам людей по заказу не функционирует — изъян, который надо скрывать.



Попытка компенсации: вместо сочинения на тему «Кто предал в конце мировой войны немецкий народ?» она подает господину Варсинскому собственные стихи. Что? — говорит господин Варсинский, взгляд которого, устремленный на Нелли, покуда не лучится надлежащим теплом. Не сама же ты это сочинила! Ты списала из газеты! («В кольце врагов был немецкий народ, /когда весь мир полыхал./ Но наш отважный немецкий солдат/ к нам домой врагов не пускал. /Когда евреи предали нас,/ навязали Германии мир...») Вот и засвидетельствовали нечаянно, каково было качество газетных стихов и как господин Варсинский преподавал историю. (Рифмы память хранит добросовестно и долго.) Разрази меня гром! — говорит господин Варсинский. Неплохо. Ну-ка, иди сюда и прочти вслух. Кое-кому невредно взять с тебя пример.

Нелли стоит под транспарантом, который сделали старшеклассники на уроке черчения, отрабатывая шрифт «антиква»: «Я жить и чувствовать рожден как немец, /Немецкий дух — мой клич и мой кумир. /Сначала мой народ, лишь после — чужеземец, /Сперва отечество, а после — целый мир!» Да, меланхолично говорит господин Варсинский. До этого мы еще не доросли. Люди не созданы для совершенства. Нелли и ее подружка Хелла Тайхман, которой выпало счастье быть дочерью книготорговца, в переменку решили: они обязательно постигнут совершенство. Их не испугаешь. Они хотят стать новыми людьми.

Наконец-то ты сообразила: запах. Лутц, как тут пахнет? Лутц ухмыльнулся: Давно заметил. Как раньше. Давний аромат лета над Провалом, над песчаной горой, над садом Йорданов, где Нелли читает, лежа в картофельной борозде, и ящерка прибегает погреться у нее на животе в солнечных лучах, а она думает или чувствует (во всяком случае, тебе казалось, что она тогда так думала или чувствовала): как сейчас, не будет уже никогда. Описать бы все это, думала ты, шагая за остальными по кромке холма в глубь Провала. Как вольготно ей тут было. Как часто она, шальная от беспочвенной радости, носилась вверх-вниз по песчаной горе. Или стояла под вечер у окна в комнате «усишкиной» бабули и долго смотрела на город, на речную пойму вдали. Или ложилась на живот в неглубокую, прокаленную солнцем ложбинку, здесь, в Провале, прижималась всем телом и лицом к сухой комковатой земле, к жестким травам, от которых шел этот запах — единственный и неповторимый. Или вот облака. Лежишь на спине среди ржаного поля и глядишь на облака. Неллино тело, совсем ей чужое, уютно угнездившись, посылало в мозг сигналы, сгущавшиеся во фразу: не хочу уезжать отсюда, никогда.

Тебе тут нравится, Ленка? — Да-да, конечно. — Вежливость детей.

Там, где сейчас Ленка, стояла, прижавшись к матери, Нелли в ту июньскую ночь, когда гитлерюгендовцы устроили праздник солнцеворота. Факельные цепочки по краю холма, штабель дров, который вдруг занялся огнем, и крик из множества глоток: «Германия — святое слово, в нем беспредельности глас». (Сведения насчет программы получены в Государственной библиотеке — «Генераль-анцайгер» за тридцать шестой год; картины — «факельные цепочки», вспыхивающий костер — подсказала память.) Девиз празднества гласил: «Гореть хотим мы, чтоб деянья наши зажгли огнем грядущий род». А гебитсфюрер заявил, что теперь, мол, недостаточно взывать: «Проснись, Германия!», — теперь мы должны вскричать: «Проснись, Европа!» Нелли замерзла, и мама закутала ее в свою теплую кофту. Под конец она расплакалась от усталости, поскольку «все это было для нее чересчур». Вообще-то она плакала редко. Немецкие девочки не плачут.

Но ведь речь идет о том, умеет человек ненавидеть или нет. Нелли нужна была уверенность, пусть даже и обидная для нее. И нежданно-негаданно ясность внес вечер после дня рождения Лори Тиц.

Во-первых, идти ей неохота, но придется. Что ты, собственно, против них имеешь? — Чудны́е они какие-то. — Тоже мне причина!

А технические подробности! Что Нелли наденет да что подарит Лори Тиц. Книгу? — Она книг не читает. — Ну, знаешь ли! — Нелли, конечно, смекнула, что тицевский день рождения маме важнее любого другого приглашения, и знала почему: отец Лори был единственный на весь класс фабрикант. — Веди себя как полагается, говори что хочешь!

В довершение всего пошел дождь, мелкий, моросящий. Макаронные

фабрики красотой не блещут — это Нелли порадовало. Вилла Тицев располагалась за краснокирпичным зданием фабрики, туда вела сводчатая арка. Интересно, чем все-таки вилла отличается от обыкновенного дома. Красная ковровая дорожка на лестнице закреплена блестящими латунными прутьями — может, все дело в этом. Дверь открыла горничная в черном платьице, белой наколке и белом передничке, точь-в-точь официантка из кондитерской Штеге. Затем вышла Лорина мама. — Значит, ты и есть маленькая Нелли. Я слышала о тебе много хорошего... — А вот и сама Лори с завитыми локонами, в клетчатом платье из тафты с большим бантом. — Ну, Лори, развлекай гостью. Звонил папа — она сделала ударение на последнем слоге, — он заглянет к нам позже. Ах, бедняжки мужчины. Твой бедный отец тоже так много работает? — Довольно-таки, — сказала Нелли. — Но мама, пожалуй, работает еще больше. — Какая прелесть, эта малютка.

За горячим какао у Нелли открывается насморк. Ее подружка Хелла, которая куда ловчей выпутывается из сложных ситуаций, вежливо просит разрешения сходить в переднюю за носовым платком, и ее заклинают ради бога не стесняться. Очаровательно! — говорит госпожа Тиц своим приятельницам, когда Хелла выходит. Нельзя же теперь, чтоб еще и Нелли встала. Да она вдобавок сильно сомневается, взяла ли с собой платок, приготовленный мамой. Она выпивает пять чашек какао — лишь бы не высовывать из чашки нос. Мы очень рады, что угадали твой вкус...

Во время игры в «испорченный телефон» — госпожа Тиц начала ее милой фразой «Дети любят праздник дня рождения» — Нелли передает офицерской дочке Урзель: «Бритта и Сильвия — дуры набитые». Белотелая Урзель не решается понять этакую дерзость. А Хелла в итоге провозглашает: «Идемте со мной, будем кофе пить».

Очаровательно, говорит госпожа Тиц. Такие непосредственные эти нынешние дети! Ну, а теперь поиграйте в «узнай меня» или в «третий лишний»...

Господин директор Тиц в самом деле приходит несколько позже; это невысокий, кругленький человечек с зачесанными назад волосами, жидкими и бесцветными, в огромных роговых очках. Нелли никогда еще не видела, чтобы мужчина носил перстень с черным камнем на мизинце и оттопыривал этот мизинец, когда стоя пьет из крохотной чашки кофе, который госпожа Тиц называет «мокко». Господин Тиц расспрашивает, какие у Нелли отметки, и сравнивает их с отметками своей дочери Лори. Он укоризненно вздыхает и никак, ну просто никак не может взять в толк, почему они такие разные; хотя объяснение тут самое простое и буквально вертится у Нелли на языке: Лори глупа и ленива.

Этот вывод — как вспышка молнии. Действительно: Лори попросту глупа, а господин Варсинский, давно это заметивший, только и может изредка намекнуть на сей факт взглядом или слащавыми нотками в голосе во время доброжелательной беседы с нею. Но ведь глупцы взглядов не понимают, в том-то и дело. А вот Нелли — она сразу схватывает, что означает взгляд, которым господин Тиц обменялся с женой, прежде чем предложил Нелли навещать Лори и при случае делать с ней вместе уроки. Супруги Тиц полагают, что это будет очаровательно, и какао, само собой, всегда найдется, а потом можно поиграть в прекрасной Лориной детской, ведь Нелли там понравилось, верно? Госпожа Тиц точно видела.

И тут — не впервые, но как никогда отчетливо — Нелли чувствует, что как бы раздваивается; одна ее половина беспечно играет со всеми вместе в «Еврей свинью зарезал — какой возьмешь кусок?», а вторая наблюдает из угла за ними и за нею самой и видит все насквозь. А видит она вот что: здесь от нее чего-то хотят. Расчетливые. Пригласили, чтобы украсть у нее то, чего иным способом не выманишь.

Воссоединив свои половины, Нелли вдруг оказывается в передней, надевает пальто. Машинально сует руку в левый карман: платок на месте. От госпожи Тиц так просто не улизнешь. Нелличка, детка, что случилось? Ведь еще будет желе со сбитыми сливками, а уж потом, если хочешь, моя приятельница отвезет тебя домой на машине.

О нет. Нелли твердо решила уйти, и если ради этого придется чуток обнаглеть и даже приврать, то, конечно, это прискорбно, однако ничего не поделаешь. Желе, говорит она, ей нипочем не проглотить, а от сбитых сливок ее всегда тошнит. — Жаль, жаль. — Что же до поездки на машине, то с женщиной за рулем она не поедет, ни за что. Странно, странно. Иди уж, раз тебя не удержать.



И Нелли уходит. Мама, оповещенная по телефону, испытующе глядит на нее, даже лоб ей щупает. Не жар ли у тебя? — Нет, — говорит Нелли. Я туда больше не пойду.

Мама делает Нелли бутерброд с ливерной колбасой. Встретившись глазами, обе они невольно начинают смеяться, сперва сдавленно, а потом громко прыскают и в конце концов буквально заходятся хохотом, хлопают себя по коленкам, утирают руками слезы. Ах ты, обманщица, говорит Шарлотта Йордан. Смотри у меня!

Еще полчасика можно поиграть. Лутц уже спит, а завтра воскресенье. Нелли позволено включить торшер в эркере, сесть в круглое мягкое кресло — подарок отцу от фирмы «Катрайнер» за успешный сбыт ячменного кофе — и положить свою книгу на мамин столик для рукоделия. В соседней комнате гости — папин друг Лео Зигман с женой Эрной. У Лео Зигмана лысая, похожая на огурец голова и непорядок с носоглоткой, отчего он по нескольку раз в минуту издает какой-то щелкающий звук («прощелкивается», как вполне может сказать Шарлотта Йордан, уважающая в Лео Зигмане, книготорговце, образованность, но и только). Он сидит прямо напротив портрета фюрера, что красуется над письменным столом и приобретен Бруно Йорданом как раз у него, у Лео Зигмана (формат 80 × 60; полупрофиль, в фуражке, воротник плаща поднят, стальной взгляд устремлен вдаль; на заднем плане сероватая неразбериха, кипение туч — все это должно показать фюрера «обвеянным бурей» и действительно показывает); за спиной у Лео Зигмана новый, сверкающий полировкой комбинированный шкаф, центральная секция которого пока еще только ждет книг, а присылать их будет Лео Зигман. Нынче он принес «Приход и расход» [1], просто чтоб внести ясность: И до нас, мой милый, много чего было известно о коммерции. Два тома. Их мы поставим рядом с «Битвой за Рим» [2], а на следующий раз у меня тоже кое-что есть в запасе, тут даже и вопроса нет, каждый обязан знать эту книгу — «Народ без пространства» [3].

Если не читать, можно без труда следить за разговором в той комнате. Во-первых, Зигманы плавали на пароходе по Рейну, от общества «Сила через радость», старые партийцы в своем кругу, просто замечательно.

Во-вторых, национал-социалистское воспитание и образование — любимый конек Лео Зигмана. Он от души приветствует насыщение всей школьной программы биологической мыслью, ведь это означает, что здоровое национальное чувство получит прочную научную основу. А если говорить лично о нем... Образная память вдруг обретает небывалую четкость, будто глядишь в объектив фотокамеры и в кадре возникает картина: Лео Зигман, чуть наклонившийся вперед, с бокалом вина в руке, сбоку на него падает свет торшера, играет бликами на лысине. Если говорить лично о нем, то в их классе — в реальной гимназии, еще при кайзере, заметьте! — учился один еврейчик, некто Итциг. В чем было дело, он не помнит, да это и неважно Так или иначе, войдя утром в класс, где эта мокрая курица Итциг уже сидел за своей партой, каждый мимоходом непременно угощал его затрещиной. Инстинкт, что ни говори, самый настоящий инстинкт. Пахло от него противно, что ли.

Это и был — хотя Лео Зигман, конечно, ничего такого и в мыслях не держал — первый еврей, с которым Нелли довелось познакомиться поближе. Но сперва в комнату пулей влетела мама. Живенько в постель, ну, давай, без разговоров. Ты что, подслушивала?

Мальчишка-еврей. Он виделся Нелли как наяву. Бледный, лицо остренькое, волосы темные, волнистые, кое-где прыщи. Ходит почему-то

[1] Роман Г. Фрайтага (1816—1895) — своего рода беллетристический учебник по решению национальных и социальных проблем с позиций национально-либеральной буржуазии.

[2] Исторический роман Ф. Дана (1834—1912), немецкого писателя и историка, занимавшегося главным образом древними германцами и средневековьем.

[3] Роман Г. Гримма (1875—1959); заголовок этой книги стал лозунгом национал-социалистской политики экспансии.

всегда в брюках «гольф». Сидит за партой как мокрая курица, и каждый мимоходом... Ей тоже надо пройти мимо него. А значит, и «влепить затрещину». Или, может, не стоит? Он ведь думает, что она ие сумеет. На то и рассчитывает, ведь все евреи расчетливы. В самую точку попал, в самую слабину, а от этого Нелли по-настоящему свирепеет. Она собирается с духом, твердо зная: пройти мимо него необходимо, позарез необходимо, это ее обязанность. Она просто из кожи вон лезет. Кадры бегут быстрее. Но никогда, ни разу, хотя она успевает хорошо познакомиться с еврейским мальчишкой и в точности знает, что он думает — прежде всего, что он думает о ией, — ни разу ей не удается пройти мимо него. В решающий миг пленка всегда рвется. Всегда наступает темнота, когда она уже совсем рядом с ним, он уже голову поднимает, а заодно, к сожалению, и глаза. Так ей и ие дано узнать, сумела ли бы она выполнить свою обязанность. Узнаёт она другое, что предпочла бы не знать: ей совсем не хочется попасть в ситуацию, когда надо будет волей-неволей эту обязанность выполиять. По крайней мере не хочется выполнять ее в отиошении этого мальчишки, которого она так хорошо изучила, а потому ие способна ненавидеть. Тут-то и заключена ее ошибка. «Слепая ненависть» — да, вот что сгодилось бы, вот что было бы единственно правильным. Зрячая ненависть попросту слишком трудиая штука.

Фюреру иеобходима возможность слепо на вас полагаться — это самое главное.

Тягостное чувство, не поддающееся объяснению. Ты начинаешь следить за дорогой: вы шли по дну Провала и приближались к месту, которое Нелли после того случая никогда уже не удавалось миновать без тягостного чувства и спокойным шагом. Зачем ее тогда под вечер понесло к газовому заводу, можно теперь только гадать; Провалом ходили на остановку, собираясь куда-нибудь в сторону Веприца. Но так ли уж часто это бывало? С какой стати ей явился этот дядька, остается загадкой.

«Явился» — пусть будет это слово, хотя в самом происшествии при всей его нереальности, безусловно, не было ничего сверхъестественного, да и налет нереальности присутствовал в нем лишь из-за полного Неллина недоумения. Каждый ребенок знал, что надо остерегаться бродяг, которые летом охотно устраивались в Провале на ночлег. Но этот дядька... На бродягу вроде не похож. Одет хорошо, причесан, наверняка и умыт. Не из тех, что спали в копнах сена. Только вот стоял он, как назло, на краю мусорки — по левую руку, не доходя до первых домов поселка железнодорожников, раньше была нелегальная свалка — и смотрел на нее... Присосался взглядом, так ей теперь кажется. Во всяком случае, не могла Нелли просто повернуть и убежать отсюда, как бы ей хотелось и нужно было поступить. Назойливый, липкий взгляд влек ее дальше, точнехонько мимо этого жуткого типа, который вытащил из брюк что-то длинное, белесое и все тянет, тянет эту штуку, и белесый, гадкий червяк становится все длиниее, а Нелли не в силах оторвать от него глаз, но вот наконец она одолевает десять, двадцать шагов, и чары спадают — можно кинуться наутек, сломя голову, во весь дух.

Хотя она ни минуты не боялась, что дядька побежит за ней.

Когда она примчалась домой, никто уж и не помнит. Не помнят и о том, «учуяла» ли что-нибудь Шарлотта (я чую, если что не так!); несомиенно одно: Нелли промолчала, поскольку сразу же отнесла это происшествие — она в самом деле не поняла его, сохранила как зрительный образ и истолковать сумела лишь много позже — к разряду инцидентов, о которых надлежало строго хранить нерушимое молчание. Почему, собственно говоря? Это один из вопросов, на какие почти невозможно ответить, ведь ответ ничем конкретным, осязаемым не подкрепишь, придется звать в свидетели взгляды, подрагивание век, поворот головы, перемену интонации посреди фразы, недоговоренности, незавершенные или обманные жесты — как раз те несчетные детали, что строже любого закоиа регламентируют, о чем можно говорить, а что и каким образом надо неукоснительно обходить молчанием.

Теперь Нелли берет в руки своих друзей, ящерок, что называется, через силу, но все-таки берет, до того дня, когда одна из ящерок, оставив свой хвост у нее между пальцев, удирает прочь, а у Нелли затылок и шея покрываются гусиной кожей, как бывает с нею в тех редких случаях, когда к отвращению примешивается жуть. Даже ловля пауков становится проблемой. Правда, время от времени она вынуждена это делать — и пауки неизменно живехоньки, — чтобы не подорвать свою репутацию: Нелли что хочешь в руки возьмет — паука, жабу, муху. На жаб и мух отвращение пока не распространилось.



(По сей день затруднительно проследить связь, судя по всему, возникшую тогда между безымянным еврейским мальчишкой, которого Нелли узнала через Лео Зигмана, и белым червяком. Что общего у прыщавого бледного мальчишки с жабами, пауками и ящерицами? А у них, в свою очередь, — с убежденным фанатичным голосом, который в ночь солнцеворота выкрикивал возле пылающего костра: «Мы сохраним себя в чистоте, и пусть жизнь наша зреет для армии, фюрера и народа!» Очень хочется сказать: ничего, ничего общего у них нет. Так должен гласить истинный ответ, и ты бы все отдала, лишь бы он был еще и правдивым. Мужчина твоего возраста, чье детство, по его собственным словам, кануло в «ничто», признается, что до сих пор не в состоянии непринужденно — то есть без чувства вины — разговаривать с евреем. Ты думаешь о том, как, не имея представления о собственном своем детстве, он может создавать — этот человек скульптор, — скажем, произведения для детей. Это не упрек. Это вопрос.)

Стало быть, каким образом — неизвестно. Но факт есть факт: в результате смешения и сплавления, казалось бы, весьма далеких друг от друга компонентов она, Нелли, услыхав слово «нечистый», обязательно представляла себе всевозможных паразитов, белого червяка и лицо того мальчишки-еврея. Мы мало знаем, пока остается неизвестным, как случается вот такое; пока мы способны лишь удивляться, что эти картины вызывали у Нелли не ненависть, не отвращение, а робость — чувство, от которого рукой подать до страха.

Так или иначе она сторонилась нечистого, в мыслях тоже, и стала громко, пожалуй, чересчур громко, подтягивать песню, которую знали поголовно все, в том числе и она; учить эту песню было незачем, она носилась в воздухе («Майский жук» немецким детям тоже учить не приходится, как и «Наш извозчик дело знает» или «Охотник из Пфальца увяз среди смальца»): «Головы жидовские, головы жидовские, головы жидовские лежат на мостовой, кровь, кровь, кро-о-о-овь пускай вовсю течет рекой, долой вашу свободу и советский строй».

Нелли... она когда-нибудь видела на мостовой голову еврейского мальчишки, до боли ей знакомого? Ответ гласит «нет», и, к счастью, он правдив.

Крыша йордановского дома возникает над гребнем холма (вы повернули обратно). Там, на верхотуре, Ленка, — должна бы сказать ты, но не скажешь — «усишкин» дед по праздникам вывешивал флаг со свастикой. Он выставлял его из чердачного окна, а внутри закреплял сложной системой веревок, потому что ни одного гнезда для древка на доме не было. Доказывает сей факт не много. Нелли никогда не слыхала, чтобы кто-то высказывался за или против флага. Он висел, и это было вполне естественно, а кстати, с каких пор? Кто-то из домочадцев — скорей всего, Шарлотта, поскольку Бруно Йордан в текстильные магазины не ходил, — видимо, в свое время купил его и отдал «усишкину» деду, распорядившись вывешивать из окна по соответствующим дням. Что́ в таких случаях говорили, Ленка, и с каким выражением лица, можно припомнить совершенно спокойно, без всяких «душевных терзаний», пусть плохие книги и стараются уверить нас в обратном. Будни, Ленка... Но ты молчишь.

Баровские дома, «Желтая опасность», «Красная твердыня» пестрели в ту пору флагами со свастикой, хотя некогда там были гнезда коммуны, как сообщил Бруно Йордану в случайном разговоре у сетчатого забора сосед, Курт Хеезе, в прошлом служащий сберегательной кассы, а ныне главный кассир при районном управлении НСДАП.

Нелли, в чьи обязанности входило каждый вечер поливать и, если иадо, подвязывать помидорные кусты, услыхала эти слова, и они тотчас начали в ней работать. Она знала, что гнезда бывают у птиц (попадаются иной раз в Провале, где трава повыше, большей частью с пустыми скорлупками, разоренные кошкой), у ящериц и у кроликов в клетках, которые «усишкин» дед соорудил в дальнем углу сада. В баровских домах ей бы-

ли знакомы две квартиры: в одной жил старик Лисицки, снабжавший Йорданов спаржей и клубникой, а в другой — сестры Пуфф, Марта и Берта; Берта умела заговаривать хвори и бородавки, что отлично доказала, вылечив лишай, появившийся было на лбу у Лутца. (Совершенно верно, кивает Лутц, ведь о сестрах Пуфф при Ленке вполне можно поговорить. С тех пор ни одного лишая!) Марта, младшая, с большущей бородавкой на верхней губе, принимала заказы, водила сестру к клиентам, обеспечивала рекламу и улаживала финансовые вопросы. Две квартиры Нелли знала и в «Желтой опасности»: там жили ее одноклассницы — Ирма Хут и Криста Шадов. И одну квартиру в «Красной твердыне»: там обитал глухонемой сапожник, который издавал диковинные гортанные звуки и пил самогон из бутылки, поставленной возле ножки стола, а его босоногие, замурзанные чада устраивали у него за спиной чудовищный тарарам, стуча палками по крышкам от кастрюль. На «гнездо» ни одна из этих квартир, по мнению Нелли, не тянула. В две из них — те, что в «Желтой опасности», — вела истоптанная, добела выскобленная деревянная лестница, в две другие — в баровских домах — тоже истоптанная деревянная лестница, только покрытая облезлым линолеумом. К глухонемому сапожнику надо было спуститься по шести каменным ступенькам, он жил в подвале, и полы там были выложены красным кирпичом. Повсюду, отворив обшарпанную коричневую дверь, ты сразу попадал на кухню, обставленную у всех почти одинаково, лишь чистотой эти кухни сильно разнились: у Хутов и Шадовов все сверкало; у сестер Пуфф было грязновато, кругом развешены пучки трав; у старого Лисицки, который давно уже хозяйничал в одиночку, кухня здорово заросла грязью; а у глухонемого сапожника, чья жена, как говорили, целыми днями валялась в постели и пила горькую, вообще была не кухня, а свинарник.

Все эти квартиры были тесные и победнее, чем у Йорданов, и Нелли заходила туда с тяжелым сердцем, а уходила с нечистой совестью. Но чтоб гнезда... Тут не иначе как недоразумение.

И вообще, с нынешней точки зрения те годы изобиловали недоразумениями. К примеру, глубочайшим заблуждением оказались Неллины представления насчет того, откуда берутся дети; ведь добыть информацию в семейном кругу было совершенно невозможно, да и опыт разведения кроликов тоже мало что дал. Ее подружка Дорле из «Виллы Родина», домишка невзрачного, но исполненного тайны, стоял-то он (и стоит поныне) далеко от дороги, почти невидимый на косогоре, — так вот, эта Дорле обратила Неллино внимание на то, как раздалась в талии соседка, госпожа Юлих, жена специалиста по мозаичным полам; обычно худая как палка, она теперь поневоле ходила в расстегнутом пальто: ведь «вот-вот подойдет срок». Нелли, прикинувшись, что для нее это не новость, вытянула из Дорле все нужные сведения и попыталась изобразить такую же, как у Дорле, ехидную улыбочку. Кроме того, она сочла за благо уточнить детали у Элли Юлих, рыжеватой соседкиной дочки. Как выяснилось, все всё знали, только она нет. Таким образом, «братик», кудрявый рыжеватенький отпрыск и наследник Юлихов, не сумевший, правда, вступить во владение отцовской фирмой, оказался первым младенцем, с рождением которого Нелли связала приблизительно верные представления и к которому по этой причине в какой-то мере благоволила, при том что вообще вся рыжая юлиховская семейка сильно действовала ей на нервы, а особенно ее ровесница Элли, писклявая, с водянистыми глазами в обрамлении коротких белобрысых ресниц.

Человек себе внешность не выбирает, говорила Шарлотта. А то бы на свете жили сплошь одни красавцы. Нелли не могла взять в толк, чем это плохо.

В тот же день, когда ты читала материалы о концентрационных лагерях (пока что не мемуары Рудольфа Хёсса, до них ты дошла много позже), когда просматривала заключения психиатров, где Адольф Эйхман — вне всякого сомнения, справедливо — именовался «аккуратным, сознающим свой долг, любящим животных и природу», а также «склонным к самоуглубленности» и весьма «нравственным», но прежде всего нормальным (во всяком случае, он более нормален, чем я, после того, как его обследовал, сказал якобы один из психиатров; его отношение к семье и друзьям «не только нормально, но в высшей степени образцово», а лагерный священник усмотрел в Эйхмане «человека с позитивными намерениями». Кстати, не только Хёсс, комендант Освенцима, но и Эйхман заявил, что не был антисемитом); в тот день, когда повторение некогда престижного словечка «нормальный» вызвало у тебя легкую, но въедливую дурноту, будто организм внезапно утратил способность адаптации к некоему постоянному отравлению (ты использовала в качестве противоядия алкоголь, но безрезультатно), — в тот же день, спустя столько лет, тебе опять вспомнилась нормальная сцена, случившаяся, видимо, вскоре после переезда в новый дом, то есть в тридцать шестом или тридцать седьмом году.



Из Плау приехала тетя Трудхен. Для Нелли она привезла прелестные игрушечные часики и сама же заводит их раз десять, а то и двадцать кряду, чтобы услышать «Ах, мой милый Августин!». Но на двенадцатый раз тетя Трудхен начинает шмыгать носом, на тринадцатый — достает платочек искусственного шелка, на четырнадцатый — разражается слезами. За кофе главная задача Шарлотты — развязать золовке язык, привести в порядок невразумительные реплики и обобщить их в одной фразе: Что?! Какая-то сволочь пускает за твоей спиной слух, что ты еврейка?!

Тетя Трудхен резких слов выдержать не в силах. Полуеврейка, рыдает она; они говорят: полуеврейка.

Это одно и то же, отрубает Шарлотта.

Ополовиненная клевета не умаляет ее праведного гнева. Она перечисляет признаки, которые могли дать пищу этому мерзопакостному подозрению: черные волосы, нос с легкой горбинкой, тонкий профиль.

Вот ослы, говорит Шарлотта.

Бруно Йордан, правда, еще не все бумаги собрал для своей арийской родословной. Не дошел еще до 1838 года, как впоследствии, но три, четыре последних поколения, которые тут важны, признаны «абсолютно чистыми» и полностью к услугам тети Трудхен. Будет ли от этого толк — совсем другой вопрос. Ведь речь здесь идет о злостном подрыве репутации, а клевета имеет большей частью совершенно иную подоплеку, нежели та, что вроде бы лежит на поверхности. Кто-то, Труда, норовит взять тебя за горло, причем, скорей всего, кто-то из твоего ближайшего окружения. Ну сама посуди!

Да что ты, сказала тетя Трудхен, Побойся бога! Такие симпатичные люди...

Нелли убегает на кухню. Садится на угольный ларь и стискивает мокрые ладони. Она вне себя, но не плачет. Слезы выступают на глазах, только когда ее отыскивает мама, которая, разумеется, что-то учуяла и спрашивает, в чем дело.

И тут Нелли делает примечательное заявление: Не хочу я быть еврейкой! — а Шарлотта обращается к некоей анонимной инстанции с не менее примечательным вопросом: «Скажите на милость, откуда этому ребенку известно, что такое еврейка?

На этот вопрос ответа не получишь.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ ПОД ЗАПРЕТОМ. ДО ВОЙНЫ. БЕЛЫЙ КОРАБЛЬ

Что это значит — перемениться?

Общий набросок готов, теперь на очереди настоящие вопросы. Почти все равно, с какой стороны ты к ним подойдешь. Уже началось то, что мы позднее назовем «предвоенным периодом». Позднее — это сейчас, в августе семьдесят третьего года, когда послевоенный период со скрипом подвигается к концу.

Переменой можно, скажем, считать переход на другую работу. Госпожа Эльсте, которая до сих пор помогает у Йорданов по хозяйству, хочет

такой перемены: она пойдет на джутовую фабрику, за Вартой, там же, где ее дом.

Нелли перемен не хочет. Ее вполне устраивает, что арена событий, которую мы теперь не покинем целых восемь с половиной лет, имеет тенденцию уплотняться до сплошного, неизменяемого фона. Нелли — совестливая и упорная, так уж с малых лет соединились у нее два эти качества — дорожила здешними местами и мечтала остаться тут навсегда; ты же не только способна вообразить коренные перемены, ты привыкла жить от одной коренной перемены до другой, потому и спешишь при малейших признаках закоснения удрать с прежней арены. Нелли упорно стояла на том, что заурядный провинциальный город, насчитывающий около 50 000 жителей (ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ГОРОД-ПАРК БРАНДЕНБУРГСКОЙ МАРКИ!), есть место, отведенное ей раз и навсегда, а у тебя это ее упорство может вызвать лишь недоумение.

Новенькая, приехавшая в город из Северной Германии, из Хузума, и попавшая в их класс, запомнилась Нелли тем, что она — без конца жуя булки и пирожные, крошки от которых прилипали к подбородку, а она и не замечала — с медлительной северной интонацией называла этот город «скучным», даже «смертельно скучным».

Нелли этого не понимала. Ведь не может быть, чтобы краеведческие экскурсии, на которые господин Варсинский водил свой класс — Рыночная площадь, церковь девы Марии, стариные кварталы с развалинами древней городской стены, — не произвели на Ингу, так звали новенькую, никакого впечатления. Господин Варсинский зачитывал отрывки из сочинений ученого-краеведа, некоего Бахмана, о том, что основал город не кто иной, как «хитроумный Иоганн I из рода графов Асканийских», а случилось это году в 1260 и что «город сей, находящийся под защитою болот и водоемов, а сообразно стратегическому своему значению обнесенный палисадами, рвами и валами, сделался в здешнем краю оплотом германской нации» и сумел «благополучно выстоять как перед разорительными разбойничьими набегами поляков (1325—1326), так впоследствии и перед бешеным натиском гуситских орд».

Затем слово взял народный поэт Адольф Мёрнер, по праву возглашавший:

Облитый кипенью весеннего цветенья,  
В сады мой милый город погружен!  
О, никогда тот не познает озлобленья,  
Кто красотою этой в сердце поражен!

Никогда не говори «никогда!» — гласила одна из присказок Шарлотты.

Персонажи все уже на месте. Персонажи с персональной памятью, надежность которой легко испытать; например, с помощью ключевых слов «предвоенный период». Что вспоминается тебе — или вам, — когда говорят «предвоенный период», «до войны»?

Ответы вымышлены, а потому вдвойне претенциозны.

Бруно Йордан сказал бы, наверное: «Фольксваген».

— Сперва-то мы не хотели, а потом сдуру начали все ж таки клеить талоны, помогая Адольфу финансировать войну, — так сказала Шарлотта Йордан на заре пятидесятых годов, когда решила сжечь книжку с «фольксвагенскими» талонами на сумму 500 рейхсмарок.

Бруно Йордан мог бы сказать: Покой и порядок. Но тотчас бы оговорился: Машина уже работала, только мы не знали.

Ответы Шарлотты Йордан за двадцать четыре года, которые ей суждено было еще прожить после 1945 года, претерпели существенные изменения. До войны? Ах, счастливое время! — так бы она говорила поначалу. Позднее, пожалуй, иначе: Работы много. А под конец: «Сплошное надувательство». — Все это лишь затем, чтобы внести ясность: память не монолит, прочно засевший у нас в мозгу и не подверженный изменениям; нет, скорей уж это — да простят мне высокопарность — многоразовый нравственный акт.

(Что значит перемениться?)

У Нелли «до войны» вызвало бы, наверно, такую ассоциацию: Белый корабль.



Это нуждается в пояснении.

Говорилось ли уже, что воспоминания этой девочки цеплялись первым долгом за пугающие, жутковатые и унизительные материи? Белый корабль — мотив жутковатый и пугающий, но вместе с тем сияющая летняя картинка в памяти твоей фантазии, где хранятся вещи, которых ты на самом деле не видела и не переживала, но рисовала в воображении, жаждала и страшилась. Конечно, память фантазии заслуживает еще меньше доверия, чем память реальности, и тебе никак не удавалось истолковать эту картинку, пока ты не разыскала отгадку в «Генераль-анцайгере» от 31 мая 1937 года и так разволновалась, что готова была сию же минуту поделиться своей находкой с приветливой библиотекаршей. Но ведь невозможно же шепотом объяснить ей все взаимосвязи, в центре которых находился белый корабль, — поняв это, ты угомонила свою потребность высказаться; кстати, «находился» вообще не то слово. Он плыл под безоблачно-голубым небом по слегка подернутому рябью, тоже голубому водному простору, вздымая белоснежную носовую волну, — необычайно красивый, воплощение войны. И поныне — больше двух лет минуло с того нечаянного открытия в Государственной библиотеке — ты не иначе как с триумфом думаешь о разъяснении этой, казалось бы, неразрешимой загадки. О той минуте, когда обнаружилось, что твоя память хранит не какую-то белиберду, а самую настоящую реальность, хоть и архизашифрованную.

Ведь, если хотите знать, слова-раздражители «белый корабль» воплощали не только страх войны, но и тоску по дому, явную тоску по дому, а все эти детали, как их ни крути, не желали совмещаться друг с другом, не желали — и баста.

«Тоска по дому» почему-то воскрешала в мыслях «Балтику», первую длительную разлуку восьмилетней Нелли с мамой. (Может быть, летом 1937 года белые пароходики попросту ходили из Свинемюнде в другие курортные городки балтийского побережья? В глубине души ты понимала: этот след — ложный.)

Если Нелли пошла в школу в тридцать пятом — на пасху 1935 года ей едва сравнялось шесть, и она была в классе самой младшей, — то первая ее поездка на Балтику, состоявшаяся в начале третьего класса, датируется, видимо, июнем тридцать седьмого. Медицинские справки удостоверяют предрасположенность к частым бронхитам, ведь школьное руководство затребовало подробные ходатайства об освобождении от занятий. (Через две недели, по возвращении, Нелли не сумела найти дополнение во фразе «Все немцы любят нашего фюрера Адольфа Гитлера», и господин Варсинский попенял ей, что в голове у нее, мол, одни только купальные шапочки. Она очень обиделась. Господин Варсинский вообще был не поклонник всяких поблажек; он покуда не познакомился с бронхитом, вылечить который в их добром, здоровом бранденбургском климате было невозможно.)

Тетя Лисбет и дядя Альфонс Радде купили себе тогда маленький, подержанный «ДКВ» [1]. Запасное, наружное сиденье было отдано Нелли. Закутанная в платки и шарфы, она ехала так до самого Свинемюнде, где на веранде для нее поставят койку-раскладушку. Морской воздух укрепляет, ничего ей не сделается, тетя Лисбет голову даст на отсечение. Концы Неллиных шарфов развеваются по ветру, кузен Манфред, Манни, совсем еще маленький, машет ей в крохотное заднее окошко «ДКВ», Нелли громко распевает «Ура, ура, мы едем!» и на собственном опыте познает смысл фразы «А по бокам деревья убегают вдаль». Свинемюнде оказался выше похвал. Приличное жилье, песчаный пляж, да и погода вполне сносная. Нелли бросается в волны, воды она не боится. И с Манни поиграть любит. Так чего же ей не хватает?

Ничего. У нее все, все есть, а быть неблагодарной — это уж последнее дело. Просто ей каждую ночь снится мама, причем мертвая, в гробу. Потом она, конечно, просыпается в слезах и долго не может заснуть. Она сама не знает, почему видит все время именно этот сон. Тоска по дому тут явно ни при чем. По дому тоскуют одни только малыши, да и выражается эта тоска наверняка совсем по-другому.

Да уж, заварили кашу тетя Лисбет с дядей Альфонсом по доброте

[1] Марка малолитражных автомобилей и мотоциклов.

сердечной. Но история с белым кораблем куда хуже и оставляет в тени все прочие заботы. Детям, конечно, не докладывают, откуда вдруг такое волнение и о чем вообще идет речь; но Нелли, тихоня Нелли, которая якобы насмотреться не может, как море все новыми и новыми пенными барашками подступает к ее береговой крепости, эта Нелли несколько раз перехватывает слова «корабль» и «война», произнесенные на одном дыхании, и к тому же слышит вопрос тети Лисбет, не лучше ли уехать отсюда, если уж положение настолько критическое. (Уехать! Домой! Найти там живую маму!) Однако дядя Альфонс, понимающий, что не так страшен черт, как его малюют, смотрит снисходительно, как все мужчины смотрят на женщин, когда те боятся войны.

Слово «паника» Нелли неведомо.

«Герника» — тоже. (Это слово, это название — «Герника» — ты впервые услышала лет пятнадцать — двадцать спустя, в связи с картиной, благой замысел которой не подлежал сомнению, а вот реалистичность письма вызывала бурные споры; с тех времен — неизбежный скачок в хронологии — тебе довелось побывать в том зале Нью-Йоркского музея современного искусства и увидеть эскизы, подступы к великому полотну, которые ясно показывают, каким образом правдиво изображенный бык превращается в животное, способное от имени всего звериного царства обвинить род homo faber[1] в заносчивости.) В апреле тридцать седьмого «Генераль-анцайгер», стало быть, напечатал сообщение, что Герника разрушена не бомбежкой, это большевики облили город бензином и подожгли. Фотографии, конечно, нет. Зато заснят спуск на воду корабля «Вильгельм Густлофф» (общество «Сила через радость»), и «Генераль-анцайгер» поместил этот снимок, который при ближайшем рассмотрении кажется тебе знакомым. И даже очень. Белый корабль, из трубы весело валит дым, белой пеной кипит носовая волна... Ты быстрее листаешь большие ветхие страницы: уж не Неллин ли белый корабль сошел тут со стапеля?

31 мая 1937 года. «КРАСНЫЕ ИСПАНСКИЕ САМОЛЕТЫ БОМБЯТ НЕМЕЦКИЙ ЛИНКОР!»

Название: линкор «Дойчланд». Число погибших: 23 человека. В ответ немецкие военные корабли 1 июня — Нелли уехала в Свинемюнде — обстреляли из орудий испанский порт Альмерию, разрушив портовые сооружения. Крейсер «Лейпциг» вышел к испанским берегам. Отпускники на балтийских пляжах струхнули: а вдруг война? Девочка, тоскующая по дому, сохраняет в памяти две картины: одна — это белый корабль, виденный в газете и связанный не с тем сообщением; вторая — это мертвая мама в гробу. А кроме того, желтый песок и деревянные мостки, чтобы спускаться к воде. И больше ничего. Лишь потом, по возвращении, белое лицо матери, она ждет, высунувшись в темноте из окна. Это тоже останется. Дурочка ты моя, ну зачем же мне умирать, когда ты в отъезде?

Все прочее — вежливые домыслы: да-да, замечательная крепость из песка. Хорошая еда, и воздух превосходный — чистый, целебный. Но воспоминаниями это не стало.

Ничего не поделаешь.

После этого важного открытия, листая в обратном порядке подшивку за 1937 год «Генераль-анцайгера», который Нелли ежедневно видела в руках у бабушки и ежевечерне — в руках родителей и который оказался весьма скверной газетенкой, наводившей тебя на скверные, унылые мысли, — так вот, листая подшивку, ты теперь вчитывалась внимательней.

«Каждому на заметку — «Бреннабор»!»

«Не заработал полдник — верни его!» — «Существует и духовное осквернение расы! Настоящий немец не пойдет к врачу-еврею!»

Затем, жирным шрифтом: «Бухарин, последний из ленинской гвардии, арестован ГПУ».

Через несколько страниц: «В Москве начался процесс против Радека и других». 17 смертных приговоров.

14 мая «Генераль-анцайгер» сообщает, что Бухарин и Рыков приговорены. «Сталин ведет чистку в науке».

Казалось бы, вполне естественно посчитать эти сообщения не относящимися к делу и пойти дальше; сначала ты так и думала, но, по-видимому, все же надо попытаться рассказать о том, какую реакцию они у тебя вызвали спустя тридцать четыре года после упомянутых событий, в мае семьдесят первого, когда ты спокойно сидела на своем обычном месте в читальне Государственной библиотеки, в столице ГДР городе Берлине. Возможно, этой попытке суждена неудача, и ты совершенно зря на ней настаиваешь. Однако — во избежание голословности приведем пример — всего через неделю-другую, во время вашей непродолжительной поездки в Польшу, Ленка, в ту пору четырнадцатилетняя, спросила за обедом в новом ресторанчике на Рыночной площади Г.: Ну скажите же мне наконец, кто, собственно, был этот Хрущев! Ты изрядно перепугалась, и тебе стало ясно, что определенные обязанности более не терпят отлагательства, в том числе обязанность хотя бы обозначить, что́ с нами произошло. Нам не удастся объяснить, почему все было так, а не иначе, но необходимо набраться смелости и по крайней мере подготовить почву для будущих объяснений.

[1] Человек-строитель *(лат.)*.



В большой комнате у Йорданов, в книжном шкафу на самой верхней полке справа, за стеклом, стояла полученная от Лео Зигмана книга под названием «Преданный социализм». На красочной суперобложке была изображена зверская перекошенная физиономия под шапкой с серпом и молотом; Шарлотта Йордан наложила на эту книгу запрет.

(Кстати, что обязывает или якобы обязывает нас выкладывать такого рода детали? Ответственность? О ней мог бы говорить тот, кто знает все и способен рассказать об этом как надо и кому надо. Ответственность может обернуться и формулой безответственных поступков. И все-таки она существует — обязанность автора, который должен, к примеру, объяснить, как Нелли в детстве представляла себе красноармейца и почему ее представление было именно таким. Тот человек на суперобложке — он, кажется, еще сжимал в зубах штык? Однако не рано ли об этом? Наблюдая за собой, ты замечаешь, что выискиваешь способ обойти стороной — в противоположность сообщению о Гернике — ту, к сожалению, точную информацию, что касалась московских процессов 1937 года.)

Ведь сигналы, известные каждому, подсказывают, на что наложено табу. Без нужды его нарушать не станешь. Но, помимо опасливой робости, предвестницы страха, ты испытывала еще и гневную досаду. Как эти люди, снабжавшие информацией «Генераль-анцайгер», посмели взять столь хамский тон? Не имеют они права злорадствовать, и вообще нет у них никакого права, а уж меньше всего в этом вопросе, в котором ты, поскольку он так сильно тебя задевает, более щепетильна, чем обыкновенно. Иными словами, ты чувствуешь настоятельную потребность быть более, чем обыкновенно, точной.

Москва, 14 июня 1937 года: «Казнены восемь советских военачальников!» Как получилось, что такое вот сообщение в этой газете поразило тебя — когда прах военачальников давно истлел, — поразило так, будто оно только-только опубликовано и, что главное, касается тебя лично, причем писак из «Генераль-анцайгера» и людей, которые читали эту газету и среди которых Нелли росла, к которым принадлежала, ты мысленно называла «они» и «эти», словно чужих (чтоб у них вранье в горле застряло!), — но это уже другая история.

Что значит — перемениться? Выработать умение обходиться без иллюзий. Не прятать глаз от детей, от их взглядов, которые больно разят наше поколение, когда — не столь уж часто — речь заходит о «раньше»: раньше, в тридцатые годы, раньше, в пятидесятые.

Здесь разговор ведется о памяти. «Одним фунтом сыты двое!» Кто скандировал хором такие лозунги, тот их запоминает. «Чистые люди на чистых заводах! Соотечественники, расчищайте свои чердаки!»

Из чего сделаны наши воспоминания?

Без белковых тел нет памяти. С телеэкрана ученый в белом халате заявляет, что вещество памяти, некий пептид, уже у него в руках. Пептиды — это цепочки аминокислот, а содержание информации представлено различным порядком их звеньев. Он впрыскивает наивным, то есть еще не участвовавшим в эксперименте, крысам, поведение которых соответствует биологическим особенностям вида, препарат, выделенный из мозга крыс, прошедших эксперимент, — скотофобин, — а вместе с этим препаратом, как можно убедиться, передаст информацию: Бойся темных поме-

щений! — и заставляет их противоестественным образом выходить на свет. Значит, первая группа крыс приобрела данный объем памяти — страх — путем болевой дрессуры, а вторая группа получила его в форме материальной субстанции и без дрессировки.

Это еще когда будет, сказала бы Шарлотта Йордан. Словно есть нужда впрыскивать страх!

Но боялись ли они уже? (Позже — да. Приходил к ним кое-кто... Двое мужчин в неброских плащах, при появлении которых у Шарлотты Йордан задрожали коленки.)

Испания. (Кто не в бою — тому каюк.) На это слово Бруно, Шарлотта и Нелли Йордан откликнутся одинаково: Ханнес. Дядя Ханнес. Мамин двоюродный брат. Славный парень, который с легкостью вступил в новые германские ВВС — «люфтваффе», — а приезжая в отпуск, с легкостью подкидывал свою племяшку Нелли — простоты ради будем считать, что ты, Нелли, моя племяшка, — чуть не до потолка, хотя она год от года становилась все больше и тяжелее. Тот самый дядя Ханнес, что известил их: если какое-то время о нем не будет ни слуху ни духу, тревожиться не надо — он на учениях.

«Подгнило что-то в Датском государстве»[1], — говорила Шарлотта Йордан, которая не могла отвыкнуть от подозрительности. Ну, ты у нас везде секреты чуешь! — язвил Бруно Йордан. До того момента, когда после достославного окончания войны в Испании дядя Ханнес вкупе со всей дивизией «Кондор» промаршировал в Берлине перед фюрером, выбрасывая в парадном прусском шаге две здоровые ноги. Пока что две, левую он потерял лишь через несколько лет при неудачном прыжке с парашютом над средиземноморским островом Крит. Так вот он подкидывал свою племяшку Нелли, уже большую и сильную, к потолку, и с загорелого до черноты лица на нее смотрели веселые голубые глаза. Испанское солнце — это да! Здесь такое даже представить себе невозможно.

Можно поклясться, что никто из всей семьи не отвел кузена, сына, брата и дядю Ханнеса в укромный уголок и ни о чем его доверительно не спросил. Испанская война удовлетворяла их в том виде, в каком ее преподносили «Генераль-анцайгер» и германское радио. Любопытством они не страдали, хотя населению и вдалбливали нарочито: Остерегайся любопытства! Ни разу — ни единого разу! — не соблазнились они поискать запретные станции на шкале нового радиоприемника марки «МЕНДЕ», с зеленым глазком, который был куплен, как только выплатили рассрочку за терракотовые кресла и книжный шкаф.

Чего не знаю, за то не отвечаю.

А они не знали и знать не хотели. Кстати, им повезло. Среди их родни и друзей не было ни коммунистов, ни евреев; ни наследственными, ни душевными болезнями никто в семье не страдал (до тети Йетты, сестры Люции Менцель, речь у нас еще дойдет); связей с заграницей они не имели, никаких иностранных языков толком не знали, и вообще не питали ни малейшей склонности к вредным мыслям, а тем более к упадническому и прочему искусству. Сплошные «нет», «не был», «не имел», «не являлся», и как результат — единственное требование: остаться ничем. А это, судя по всему, дается нам легко. Пропустить мимо ушей, не заметить, отринуть, разучиться, запамятовать, забыть.

По новейшим данным, ночью, во сне. субстанции впечатлений якобы переходят из кратковременной памяти в долговременную. Тебе мерещится целый народ спящих, мозг которых выполняет во сне приказ: Стереть стереть стереть. Целый народ простаков — призовите их к ответу, и они в один голос миллионами уст начнут твердить, что ничего не помнят. А некий одиночка не упомнит лица того еврея, чью фабрику — крохотная фабричка-развалюха, Ленка, сараюшка конфетная, и только-то, честное слово, никакой ценности она не представляла; не дядя Эмиль Дунст, так другой кто-нибудь мигом бы прибрал ее к рукам и заплатил еще меньше, — чью, стало быть, фабрику вы будете искать вечером в Г. и в конце концов найдете, за старой бензоколонкой на бывшей Кюстринерштрассе. Не исключено, что дядя Эмиль Дунст вообще не встречался с евреем Геминдером лицом к лицу и потому вовсе не врал, заявляя впоследствии

[1] Шекспир. Гамлет, I, 4. Перевод М. Лозниского.



в своей хвастливой манере, что совершенно его не помнит. Какой-то старикан, дела у него покатились под гору, вот он и рад был ноги унести. Он мне еще «спасибо» сказал, если уж на то пошло, да-да, «спасибо». У дяди Дунста была привычка важные части фразы повторять дважды, в таком вот духе: Может быть, и происходило что-то не вполне правильное, очень даже может быть, но не при мне, нет, не при мне. Наш-то брат знать ни о чем не знал, и если у кого совесть чиста, так это не иначе как у меня, да-да, не иначе как у меня.

С чистой совестью он и скончался в конце пятидесятых годов в альтмаркской[1] деревушке, помирившись со своей женой, тетей Ольгой, сытый, ухоженный, похороненный, оплаканный и незабвенный.

А ведь многое было бы проще, если бы он врал.

Ночью накануне отъезда в Польшу тебе не спалось, ночью с 9 на 10 июля 1971 года — помнишь? Комната, не желающая остывать. Комары. Ночи детства под конец больших каникул. Бессонные, но покуда без головных болей, которые сейчас неминуемо начнутся. Titretta analgica[2] — от них и боль пропадает, и сон. Ой, башка трещит! — кто ж это говорил? Бруно Йордан. Он глотает аспирин. Его жена Шарлотта, как ни странно, с головной болью незнакома. Шарлотта — а ведь от нее-то Нелли унаследовала больше всего — понятия не имеет, что такое головная боль. Счастливая. А вот муж ее чувствует, что голова у него раскалывается. Он кривит лицо в гримасе боли и осторожно прикладывает одну ладонь ко лбу, а другую — к затылку. Значит, страдал он чем угодно, только не мигренью.

Стало быть, напряжение. Своего рода страх, это бесспорно. Может, вывих шейного позвонка. Может, растущая неподвижность плечевого пояса передает болевой накал голове. Но ведь и душевный разлад порою не находит иной возможности проявления... Стоит только попасть «туда» — и игре конец, это тебе было ясно. Отступать будет некуда, и ничего уже не исправишь. Стоит тебе только ступить на те улицы, коснуться стен, вновь увидеть холмы и реку, удостовериться в их реальности...

Что тебя принуждает, спросила ты у себя (не словами спросила, а — редкий случай — головной болью), что тебя принуждает вернуться назад? Выйти навстречу какой-то девочке (у нее не было пока имени), вновь стоять, всем существом чувствуя ее взгляд, и сердитые нападки уязвленных, и откровенное непонимание, а главное, собственные укрывательские маневры и собственные сомнения. Обособиться, иначе говоря, уйти в «оппозицию».

(После выступления на одном из предприятий ты пробуешь выяснить, насколько велик у присутствующих — группы из планового отдела — интерес к тем временам. Молоденькая блондинка любит читать тогдашние книги, потому что по ним можно видеть, как хорошо ей нынче живется, а еще она лучше понимает родителей. Другие, годами постарше, тоже не прочь об этом почитать, только чтоб не очень тяжелое, немножко юмора все ж таки.)

Твоя близкая подруга — она пятью годами моложе, чем ты, — прямо говорит: Для меня то время — третичный период. В геологической истории третичным называется период, к концу которого очертания континентов и морей уже сходны с теперешними, горообразование в основном закончилось, вместо динозавров Землю населяют млекопитающие, а насекомые и птицы во многом приблизились к нынешним своим формам. Человека еще нет.

Зачем же вновь приводить в движение слежавшиеся, замеревшие в покое каменные массы, чтобы, чего доброго, наткнуться на органические включения — ископаемые остатки. Тончайшие жилки мушиных крыльев в куске янтаря. Легкий след птицы, оставленный в некогда рыхлых, сыпучих отложениях и увековеченный в силу удачного залегания. Стать палеонтологом. Научиться обращению с окаменелостями, по отпечаткам делать вывод о существовании в прошлом таких форм жизни, каких уже не увидишь.

Твоя близкая подруга умерла. В ту ночь накануне отъезда она была

[1] Альтмарк — местность под Магдебургом (ГДР).
[2] Обезболивающие средства *(лат.)*.

еще жива, но свою фразу насчет третичного периода уже произнесла. Среди последних видений, терзавших ее снова и снова, была властная белокурая особа в черных сапогах; щелкая кожаным бичом, она со сворой собак носилась по коридорам больницы, где умирала эта молодая женщина.

Ах, третичный период!

Отправиться в третичный период на машине марки «вартбург».

Затеяно со страху, сказала бы Шарлотта Йордан. Обычной же ее темой было счастье. Счастливый брак, счастливая семья. У моих детей было по крайней мере счастливое детство. Только вот она считала счастье слишком хрупким. Счастье — что стекло, легко бьется. И ее дети, чтобы уберечь маму от страхов, стали сами лечить свои хвори, пока Лутцевы набухшие миндалины не дали себя знать удушливым прононсом. Одержимость счастьем, на дне которого снова и снова, точно мутный осадок, копилось подозрение, что все было напрасно.

Однажды, когда Шарлотта целый вечер таскала ведрами воду в свой альпинарий — если он засохнет, значит, все было зря, — на локтевых сгибах у нее выступили сине-зеленые пятна, которые все увеличивались и до смерти напугали Нелли. Со странным удовлетворением, будто сейчас лишь подтверждалось то, что ей было давным-давно известно, Шарлотта услышала, что должна лежать, спокойно и без движения: из-за опасности эмболии, из-за сгустков крови, которые могли оторваться и попасть в кровоток — вдруг один из них уже находится на пути к сердцу? Вот видишь, дочка, как быстро все иной раз происходит, сказала она с тем же странным удовлетворением, которое Нелли не понравилось, но почему — она никогда бы не призналась. Какому ребенку хочется, чтобы его мама так беспечно относилась к собственной смерти? И, чего доброго, украдкой искала способ бросить его в беде.

Ох уж это речевое бессилие. Отчетливые семейные фотографии — без слов. Безмолвная жестикуляция на чисто прибранной, выметенной сцене. Когда Шарлотта за ужином впервые сделала мужу выговор за курение, поднесла левую руку к совсем еще не отечной шее и обвинила Бруно в том, что ей нечем дышать? А дальше так и повелось: мать за столом, хватающая ртом воздух, отец, выгоняющий в окна дым, но остерегающийся сквозняков, ибо Шарлотта их не терпела. Немой фильм вместо звукового.

Никаких высказываний, и позднее тоже. У нас было все, что можно пожелать. Владение речью в списке их пожеланий не значилось. Да будь мы недовольны — тумака нам хорошего, и дело с концом. Кто не согласен, тот наверняка не в своем уме. Шарлотта, прижимая ладонь к все более выпирающей щитовидке, хлопая дверьми, проклиная магазин, была не в своем уме, только сама этого не знала, а потом начисто позабыла — уж очень ей хотелось быть в ту пору счастливой.

Лишь этой ночью — под утро, когда в рощице возле канала закуковала кукушка, — тебе стало ясно, что надо бояться воспоминаний, этой системы обмана, и, якобы предъявляя их, на самом деле с ними бороться. Запрет на передачу информации еще не отменен. А то, что пропущено цензурой, суть препараты, включения, ископаемые остатки, нацело лишенные своеобразия. Стандартные детали, о процессе изготовления которых — ты не станешь отрицать своего в нем участия — необходимо завести речь.

В эпоху всеобщей потери памяти (эта фраза пришла с позавчерашней почтой) мы обязаны отдавать себе отчет, что полное присутствие духа возможно лишь на почве живого прошлого. Чем глубже уходят наши воспоминания, тем больше пространства освобождается для того, на что мы возлагаем все свои надежды, — для грядущего. (Только вот, как ты поняла в ту ночь, намного легче придумывать прошлое, а не вспоминать; и еще: в мозгу смутно забрезжил вопрос-возражение, а нужно ли вообще полное присутствие духа и зачем.)

Кстати, что означают слова вроде «глубокий» и «поверхностный» применительно к нашим воспоминаниям? Разве «поверхностно» — отметить, что та девочка (ну-ка, выкладывай чужое имя, давай сюда особу, чья жизнь вспоминается тебе словно чужая и можно наложить на нее руку, проникнуть в нее — как душегуб. Как врач. Как любовник), что Нелли Йордан начала считать шаги? Это называется арифмомания, или навязчивый счет. Счастливое число «семь» помогало ей одолеть дорогу в школу: семь шагов от дерева до дерева, от одного столба, от одного камня до следующего, семь шагов между двумя тенями, между двумя сильными ударами сердца.



Число «семь» поработило Нелли приблизительно в то же время, когда закон божий в ее классе начал вести учитель Борхерс. Тощий, мрачный человек, который всеми средствами насаждал среди учениц строжайший запрет на разговоры. Нелли, хоть и не болтушка, нарушила этот запрет (одним-единственным словечком, прошептав сидящей впереди Гундель Нойман: Наконец-то!), когда вошла старшеклассница с «циркуляром» — синей папкой, в которой учителям приносили распоряжения дирекции.

Учитель Борхерс все видел, все слышал, за все карал. Тоном, который иначе как «убийственным» не назовешь, он выкрикнул Неллино имя и приказал ей, охваченной неукротимым ужасом, выйти к доске. Семь шагов к доске, где выносились приговоры, тотчас же приводившиеся в исполнение. Учитель Борхерс спокойно беседует с чужой ученицей; Нелли, чей мозг с бешеной скоростью вновь и вновь считает до семи, стоит, как приказано, держа руки за спиной, а рот ее ухмыляется («o make me a mask!»[1]): что же «потом» будет? Человек, публично избитый, дальше жить не может, это она знает. Учитель Борхерс, наконец повернувшись к ней, задает дурацкий вопрос, говорила ли она что-нибудь, а Нелли честно, хотя и тихонько, отвечает: Да. После чего Борхерс, который обычно бьет метко и жестоко, к безмолвному изумлению всего класса, позволяет ученице, нарушившей один из его запретов, безнаказанно сесть на место. Ведь ты честно призналась в своем проступке. Класс видит в ней, все равно побитой, победительницу (похоже, этому суждено повторяться вновь и вновь, до бесконечности). Вдвойне униженная, ибо за честность ее похвалили, когда отпирательство не имело смысла, — а до чего же ей хотелось отпереться!

Кукушка, все кукует. Семь и еще семь раз. Рассвело. Сперва ты насчитала пятьдесят шесть «ку-ку» — это число, если считать в годах, округлит твой возраст до ста лет. Кукушка замолчала на ста сорока двух, и ты рассмеялась над собственной ненасытностью. О пресыщении жизнью даже речи нет.

Связано ли воспоминание с действиями? Это объяснило бы их потерю памяти, ибо они не действовали. Они так тяжко трудились, что порой до жути верно говорили: Мы уж и не люди вовсе! — но они не действовали и сразу же забывали свои не-действия — спали, не желая проснуться, — однако запоминали выделенные им дозы волнений. Макс Шмелинг против Джо Луиса[2] — это запомнил каждый. Нелли — ей ровно девять лет — в ту ночь будят. Кресло возле радиоприемника. Одеяло, в которое ее закутали, стакан горячего лимонного напитка. Возбужденная, захлебывающаяся скороговорка радиорепортера. Тридцать секунд — сплошной рев из динамика. Затем: стоны комментатора и отчаяние отца. Он обеими руками схватился за голову, чего с ним никогда прежде не бывало. Негры, поди, свинец в перчатки запихивают, чтобы послать великого боксера-немца в нокаут. Обман! — кричал Бруно Йордан. Обман! Обман!

Взрыв дирижабля «Гинденбург» при посадке в Америке — тоже помнит каждый. Стоило бы провести опрос среди людей старше пятидесяти.

Эта катастрофическая нехватка своеобразия.

Не говоря уж о военных парадах. Народ, который приучают к парадным маршам и спортивным победам. Пусть мне покажут человека, который не будет на седьмом небе от радости, когда фюрер заберет его в рейх. Тут господин Варсинский опять-таки прав. Как всегда. Нелли не умеет подтягиваться на руках — это позор, и едва ли его можно компенсировать блестящими успехами в легкой атлетике. Похвально, конечно, что она, представительница нации пловцов, в семилетнем возрасте — в год Олимпиады — выучилась плавать: на Варте, у смотрителя купален, старика

---

[1] О дайте мне маску! *(англ.)*

[2] Шмелинг Макс (род. в 1905 г.) — немецкий боксер, в 1930—1932 годах чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе; Луис Джо (род. в 1914 г.) — американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе (1937—1949).

Вегнера, который на уроках плаванья вольным стилем еще волок своих питомцев на веревке против течения. Вот только незачем было Хорстику Эльсте, малолетнему сынишке госпожи Эльсте, тонуть в этой самой реке, хоть и у другого берега. Река есть река. Разве узнаешь заранее, что попадется навстречу, если открыть под водой глаза. К сожалению, Нелли слышала, как госпожа Эльсте рассказывала ее маме о несчастье: Хорстик угодил под скопившийся у берега сплавной лес и застрял между бревнами, ее муж снова и снова нырял за ним и в конце концов нашел, мертвого; а она бегала по берегу и все звала сыночка. О, госпожа Йордан, злейшему врагу такого не пожелаю!

Нелли не пойдет больше на Варту купаться, очень уж она впечатлительная. Слишком буйная у нее фантазия. На рождество, когда она получила в подарок аккордеон и в достаточной мере изобразила приятное удивление и радость (Аннемари, новая прислуга, давно показала ей черный футляр в родительском платяном шкафу, и Нелли давно призналась себе, что вообще-то ей неохота учиться играть на аккордеоне), когда была съедена приготовленная «усишкиной» бабулей капуста (гусиные потроха, жирная свинина, горсть крупы для заправки), когда ее сморила блаженная усталость, в панике позвонила тетя Лисбет Радде, как всегда по поводу ее трехлетнего уже сына Манфреда,— у Манни температура. Тетя Лисбет, от страха едва владеющая собой, была почти уверена, что мальчик подхватил «инфекционный менингит». Нелли пришла в ужас, ноги стали как ватные: вчера еще больной братишка сидел у нее на коленях. Невольно ей представилось, как эта заразная болезнь уносит ее родных, одного за другим. На самом деле у Манни оказалась всего-навсего легкая простуда. А Нелли поспешила отправить его и остальных на тот свет.

Правда ли, что в принципе характер человека формируется к пяти годам? Наверное, никто, говорит по телевизору психолог, не ждет однозначного ответа на этот вопрос — «да» или «нет». Хотя основополагающие модели поведения складываются весьма рано. К примеру, ребенок очень быстро смекает, что благорасположения окружающих надо добиваться, тогда тебя полюбят. Раньше, кстати, считали обителью души эпифиз, шишковидную железу.

Основной каркас — иначе говоря, модель восприятия — на худой конец можно представить как сеть из прочно связанных между собой нервных волокон, которая действительно плетется в первые месяцы жизни: позднее мозг уже не растет. Этот каркас различен — от семьи к семье, от культуры к культуре — в зависимости от способов и интенсивности коммуникаций с внешним миром, каковой телепсихолог именует «решающим фактором». Но, между прочим, строительный план десяти — пятнадцати миллиардов клеток мозга (каждая из которых сопряжена с десятью — пятнадцатью тысячами других клеток) у всех особей вида человек на девяносто девять процентов совпадает. Различия сосредоточены в последнем проценте.

В том, 1937, году, стало быть, на всем солидном расстоянии в 500 000 километров — такова предположительно общая протяженность нервных волокон между клетками, превышающая дистанцию от Земли до Луны,— у лиц из Неллина окружения и у нее самой срабатывал сигнал «страх», а не рефлекс «сострадание», филогенетически приобретенный нами, кстати, гораздо позже.

Что же это означает?

По-видимому, вот что: реакции, локализованные в коре мозга — особенно в лобных долях — и ощущаемые нами как «типично человеческие», в определенных обстоятельствах уступают место (отбрасываются, искореняются, забываются; стираются, ускользают, исчезают; теряют актуальность, устаревают, попросту пропадают — без вести. Третичный период) рефлексам, которыми управляет ствол головного мозга. Ну и ладно. С глаз долой, из сердца вон. Бумажные кораблики на широком просторе Леты, реки забвенья.

(Что значит — перемениться? Овладеть неподконтрольными рефлексами дочеловеческого ствола головного мозга, не пробуждая путем жестокого подавления их коварство?)

Отчего они не страдали? Вопрос поставлен неверно. Они страдали, сами о том не ведая, свирепо терзали свою плоть, славшую им сигналы. У меня голова раскалывается. Я задыхаюсь.



(«Если вывести из строя функции коры головного мозга, память утрачивается. Однако на внешние раздражители подобный индивид до поры до времени реагирует. Если его уколоть, соответствующая конечность отдернется, если посветить ему в глаза, он опустит веки и зрачки сузятся, а если сунуть ему в рот пищу, он начнет жевать».)

Улица, где стоит дом, некогда принадлежавший Йорданам, называется теперь ulica Annuszka, улица Аннушка. Название по душе вам обоим — и тебе, и Лутцу. Вы размышляете о том, уж не девичье ли это имя — Аннушка, наверное, с ударением на первом слоге.

Выбравшись из Провала, вы опять сели в машину. Жара, как в печке. Опустив все стекла, вы едете к стадиону и казарме имени Вальтера Флекса. «Гуси дикие в ночи шумят крылами», вспоминает Лутц. Казарма, названная именем поэта. Х. знает наизусть все его длинное стихотворение о Германе Лёнсе [1], читает его вслух, интонацией подчеркивая скептическое свое отношение: «Вот с родины Лёнс к французам спешит, /А Маркварт, сойка, рядом трещит: /«Куда ты? Тебе ль воевать в пятьдесят?/ Под рекрутским шлемом седины блестят!»

Ну хватит, говорит Ленка. Она не любит, когда родители читают такие строки. Посмотрите лучше сюда. Посмотрите хорошенько и скажите мне, кто делает такие фотографии.

Этот снимок она отыскала в газете. На нем изображена старуха-вьетнамка, к виску которой американский солдат приставил дуло автомата, палец он держит на спуске.

Такие фотографии, отвечаете вы, делают ради денег. Почему ты не обратишь свою ярость против солдата? — спрашивает Лутц.

Ленка — дитя века. Она знает, что на свете есть убийцы, и не интересуется их внутренней жизнью. Ее интересует другое: что ощущает тот, кто, даже не пытаясь остановить убийц, снимает их за кровавой их работой. Ничего не ощущает, говорите вы. По-видимому, ничего.

Сволочи, говорит Ленка. Она не в силах долго смотреть на фото- и кинодокументы, которые показывают сцены пыток, или умирающих, или самоубийц на крыше высоченного дома. Она всегда невольно думает о человеке с кино- или фотокамерой, который занимается съемками, вместо того чтоб броситься на помощь. Она не приемлет обыденного распределения ролей: один должен умереть, второй ускоряет его смерть, а третий, стоя рядом, описывает, что второй делает с первым.

Она требует безоговорочного вмешательства.

Ты молчишь, но это не привлекает внимания. Tema con variazioni [2]. Выйти из шеренги убийц — куда? В группу зрителей, что обеспечивает нужные возгласы, описывает сражения, а в случае чего утешает?

Можно либо писать, либо быть счастливым.

Ночью накануне этого знойного дня, перед недолгим утренним сном, когда все тебе было ясно, ты еще поняла, что придется действовать неустрашимо и притом бережно, только так можно будет срыть геологические слои (вплоть до третичного). «Умелой рукой», с иронией думала ты, которая не побоится причинить боль, но остережется делать это почем зря. И ведь не одна эта рука — ее хозяйка тоже волей-неволей смоет защитную краску и выйдет на свет. Ибо права на такого рода материал приобретаются вступлением в игру. Причем на ставках не экономят.

И все же ты понимала, что это останется и должно остаться игрой. Что не будет никаких зверских пыток — ноги в огонь, голову на отсечение, что не будет никто из-под палки вырывать признания. Понимала даже некоторое время и честно призналась себе, что́ именно запустило эту веселенькую игру: любопытство.

В конце концов можно начать игру с собой на себя.

Игру во второе-третье лицо и со вторым-третьим лицом, ради их воссоединения.

Два пожара завершают эту главу, совершенно друг на друга не по-

---

[1] Лёнс Герман (1866—1914) — немецкий поэт, автор песенных стихов.
[2] Тема с вариациями (*итал.*).

хожие, но в Неллиной памяти неразрывно связанные, и ничего тут не поделаешь.

То, что впоследствии стали называть «хрустальной ночью», было проведено в ночь с восьмого на девятое ноября. 177 синагог, 7 500 еврейских магазинов на территории рейха подверглись уничтожению. В ходе государственных мероприятий, последовавших за этой спонтанной вспышкой народного гнева, евреи были экспроприированы, а их сыновья и дочери исключены из школ и университетов. У Нелли в классе нет ни одной девочки-еврейки. Спустя несколько лет ее одноклассница откажется петь рождественский гимн «Возрадуйся, о дщерь Сиона», потому что в нем прославляется еврейство. Учитель музыки Йоханнес Фрайданк, сын которого погиб в Польше в первые дни войны, рассвирепеет и с упреком бросит своему любимому классу — а хор в этом классе был замечательный, — что девочки-еврейки, бывало, никогда не отказывались петь христианские псалмы. Неллину одноклассницу возмутит сравнение с еврейкой. Учитель музыки, кипя от ярости, предложит ученице донести на него.

Она этого не сделает.

В 1937 году доктор Йозеф Геббельс в речи, которую, вероятно, слышала по радио и Нелли, сказал следующее: «Давайте же бесстрашно укажем пальцем на еврея как на вдохновителя и зачинщика, извлекающего выгоду из этой чудовищной катастрофы: вот он — враг мира, истребитель культур, паразит среди народов, сын хаоса, воплощенье зла, фермент распада, истинный демон гибели человечества».

Кто-то, наверно, сказал Нелли: Синагога горит. Имя уже не вспомнится. Однако слова «пожар синагоги» вызывают в памяти лицо Шарлотты, «беспомощно-испуганное». Сходи туда! — не говорил Нелли никто, а уж мама тем более. Скорее наоборот, ей недвусмысленно запретили: Не вздумай...

Она пошла туда, и это невероятно, необъяснимо, но ты можешь поклясться, что так было. Как она вообще отыскала ту маленькую площадь в Старом городе. Она что же, и раньше знала, где у них в городе синагога? Никого ведь не спрашивала, да-да, не спрашивала.

Что манило ее туда, если не злорадство?

Она хотела увидеть.

9 ноября 1938 года было как будто бы не холодно. Бледное солнце на брусчатой мостовой, где между камнями росли травинки. Потом мостовая кончилась, и начались кособокие домишки. Нелли понимала, что маленькая площадь, вокруг которой теснились дома, очень бы ей понравилась, не будь посередине дымящихся развалин. Впервые в жизни Нелли увидела развалины. Быть может, она еще и слова такого не знала, а уж словосочетания с ним и подавно услыхала много позже: города в развалинах, сплошные развалины. Впервые она увидела, что стены каменного дома сгорают неравномерно, что возникает причудливый силуэт.

В одном из домишек не иначе как нашлась темная подворотня, где можно было спрятаться. Нелли, наверно, прислонилась к стене или к двери. А одета она была, наверно, в темно-синий тренировочный костюм. Площадь была пуста, в окнах домишек тоже пусто. Обугленная постройка навевала печаль — тут Нелли ничего не могла с собою поделать. Правда, она не знала, что испытывает именно печаль, ибо не нужно ей было этого знать. Она давно перестала признаваться себе в истинных своих чувствах. Дурная привычка, отвыкнуть от которой труднее, чем от любой другой: она остается, ее можно лишь застигнуть с поличным и каждый раз особо вынуждать к отступлению. Навсегда, навсегда канула в вечность прекрасная, свободная гармония чувств и событий. Сказать по чести, это тоже повод для печали.

К изумлению и ужасу Нелли, из сгоревшей синагоги выходят люди. Значит, нижние помещения, где у евреев, как и в других храмах, наверняка располагалось что-то вроде алтаря, выгорели не полностью, и обломки упавших стен не полностью засыпали их и разрушили. Значит, в дымящиеся руины иной раз еще можно войти — всё для Нелли в новинку.

Если б не эти люди — внутренний образ, подлинность которого неопровержима, — ты не смогла бы с такой уверенностью утверждать, что Нелли, девочка-фантазерка, была в тот день у синагоги. Но таких людей,



как эти, быстро, но без спешки прошедшие два десятка шагов от синагоги до фахверкового домика прямо напротив, — четверо или пятеро мужчин с длинными бородами, в черных шапках и длинных черных пальто, — таких людей Нелли раньше не видела ни на картинках, ни в жизни. И о раввинах понятия не имела. Вот и солнцу нашлось занятие: его лучи коснулись утвари, которую несли («спасали», невольно подумала Нелли) те мужчины. Там было что-то похожее на чашу — возможно ли? Золото!

Евреи, в Неллином воспоминании безногие из-за длиннополых кафтанов, рискуя жизнью, вошли в свою разрушенную синагогу и вынесли оттуда священные золотые сокровища. Евреи, седобородые старцы, жили в обшарпанных домишках на площади у синагоги. Их жены и дети сидели, должно быть, за крохотными оконцами и плакали. («Кровь, кровь, кро-о-о-овь пускай вовсю течет рекой...») Евреи — совсем не то, что мы. Они страшные. Евреев надо бояться, если уж нельзя ненавидеть. Будь сейчас сила за евреями, они бы нас всех перебили.

Еще немного, и Нелли поддалась бы неуместному ощущению — сочувствию. Но здравый немецкий рассудок выставил против этого свои заслоны, в форме страха. (Может, стоило бы по крайней мере намекнуть, какие трудности с «сочувствием» — в том числе с сочувствием к себе самому — волей-неволей испытывает человек, который в детстве вынужден был перечеканивать сочувствие к слабым и побежденным в ненависть, в страх; я говорю это лишь затем, чтобы подчеркнуть отдаленные последствия давних событий, которые часто не вполне справедливо сводят хотя и к достоверным, но не исчерпывающим цифрам: 177 горящих синагог 1938 года дают в итоге несчетные города-развалины года 1945-го.)

Нелли было жутковато стоять на этом месте. Шарлотта объяснила ей, что такое деликатность: в большинстве случаев то, чего делать нельзя. Нельзя смотреть в рот голодному, когда он ест. Плешивому нельзя говорить о его лысине. Тете Лисбет нельзя сказать, что она не умеет печь пироги. И на чужое несчастье глазеть тоже нельзя.

Чужих бородатых евреев Нелли отнесла к разряду несчастных.

А теперь о другом пожаре, с плетеным креслом. Когда он случился: до или после 9 ноября, — установить невозможно. Твой брат Лутц не сохранил в памяти этот инцидент. Он начисто позабыл жизненный период, когда страдал внезапными приступами ярости и слыл из-за этого кошмарным упрямцем. Быть может, одно слово, а именно «обугленный», оправдывает — хотя бы внешне — скачок от синагоги в йордановскую детскую? Заметив дым, валящий из дверной щели, прислуга Аннемари в тревоге зовет хозяйку, Шарлотту, и та сломя голову мчится наверх. «Усишкина» бабуля уже тут как тут, приковыляла на кривых ногах, как всегда при малейших признаках непорядка. Мокрые полотенца быстро тушат огонь. По возвращении из школы Нелли обнаруживает дома обугленное плетеное кресло, уже наказанного хмурого брата, который умудрился начать свой жизненный путь с поджога и даже выглядит вроде бы совсем не так, как еще вчера, и потрясенную до глубины души маму, ведь у нее впервые мелькнула мысль, что один из ее детей может оказаться порочным.

На следующий день Лутц хватается за горячую электроплитку. Четыре пальца — четыре пузыря. На той руке, что устроила пожар. И опять нужно звать маму. Квартира полнится жалобными и сочувственными возгласами, для бедной больной ручки готовят масляную ванну, малыш сидит на коленях у мамы, а она его качает. Ничего страшного, до свадьбы заживет.

Нелли на песчаной горе, сидит на корточках. Наловила полный спичечный коробок божьих коровок. И построила им город из песка — улицы, площади, хвощинки вместо деревьев. Божьи коровки должны выказать ей благодарность за этот чудесный город, гуляя там, где проложены улицы и переулки. Но они этого не делают. Снуют как попало по всей территории, а за это им не поздоровится. Нелли выкопала в песке пещеры — казематы для божьих коровок. Вот вам, вот, вот, говорит Нелли в великом своем и праведном гневе, засадив божьих коровок под землю, вот вам, вот вам! Злючки противные, неслухи! Если хоть одна из божьих коровок — кстати, Нелли их очень любит, — выбирается из-под земли, девочка торопливо забрасывает ее песком, едва она пробует освободиться. Ну я вам покажу!

Реветь вроде бы не из-за чего, она ведь испытывает удовольствие.

Ленка, говоришь ты в машине, когда уже видны макушки тополей у стадиона, Ленка, помассируй немножко, а? Ленка тяжело вздыхает, но все-таки принимается разминать тебе плечи. Как чугунные, с упреком говорит она. Пальцы отшибить можно. Не напрягайся ты так.

Когда это началось?

## 8. «ОБОЖЖЕННОЙ РУКОЙ...» ВСКРЫТИЕ НУТРА: ВОЙНА

*Обожженной рукой я пишу о природе огня.*

Ингеборг Бахман

Тяга к аутентичности растет.

После обеда уже в четыре со светом, треклятая осень. Осенью начинаются войны. В августе шестьдесят четвертого, когда американские ВВС сбросили на Вьетнам первые бомбы, к нам по накатанным нервным путям полетело тревожное предупреждение: война! (Мы имели в виду: война может прийти и к нам.) Годы пятьдесят шестой, шестьдесят первый, шестьдесят восьмой и этот, семьдесят третий, подкрепляют теорию осенних кризисов, тогда как другие годы ее опровергают...

Записанный на магнитофон голос убитого президента. Фотография поэта в гробу на развалинах его разоренного дома.

В 16 часов 30 минут по среднеевропейскому времени в Чили 11.30 утра. Тот, кто будет читать об этом самое раннее года через три — придется ли ему напрягать память: кто был Корвалан? Один из многих, кому мы не сумели помочь?

Во всяком случае, один из тех, кто в эти дни схватился бы не за книгу, не за исписанную бумагу, а за ружье — если б мог.

Вот чем объясняется перерыв между главами, а вдобавок — растущим опасением, что объективного рассказа о прошлом — что бы ни представляла собой эта все растущая гора воспоминаний — не получится. Двойная работа. Рассказывать и тем самым посредничать между Настоящим и Прошлым. А что это значит — примирять? Смягчать? Сглаживать? Или сближать одно с другим? Дать сегодняшнему человеку повстречаться с канувшим в прошлое — посредством написанных строк?

Эта глава, давно отведенная на то, чтобы поговорить о войне, пишется, как и все прочие, на листках с заголовками «Прошлое», «Настоящее», «Поездка в Польшу» и так далее. Рукопись. Вспомогательные конструкции, придуманные, чтобы организовать материал и отторгнуть его от себя — если уж не с помощью простенького механизма причин и следствий, то с помощью этой вот системы взаимопроникающих слоев. Форма как возможность посмотреть со стороны, издалека. Она всегда не случайна, не свободна. Откровенный произвол, правящий жизнью: здесь ему места нет.

(Сообщение от 20 сентября 1973 года: фуражка Гитлера, которую он носил до 1933 года — подлинность ее засвидетельствована лицами из близкого окружения фюрера, — будет продана в Кёльне с аукциона. Исходная цена — 75 000 марок.)

Аутентичное высказывание доктора Геббельса касательно так называемого аншлюса Судетской области и Восточной марки — бывшей Австрии — к Великогерманскому рейху: «Наконец-то она создана — германская империя немецкой нации!» Нелли сидела у репродуктора, когда в городе под названием Вена грянуло ликование; больше всего это походило на рев стихии, с каждой секундой он набирал силу, и Нелли, как никогда взбудораженная, невольно задрожала, на коричневой поверхности отцовского стола отпечатались ее мокрые от пота ладони.

Шарлотта Йордан, которой распроклятый магазин не давал как следует заняться детьми, посулила разбить эту крикливую штуковину; девчонка, того гляди, свихнется.



Господи, ну зачем кипятиться понапрасну.

Вечно все у нее в черном свете.

Кассандра за прилавком, Кассандра, ровными рядами складывающая хлебные буханки, Кассандра, отпускающая картошку. Иногда она поднимает глаза, и взгляд у нее — не хочется мужу видеть этот ее взгляд. Случайность — все, что происходит. Случаен этот мужчина. Случайны эти двое детей, за которых она так боится. Этот вот дом и тополь под окнами — чужие, незнакомые.

Шарлотте, шагающей в ногу с веком, сравнялось тридцать девять. Она пополнела. И сменила прическу, носит теперь так называемый «олимпийский валик», к минувшему рождеству муж подарил ей чернобурку, выбросил деньги на ветер — куда ее надевать-то? С недавних пор она подкрашивает волосы, в ванной на стеклянной полочке лежит зубная щетка с черной щетиной, а рядом — тюбик краски для волос. Химия и тогда уже была в Германии высокоразвита, но тогдашние краски для волос с нынешними в сравнение не идут; кожа возле корней волос приобретает у Шарлотты коричневый оттенок. Нелли разглядывает черную зубную щетку, словно та выдаст ей мамин секрет. Перед зеркалом в ванной она расплетает косички, пробует и так причесаться и этак, гримасничает. Потом пристально смотрит себе прямо в глаза и говорит, отчетливо, с расстановкой: Меня никто не любит. (Аутентичная фраза, конечно же, не зафиксированная на бумаге, не то что фраза доктора Геббельса о германской империи. Как прикажете понимать, что, по-твоему, обе эти фразы при всем их различии каким-то образом связаны друг с другом? Но это и есть подлинность, как она тебе мыслится, и вот тут-то, на пустяковом примере, ты видишь, куда угодит тот, кто всерьез решится на такое, — в безбрежность, и это еще слабо сказано.)

Года через четыре, через пять за пессимизм можно и жизни лишиться, ведь чем мрачней ситуация, тем более жесткими должны быть меры против тех, кто зовет ее «мрачной». В сорок четвертом году Шарлотта Йордан публично, то есть в собственном магазине, в присутствии трех покупательниц, которых она, как ей казалось, хорошо знала — но одна из них занимала руководящий пост в нацистской женской организации, — высказалась: Войну мы проиграли, это и слепому видно.

Три дня спустя — было это теплым летним вечером — Шарлотта вместе с дочкой Нелли и с матерью сидела на травке за верандой, заворачивая в фантики леденцы для конфетной фабрики дяди Эмиля Дунста, и тут появились двое мужчин в плащах — это летом-то! — и сказали, что им надо с нею поговорить, желательно в доме. Подошедший Бруно Йордан накинул жене на ноги плед, чтобы укрыть от этих господ ее дрожащие колени: жена, мол, слаба здоровьем, мерзнет чуть что.

Детям: Эти двое? Господи, да они из финансового управления. Справка какая-то понадобилась, дела есть дела.

Визитерам: Никогда! — вот что сказала Шарлотта. Никогда я ничего подобного не говорила. Проиграть войну! Не-ет, это кто-то ослышался, причем здорово.

Где у Нелли были глаза, ведь она не заметила, что в глубине души мама дрожмя дрожала от страха — при каждом звонке, например, особенно вечерами, — что она толком не спала пять-шесть недель кряду, вплоть до заключительной беседы в гестапо, где ей сообщили: Этот инцидент решено оставить без последствий, так как две другие свидетельницы заявили, что они не слышали соответствующего высказывания, а репутация госпожи Йордан до сих пор была безупречна. Лео Зигман, старый отцов друг, обладатель золотого партийного значка, «пустил в ход все средства».

Предположительный диалог между Бруно и Шарлоттой Йордан вечером этого дня. Бруно: Бога ради, будь осторожнее, ведь тебе, считай, повезло.

Шарлотта: Повезло? — У нее была вызывающая манера повторять слова, в которых она сомневалась. — Вот спасибо, разодолжил. Но помни: уж лучше я откушу себе язык...

Тем все и кончилось.

А ведь злополучная реплика была весьма сдержанна по сравнению

с той, которой Шарлотта начала войну. Та звучала вот как: Плевать мне на вашего фюрера!

Сцену эту надо представить себе таким образом: время действия — поздний вечер 25 августа 1939 года; место действия — тускло освещенная лестница в доме Йорданов. Действующие лица: письмоносец; Бруно Йордан, стоящий с письмоносцем лицом к лицу; Нелли, как всегда в подобных случаях безмолвная, на пороге квартиры; на середине лестницы Шарлотта, а наверху, перегнувшись через перила, — «усишкина» бабуля.

Почему она сказала «вашего»? — подумала Нелли. Вашего фюрера?

А Бруно Йордан схватил жену за плечо, должно быть «крепкой хваткой», и сказал две фразы. Одну — Шарлотте: Милочка, из-за твоего языка недолго и головы лишиться! Вторую — письмоносцу: Не стоит принимать это всерьез, у моей жены нервишки шалят.

После чего тот махнул рукой и ушел.

Подлинное событие, нуждающееся в комментарии.

Шарлотта и сама неукоснительно избегала сквернословить и детям запрещала. Она говорила «поросенок», но никогда — «свинья». Говорила «дурак», но не «кретин». Семейное предание умалчивает о том, награждала ли она — мысленно или вполголоса, чтобы муж слышал, — фюрера по вечерам, когда дети спали, а они с Бруно, сидя в большой комнате, читали газету, все более дерзкими эпитетами; не исключено, что в тот вечер она с ходу обратилась к самому что ни на есть крепкому выражению; правда, после войны у нее нашлись слова и похлеще: «злодей проклятый».

Тот вечер вобрал в себя всю гамму эмоций. Лутцу как раз стукнуло семь лет, и в семейном кругу состоялся веселый праздник, вечером дядья зашли за своими женами и детьми, которые давно уже сидели за кофе, нахваливая обсыпной пирог «усишкиной» бабули и говоря друг другу приятное: полоса огорчительных недоразумений миновала, и родственники, судя по всему, наконец-то решили помириться. Тетя Лисбет хвалит искусную прическу тети Люции, та же без устали твердит, как похорошел и окреп в последнее время малыш Манфред (двоюродный братишка Манни, тот самый, семимесячный). А после ужина трое мужчин — Бруно Йордан, Вальтер Менцель и Альфонс Радде — стоя провозглашают тост и, чокнувшись, пьют — конечно же, за благополучие своих семей. Нелли, молчаливая, но тонко чувствующая эмоциональный настрой, испытывает облегчение, а может быть, и «восторг»; «усишкина» бабуля краешком фартука утирает глаза. Всем кажется, будто они для того и пришли на свет, чтобы сообща вести этакую мирную и неспешную жизнь. Кто-то смущенно роняет: Вот видите, можно и так. — Еще бы! — откликается Бруно Йордан.

На том и расстаются. Йорданы садятся у окна посумерничать напоследок. Без слов. Среди тишины и вечернего умиротворения.

Идет кто-то, сказала Шарлотта. Черная фигура в темноте на безлюдной улице. Чудно́, во все дома заходит. (Не во все, но во многие, потому что «мобилизовали» сразу несколько призывных годов.) Что это он повсюду стучит? Прямо как письмоносец. Да он и есть. Что ему надо, среди ночи? Знаешь, что́ он, по-моему, разносит?

Все у нее в черном свете, вечно в черном свете. Нет чтобы до поры до времени хранить спокойствие. Выждать, зайдет ли он к нам. Тогда тоже не поздно будет произнести такое слово, как «повестка». А о войне, может, все равно еще рано говорить. Но нет. Шарлотте надо брякнуть все сразу: Слушай! Он повестки разносит! Война!

Потом, словно парализованная, она провожает взглядом этого человека: вот он стучится в двери баровских домов, вот в некоторых квартирах вспыхивает свет, вот он точно под прямым углом пересекает Зольдинерштрассе, решительно направляется к их крыльцу, — Шарлотта отходит от окна и бежит наверх к «усишкиной» бабуле, сообщить ей о предстоящем событии, — шаг за шагом он устало поднимается по ступенькам, звонить не нужно, так как Бруно Йордан уже отворил дверь; письмоносец протягивает грязно-желтый конверт: Это вам.

Бруно, сдержанно: Опять, значит.

Письмоносец, устало: Да. Видать, так.

А потом с середины лестницы Шарлоттин возглас: Плевать мне на вашего фюрера!

Значит, мама отступилась от фюрера. Отцу надо на войну. Война — это хуже некуда. Отец может погибнуть. Фюрер знает, что делает. Каждый немец должен теперь быть мужествен.



Повестка у отца на завтрашнее утро, на девять часов. Место сбора — «Адлергартен». В такой день ребят от школы «освобождают». «Прошу извинить, что моя дочь не была в школе. Она провожала на вокзал отца, которого призвали на военную службу». Слегка видоизмененный текст траурного извещения, если подставить вместо «призвали на военную службу» «призвал господь», а вместо «на вокзал» — «в последний путь». А Нелли, разумеется, чувствовала себя так, будто идет в последний путь, — материно наследство, пессимизм, подавить не удалось. «Скорей бы коне-ец, мне пора отдохну-у-уть...»

Никаких слез, о нет.

Хайнерсдорфский дед приехал на велосипеде попрощаться с сыном. Им что же, ветераны понадобились? Бруно Йордану было сорок два года. В «Адлергартене» сперва пришлось ждать. Чуть ли не полжизни солдат ждет напрасно. Садовые стулья и столы в их распоряжении. Продажа пива, само собой, запрещена. Больше штатских, чем будущих солдат, которых выдает перевязанная бечевкой картонка от «персиля» в руках или под ногами. Команда «становись!», хорошо знакомая каждому, все же действует на них сегодня не так, как обычно. Отец, молодцеватый, подтянутый, во второй шеренге. Перекличка. Команды, приводящие колонну в движение, — к вокзалу, а он ведь в двух шагах.

Запевай! «Птички лесные поют так чудесно, дома, в родимом краю...» Петь отец никогда не умел.

Семьи, жены и дети, на тротуарах по обе стороны маршевой колонны. На углу Банхофштрассе, то бишь Вокзальной улицы, Бруно Йордан оборачивается и делает знак рукой, видимо, означающий: Дальше не ходите. Шарлотта против ожидания не перечит. Она останавливается — и в слезы. У отца такой вид, будто он лишь огромным усилием сдерживает рыдания. На обратном пути — Шарлотта всегда громко плачет, не стесняясь людей, когда в семье случается беда, поэтому Нелли, которая тащит за руку брата, что есть мочи стискивает зубы, — на обратном пути возле са́мой молочной хайнерсдорфский дед отпускает диковинное замечание: Не видать вам больше отца-то, дочка. Помяни мое слово.

Пророчествами хайнерсдорфский дед обычно не занимается. Нелли, в ушах которой все звучит голос отца: Помогай маме! — волей-неволей запоминает и припрятывает подальше еще и эту дедову фразу. Иногда такие фразы сыпались как из рога изобилия. Хороша бы она была, если б обращалась с ними небрежно!

Но мать, Кассандра, вмиг ополчается против мужнина отца. Типун тебе на язык!

Только подумать, что в тот понедельник тридцать четыре года назад где-то на свете кто-то, наверное, сидел за пишущей машинкой, — кто-то, кого сейчас, вероятно, уже нет в живых, ты даже имени его не знаешь, — и, занятый своей работой, покачал головой, услыхав сообщение о мобилизации в Германии. У него и мысли не мелькнуло о десятилетней девочке или об отчаявшемся старике. Теперь этот кто-то — ты сама, по отношению к детям в Израиле и Египте; вчера они проводили своих отцов на сборные пункты (сегодня воскресенье, 7 октября 1973 года), и некий старик — может, он пережил нацистский концлагерь, а может, он феллах, не умеющий ни читать, ни писать, — говорит им по-еврейски или по-арабски, что они могут и не увидеть больше своих отцов, надо, мол, и к этому быть готовыми. Ты вот сидишь за машинкой, делаешь свои дела, а на Суэцком канале «продолжаются тяжелые бои».

О эта фатальная приверженность истории к повторениям, которую надо встречать во всеоружии.

Сегодня в третьем часу ночи ты вдруг проснулась в испуге. Привычка ежедневно записывать на белых страницах кусочек текста неожиданно оказалась под угрозой.

Ты — во сне — была в просторном сельском доме, наподобие постоялого двора, где кишмя кишел народ: бородатые, без кровинки в лице, растрепанные мужчины, совершенно незнакомые, но почему-то они обращались к тебе так, словно все вы собрались тут ради какой-то общей цели, о которой нет нужды говорить более подробно. К твоему удивлению, в чисто

выбеленной и, кстати сказать, весьма скромной комнате, где ты хотела уединиться, обнаружился маленький уродец — голова яйцом, — который, однако, по твоей просьбе сразу же ушел. Правда, через несколько минут его самым беспардонным образом опять зашвырнули внутрь, так что дверь разлетелась в щепки; уродец висел вниз головой на какой-то веревочной штуковине, вроде качелей, а подручные палача раскачивали ее туда-сюда, награждая гномика тумаками и зычно требуя каких-то сведений. И тут, похолодев от ужаса, ты увидела: этот человек не мог говорить, у него не было рта. Нижняя часть его лица, то и дело мелькавшая прямо перед тобой, была гладкая, белая, немая; он не мог исполнить волю своих мучителей, даже если бы захотел. В отчаянии ты подумала — и тотчас отреклась от этой мысли: велели бы ему писать, иначе-то ничего не узнают. Сию же секунду мучители развязали его, посадили на твою кровать и сунули в руки карандаш и узкие, длинные полоски бумаги, чтобы он записывал на них свои ответы. Бедняга издавал дикие звуки, от которых у тебя кровь стыла в жилах. Но что самое ужасное — ты его понимала: он ничего не знает. Молодчики принялись пытать его на твоей кровати.

Ужас не отпускал несколько часов после вынужденного пробуждения. Средоточием его была секунда, когда ты в мыслях подсказала мучителям, как им добиться цели — заставить немого писать. А ты, оцепеневшая, обреченная на роль наблюдателя, стояла рядом и не могла сдвинуться с места, не могла прийти на помощь страдальцу.

Ты бы много дала, чтобы забыть этот сон.

Был в одном из немецких концентрационных лагерей эсэсовец по фамилии Богер, который изобрел пыточный инструмент, получивший впоследствии название «качели Богера». Наверное, надо было ожидать, что эта писательская работа вывернет наверх самые нижние пласты. Наверное, жить в наше время и не стать совиновным — выше человеческих сил. Люди двадцатого века, говорит один знаменитый итальянец, злы на самих себя и друг на друга, ибо доказали, что способны жить при диктатурах. Но где начинается распроклятая обязанность хрониста, который вольно или невольно является наблюдателем, иначе бы он не писал, а сражался или погиб, — и где кончается его распроклятое право?

Где времена, когда брюзгливые заклинатели прошедшего могли внушить себе и другим, что они-то и распоряжаются справедливостью. О эти страшные времена, когда пишущий мог браться за описание чужих ран, только предъявив собственную рану, нанесенную несправедливостью!

Если б оказалось правдой, что последняя рукопись покойного Пабло Неруды украдена, никто на свете ничем не сумел бы возместить утрату. И вот право в такой день, как этот, заполнить строчками чистый белый лист становится вдруг обязанностью, которая сильнее любого другого нравственного императива.

Даже если придется вновь заговорить о таких вещах, о которых как будто бы все уже сказано и ряды соответствующих книг в библиотеках измеряются уже не метрами, а километрами. Тем не менее война по сию пору не принадлежит к числу предметов ясных и достаточно обсужденных. Мы условились насчет определенного образа войны, насчет определенного стиля, в котором положено писать о войне или предавать ее анафеме, но во всем этом чувствуется умолчание, стремление обойти некие моменты, снова и снова потрясающие душу. Поляк Казимеж Брандыс, которого ты цитируешь без кавычек, говорит еще и о том, что война ведет к ужасным, безумным изменениям обстоятельств.

Вскрывает нутро.

Но и отсутствие ужасных, безумных изменений способно разочаровать. Все быстрее, все громче галдеж: Данциг[1]! Польский коридор! Фольксдойчи[2]! Гибель! Жизненное пространство! — как и следовало ожидать, для Нелли эти крики слились в один, выплеснувшись яростным воплем: Радиостанция Гляйвиц[3]! Вестерплатте[4]! — и фразой: «Не нынче завт-

[1] Ныне г. Гданьск (ПНР).

[2] В фашистской Германии — немцы, не проживающие на территории рейха.

[3] Имеется в виду провокация, устроенная фашистами в г. Гляйвиц (ныне г. Гливице, ПНР) в начале второй мировой войны.

[4] Мыс в Гданьской бухте, где в начале второй мировой войны шли тяжелые бои.



ра откроем ответный огонь». От этих слов сердце взлетало вверх и снова падало, будто оно — теннисный мячик и одна-единственная фраза фюрера способна заставить его скакать.

Учитель истории Гассман (Нелли перешла в первый класс второй ступени) явился на урок в коричневом мундире и изрек: Вот фразы, какими глаголют сами железные уста истории. Штудиенрат Гассман облек Неллины ощущения в слова, но умолчал о том, не разочаровало ли в глубине души и его, что этой осенью так долго стоит хорошая погода (она продержится всю польскую кампанию). Не предпочел ли бы и он, чтобы жизнь — раз уж идет война — все время напоминала этакую экстренную сводку, и ни капельки бы не пожалел о нарушении будничного хода вещей?

Нелли пристрастилась к шумихе.

Вероятно, ликованию на Зольдинерштрассе, когда части городского гарнизона выступили из казарм имени Вальтера Флекса, не мешало бы быть и погромче, но следует учесть, что заселена эта улица была слабо. И не только Нелли и Шарлотта Йордан бросали пачки сигарет в кузова военных машин, где плечом к плечу сидели солдаты, как по ниточке выровняв дула карабинов на уровне носа, — другие обитатели Зольдинерштрассе тоже высыпали на улицу, в большинстве люди, у которых с августа четырнадцатого года сохранилось впечатление, будто войны начинаются с раздачи осенних букетиков уходящим на фронт войскам. А что было написано на бортах грузовиков? «Встретимся на рождество!» — вот что. Читать было приятно.

По части техники информации тогдашняя эпоха находилась на низкой ступени развития. Ныне в эфир идут буквально самые первые живые картины с любого театра военных действий — даже из Чили, где хунта, конечно же, следом за чрезвычайным законодательством ввела цензуру. Тайком отснятые киноленты теряют профессионализм, кадры расплывчаты, смазанны, прыгают. Оператор снимает на пленку собственного убийцу, человека, который целится в него из ружья. Вместе с ним самим камера шатается, падает, изображение гаснет. Потом — скрюченные трупы на обочине пыльной дороги, по которой — мимо трупов, между ними — шагают люди, даже на них не глядя.

За все время с 1933 до 1945 года корреспонденты западных информационных служб ни разу не смогли предоставить своим читателям подобных картин из Германии. Люди на улицах не валялись. Они умирали в подвалах и бараках. Убийцы предупредительно отнеслись к европейскому образу мыслей и, надо сказать, не остались внакладе. Им заплатили — невмешательством.

Историки ликуют по поводу богатого документального материала, что достался нам от времен, призванных здесь к ответу. Только по тридцати нюрнбергским процессам собрано, как сообщают справочники, 60 000 документов, полная обработка которых, а тем более публикация требует неимоверных затрат. Похоже, дело все-таки не в том, что нам или жившим тогда — Йорданам, и Менцелям, и Радде — не хватало документальных свидетельств. Допустим, обитатели Зольдинерштрассе случайно или слушая вражеские радиостанции (которые, вероятно, тоже обходили этот вопрос молчанием, пока их правительства вели секретные переговоры с правительством рейха) получили бы доступ к определенным дипломатическим нотам, обещаниям, требованиям, отказам, ультиматумам, гарантийным заявлениям, протоколам секретных совещаний. («Речь идет не о судьбе Данцига». Адольф Гитлер перед главнокомандующими вермахта.) Предположим, им бы удалось заглянуть в текст подписанных в последнюю минуту пактов о ненападении и не только ознакомиться с шестнадцатью пунктами программы, которая была адресована полякам и передавалась всеми радиостанциями рейха, но и понять, что эта программа была задумана как алиби: поздним вечером 31 августа, когда эти шестнадцать пунктов пошли в эфир, срок нападения на Польшу был уже установлен — 4 часа 45 минут утра 1 сентября, — а спецподразделения, которым предстояло инсценировать нападение поляков на радиостанцию Гляйвиц, таможню Хохлинден в округе Ратибор и лесничество Пичен в округе Кройцберг, уже натянули польские мундиры. Допустим, они бы в самом деле узнали о письме Муссолини, которое на шесть дней отодвинуло назначенное сперва на 26 августа начало войны, поскольку итальянцы заявили, что еще не совсем готовы к выпол-

нению союзнических обязательств перед немецкой стороной, — допустим, эти и другие совершенно секретные документы стали бы известны всем и каждому, — что бы изменилось?

Поставить вопрос — значит дать на него ответ.

У Йорданов есть семейная фотография, сделанная унтер-офицером Рихардом Андраком; после польской кампании, когда призывников старшего возраста перевели в войска гражданской обороны, этот Андрак сидел за одним письменным столом с Бруно Йорданом в управлении призывного района и по профессии был фотографом, а заодно гипнотизером-любителем. Снимок был сделан с использованием лампы-вспышки в кабинете отца, причем штатив с камерой стоял в дверях, которые вели в большую комнату, поэтому все, кто сидел вокруг кафельного столика, попали в кадр. В креслах и на диване — родители и дети, рядом и напротив друг друга. Некоторую скованность поз следует отнести за счет того, что натура не привыкла фотографироваться. Как бы там ни было, все четверо, неестественно выпрямившись, с улыбкой глядят мимо друг друга, каждый в свой угол кабинета.

Никто и никогда не сумеет доказать, что миллионы таких семейных фотографий, наложенных одна на другую, связаны каким-то образом с началом войны.

В общем, все шло именно так, как говорил свояченице Шарлотте дядя Эмиль Дунст, державший фабрику еврея Геминдера до тех пор, пока сырье, необходимое для изготовления конфет, безнадежно не иссякло, а говорил он вот что: Сколько ж мы, немцы, вкалываем, это ведь уму непостижимо, да-да, уму непостижимо. Пусть-ка сами сперва этак попробуют, а нет — нечего и цепляться.

И вместе с тем огромное удовольствие от сообщения, что части германских войск «вошли в соприкосновение с противником». Нелли невольно спросила себя, как это можно — требовать, чтоб противник не цеплялся, и одновременно входить с ним в соприкосновение. А очень просто: с врагом входят в соприкосновение, чтобы его уничтожить. Наносят ему броневым кулаком смертельные удары.

Двадцать пять минут ходу, и можно после обеда посмотреть в кинотеатре «Кюфхойзер» последний выпуск ТОБИСовской [1] хроники, посидеть в зале, полном детей и стариков, которые блаженно сопели и втягивали головы в плечи, когда по экранному небу с ревом неслись германские авиаэскадры, и презрительно ворчали, когда объектив камеры скользил по лицам пленных недочеловеков. После журнала показывали «Роберт Кох, победитель смерти», «Образцовый муж» с Хайнцем Рюманом [2], а затем шли «Тетка Чарлея» и «Шумный бал». Городской театр открыл сезон «Венской кровью» [3].

По случайности в тех газетах, которые 10 и 11 июля 1971 года, во время вашей двухдневной поездки в Польшу, лежали в машине, у заднего стекла, рядом со стареньким львом-талисманом из желтой клеенки, были опубликованы выдержки из пентагоновских документов — некто Элсберг сумел их похитить и предать огласке. Ленка, успевшая просмотреть газеты, с ходу завела разговор об этих документах, причем начала с вопроса: А вы, между прочим, знаете хоть одного счастливого взрослого?

Пожалуй, с тех пор вы и стали прислушиваться к Ленкиным высказываниям, в которых проскальзывали «между прочим» или «собственно». Почему-то вам было крайне важно, чтобы она считала вас счастливыми взрослыми, а вот Лутц, ее дядя, решил, что самое время просветить племянницу насчет несходства юношеских претензий на счастье и реальной жизни. Вы как раз затормозили у входа на стадион и собирались выйти из машины. По твоей просьбе — якобы затем, чтобы размять затекшую ногу, а на деле, чтобы вновь коснуться рукой деревянного турникета возле кассовой будки и опереться на железные перильца, которые тянутся по обе стороны обсаженной тополями главной аллеи, — их шершавый металл обжигает ладони.

Помните, какая тогда стояла жара? Был уже почти час дня, и вы на-

[1] ТОБИС («Тон-бильд-синдикат») — немецкая кинофирма.

[2] Рюман Хайнц (род. в 1902 г.) — немецкий актер театра и кино, ныне живет в ФРГ.

[3] Оперетта И. Штрауса.



деялись, что скоро зной пойдет на убыль. Взявшись рукой за турникет, ты безотчетно, играючи поворачивала его туда-сюда, сперва без всякого удивления, а потом все больше удивляясь, что он скрипит в том же месте и точно так же, как двадцать семь лет назад (уж не обман ли это слуха? Обман тогда или сейчас?); в конце концов ты прислонилась к турникету, остановив его вращение, и, правда, неуверенно, конечно же, в шутку предложила своей дочери Ленке себя и X. — как «счастливых взрослых».

Ленка привычно подхватила шутку, скрывая то, что думала или видела в душе, демонстративно вздернула брови и сказала: Вы?

Что в этом зазорного, если собственные дети не считают тебя «счастливым»? Начались нудные препирательства вокруг этого старомодного слова. Вы сознавали, что желали бы еще хоть раз, хоть один этот день не видеть в глазах Ленки сомнения — пусть они еще побудут детскими. Не самыми благовидными средствами ты вынудила ее заявить, что она, мол, правда-правда не считает вас «несчастливыми» — даже наоборот. Но что «наоборот», какова противоположность этому «несчастливый», она не сказала. (Она не скажет того, чего не хочет, не как ты. В Ленкином возрасте Нелли тоже не заикалась о том, чего сказать не хотела. Стоило бы призадуматься: когда человек, сам того не желая, начинает говорить все без разбору?)

На стадионе каждую осень проводились юношеские состязания по бегу, прыжкам в длину и метанию мяча. Неллины результаты, весьма высокие, были отмечены значком победителя и грамотой; Нелли достигла вершин спортивной отдачи и в городской организации юнгфолька была в числе десяти лучших девочек, допущенных к чемпионату гитлерюгенда, на том же стадионе. Травяные площадки и гаревые дорожки кишели девчонками и мальчишками в черных спортивных трусиках и белых майках, на груди у которых был нашит ромб со свастикой; а зрительские трибуны и раздевалки заполоняли коричневые рубашки и белые блузки, синие юбки и короткие черные штаны, черные шейные косынки и плетеные кожаные галстуки, юнгфольковские ножи и портупеи; горластые, взбудораженные, потные толпы, объединенные в команды и отправляемые на старт, укрощенные долями секунды и миллиметровыми разрывами.

Закалять тело. Закалять спортом тело и дух.

Но вернемся к документам Элсберга, за похищение и публикацию которых этого Элсберга успели судить и оправдать. Да может ли быть, допытывалась Ленка, чтобы махинации секретных служб и цепочка вопиющих халатностей вкупе с невероятной беспомощностью высших должностных лиц, таких как президент США Джон Ф. Кеннеди, дали толчок той серии путчей, контрпутчей, убийств прежних сторонников, которую с определенного момента стали называть «войной», вьетнамской войной.

Может ли быть? Да. В определенных условиях, сказали вы. И упомянули некоторые из них. В частности, белый президент огромной могучей страны непременно должен считать образ жизни своего общественного слоя и своей расы единственно правильным, тогда он действительно сможет не глядя подмахнуть телеграмму, роковые последствия которой для нации с иным цветом кожи и образом жизни он уяснит себе лишь много позже.

Ленка оперировала такими выражениями, как «чокнутый», «паршивый», «мерзкий», «дерьмовый»; тот набор слов, что был в ходу во времена вашей юности, истрепан войнами и прочими разрушительными акциями. Страшный, жуткий, отвратный, ужасный пришлось повторять слишком часто, больше ими пользоваться нельзя. Только такие, как тетя Трудхен — Трудхен Фенске, она развелась еще в начале войны, что, конечно, было ужасно, — вечно мусолит одни и те же слова, хотя по все более ничтожным поводам.

Ты вдруг поняла, почему Ленке не хотелось называть вас счастливыми (обоих вместе — еще куда ни шло, но по отдельности?.. Вряд ли...) и почему ей так важно найти свое собственное счастье. Ваша походка и та, наверное, о многом ей говорит; принужденная осанка, механическое движение нетренированных ног, окостенелая целеустремленность. Уж не зависть ли кольнула тебя, когда она, легко упершись одной рукой, на твоих глазах боком перемахнула через железные перильца? (По части прыжков в высоту у нее талант, говорил Ленкин учитель физкультуры, но, к сожалению, как и все ее таланты, он пропадает втуне, а ведь можно было бы

развить; Ленка небрежно махнула рукой: Что? Профессиональный спорт? Ну уж нет!) А потом она без всякого перехода впала в танцевальный ритм — это у нее, видимо, в крови — и, приплясывая, крутанула турникет. У тебя мелькнуло легкое сожаление о слишком рано приобретенной и прогрессирующей теперь ригидности, об отложениях солей в мышцах, об этих отходах горячих и холодных войн, участие в которых даром не проходит, след непременно остается, — а транзистор на твоем столе в эту минуту сообщает: Министр обороны США вечером заявил, что в соответствии с программой американской военной помощи в Израиль направлен ограниченный контингент американских военнослужащих.

Позднее эта информация была опровергнута.

Человеку редко бывает известна значимость наступившей минуты. Нынче пятница, 19 октября 1973 года, прохладный, дождливый день, 18 часов 30 минут. В Чили военная хунта запретила слово compañero[1]. Стало быть, нет причин сомневаться в действенности слов. Пусть даже некто, чьему серьезному обращению со словами ты издавна доверяешь, не может более ими пользоваться, дает себе волю и знаменует эти дни фразой: «Обожженной рукой я пишу о природе огня». Ундина уходит. Делает рукой — обожженной рукой — знак: все кончено. Уходи, смерть, а ты, время, остановись. Одиночество, которое никто со мною не разделит. С отзвуком во рту надо идти дальше и молчать.

Быть готовым? К чему? И не поддаться грусти? «Не объясняй мне ничего. Я видела, как саламандра проходит сквозь любое пламя. И никакой кошмар ее не гонит, и не терзает никакая боль».

Далекая, безвременно ранняя и, стало быть, кошмарная смерть. («Не стоит ли недолгое, кошмарное то время...») Темная нить вплетается в узор. Нельзя ее упустить. А подхватить пожалуй что рановато.

Положиться на двузначность слова — такова заповедь. Слегка пошатнувшись, оттого что груз на плечах потяжелел, распрямиться. Нужно говорить. Нужно рассказать о землисто-сером отцовском лице и о причинах, что надолго делают из цифры «пять» грозную опасность вроде мясницкого крюка...

Отпуска с фронта даются, если общее положение в принципе позволяет отлучку. Такое положение сложилось в Польше, где «была окончательно поставлена точка», уже в октябре тридцать девятого. Потери с немецкой стороны: 10 572 убитых, 30 322 раненых, 3403 пропавших без вести. Две новые имперские области — Данциг и Позен — «поднялись из огня сражений». И вот настал ноябрь. Туманный вечер. Нелли пришла с «дежурства». На вешалке в коридоре — незнакомая тяжелая шинель, солдатская шапка и коричневый кожаный ремень с блестящей серебристой пряжкой, на пряжке выгравированы орел и надпись: С нами бог. Запах шинели — Нелли уткнулась в нее лицом и только после этого пошла в столовую, где впервые за столько недель опять стелился сигаретный дым и за столом, усадив к себе на колени Лутца, сидел отец, а напротив него — мама, хотя была суббота и торговля в самом разгаре. Мама наливала отцу кофе и смотрела на него... Нелли незамедлительно расплакалась. И как почти всегда, слезы ее были поняты неправильно: девочка, мол, уж очень обрадовалась, что отец вернулся, — и, как почти всегда, на нее некстати и невпопад посыпались утешения и поцелуи. А на самом деле у нее в голове молнией мелькнула мысль: сейчас играется пьеса «Возвращение», тут не грех и поплакать.

Пора исподволь покончить с молчанием о том, о чем говорить невмоготу. Давайте вспомним землисто-серое отцовское лицо.

Пора исподволь отходить от описаний погоды. Не все же дни в том ноябре были туманными, случались и солнечные. День, о котором настало время заговорить, был солнечный, воскресный, точнее, это было воскресное утро, между двенадцатью и половиной первого, так как в половине первого у Йорданов обедают, но тот звонок раздался чуть пораньше. Вечерами и по воскресеньям телефон «переключали» в квартиру и ставили в передней, на белую полочку возле вешалки. Нелли, как обычно, в детской с книжками, услышала по голосу отца, по его восклицанию «Лео!», что он рад звонку своего друга Лео Зигмана, а ведь вообще-то они служили в одной и той же канцелярии одной и той же пехотной части в «унылой дыре» на западном берегу Буга, и воскресным утром (само собой, у нас тоже солнце!) Лео Зигман позвонил приятелю, обер-ефрейтору Бруно Йордану, в настоящее время отпускнику, просто-напросто со скуки.

[1] Товарищ *(исп.)*.



Дальше.

Разговор продолжался уже минут пять. Шарлотта Йордан, раздосадованная нарушением обеденного распорядка, позвала детей к столу. В тот миг, когда Нелли очутилась на пороге детской, прямо за спиной отца, и потому могла видеть в зеркале его лицо, она услыхала, как он произнес несколько слов совершенно чужим голосом, большей частью это были отрывистые вопросы, на которые собеседник на другом конце линии отвечал довольно-таки обстоятельно.

Что-что?

Так. И когда же?

Ах, позавчера.

Сколько, ты говоришь?

Потом он повторил цифру, очевидно услышанную от Лео Зигмана. Ручаться нельзя, но как будто бы это была цифра: пять. (Пятерка, похожая на крюк мясника.)

Дальше.

Вот когда появляется землисто-серое отцовское лицо. Нелли видела его в зеркале, правда-правда. Серое, осунувшееся. Да-да, так оно и было: чтобы не упасть, отец схватился за серый рукав шинели. И поспешил распрощаться с Лео Зигманом. На ватных ногах, не замечая Нелли, он прошел в столовую и рухнул на стул.

Начиная отсюда, речь отключается. Выпадает из памяти, и незачем придумывать, в каких словах Бруно Йордан ответил на вопросы жены, передавая ей разговор с Лео Зигманом.

А сводился этот разговор к следующему: позавчера их частью были казнены поляки-заложники.

Данные не проверены, но здесь должно стоять: повешены. Числом пять. И слова Лео Зигмана: Жаль, тебя не было.

Эту фразу, дословно, ты бы опять могла взять на свою ответственность: Жаль, тебя не было, — так он и сказал.

А Шарлотта Йордан перестала есть.

Еще немногим позже, хотя никто ни о чем не спрашивал, отец сказал: Это не для меня.

А взгляды родителей суетливо метались туда-сюда, предназначенные не детям и даже не друг другу. Супруги, прячущие друг от друга глаза.

Слово «кошмар» — оно что же, поныне в употреблении? Раз так, не будем стесняться и обобщим эту сцену, а заодно и Неллины чувства в незнакомом ей слове — кошмар.

Она потупилась и ничем себя не выдала.

Ни сло́ва, ни словечка. О слова́! — Дальше. Вскрытие нутра.

Может быть, стоит докопаться до истинных ответов на вопросы Ленки; как раз теперь, в конце октября семьдесят третьего года, она читает подробнейшее описание гонений на евреев в маленьком немецком городке, а слово «немецкий» с некоторых пор изъяла из своего лексикона и находит для этого все более веские причины: оно ей ни к чему; оно ей без надобности; плевать ей на него; дутое оно какое-то; вообще-то оно ей весьма не по вкусу. Сейчас, как почти всегда в осенние каникулы, она лежит больная в постели, кашляет, но упорно отказывается от чая, шалей и растираний, только громоздит вокруг себя книги и допытывается, как можно жить «после этого».

Это вот предложение вопросительное. А это — повествовательное: Собственно говоря, вы слишком много от нас требуете.

Два года назад она ничего подобного не говорила, но кто знает, когда она начала так думать. Может, в ту секунду, когда на стадионе в Л. — нынешнем Г. — раскрутила перед вами деревянный турникет? Есть у нее привычка долго скрывать новые умозаключения, а потом вдруг без объяснений и без оглядки выпускать их на волю, как внезапно выпускают побегать долго сидевшую взаперти дикую собаку.

И нам все это якобы понятно. А вот мне, сказала Ленка, мне непонятно.

Ну а разве у вас, я имею в виду, у твоего поколения ничего такого не могло бы...

У нас? Это?

Свой вопрос о том, почему нет на свете вполне счастливых взрослых, Ленка последние два года не повторяла. О сцене, средоточием которой была реплика Бруно Йордана: Это не для меня! — она по-прежнему не знает. Завидно ли тебе, что ей не довелось увидеть, как отцовское лицо становится землисто-серым? Да. В общем, да.

Ты рассказываешь, как Нелли ходила к сгоревшей синагоге, а радио — в ее комнате оно никогда не выключается — тихонько сообщает, что США привели свои войска в Штатах, в Тихоокеанском бассейне и в Европе в состояние предварительной боеготовности, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на одностороннюю высадку советских войск в районе боевых действий на Ближнем Востоке. В Чили приговорены к смертной казни еще четыре сторонника Альенде, приговор приведен в исполнение. (Нам дали послушать и пленки с записями криков и рыданий женщин в морге Сантьяго. Прогресс. Записей, сделанных в застенках германского гестапо, просто не существует. Число жертв в Чили за семь недель превышает число жертв в Германии за первые шесть лет господства нацистов: чилийцы оказывали вооруженное сопротивление.)

И ведь ты чувствуешь, твой рассказ ничего не проясняет, наоборот, только запутывает. Акценты неумолимо смещаются, упор делается на то, что обретает важность лишь сейчас, в ходе рассказа...

Как растолковать Ленке, что мимо всех этих важных моментов, более того, не обращая на них ни малейшего внимания, шло своим чередом детство, яркое, многокрасочное детство? Взять хотя бы эпидемии коллекционирования, которые не миновали и Нелли: она собирала картинки из глянцевой бумаги и из тончайшей папиросной — положишь на ладошку, подуешь, а они как живые, — делала из старых тетрадок, складывая странички пополам, некое подобие кляссеров, чтобы меняться трофеями; каждую переменку, да и на уроках тоже, под партой, наперекор опасности, что бесценный альбом конфискуют. Цветы — на зверей, переводные картинки — на этикетки от сигарет.

А в альбомах со стихами мы, Ленка, писали то же, что и вы: «Пусть уносятся года — наша дружба навсегда!» (А война между тем разгоралась, и кой-какие невероятные вести донеслись до мира, долгое время не желавшего брать их на веру, и кое-кто начал подумывать, а не будет ли уместно и даже необходимо после войны уничтожить всех немецких детей. Поляк Брандыс описывает, как один из пожилых родственников высказывает эту идею и как его мать задумчиво на него смотрит, а потом говорит: А ты, оказывается, ненормальный...) Правда, в ваших альбомах пестрели и изречения фюрера. Неллина подружка Хелла Тайхман отдавала предпочтение следующему: «Кто хочет жить, должен сражаться. А кто не хочет сражаться в этом мире вечной борьбы, не заслуживает жизни!»

Что все это доказывает? Ничего. Будничные, привычные удовольствия упрямо берут свое, тут нынче и доказательств никаких не требуется, и на объяснениях как будто бы поставили крест. Во всяком случае, книги, которые громоздятся на твоих столах и которые ты прочитываешь добросовестно, однако уже без любопытства, не затрагивают этого вопроса (за редким исключением). В их правильных обобщениях незачем узнавать себя, и Ленка никого узнать не сможет. Ни единого намека на то, как нужно завершать такие вот сцены, что разыгрывались в немецких семьях (в несчетных немецких семьях, надо полагать, но статистика здесь отказывает). Застольные молитвы у Йорданов не в ходу, «приятного аппетита» и то не часто услышишь, или разве что кто из детей попросит разрешения выйти из-за стола. Без церемоний начинали трапезу, без церемоний кончали. Вставали и придвигали к столу черные стулья с высокими спинками. Дети все уберут. Аннемари, прислуга, сидела на кухне, она перемоет посуду — а Нелли вытрет — и наконец получит выходной. Родители ушли к себе, отдохнуть после обеда. Нелли посадила на чистую скатерть пятно, соус пролила, и за это ей влетело, растяпе этакой. Немыслимо, чтобы малейший пустяк изменялся или был забыт только потому, что отец, как выяснилось, едва не стал убийцей. Порядок превыше всего.

Лутц, который может о себе сказать, что ему чужды сумасбродства, остерегал от преувеличений. X. с Ленкой рвали на краю стадиона стебли полыни, намереваясь взять их с собой, высушить и использовать как приправу к мясу (и в самом деле использовали), а ты вспоминала ненавистные кампании по сбору лекарственных трав (здесь, у стадиона, росли и растут целые поля тысячелистника, зверобоя и аптечной ромашки; туго набитые мешочки на багажниках велосипедов; выстланный газетами чердак, удушливая жара, насыщенная резким запахом сохнущих трав; вид на город из слухового окна, река и луга на том берегу, панорама с солнцем и большими стремительными тенями облаков, — картина донельзя отчетливая и прекрасная), — и все это время Лутц находится с тобою рядом. Быстрый, вполголоса, недолгий спор насчет опасности зайти слишком далеко. В иных твоих репликах ему мнится нарочитость, не столько даже в репликах, сколько в молчании, а еще больше в выражении твоего лица, за которым он, оказывается, и поныне следит — с тех пор как из младшего брата стал старшим и развил в себе что-то вроде озабоченного внимания к сестре, хотя никто ему этого не поручал. Он весьма далек от того, чтобы вмешиваться, вынуждать признания, а тем паче давать советы. Ему хотелось бы — и он обязан — предостеречь. Напомнить о пределах. Он говорит осторожно, мягко, такого не бывает, когда ему случается разъяснять тебе какую-либо техническую проблему, например, процессы в недрах электростанции, где для него нет секретов. Не пойми меня превратно, говорит он, и ты понимаешь его совершенно правильно: он волей-неволей беспокоится, ибо вынужден любить то, чего не может полностью одобрить; другого ему не надо, только не хочется рисковать, подставлять себя под удар, быть козлом отпущения — лучше уж во всеоружии. Вот тебе и «не надо другого». Он более или менее сознает, почему ты улыбаешься, когда он заводит такого рода беседу. И более или менее сознает несбыточность своих желаний и потому временами слегка беспомощен, а временами слегка раздражен.

Так какие же пределы? Вполголоса: Например, пределы того, что обсуждается с Ленкой. И каким образом обсуждается. Можно и к детям предъявлять непомерно высокие требования. И ждать от них слишком много. Ты спрашиваешь: А как же мы? Когда были детьми. Считалось, будто мы только и заслуживаем что недомолвок. Загадочных взглядов, избегающих нас. Запертых дверей. И этих ужасных сцен.

Стоп. Об этих сценах Лутц понятия не имеет. В ноябре 1939 года ему было шесть, а Нелли все ж таки десять, и не впервые эта разница выглядит значительной. И вот уже ты — вполголоса, через столько лет — подаешь ему реплику-другую. Больше ему не требуется. Ведь в некотором смысле он при сем присутствовал, потому и не выказывает особого удивления. Тем не менее, говорит он в конце концов. По-моему, все имеет свой предел. И родители обязаны остаться вне этого предела, ибо они — табу.

Требование по меньшей мере для тебя понятное.

Когда Ленка и X. укладывают свою добычу в багажник, ваши четыре руки на несколько секунд замирают рядом на его крышке. Нет, вы посмотрите! — восклицает Ленка. До чего же разные... Ее, как всегда, злит форма собственных пальцев. Квадратные, говорит она и поворачивается к тебе: Ты почему не отдала мне в наследство свои? X. обнаруживает, что пальцы у нее похожи на Лутцевы. Извращение! — объявляет Ленка, она тогда любила это слово. Но с тем и успокаивается. Против Лутца она ничего не имеет, это сразу видно, хотя бы по тому, что ей в голову не приходит звать его «дядей». Иной раз они оба за глаза называют друг друга «порядочными». Правда, вкладывая в это слово не вполне одинаковый смысл.

Ленка подразумевает тут в первую очередь «справедливый». Два года назад именно справедливость она ставила в людях превыше всего. Лутц называя женщин и девушек «порядочными», разумеет под этим в первую очередь «неиспорченных»; о мужчинах он говорит — «в порядке». К тому же Ленка всегда умела оценить Лутцев одобрительный взгляд, скользнувший по ее волосам, и вопрос, до каких пор она думает их отрастить, или его рассказ о том, как ее родители — совсем еще молодые, ты тогда плавала глубоко-глубоко в Великом Пруду — вечером, возвращаясь

вместе с Лутцем из кино, целовались буквально на каждом шагу и непременно под фонарем.

Но то, что он начал рассказывать сейчас, она совершенно не сумела оценить, пыталась даже остановить его. Лутц, однако, вбил себе в голову рассказать эту историю непременно сейчас, хотя бы затем, чтобы показать: он, мол, в свои десять лет тоже кое-что видел. Кстати, он упорно твердил, что ты наверняка ее знаешь, а ты ее не знала, и Ленка, используя ваш спор, попыталась отвлечь Лутца от этой истории, которая с первых же слов пришлась ей решительно не по вкусу. Лутц тогда учился, кажется, в первом классе второй ступени, а случилось вот что: однажды вечером ребята играли в войну, и Лутцев одноклассник Калле Петерс выстрелил в живот другому его однокласснику, Дитеру Бингеру, по прозвищу Динго, из старого армейского револьвера, который он якобы нашел здесь, на старом полигоне за стадионом. Вот когда ты вспомнила эту историю и облилась холодным потом.

Лутц рассказывал, как классный наставник методично отлупил Калле Петерса перед всем классом, как потом его отволокли к директору и тот избил его так, что он уже ни стоять не мог, ни идти. Динго был тогда на волосок от смерти, но выкарабкался, ты точно вспомнила. Память подсказала даже, за что его прозвали Динго и почему ты настолько прочно обо всем этом забыла: тебе донельзя противно думать о том, что вот человека методично избивают, а он ничего не может поделать, и ни один из тех, кто стоит и смотрит — кто-нибудь да смотрит, почти всегда, — тоже ничего не предпринимает.

Бросив взгляд на Ленку, ты убедилась, что она унаследовала если не твои руки, то, во всяком случае, это чуть ли не болезненное отвращение, но сейчас она постаралась его утаить, ибо те времена, когда она требовала, чтобы вы отменили ужасные события, которые стали ей известны, — оживили мертвую птичку, сделали добрым злого волшебника, — те времена давным-давно миновали.

В тот день у нее случится необъяснимый, лютый приступ ярости — это произойдет в полдень, когда одна из многочисленных западных машин нахально займет тенистое местечко, где вы рассчитывали припарковать свой автомобиль, а Ленка опустит боковое стекло и крикнет ухмыляющемуся водителю: Гад паршивый! — но насчет этой истории она никогда больше словом не обмолвится. Теперь-то ты куда лучше уразумела, как редко бываешь рядом, когда с нею приключается что-нибудь такое, на что она может ответить лишь молчанием, и, выражаясь ее языком, утверждать, будто ты знаешь ее как облупленную, — это чистейший «выпендреж».

Лутц еще сказал — тогда у стадиона, — что нет смысла слишком уж принимать на свой счет мировую историю; делать вид, будто она задевает тебя лично, и искать этому точное название — значит завышать самооценку, хотя и мудреным способом. В свою очередь, ты — отлично сознавая, как соблазнительно поддержать его версию, — упрекаешь его, правда все реже, в том, что никакой он не скромник, а вовсе даже максималист. Трезвый рационалист, говорит он, и только, а потому менее восприимчивый к политическому угару.

Кстати, предсказания его большей частью попали в точку — что касается дела и наперекор твоим субъективным желаниям. У него трезвый взгляд, но от тебя он такого взгляда не ждет и ждать не хочет, словно рассудочность могла бы тебе повредить. А возможно, он недоверчив, ибо в силу твоей натуры рационализм у тебя совсем иной направленности и каждый из вас романтичен и даже сентиментален совершенно по-своему, в своей особой области: для Лутца, например, эта область — детство. Он не хочет, чтобы детству нанесли урон.

А правда, кому повредит, если ты бросишь это дело? Кто что-нибудь потеряет?

Ведь в трезвом взгляде, который ты устремляешь из современности в прошлое и который еще совсем недавно был бы замутнен антипатией, даже ненавистью, заключена бездна несправедливости. По крайней мере ее столько же, сколько и справедливости. Объекты под стеклом, беспомощные, лишенные контакта с нами, умниками-последышами. А вот задайся-ка вопросом, по плечу ли тебе беспощадно направить этот самый взгляд на себя...



Реплика Бруно Йордана: Это не для меня! — весьма знаменательна. Только сейчас ты в состоянии разглядеть, что лицо из того ноябрьского дня, которое Нелли секунду-другую видела в зеркале, еще ярче проступило через семь лет, когда он вернулся из плена. Неузнаваемость родного отца — вот что потрясло Нелли. Лишь спустя годы она поняла, что в те краткие мгновения он как раз был узнаваем.

«Это не для меня» произносят быстро, но не таким — как бы его назвать: отчаянным? — тоном.

Надо учесть, что некоторыми словами Бруно Йордан не владел. Разумеется, он мог точно и уверенно — хотя в иных ситуациях с уверенностью у него было слабовато — назвать представителям крупных фирм, которые скромно заходили к нему в магазин, ждали в узком проходе у телефона, пока он отпустит покупателей, и все до одного прикидывались, будто он их лучший друг (порой он вроде бы в это верил), — разумеется, он мог назвать им точные данные о дополнительных заказах на сахар, лапшу или суповую приправу «Магги»; разумеется, в субботу он со знанием дела обсуждал с женой недельную выручку, которая держалась на удовлетворительном, отнюдь не потрясающе высоком уровне, если не принимать в расчет падение прибыли, обусловленное принудительным рационированием пищевых продуктов в последние годы войны. Разумеется, он привычно толковал о жизненных обстоятельствах своей клиентуры. С детьми он разговаривал как бы по-детски, о вещах несерьезных, — так говорят с детьми взрослые, не представляющие себе, что дети когда-то повзрослеют. Словно только взрослый — человек полноценный.

К примеру, он полагал излишним сообщать детям — особенно Нелли, которая очень боялась за маму, и он это знал, — что Шарлотте Йордан пришлось в конце концов решиться на оперативное удаление зоба; операция была сделана в городской больнице под компетентным руководством главного врача, некоего доктора Ляйзекампа, под местным наркозом, и в ходе ее, чтобы по возможности исключить повреждение голосовых связок, пациентка должна была говорить не закрывая рта, два часа подряд, из которых по крайней мере один ушел у нее на беседу с хирургом. (Лишь в самые ответственные мгновения операции, требовавшие от врача полной сосредоточенности, он просил ее считать или декламировать стихи, что она бестрепетно и делала: «Прабабка, бабка, мать и дитя в горнице темной сидят без огня» — это стихотворение хирург не знал и пожелал услышать дважды: «Четверых всех гром убил./ А наутро праздник был».) На беседу, в конце которой главный врач невольно заметил: Эта женщина не только хлеб есть умеет (кстати говоря, по меньшей мере недели три после операции с этим было трудновато: одни лишь супы из поильника). Слова врача каким-то мудреным образом соединили в Неллиной голове маму и королеву Луизу[1], которую они как раз проходили по истории: До конца ногтей — королева![2]

Детям же сказали вот что: мама уехала к тете Трудхен Фенске в Плау. Вполне правдоподобное объяснение. Можно было косвенно увязать его со слухами о семейном разладе у тети Трудхен, которые ходили среди родственников и наверняка не миновали ребячьих ушей. Никто, в том числе и Нелли, не представлял себе лучшего помощника в семейных неурядицах, чем Шарлотта.

Но, увы, Эрвин (так звали йордановского ученика) допустил оплошность: при Нелли передал хозяину — Бруно Йордан ненадолго подсел к праздничному столу своей тещи, «усишкиной» бабули (у нее был день рождения, значит, случилось это в октябре... в октябре сорокового), — чтобы тот прямо сейчас опять ехал в больницу, хозяйке, мол, срочно требуется чистая ночная сорочка и полотенца.

Где же мама?

Нелли устроила грандиозный скандал. Выходит, мама в больнице. После операции. А ее все это время обманывали. Мама могла умереть, а Нелли даже и не догадывалась, что ей грозила опасность. Она кричала и плакала навзрыд, до полного изнеможения.

---

[1] Луиза (1776—1810) — королева Пруссии, супруга Фридриха Вильгельма III.

[2] Перифраз цитаты из «Короля Лира» (IV, 6).

Это была одна из последних таких вспышек на людях; растерянные родные толпились вокруг, уговаривали вести себя благоразумно, успокоиться. В конце концов они, качая головами и сокрушенно переглядываясь, не без того, оставили ее в покое, последним был отец, Бруно Йордан; он погладил ее по голове, повторяя, что он, мол, хотел как лучше.

Нелли безутешно рыдала. И даже не задумывалась пока над тем, что отец хотел как лучше не для нее, а для себя: он бы не нашел слов, чтобы сказать ей правду, и не знал бы, куда от нее спрятаться в тот день, когда маме делали операцию.

Такое вот словесное бессилие. Замыкает человека в самом себе, а «самого себя» он толком и не знает. Сколько их — этих жизней, судить которые тебе не пристало. Хорошо бы обойти их молчанием, да ведь как раз они-то и были особенно зависимы от ужасных случайностей тогдашних времен.

(Беспомощные разговоры с Ленкой о ее дедушке.)

И еще: их нельзя брать под перекрестный огонь эпического повествования, нельзя подвергать испытаниям, которые положено выдерживать или не выдерживать, — они для этого решительно не годятся...

В тот год, когда вы ездили в Польшу, вам было столько же, сколько вашим родителям в начале войны, — вы трое вычислили это в уме. Интересно, Ленка тоже, как и вы тогда, считает вашу жизнь — жизнь родителей — в целом конченой, а вас самих — пожилыми людьми?

Вам троим внезапно — и одновременно — становится ясно, что нигде не написано (так бы выразилась Шарлотта), будто бо́льшая или «лучшая» половина жизни уже канула в прошлое. Короткая, беспричинная вспышка бодрости, все краски на миг обретают яркость и насыщенность. И сказать тут ничего не скажешь, совершенно ничего. Долгий вздох, обмен взглядами (взгляд X. в зеркале заднего вида). Ты просто положишь ему на затылок ладонь, а он потрется об нее. А Лутц, которого вечно тянет петь, рявкнет своим густым басом: «Метки горца стрелы, верен лук тугой». А Ленка вроде и поймет, а вроде и нет, и только тряхнет головой.

«Нет краше ничего под солнцем, чем под солнцем существовать» [1].

## 9. КАК МЫ СТАЛИ ТАКИМИ, КАКОВЫ МЫ СЕГОДНЯ? ХОЛОПСТВО

Позавчера, апрельской ночью 1973 года — магистральное шоссе перекрыто, и ты возвращаешься домой кружным путем, через деревни, немного усталая и потому настороженно внимательная, — ты чуть не задавила кошку. Это было на брусчатой мостовой деревенской улицы. Кошка медленно вышла откуда-то слева; ты и ехала-то не быстро, но она совершенно не реагировала на приближение машины, не как все животные; резко тормозить было нельзя — дорога сырая. Ты видела, в испуге она припала к земле. Единственный шанс — проехать над нею. Кошка исчезла между колесами. Негромкий, но зловещий удар. Через несколько метров ты затормозила, оглянулась назад: лежит на мостовой. Потом она с трудом поднялась. Прихрамывая на обе задние лапы, перековыляла через дорогу и, вроде уже нормальной походкой, скрылась в кустах живой изгороди.

На тускло освещенной деревенской улице ни людей, ни животных, машины в этот час тоже редкость. Либо кошка отправилась по своим делам на пяток секунд раньше, чем надо, либо ты на пяток секунд припозднилась с отъездом. У тебя в голове не укладывается, точнее, даже думать не хочется, что все это произошло с тобой; волей-неволей, чтобы успокоиться, снова останавливаешь машину. Черепашьим шагом домой, и ни звука об этом инциденте. Укладываешься в постель. В коротеньком английском тексте, который ты пытаешься прочесть перед сном, один из персонажей спьяну отчаянно твердит: But I was a nice girl [2].

[1] И. Бахман. Солнцу. Перевод А. Науменко.
[2] Но я же была хорошая (*англ.*).



Среди ночи ты просыпаешься. Безутешные слезы. But I was... Все навеки упущенные возможности сгрудились в ту ночь подле тебя.

На «собрания» гитлерюгенда Нелли, понятно, спешила со всех ног. Выстояв длинную очередь у дверей гимнастического зала, где свершалась многозначительная процедура записи, она уже вскоре сидит в одной из классных комнат. Это первый такой вечер, вместе со всеми она распевает «Стоит в лесочке домик», детскую песенку, незатейливые слова которой сопровождаются разными жестами. Дурацкое занятие, и Нелли ужасно смущалась, но, превозмогая неловкость, громко — может, даже чересчур громко — хохотала, когда вожатая разражалась веселым смехом. Приятно — смеяться на радость вожатой, не обращая ни малейшего внимания на свое неуместное смущение. До чего же замечательно — чувствовать благосклонность вожатой, веселой девушки по имени Марианна, откликавшейся на прозвище Микки: Зовите меня Микки, попросту, ведь я вылитый Микки Маус. Тоже замечательно, только по-другому, — к концу вечера, одолевая робость, тесниться вместе со всеми вокруг Микки, брать ее за руку, упиваясь невообразимой теплотой и близостью. А по дороге домой мысленно пробовать на вкус новое слово: камрад.

Возвышенная, великолепная жизнь ждала ее впереди, по ту сторону крохотного магазинчика, заставленного и завешенного рыбными консервами, мешками с сахаром, буханками хлеба, бутылями с уксусом, колбасами, по ту сторону ярких световых квадратов, падавших из его окошек на коротко подстриженный газон; по ту сторону и в стороне от фигуры в белом халате, которая стояла в дверях и наверняка давно уже высматривала Нелли. Где это она так застряла? Пусть-ка вытрет как следует ноги, небось по всем лужам прошлась. И что же она там делала? Пела? Петь можно и дома.

О «камрадах» ни слова. Она вытерла ноги. Там, где Микки пела вместе с ними, и играла, и маршировала, и устраивала игры на местности, — там было нечто такое, чего мама ей дать не могла и без чего сама она обходиться не желала, хотя или как раз потому, что никогда не переставала чувствовать себя чужой среди одноклассниц. Потому, что ее снова и снова охватывало замешательство, причем в ситуациях, в которых другие не видели ни малейшего подвоха, и потому, что это замешательство, которое нужно было напряжением воли снова и снова преодолевать, говорило о ее слабости и показывало, какой огромный путь ей предстоит пройти, чтобы стать той, кого Микки хочет из нее сделать.

Главное — твердость духа. В тот день, когда мама выписывалась из больницы, был назначен марш-бросок. Нелли давно уже с нетерпением ждала маму, и отец вызвался попросить Микки, чтобы она освободила Нелли от похода: мол, у девочки мать возвращается домой после тяжелой операции. Нелли терпеть не могла марш-броски — очень уж скучное занятие. Но, разумеется, настояла на своем участии, хотя все на нее за это обиделись. Отвергла она и предложение «усишкиной» бабули на всякий случай заклеить пятки пластырем, ведь в таких походах вечно ноги стирают.

Когда она пришла, мама лежала на диване, — хочешь не хочешь ковыляй к ней через всю комнату. Встревоженный мамин вопрос и сердитое объяснение «усишкиной» бабули. Нелли запротестовала. Обуреваемая духом противоречия, она договорилась до того, что-де натерла ноги еще позавчера; мама все больше волновалась, а она видела это — и не могла остановиться, не могла пойти на попятный, слышать не желала ни слова против этого окаянного марш-броска. Кончилось тем, что обе — сперва Нелли, потом Шарлотта, которой велено было щадить свое здоровье, — расплакались, а «усишкина» бабуля, крайне редко сердившаяся на любимую внучку, пришла к Нелли в детскую и сказала, что если мама будет так волноваться, то едва затянувшаяся рана снова откроется.

Нелли остро чувствовала безвыходность положения. Что ни сделаешь, все плохо. Тупик какой-то. (Лишь много позже, сейчас, ты поняла суть тогдашних «неразрешимых» конфликтов: чтобы не погибнуть в этих жерновах, надо было сделать выбор между двумя взаимоисключающими видами нравственности, прямо соотносящимися лично с тобой.) От растерянности Нелли бросила плакать, а там и вообще постаралась отучить себя от слез. Держалась молодцом, с большой выдержкой. Все это оценили, в том числе и мама.

Осенью Нелли заболела. Видимо, простыла во время затянувшейся линейки под открытым небом, на спортивной площадке в Цанцинской Роще, куда вы заедете в первый же день вашего путешествия. На сей раз даже Шарлотта недоумевала. Погода стояла теплая, она бы и сама не прочь подольше побыть на воздухе. А Нелли пришла домой уже с температурой, вдобавок ей странным образом не хотелось говорить и вообще двигаться. Бронхит, сказал доктор Нойман, паниковать не стоит, однако ж на самотек болезнь тоже пускать нельзя. Не нравится ему, что девчурка такая вялая. Или, может, тут не в одной болезни дело?

Шарлотта терялась в догадках.

На этом собрании под открытым небом был устроен суд. Камрад Герда Линк запятнала честь гитлерюгенда: в раздевалке стадиона «Клозепарк» она украла у другой девочки из кармана пальто пять марок тридцать девять пфеннигов, а когда Кристель, командир отряда, призвала ее к ответу, упорно отрицала кражу. Но ее уличили. Теперь она одиноко стояла возле командира, а перед ними выстроились три отделения юнгфольковского отряда девочек.

Сначала они пели «Свободе жизни наши отдадим». («Свобода — это пламя, свобода — яркий свет, пока она пылает, огромен белый свет».) Потом их вожатая, командир отделения Микки, с ее рыжеватыми кудряшками, сильными очками, курносым носишкой и плетеным аксельбантом, вышла на середину и прокричала:

От Я к Мы. Стихотворение Генриха Анаккера.

В былом на Я сходился клином свет,
И все вращалось вкруг его страданий.
Но с постепенным накопленьем знаний
Единства наступил приоритет:
С великим Мы объединилось Я
Как часть машины и ее движенья;
И не в существованье, а в *служенье*
Отныне видит ценность бытия[1].

(Этот текст ты переписываешь из книжки, тогдашние песни тебе вспоминаются, хоть и с трудом, порой без последних куплетов, порой без начала. На Х. рассчитывать не приходится, нелюбимые тексты выветрились из его памяти, за исключением немногих, в большинстве исковерканных строк, которые он никогда не понимал и пел бессмысленно, как попугай, в глубине души молча удивляясь. Ленка на дух не принимает эти песни, даже как улики, и так было всегда. Она прикинулась глухой, когда на обратном пути из Л., что нынче зовется Г., вы припоминали тексты, призывавшие к походу, наступлению, маршу германцев, немцев на восток или этот поход прославлявшие: «Скачут кони на восток», «Ты видишь, заря занялась на востоке», «Восточному ветру подставьте знамена». И так далее. Ленка сказала: Комплексы у них были — ого-го! Вы благодарны ей за деликатность: она говорит не «вы», а «они». Ну а поляки? Сколько у них было песен, призывавших подставить знамена западному ветру?)

Впрочем, девчачий отряд района Норд-Вест все стоит в Цанцинской Роще, а Герда Линк все ждет приговора, огласит который сама Кристель, командир отряда. Когда Кристель делает шаг вперед и начинает говорить, по спине у Нелли градом катится пот (вот чего Шарлотта Йордан не приняла в расчет — что Нелли вспотеет в строю, при легком ветре в спину). Волосы у Кристель бесцветные, подколотые концами внутрь, глаза сверкают. От воодушевления голос становится высоким, звонким, она патетически растягивает гласные, но все равно говорит невнятно, из-за пластинок на зубах. На фоне Кристель Микки — божество второстепенное. Нет счастья выше, чем благосклонное внимание Кристель, и нет беды страшнее, чем ее гнев.

Правда, свой гнев Кристель умело обуздывает, выказывая печаль и разочарование, что еще страшнее. Она понижает голос, она едва терпит ту боль, которую причинила ей, лично ей, Герда Линк, тот позор, которым Герда покрыла каждого в отряде, тот срам, который она принесла всем, и особенно своему командиру. Конечно, как бы тяжел ни был проступок, навсегда исключать девочку из рядов юнгфолька не стоит. Но она,

[1] Перевод А. Науменко.



Кристель, считает необходимым и уместным на три месяца лишить виновную юнгфольковского значка, черного галстука и кожаного узла.

К Герде Линк подходит звеньевая, маленькая кривоногая толстуха, рядом с которой сама Герда Линк выглядит просто красавицей — у нее смуглое овальное лицо, тонкий нос и длинные темные волосы. Звеньевая отбирает у наказанной галстук и узел, а Микки громким натужным голосом кричит на всю площадку: Быть немцем — значит быть верным!

Остается спеть еще одну песню, гитлерюгендовскую: «Вперед, вперед, вперед! — гремят фанфары. Вперед, вперед! — опасность юным не страшна. Германия, ты будешь жить в сиянье славы, пусть даже нам погибель суждена». (Заметим, что эти песни частью оказались правы, многим из тех, что их пели, суждено было погибнуть. «В вечность ведет наше знамя, оно для нас больше чем смерть».)

Описывать Неллины ощущения по дороге домой, когда она ехала на своем старом дребезжащем велосипеде вниз по Адольф-Гитлерштрассе, потом вверх по Анкерштрассе, солидный подъем, который она одолела, не слезая с велосипеда, вся в поту, разумеется, в расстегнутой курточке, судорожно хватая ртом прохладный вечерний воздух, — описывать ее состояние, пожалуй, излишне. Сказать, что она в ужасе, в отчаянии, было бы преувеличением, а что ей страшно — в этом себе признаться нельзя. Она твердо убеждена, что должна бы питать к Герде Линк отвращение, а не это бесхребетное сочувствие, и к прямолинейности командира отнестись с восторгом, а опять же не со страхом. Снова, в который уже раз, дело шло о невозможности обрести ясность. В результате поднялась температура, и Нелли благополучно слегла в постель.

В жару она видела смуглое лицо Герды Линк, курчавые концы ее косичек, перехваченных ярко-зелеными пряжками, темно-красные губы. К своему изумлению, Нелли вдруг поняла, что ей не хочется ходить на собрания, пока Герда Линк не получит назад свои регалии. И притворством она добилась, чтобы доктор Нойман, с которым мама шепталась в коридоре, выдал справку, на всю зиму освободившую ее от юнгфольковских мероприятий по причине «хронического катара верхних дыхательных путей». Девчонок из своего отряда она избегала. Как-то раз столкнулась с Микки и долго, многословно объясняла ей, что тяжело хворала, что врач, мол, подозревал «двустороннее воспаление легких». И буквально сразу же сердито спросила себя: ну почему двустороннее? зачем преувеличивать и тем самым бросать на свои слова тень неправдоподобия? Долго, долго мучило ее опасение, что Микки раскусила все ее уловки. Ей было совершенно ясно, что она спасовала.

В марте, в один из последних холодных дней, Микки подкараулила ее и сообщила, что есть предложение выдвинуть ее кандидатом в командиры.

Нежелание знать о себе правду, утверждает поляк Брандыс, есть нынешнее обличье греха; подобные высказывания, в равной мере говорящие и об их авторе, и об их предмете, нельзя ни проверить, ни опровергнуть. Тебе они представляются убедительными, но это не означает, что столь желанное для него «спасение через самосознание» непременно удастся и человек как должное воспримет демаскировку через реальность.

На твоем столе мало-помалу скапливаются, смыкаясь, перекрывая друг друга и пересекаясь, записные книжки, дневники, листки с пометками, мало-помалу то ограниченное время, что тебе отпущено, съедает работа, результат которой остается весьма сомнительным; растущая кипа бумаг давит на тебя все больше, — и день ото дня отчетливей проступает неспособность осилить, то бишь «истолковать», беспрерывно и неуклонно разбухающий материал (сладкая каша, которая лезет у ребенка из горшочка и наполняет сперва комнату, затем дом и улицу, грозя задушить весь город).

А ведь сейчас и нужно-то всего-навсего «без уверток» объяснить, почему Нелли наперекор открытому сопротивлению мамы приняла предложение Микки.

Знаменательно, что готового объяснения до сих пор не сложилось. Честолюбие, тщеславие — эти слова так и просятся на язык, и прозвучали бы они вроде как искренне, кстати, никто не утверждает, что искренность их поддельна. Просто это еще не все. И наибольший интерес пред-

ставляет как раз остаток, за вычетом тщеславия и честолюбия. (Хорошо бы знать, была ли в жизни девочки минута, когда она впервые по собственной инициативе вышла вперед и испытала удовлетворение от того, что другие вынуждены подчиниться ее приказам. Хорошо бы — в эстетическом, а не в нравственном смысле — вставить сюда соответствующую иллюстрацию, и даже не одну. Но увы. Зрительных образов нет.)

Третье слово — это «компенсация» («возмещение», «восполнение», «вознаграждение»). Здесь за иллюстрациями далеко ходить не надо. Нелли вступила в компенсационную сделку, причем так и напрашивается допущение, что она это понимала, ведь, добившись от матери разрешения, она горько плакала: ей обеспечена похвала и относительная защищенность от страха и подавляющего чувства вины, сама же она ответит на это покорностью и неукоснительным исполнением обязанностей. По опыту она знала, что с сомнениями ей не справиться. И лишила себя всякой возможности усомниться, прежде всего в самой себе. («Слабость надлежит вырубать с корнем». Адольф Гитлер.) Должно быть, она не считала эту цену завышенной: ни слова об этом, даже в глубине души. Только необъяснимые слезы и перепуганные взгляды Шарлотты, поспешно данное разрешение. Раз для тебя это так важно!

Приблизительно в то же время Нелли опять наведалась на Гинденбургплац, к тете Люции — кстати, с удовольствием, ведь тетя Люция была веселая, порой, как уже говорилось, несколько даже «вольная», вдобавок она способна была употреблять при детях выражения вроде «конфирмантские яблочки», имея в виду жалкие зачатки груди у совсем юных девчонок. У тети Люции Нелли играла с Астрид. Со своей ровесницей Астрид, которую не вполне корректно звала кузиной; отца у Астрид, кажется, не было, а ее мать никто в глаза не видел. Впрочем, насчет этой матери Нелли слыхала шепоток, что она, мол, «несчастная» сестра-близнец счастливой тети Люции. Астрид и привлекала, и отталкивала Нелли тем, что ее игры и поступки вечно отдавали легкой непристойностью. К примеру, она предлагала пойти вместе в уборную и глядеть там друг на дружку. Или в сумерках, когда внизу, на Гинденбургплац, зажигались фонари и в тени деревьев обнимались влюбленные парочки, громко кричать с балкона «фу!».

Но в тот вечер за ужином напротив Нелли сидела чужая женщина и неотрывно смотрела на нее, прямо сверлила взглядом. У женщины было лицо тети Люции, только словно кем-то изломанное. Это была тетя Йетта, сестра-близнец тети Люции, приехавшая «на побывку». Нелли знала, что на побывку ездят исключительно солдаты, и лишь спустя некоторое время из ералаша в ее голове вынырнуло слово «лечебница»: тетя Йетта приехала на побывку из лечебницы. (Речь шла о Бранденбургских лечебно-попечительных учреждениях: комплекс этих зданий вы видели по левую руку, когда в воскресенье, 11 июля 1971 года, ехали в направлении бывшего городка Фридеберг).

У тети Йетты внутри как будто бы работал некий замедлитель. Или ее окружал иной, более вязкий воздух, не позволявший делать быстрых движений. Нелли сразу вспомнился киношный эффект лупы времени. Она спросила себя: Интересно, могла бы тетя Йетта бесконечно медленно упасть с лошади и не покалечиться, а значит, извлечь хоть малую выгоду из этой своей особенности.

(Уже несколько дней, с тех пор как Ленка день и ночь напевает одну и ту же мрачную мелодию, перед глазами у тебя вновь явственно стоит эта тетя Йетта, которую как ты потом узнала, на самом деле звали Йоханной, а прозвище Йетта она получила еще в детстве, потому что была поразительной нескладехой — точь-в-точь пресловутая кукла Йетта с негнущимися руками-ногами. Ленка поет: «Sometimes it seems to me things move too slowly, is there no answer or I cannot hear? Sometimes it seems to me things move too slowly, nothing is near...» [1]).

Нелли вздрогнула от неожиданности, когда тетя Йетта, нарушив свое молчание, надтреснутым голосом обратилась к ней, именно к ней: не намазать ли ей бутерброд. Нелли кивнула, прежде чем остальные успели возразить. При таких обстоятельствах на быстрое получение бутерброда рассчитывать не приходилось, и мало-помалу и она, и другие отвлеклись от этого инцидента. Когда же тетя Йетта протянула ей через стол аккуратный ломтик, выяснилось, что хлеб намазан смальцем, а поверх еще и маслом — два слоя были четко видны в надкушенном месте. Поднялся галдеж. Все, а громче других Астрид, тети Йеттина дочка, ругали Йетту: ну вот, мол, опять, просто руки опускаются, она совершенно не в состоянии совладать с собой. Тетя Йетта сконфуженно отмахивалась. Кто-то хотел было силой отобрать у Нелли бутерброд. Конечно, нет никакой надобности есть то, что сотворила эта полоумная. Тетя Йетта посмотрела на Нелли. Та крепко вцепилась в ломоть, откусила большой кусок, прожевала и сказала, что очень даже вкусно. Больше того, хлеб со смальцем и маслом у нее, дескать, вообще самая любимая еда.

В наступившей тишине она одна ела, стараясь не чавкать и не поднимать глаз, а то еще опять встретишься взглядом с полоумной. Глаза она подняла. Встретилась взглядом с тетей Йеттой. И сразу же насупилась, чувствуя, что заливается краской. Мыслимо ли, чтобы полоумные могли вложить в свой взгляд благодарность?

Наверно, она ошиблась. Как это на нее похоже — устыдиться сумасшедшей. Понятие «жизнь, недостойная жизни» было ей хорошо знакомо, как и всем, его изучали в школе, читали в газете. Некоторые рисунки в Неллином учебнике биологии заставляли панически бояться таких людей (равно как и представителей восточной, а тем более семитской расы), а учительница биологии фройляйн Блюмель, блондинка с большим, мягким, ярко накрашенным ртом (она была из Берлина!) и пористой кожей, сравнивала жизнь птиц, млекопитающих, рыб, растений — там природа чрезвычайно мудро позаботилась об истреблении слабого во имя сохранения численности вида — с жизнью людей, изнеженных до ложной гуманности и испортивших свою некогда чистую, здоровую кровь недоброкачественными и больными примесями: достаточно вспомнить, как «онегритосились» французы, «ожидовились» американцы.

60 000 человек пали жертвами программы эвтаназии, осуществлявшейся с февраля 1940 года — в это время Нелли и встретилась с тетей Йеттой — до осени 1941-го. Нелли не знала этого названия, как, разумеется, и условных названий трех организаций, на которые была возложена задача четко, без осложнений реализовать утвержденную фюрером, но по «политическим» соображениям не возведенную в ранг закона программу: «Имперская комиссия по делам лечебно-попечительных учреждений», которой было поручено выявлять больных, для чего она рассылала, а затем обрабатывала специальные анкеты; «Общеполезный фонд попечительства над лечебницами», занимавшийся финансовым обеспечением проекта, ведь аппарат для выявления и транспортировки душевнобольных стоил денег; врачам и другому медицинскому персоналу надо было выплачивать жалованье, да и промышленность поставляла угарный газ не бесплатно. И, наконец, третья организация: «Общеполезная компания по перевозкам больных (с огранич. ответств.)», в функции которой входила «переброска» жертв; вдогонку ее автобусам с занавешенными окнами ребятня, скажем, гессенского Хадамара — в окрестностях этого городка находилась «лечебница», где были оборудованы газовые камеры, — кричала: Там опять газом травят!

Одно Нелли знала или чувствовала — ибо в подобные времена между знанием и неведением лежит целая гамма оттенков, — со смертью тети Йетты дело нечисто.

Тетя Люция плакала, и это нормально. С тех пор как Бруно Йордана призвали в вермахт, тетя Люция, мастерица на все руки, помогала своей золовке Шарлотте Йордан в магазине; а вот что она говорила с мамой о смерти своей сестры шепотом, было очень странно. Притом ведь семья получила официальное извещение из лечебницы в Бранденбурге-на-Хафеле — из той самой лечебницы, куда «по распоряжению имперского комиссара обороны» в июле 1940 года была переведена их дочь и где она скоропостижно скончалась от воспаления легких.

(Власти не совершили ни одной из тех чудовищных ошибок, на какие пришлось письменно жаловаться ансбахскому крайсляйтеру — он писал

[1] Порою все словно бы движется слишком медленно, ответа нет, или я не слышу? Порою все словно бы движется слишком медленно, рядом нет ничего... *(англ.).*

в жалобе, что, случается, семье высылают сразу две урны с прахом усопшего или усопшей; указывают аппендицит как причину смерти пациентки, у которой аппендикс был удален десятью годами раньше; высылают извещение о смерти, когда мнимый покойник еще в полном физическом здравии живет в лечебнице.)

Но самое подозрительное было то, что Шарлотта, которая, как она любила повторять, обычно говорила все напрямик, ничего не скрывая, насчет смерти тети Йетты хранила железное, непробиваемое молчание.

Какие-то доли секунды Нелли видела на мамином лице непривычное выражение потрясенности, неверия и ужаса.

«Give me an answer and I want to hear» [1], поет Ленка.

А у тети Люции разыгралась сильнейшая мигрень, целыми днями она неподвижно лежала в затемненной комнате, ничего не ела, не пила, но мучилась рвотой. Когда она поднялась и снова вышла на люди, то лицом стала еще больше походить на покойную сестру.

Невозможно решить, что именно было сначала — готовность многих покорно молчать или «душегубки», разъезжающие повсюду и заставляющие людей молчать. Не все 60 000 душевнобольных — в том числе и «дети-идиоты» — погибли от газа. («По прибытии таких машин граждане Хадамара глядели на дым, поднимающийся из трубы, и терзались неотступной мыслью о бедных жертвах, особенно когда им — в зависимости от направления ветра — докучали отвратительные запахи», — пишет лимбургский [2] епископ в августе 1941 года.) Нет, еще и позднее, когда газовая программа была прервана, больных убивали вероналом, люминалом, морфием-скополамином.

Однако же оригинальным изобретением господ, которым было поручено выполнить указ фюрера, были газовые камеры — «комнаты нормального размера и вида, примыкающие к прочим помещениям лечебницы». Впоследствии их применяли дальше к востоку, например, в польском городе Люблине. Рудольф Хёсс, комендант Освенцима, всего лишь годом позже высказывает благодарность изобретателям этих камер и особенно тем, кто их опробовал, — все это, по делу, а не по поводу личности, повторно записано для детей тогдашних ребятишек из Хадамара в Гессене, Хартхайма под Линцем, Графенэкка в Вюртемберге, Бранденбурга-на-Хафеле и Зонненштайна под Пирной.

Мысль, что каждый в Германии должен бы испытывать неодолимую потребность опорожнить, поломать, в корне переделать свою квартиру — комнаты нормального размера и вида, — чтобы она не походила на газовую камеру, — эта мысль, безусловно, далека от действительности и вызовет недовольство, ведь скорее мы скрытным молчанием превратим свои сердца в вертепы дурных помыслов, чем свои уютные жилища — в вертепы разбойников. Легче, кажется, из нескольких сотен, или тысяч, или миллионов людей сделать извергов-нечеловеков или недочеловеков, чем пересмотреть наши понятия о чистоте, и порядке, и уюте.

Нелли была безалаберна и неаккуратна. Шарлотта Йордан иногда просто не знала, как втолковать дочери, что она должна вести себя как «нормальный европеец». Каждый день тщательно умываться. Каждый вечер чистить туфли. По порядку складывать белье в шкафу. Тщательно вытирать ноги, прежде чем войти в квартиру. Собирать портфель с вечера. Не съеденные в школе бутерброды дома вынимать из коробки, а вечером съедать. Чистить зубы утром и вечером. Порванную одежду штопать и латать сразу же. Завтра, завтра, не сегодня, все лентяи говорят. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Долгая нитка — ленивая швея. Каков в колыбели, таков и в могилку. Бог свидетель, я требую так немного.

В юнгфольковском лагере начальница или назначенные ею заместительницы каждое утро проверяли спальню, шкафчики и умывальные. Однажды на всеобщее обозрение была выставлена головная щетка одной из звеньевых — вся в длинных волосах. Щетка командира так выглядеть не может! — сказала на вечерней линейке начальница лагеря. С той минуты Нелли начала прятать свою щетку в боковом кармашке чемодана, потому

[1] Дай мне ответ, и я выслушаю *(англ.)*.

[2] Имеется в виду г. Лимбург-ан-дер-Лан, находящийся ныне на территории ФРГ (земля Гессен).



что полностью очистить ее от волос никак не удавалось, а с начальницей лагеря шутки плохи. Она сама, когда была проверяющей, доложила про три пары нечищеных туфель и про яблоко, гниющее в шкафчике ее подружки Хеллы Тайхман. Выполнила свой долг как полагается, невзирая на лица. К вечеру и Хелла уразумела, что поступить иначе Нелли не могла. Перед сном начальница лагеря крепко пожала ей руку. Две девочки сыграли в коридоре на флейтах колыбельную: «Ныне нет страны прекрасней». Утром на подъеме флага Нелли скажет лозунг, который на сон грядущий повторила раз десять: «Вы должны сегодня делать добрые дела, необходимые народам, если они хотят стать великими. Вы должны быть верными, храбрыми, и связывать вас всех должны узы великого и прекрасного товарищества». Адольф Гитлер. Начальница лагеря сказала, и Нелли очень понравились ее слова: Все вы, будущие командиры, станете элитой нации.

Самообвинения и попытки оправдаться уравновешивают друг друга.

Статистические данные — например, характеризующие уровень самоубийств — показывают, что с войной социальное здоровье гражданского населения значительно улучшилось. Вероятно, это было своего рода оздоровление посредством аутосуггестии, люди приказывали себе не подкачать, не подкачать именно теперь, когда каждый мог себе сказать, что он нужен. Шарлотта перестала жаловаться и бойко управлялась с магазином, а поскольку государство взвалило на нее явно непосильную ношу, власть его странным образом пошла на убыль. Полицейскому, который однажды зимним вечером, в начале восьмого, зашел в магазин, чтобы напомнить ей о часе закрытия — реликте эпохи так называемой свободной конкуренции, — она широким жестом швырнула под ноги тяжелую связку ключей: вот, пускай, мол, сам и запирает. Заодно она ему и магазин отдаст, пожалуйста, с превеликим удовольствием! И пускай он пойдет и заявит на нее — скатертью дорога. Пускай закроет ее магазин да поищет себе другого управляющего. Она, Шарлотта Йордан, с радостью посидит сложа руки, поживет на пособие солдатки...

Нелли видела, как полицейский замахал руками, стараясь утихомирить Шарлотту, и попятился к двери, видела, как после его ухода лицо мамы озарилось триумфом.

Почему тебе все больше мешает, что все эти люди в твоей власти? Хотя бы Шарлотта. Она не может ни заявить протест, ни что-либо разъяснить или исправить — слово «триумф» не исправить, даже если б она и сочла его неподходящим. Ты можешь о ней рассказывать, что взбредет в голову, что угодно. Можешь высказывать любые суждения, но от огласки они не станут правильнее. Можешь строить догадки вокруг последней фразы, произнесенной Шарлоттой перед тем, как ее сознание помутилось, и после того, как она выключила последние известия, которые в год ее смерти — 1968-й — были весьма тревожны: Есть вещи поважнее.

Насмешка. Да, именно насмешку прочла Нелли на лице Шарлотты, когда она обратила полицейского в бегство! У Шарлотты редко бывал насмешливый вид, только потому Нелли и запомнила эту ее мину. Ленка к насмешке привыкла и умеет защититься. Она должна объяснить все отцу, который как раз выводит машину на залитую ярким светом Рыночную площадь Г., ведь он не намерен спускать ей вспышку ярости против хамоватого водителя западной машины, предлагает себя в качестве мальчика для битья — чтобы свои агрессии она вымещала на нем; он говорит «мини-агрессии» и огребает за это колотушки. Мерзавец, пес, предатель — обычные в семье ругательные преувеличения; Лутц подсказывает: Вонючий койот — и тотчас получает отповедь. Откуда Ленке знать Карла Мая [1]?

Под вечер, когда вы в гостинице открываете чемоданы, выясняется, что Ленка захватила с собой книгу, хотя и знала, что вряд ли будет читать. Без книги она никуда не ездит. Читать она так и не читает, потому что вы до поздней ночи разговариваете; но на тумбочке у нее лежит «Иов» Йозефа Рота, и задним числом ты приходишь к мысли, что и сама эта книга, и ее автор отлично вписались бы в ваш разговор. Когда

[1] Май Карл (1842—1912) — немецкий писатель, автор приключенческих романов.

Нелли было четырнадцать, этого писателя уже четыре года не было в живых, однако она ни имени его не знала, ни тем более этой истории о еврее Менделе Зингере, над которой Ленка плачет всякий раз, как ее перечитывает. Сколько же еще бесконечных лет, считая с тех четырнадцати, волей-неволей потеряла Нелли, пока до ее сердца дошла мысль, что немецкоязычный писатель Йозеф Рот, изгнанный со своей австрийской родины за еврейское происхождение, умер сорока пяти лет от роду в одной из парижских больниц для бедняков. Ты знаешь, было бы несправедливо взваливать на Ленку горькое сожаление о тех зряшных годах. И молчишь. Но никуда не уйти от понимания, что растраченное время не возместить.

В полдень вы впервые объехали вокруг церкви девы Марии. Церковь теперь стоит свободнее, в конце войны дома на Рыночной площади были разрушены, вместо них выстроены новые здания, дальше от церкви. Теперь ее лучше видно. Ты сверяешь образ воспоминаний — все точь-в-точь как было. И радуешься, что Х. с Ленкой в восторге от церкви, которая, оказывается, вся от фундамента до башенного окошка выдержана в чисто романском стиле. Ты не здесь конфирмовалась? — спрашивает Лутц. — Здесь, где же еще.

Против западного церковного притвора — новый ресторан «У Рынка». Лутц захватил с собой польский разговорник, но толку чуть — меню напечатано до предела неразборчиво. Черноволосая официантка с высокой взбитой прической старается изо всех сил, вы тоже стараетесь изо всех сил, а в итоге изображаете согласие с предложениями, смысл которых вам так и не открылся.

На столе появляются вкусный, холодный щавелевый суп, зразы из говядины и превосходное мороженое с изюмом. Лутц сразу сказал, что тут любят поесть как следует. В большие окна вам виден забор, опоясывающий всю Рыночную площадь: фонтан, и статую девы Марии, и старинную брусчатку, на которой по субботам ставили ярморочные палатки, и старые каштаны, чьи кроны, конечно же, поднимались высоко над забором. Интересно, а Лутц помнит итальянское кафе-мороженое у Рынка? Да, помнит. Больше всего он любил лимонное мороженое, и тебе не верится, что он не помнит мороженое «малага», а ведь его подавали только здесь, и больше нигде на свете. Мороженое «малага», которым Хорст Биндер — откуда у тебя в голове вдруг выскакивает это имя? — однажды под вечер угощает юную аккордеонистку Нелли Йордан, подкараулив ее, как обычно, в старом городе у дверей похожей на мопса учительницы музыки.

Попутно обнаруживается почти невероятный факт, что Лутц не в силах связать с именем «Хорст Биндер» сколько-нибудь определенного представления. Он только повторяет на разные лады: Биндер, Биндер... Он вроде недалеко от нас жил? — В среднем из баровских домов, первый этаж, налево. — По-моему, все дело в том, что этот малый носа на улицу не казал, говорит Лутц. Или он все ж таки играл с нами — в мяч, в разбойников и жандармов, в индейцев? Вообще-то я бы запомнил...

Да. Хорст Биндер носа на улицу не казал. И в наших играх не участвовал. За порог он выходил только в школу да на юнгфольковские собрания, а еще Хорст Биндер — и это весьма тревожно — весной 1943 года выходил из дому, чтобы, держась от Нелли метрах в десяти — двадцати, тащиться за нею на урок музыки, по вторникам после обеда, в 16 часов. К похожей на мопса фройляйн Мис, которой не дано было добиться от ученицы сколько-нибудь значительных успехов. Пока Нелли в пыльном плюшевом кабинете музыкантши играла на аккордеоне «Весела ты, цыганская жизнь» — эту песню власти не запретили, хотя цыгане подвергались гонениям, — Хорст Биндер слонялся возле парадного, а когда она, зажав под мышкой нотную папку, наконец выходила на улицу, он заступал ей дорогу и исподлобья «пялился» на нее.

Лутц, может, хотя бы этот телячий взгляд исподлобья помнит? Нет. После усиленных размышлений ему вспоминается разве только челка, гладкая темная прядь, падавшая от идеально ровного пробора прямехонько в левый глаз. Ну что? Верно вспомнил?

Совершенно верно. Дело в том, что Хорст Биндер с почти кощунственной точностью копировал прическу фюрера. Народ ухмылялся ему вдогонку, когда он, слегка ссутулясь, размашистой, чуть шаркающей походкой шагал вниз по Зольдинерштрассе и серьезно, размеренно вскидывал руку в германском приветствии. Но в лицо Хорсту Биндеру никто не смеялся. И его самого тоже никто смеющимся не видел.



Ленка вовсе не думает никого обижать, тем более присутствующих, но хотела бы все же сказать, что такой вот мóлодец бросает не самый выгодный свет на девушку, которую обременяет своей привязанностью. По-моему, от него надо бы отделаться, и поскорее. Или я не права?

Господибожетымой. Что значит отделаться? Ты ведь не станешь утверждать, что Нелли была на седьмом небе от счастья, когда Хорст Биндер заступал ей дорогу и пялил на нее свои карие собачьи глаза, молча и упорно. Этот мальчишка просто свихнулся, говорила Шарлотта, которая знала далеко не все. Если бы она знала истинные масштабы биндеровских преследований, она бы наверняка положила им конец, коротко и недвусмысленно побеседовав с своей покупательницей госпожой Биндер. Впрочем, ходили слухи, что Хорст Биндер ни в грош не ставит свою мать, женщину невзрачную и, по всей видимости, несчастную, и даже отец, секретарь железных дорог Эберхард Биндер, мало-помалу теряет на него влияние. Что же, внезапный разрыв этих зловещих отношений (видит бог, они в самом деле были зловещими!) пришелся бы Нелли по вкусу? Ответ будет: Нет. Не обязательно по вкусу.

Но почему?

Кто бы рассказал. Не то чтобы Нелли была слепа. И не то чтобы не могла разглядеть смехотворность и назойливость своего докучливого кавалера. Но одновременно его липкая привязанность льстила ей, а его угрюмо поблескивающий из-под темной челки глаз, казалось, сулил что-то необычайное, вдобавок какой соблазн, хоть и предосудительный, однако до ужаса приятный, — держать на привязи человека, который столь многих заставляет ходить по струнке (так выражалась Шарлотта: Они все у него по струнке ходят!).

Такие истории всегда плохо кончаются, совершенно справедливо заметила Ленка, и нечего тут хихикать. Она знает, что говорит.

Ты и не догадываешься, как хорошо я тебя знаю! — говорила Шарлотта Йордан, когда дочь уже выросла и не ломала себе голову над тем, знает мама ее или не знает; а вот четырнадцатилетней Нелли приходилось быть начеку. Она упорно отрицала, что Хорст Биндер надоедал ей после музыки: Да никогда! Он что, опять тебе надоедал? Уму непостижимо, ей-богу. Не связывайся ты с этим олухом, детка.

Непродолжительное время Нелли ретиво разучивала пьески для фройляйн Мис и достигла определенной виртуозности в исполнении «Весела ты, цыганская жизнь», а особенно «У мужика была жена-красотка». Фройляйн Мис отворяла окошко своей мансарды, чтобы впустить весну, и, окрыленная нежданными успехами ученицы, напевала писклявым голоском пикантный текст: «Езжай-ка за... ха-ха-ха... ха-ха-ха... сеном, за сеном... ха-ха-ха... езжай». Нелли играла что есть мочи, налегая на басы, словно так и надо. Интересно, где Хорст Биндер — стоит в подворотне напротив и глазеет на окошко с белой занавеской и двумя горшками бегонии? Слушает ее лихие пассажи и потешное пение фройляйн Мис? Ему-то самому хоть что-нибудь на свете кажется потешным? Он когда-нибудь смеется?

А фюрер? Фюрер смеется?

С Хорстом Биндером можно было говорить только про фюрера. Он подавал Нелли живой пример служения фюреру, ей с ним даже и тягаться не стоит — только со стыда сгоришь. Хорст Биндер считал — нет, вот здесь-то и заключалось притягательно-жутковатое: он знал, что фюрер день и ночь думает о Германии и что люди вроде него, Хорста Биндера, нужны фюреру как воздух, ибо им назначено стать сосудом его мыслей. Хорст Биндер разглагольствовал, а Нелли слушала. И спрашивала себя, сможет ли она сама быть «сосудом». Перед нею возник образ древнегерманской керамической вазы, ведь речь, конечно же, шла о солидном сосуде; нынешняя массовая продукция никак не годится.

Она робко спросила Хорста Биндера, нельзя ли им пройти через Рыночную площадь. Он на секунду с удивлением поднял брови и молча свернул на Рихтштрассе. Ему было все равно, как идти, лишь бы поговорить о распорядке дня фюрера, который он сумел полностью восстановить, буквально по крохам, на основе многих сотен обрывков информа-

ции. По туманным намекам Нелли поняла, что Хорст Биндер старается в точности следовать распорядку дня фюрера, и невольно устыдилась, что собственные ее мысли ушли в сторону, к вопросу, встретят ли они когонибудь из ее класса в итальянском кафе-мороженом, куда она решила во что бы то ни стало затащить Хорста Биндера в его юнгфольковском мундире с зеленым шнуром командира группы.

Это оказалось проще, чем она думала. Ах, сказала она, ради такого случая я бы съела быстренько порцию «малаги»! — и направилась прямиком в кафе, где настоящий итальянец крутил блестящую мороженицу, а его жена, тоже настоящая итальянка, стояла за прилавком. В глубине Нелли увидала трех девочек из своего класса, приезжих, чьи поезда — на Дризен, Шверин, Кёнигсвальде — отходили только после обеда, и они проводили свободное время в кафе в обществе ровесников из мужской школы. Нелли чувствовала спиной их взгляды. Надо было действовать, так как в практических вопросах на Хорста Биндера положиться нельзя. Она заказала две порции «малаги» «без выноса», ведь командир группы, да еще в форме, не может есть мороженое на улице. Затем она ловко заставила Хорста Биндера расплатиться, а сама протолкалась к одному из дальних столиков, небрежно кивнула «приезжим», села и знаками подозвала Хорста Биндера. А теперь пускай говорит дальше, что он и сделал, ибо вот только что нашел слово, которое очень точно характеризует его отношение к фюреру: он холоп фюрера, и в этом его честь и гордость.

Ты успокаиваешь Ленку: да, спустя некоторое время Нелли дала ему отставку. Это не вся правда, чего Ленка, как ты надеешься, не поняла. Мороженым дело, разумеется, кончиться не могло. Хорст Биндер неминуемо должен был взять Нелли за руку — это произошло на Волльштрассе, полностью исчезнувшей с лица земли, — а Нелли свою руку отняла, потому что его ладонь была влажная и скользкая, а ощутив на лице его дыхание, она отвернулась, потому что у него дурно пахло изо рта. Это уже было в уцелевшей до сего дня подворотне на Рихтштрассе. Хорст Биндер неминуемо должен был страдальчески разочарованным голосом со страдальческим самоотречением объявить их взаимоотношения «чисто духовными», после чего оба долго молчали, он укоризненно, она виновато. Так продолжалось на всем пути от скотобойни до ее дома. Впоследствии Хорст Биндер часто рассуждал перед нею о том, как это прекрасно — принести себя в жертву великому делу или великой личности, и Нелли, себе в наказание, терпела его общество даже благосклоннее, чем раньше.

И еще одно неминуемо случилось: ее послали в тот дом, где жил Хорст Биндер, — там же обитал и старик Лисицки, у которого ей велели забрать спаржу, — и она спустилась в подвал, думая найти там старика, а наткнулась на Хорста Биндера, он стоял, упершись лбом в выступ стены, а Буккер, вожак хулиганов с Леманштрассе, которого все боялись как огня, хлестал его розгой; Нелли впервые, чего прежде не бывало, встретилась с Хорстом Биндером глазами, и их выражение (не боль, не страх, не злость — что-то совсем иное, ей неведомое) заставило ее убежать прочь.

Больше Хорст Биндер никогда ей не надоедал. Никогда больше не здоровался, не глядел, словно вообще знать ее не знал. Мало-помалу и она стала смотреть на него издали, без всяких эмоций. Только когда весной сорок пятого им случайно встретились на пути запоздалые беженцы из родного города и до нее дошла весть, что накануне прихода русских Хорст Биндер застрелил из отцовского служебного пистолета сперва родителей, а потом и себя, — только тогда проснулось воспоминание, которому сейчас, ожившему вновь, она могла дать имя.

О конце Хорста Биндера ты рассказываешь Ленке, возвращаясь к машине по раскаленной, как сковородка, Рыночной площади. Подробностей она не жаждет. И тут до тебя доходит, что этих подробностей ты не знаешь, поскольку не испытывала потребности рисовать их в воображении. Сейчас, в знойной духоте автомобиля, медленно объезжающего Рыночную площадь (ты меж тем обмениваешься с Лутцем малопонятными для других репликами: Вон железнодорожная насыпь, раньше в ней были склады; выезд к мосту имени Герлоффа[1]; справа здесь был магазин предметов

[1] Герлофф Вильгельм (1880—1954) — немецкий ученый, финансист и социолог.



домашнего обихода и скобяных товаров, там я на рождество купила тебе первый перочинный ножик; я помню!), — именно сейчас перед твоим внутренним взором смерть настигает семью Биндер.

Место действия: спальня. Персонажи из далекого прошлого: госпожа Биндер, серая, запуганная мышка; господин Биндер — опустошенное заурядное лицо да железнодорожный мундир; сын Хорст, теперь уже шестнадцатилетний, исполненный угрюмой решимости сделать последний свой шаг. Немецкие семьи убивают друг друга в спальне. Говорили они чтонибудь или нет? Нигде молчание не бывает столь бездонно глубоким, как в немецких семьях. Неужели Хорст Биндер не сказал хотя бы: Ну все, пора кончать. Или: Сейчас я всех нас перестреляю. (Его мучнисто-бледное лицо с вечной прядью над глазом — может, в эти последние минуты оно наконец-то пылает безудержной ненавистью к себе.) Командир сотни Хорст Биндер обучен владеть оружием, только никто не предполагал, что его мишенью станут немцы-родители и гитлерюгендовский вожак. Кажется, рассказывали, что он застрелил родителей рано утром, когда они лежали в постелях? Может, еще и полюбовался, как на белоснежном белье расплываются темно-красные пятна? Или сразу же улегся на цветастый коврик возле кровати и сунул в рот дуло пистолета?

Старик Лисицки — он был начальником поста ПВО и имел дубликаты ключей от всех квартир в доме — под вечер проник к Биндерам и, увидев, что произошло, счел за благо созвать всех соседей, которые еще не успели сбежать. Непростое это дело — в трескучие морозы незаметно убрать три мертвых тела. И испорченная кровью постель тоже создает массу неприятнейших проблем; в конце концов они, верно, побросали эти вещи на свалку в Провале.

Теперь главное — точность. Что почувствовала Нелли, когда в апреле 1945 года в деревне Грюнхайде, под Науэном, услыхала о смерти семьи Биндер? Отвращение? Ужас? Трепет? Конечно же, нет. Запоздалые эмоции настигли ее много позже, в суматохе иных занятий, которые как будто бы требовали от нее полной самоотдачи.

Слово «холоп» осталось без комментария. Знала ли его Нелли? Да, знала. Ее мама дважды пользовалась им, говоря о семейных делах, оба раза с надлежащим презрением и оба раза по адресу мужниной родни — мужей его сестер.

Сестрам Бруно Йордана с мужьями не повезло. Больно говорить — особенно при детях, — но они изменяли своим женам. Чья тут была вина, сейчас разбирать не время и не место. Ясно одно: девчонке надо оттуда уезжать, другого выхода нет. Так заявила Шарлотта Йордан однажды в Хайнерсдорфе, когда все пили кофе на воздухе; она имела в виду свою золовку Трудхен Фенске, урожденную Йордан, которая в последние месяцы — дело происходит летом 1940 года — шлет из прекрасного Плау грустные, даже отчаянные письма: рыжеволосая секретарша ее мужа, владельца авторемонтной мастерской Харри Фенске, судя по всему, дала себе клятву сманить этого человека от законной жены. Она так прямо и сказала об этом тете Трудхен, а с недавних пор вообще твердит, что ждет от Харри ребенка (Бруно! Дети!), а сам Харри, когда жена приперла его к стенке, лепетал оправдания, которые никакой критики не выдерживают.

Что ж, для Шарлотты Йордан ситуация была яснее ясного. Раз уж оно так сложилось, деваться некуда — надо уносить ноги.

Да ведь Трудхен, поди, не захочет.

Что? Не захочет? А чего ж это она дожидается? Чтобы он взашей вытолкал ее из дома?

Она думает, он придет в разум и вернется к ней.

Этот? Да он у своей рыжей чисто холоп!

В саду у хайнерсдорфской бабушки росли земляника и вишни, ровными рядами строго параллельно проволочной ограде, дождевая бочка закрывалась круглой деревянной крышкой, а цветы были высажены перед домом на прямых, как линейки, грядах. Будь хайнерсдорфская бабушка другой — к примеру, транжирой, хотя это слово к ней даже для пробы применить нельзя, — не иметь бы им того, что у них, слава богу, есть. Она, может, и скупердяйка, дрожит над каждым пфеннигом, но что было делать, если она решила наконец выбраться из подвала на Шёнхофштрассе, ку-

пить собственный домик (стоимость — 16 000 рейхсмарок), зажить наконец среди зелени и быть себе хозяйкой?

Буби, гладкошерстная коричневая дворняжка, путается под ногами у детей. Куры — в загончике, кролики — в крольчатнике. Всему свое место, свой черед. Лишь хайнерсдорфский дед, у которого вечно глупости на уме, с таинственным видом подводит заинтригованных ребятишек к двери прачечной и кричит в нее: Савраска, тпрру! — пока Лутц не говорит, что никакого Савраски там нет. На что хайнерсдорфский дед отвечает: Ага. Я ведь к чему — вдруг он там, так пусть не брыкается.

Вечно этакий вот вздор.

Попробуйте мне только принесите в подоле! — твердила подрастающим дочерям хайнерсдорфская бабушка. У тети Трудхен сердечко от роду было доброе, но простоватое, и однажды в новогодний праздник она, не долго думая, отдала его матросу Карлу, едва тот заикнулся об одиночестве в море и о том, как ему не везет с женщинами. Тут оно и случись, сказала тетя Трудхен как-то ночью во время «драпа», на соломе в пустой классной комнате какого-то чужого городка, описывая своей шестнадцатилетней племяннице Нелли трагические события собственной жизни.

Значит, тут оно и случись. Матрос скрылся. Тетя Трудхен вынуждена была обратиться к повитухе и вытравить плод (злейшему врагу такого не пожелаю!), да еще утаить сей факт от матери. Ночь в одной комнате с нею и сестрой. Боли. Кровь. Искусанная подушка. Матери она боялась больше, чем смерти. Йорданы всегда были порядочным семейством.

Детей тетя Трудхен после этого иметь не могла. Но Харри Фенске был человек великодушный. Как-то раз будущая жена поведала ему свою историю, он ей простил и никогда больше об этом не вспоминал. Вот только позднее эта злосчастная история с рыжей, да как нарочно власти в те годы очень уж ратовали за детей. Немецкий мужчина, сказал на разводе судья, должен жить с женой, которая способна родить ему детей.

После того как брат тети Трудхен, Бруно Йордан, и хайнерсдорфский дед, ее отец, увезли ее из греховного Вавилона (наполовину все ж таки против ее воли), после того как состоялся развод, а из Плау доставили гостиный гарнитур шлифованного лака вкупе с любимым тетиным ковром, она вместе с приемным сыном Ахимом, который только-только пошел в школу и в учении оказался не очень-то смышленым, поселилась на Хауптштрассе, в двухкомнатной квартирке на четвертом этаже. Она устроилась продавщицей в текстильный магазин Бангемана и уже в скором времени узнала всех и вся. Когда заходила в гости племянница Нелли, тетя Трудхен говорила с ней обо всем, как со взрослой. На четвертом году войны она выменяла для нее у одной покупательницы нижнее белье, на масло, которое дала Шарлотта. Нарядное бельишко, с кружавчиками, сказала она, с меланхоличной улыбкой вручая его Нелли.

Лишь спустя три года Шарлотте Йордан подвернулась возможность обругать холопом второго зятя, дядю Эмиля Дунста.

По телевизору идет документальная передача о борьбе с наркоманией в Америке. Комиссия из бывших наркоманов заставляет девушку по имени Барбара прокричать сквозь слезы: I need help! [1], ведь предпосылкой возможного выздоровления является полная капитуляция.

Как мы стали такими, каковы мы сегодня?

Перевела с немецкого Н. Федорова

[1] Мне нужна помощь! (*англ.*).

**Продолжение следует**

---

*Юрий Айхенвальд*

# АВТОБИОГРАФИЯ

●

Моя судьба литературная —
Бесславная и бесцензурная
И складывается не сладко,
А складывается, как складка,
У губ морщина — выражение
Упрямого долготерпения.

Я ухожу в свои стихи,
Как будто бы в большие двери.
Я выйду прямо на потери
За первой линией строки:
«Мы — не рабы. Рабы — не мы»...
Над вышкою лицо солдата.
А мы ни в чем не виноваты.
И это — линия судьбы.
А дальше — линия заката.
А дальше — листья, лица, звезды...
Все это — я. Все это — есть...
Зачем в тюрьме такая честь?
За что всему — такое свойство:
Быть человеком и молчать.
Не вспоминать, не замечать...
И я уйду из этих строк.
Мне надо только все запомнить,
Мне нужно этим все заполнить,
Уйти, словно вода в песок
Или как в землю капли пота:
В стихи, статьи или урок, —
В чернорабочую работу.
На столько лет,
На столько зим,
На столько,
Может быть,
Столетий, —
Пока она идет на свете,
И на нее хватает сил!

1964 г.

## Смерть художника

*Памяти художника Лелюхина,
с которым я был в одной камере
и который, как я слышал,
умер в тюремной больнице.*

Вот так резинкою стирают
Рисунок конченный с бумаги.
Лежит художник, умирает,
Не хочет супа из салаки.
Лежит, пришпиленный к пространству.
Его стирают.
Делать нечего!
Глядит тюремное начальство,
Как белизна в лице просвечивает.
А он толкует о Моне,
Рисует спичками горелыми
На оборотной стороне
Коробок из-под сигарет.
То черный цвет, то серый цвет
Опять перекрывает белое...

1962 г.

## Новый год

...Итак, Москва. Шестьдесят первый год.
Двадцатый век от рождества Христова.
Практический, бухгалтерский отсчет.
И все-таки положен миф в основу.
Он был распят, какой-то человек,—
И от него считают дни рожденья,
Дни смерти всех и дни рожденья всех...
Двадцатый век и просвещенный век,
Какое неразумное решенье!
Пьет фарисей вторую чашку кофе.
А рядом, с синяками от камней,
К своей так называемой Голгофе
Проходит Он.
Страдалец за людей.
Но что случилось за двенадцать дней?
За двадцать лет?
За несколько столетий?
— Не происходит ничего на свете.
Христос все так же продолжает путь
К своей так называемой Голгофе.
Пьет фарисей вторую чашку кофе
И просит Сына Божьего свернуть.
— Так значит не распяли? — Не распяли:
Кассация в священном трибунале.
— Великий инквизитор? — Сам Пилат!
— Что, отклонят? — Конечно, отклонят!
— Но как нам ждать пришествия второго,
Раз ты еще не уходил с земли?
...Распяли снова.
Обознались снова.
Серебреники новые ввели.

1961 г.



●

Передо мной течет река,
А надо мной шумят березы...
Откуда только что берется,
Чтобы растаять в облака!
Берется сильною рукой,
Всей круглою небесной чашей
Зачерпывается
и, даже
Проглоченное темнотой,
Вдруг опрокинутое вниз,
Оттуда к свету, вверх всплывает.
И дерево не забывает
Растить особо каждый лист.

1968 г.

## Отщепенец

*Время?.. Время дано. Это не подлежит
обсужденью.*
Н. Коржавин.

Это было до нас. Это было давно.
И тогда говорили, что время дано.
Не стоял телевизор у каждого в комнате.
О романтика нужного людям труда!
— Человек невиновен.
— Да полноте, полноте,
Что без жертв не обходится — это запомните!..—
Отщепенец, как щепка, летит в никуда.
О судьба человека, судьба отщепенца! —
Отщепиться
от времени и от людей...
— Вам тепло в телогреечке, Ваше степенство?
А свобода все дальше, мороз все лютей,
А свобода все дальше — и фальши не надо:
Можешь скалы ломать, можешь землю долбить.
Не предложат тебе Соловьиного сада,
А предложат тебя, паразита, добить.
Разве только поможет тебе фельдшерица,
Если ты не особенно хил и сутул.
И проводит сестрица в палату больницы...
— Как светло мне в твоем Соловьином саду!..
А на воле растут города, города...
И уже телевизор у каждого в комнате.
— Все давно позабыли, а вы еще помните?
Все живут, все работают, полноте, полноте!

...Отщепенец, как щепка, летит в никуда.

1961 г.

# *И все равно ни на одно мгновенье...*

И все равно ни на одно мгновенье
Нельзя забыть, что горы и моря
Создания такого вдохновенья,
Что перед ним трепещет плоть моя.
И не поймет она и не услышит,
Стремясь спастись от боли и беды,
Того, что в ней сердцебиеньем дышит,
Похожим на мерцание звезды...

1972 г.

●

Есть у стихов достоинство и честь,
Когда стихи не вымысел, а весть.
Тогда стихи не слышатся легко:
В них слово плотно, как земля, легло.
Зато они — опора для меня,
Как дом в огне опора для огня.
Пусть без остатка выгорит в словах
Все то, что в них — ничтожество и прах,
Все то, что в них — тщета и суета:
Убранство храма,
А не смысл креста.

1972 г.

●

То похороны, то проводы.
Кто — в Лету,
А кто — в полет...
К застольям такие поводы
Столетие подает.
Прощайте, друзья-ровесники!
В какую же вы страну
Взбегаете вверх по лесенке?
Окликну — и не верну...
А громко я или тихо
Крикну ему или ей,
Услышит ли Эвридика,
Оглянется ли Орфей, —
Но оба вверху исчезнут,
И в небе простынет след...
Окончился век железный.
Богов и героев нет.

1976 г.



# *Письмо друзьям*

*Науму Коржавину*

С той поры
Не знаю, сколько
Утекло воды...
Океан.
Как от Нью-Йорка
До Караганды.
От привета до ответа
И от нас до вас —
Все равно, что до рассвета
(Не смыкая глаз),
Все равно, что до отбоя
(По утрам в тюрьме).
Столько было до конвоя
Арестанту, мне.

То ли тяжкие вериги,
То ли западня,
Ненаписанные книги
Держат здесь меня.
И не чувствую в себе я
Легкости и сил
Упорхнуть, как в эмпиреи,
В край, где я не жил,
Где не жал я и не сеял,
Где, по той вине,
Мать и мачеха Расея
Будет сниться мне.
Вот и все.
Господь спасенье
Даст или не даст?
От надежды до решенья —
Дальше, чем до вас...

1975 г.

●

Сегодня пасмурный денек,
Но листья сами светят.
И если в лес сейчас пойти,
Они сияньем встретят.
И над ольхой перед окном
Не крона — нимб желтеет.
Короной станет он потом,
Когда отяжелеет.
Сейчас листва приобрела
Последнюю прозрачность,
Которая всегда была
Первоначалом качеств.
Не думайте, что смерти нет.
Но где-то до начала
Ничто —
Ни темнота, ни свет —
Рожденье обещало.

1982 — февраль 1984 г.

---

*Михаил Чванов*

# БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

**РАССКАЗ**

Прошло каких-нибудь полчаса, как вертолет, забросивший нас сюда, торопливо скрылся за ближайшей вершиной, поросшей худосочной приполярной тайгой, и над неуютным эвенским поселком из беспорядочно наставленных по берегу реки безликих деревянных домов, похожих больше на бараки, воцарилась прежняя тягучая тишина. Я сидел около сельсовета, в котором нас пристроили на ночлег на обмотанных оленьими шкурами трубах теплотрассы, и еще, кажется, не верил, что нахожусь в самом центре студено-жутковатого Верхоянского хребта и за теми вон увалами полюс холода на нашей планете. На первый взгляд на самом деле трудно было поверить: горы — как горы, дома — как дома во всех строящихся временно, а на деле — самых постоянных лесных поселках. Только вот слишком уж чахлая тайга да эти укутанные в оленьи шкуры трубы, высоко приподнятые над вечной мерзлотой, — а теперь их еще прятали в широченный деревянный кожух, который, в свою очередь, набивали опилками, — и говорили о том, что сегодняшнее робкое и мягкое солнышко — большая редкость в здешних местах. И если хоть немного знать приметы, то без труда можно было понять, что уже во всем чувствуется приход долгого и утомительного и в то же время привычного здесь ненастья, и потому так тихо и благостно греется поселок в робких солнечных лучах.

Стоило солнышку лишь наполовину закатиться за гору, за которую улетел вертолет, как от земли потянуло нутряной ледяной стужей. И еще тише и меньше стал и без того тихий и маленький поселок, и сразу, словно по команде, из десятков труб потянулся сизый, пока еще робкий дымок.

Была та предвечерняя пора, в какую по всей России в деревнях, — разумеется, в тех, которые еще сохранились, — растопляют печи, и так непохожий на привычные российские веси неуютно-неухоженный эвенский поселок без подворий и огородов сразу стал мне ближе и даже как бы уютнее.

Над крышами его домов, только что начавших сумерничать, все веселее и увереннее вился вкусно пахнущий сизый дымок, я невольно поежился от начинающего пробирать морозца и вдруг с печалью подумал, что, намерзшись, тут сладко не прижмешься спиной к горячим кирпичам, потому что печки в этих домах в основном железные, из бензиновых бочек...

Мои мысли прервал вывернувшийся из-за магазина невысокий большеголовый мужик — явно русский, потому я, наверное, и обратил на него внимание, — был он в сером заношенном пиджаке, несмотря на лето — в меховой шапке с торчащими в стороны ушами.

Увидев меня, мужик повернул в мою сторону и широко и радостно заулыбался. Я ждал, рассматривая его. Он был не просто большеголовый, а верхняя часть головы была значительно шире нижней, словно от другой головы.

— Здравствуйте! — Добро сморщившись всем лицом, мужик как старому знакомому протянул мне руку. — Прилетели? Снова искать?.. Мне сказывали, что должны прилететь, жду, жду... И вот смотрю, в такую погоду, вертолет. Думаю, наверное, они. Больше некому. Пассажирский сейчас не придет. В такую погоду может быть только санрейс, но у нас



вроде никто не заболел, так чтобы уж совсем помирать... Из прошлогодних кто-нибудь есть? — Он все еще радостно тряс мне руку.

— Есть. Вон за сельсоветом на скамеечке сидят.

— Пойду поздороваюсь, — словно извиняясь, что оставляет меня, снова сморщился он в улыбке.

— Конечно, — сказал я, и он, еще раз извинительно улыбнувшись, заспешил за угол, а я опять стал смотреть на печные дымы, на горы, окружающие поселок.

Когда минут через десять я вернулся к ребятам, — кто из ребят стоял, кто пристроился на лавочке, — он сидел у них в ногах, на студеной земле, обхватив колени руками, и что-то рассказывал. Открытая, простодушная улыбка не сходила с его лица.

Ребята снисходительно посмеивались.

— Дима, правда, что жена у тебя была немка? — увидев меня, небрежно и нарочито громко спросил Юра Неганов, при этом откровенно подмигивая мне: «Слушай, мол, концерт...» Это было его любимое выражение. Меня покоробил его тон и то, что ребята по-прежнему сидели на лавочке или стояли и смотрели на Диму сверху, а он сидел у них в ногах прямо на вечной мерзлоте, и был этот Дима по крайней мере в два раза старше Юры Неганова.

— Правда. — Дима просто и открыто поднял глаза на меня, и лицо его стало по-детски доверчивым и беззащитным.

Я хотел было отойти, боясь стать свидетелем какого-нибудь грубоватого розыгрыша, но что-то меня удержало. Скорее всего эта по-детски доверчивая и беззащитная улыбка.

— И немецкий язык ты знаешь? — продолжал Юра Неганов.

— Да почти уж забыл, — смущенно улыбнулся Дима. — Сколько лет прошло! Одно время думал, что совсем забыл, а вот два года назад в геологической партии тут недалеко был практикант-геолог из ГДР, — оказывается, помню. Много мы с ним по вечерам у костра говорили...

— Так что, на самом деле жена была немка? — осторожно переспросил Володя Хабаров, который, как и я, был в поселке впервые.

— Правда, — ответил Дима, которого уже давным-давно полагалось звать по имени-отчеству — Эльтруда.

Я невольно оглянулся на ребят, надеясь прочесть ответ на их лицах, но, кроме нас с Володей Хабаровым, Диму давно уже никто не слушал, все были заняты своим разговором.

— Наверное, наша — из немцев Поволжья или из Казахстана? — предположил Володя Хабаров.

— Нет, настоящая, из Германии, — улыбнулся Дима.

— А где же ты на ней умудрился жениться-то, Дима? — снова подмигнул мне Юра Неганов.

— Там, в Германии.

— А как ты очутился-то там, в Германии? — все так же небрежно-снисходительно, как с ребенком, продолжал Юра Неганов. Даже здесь, «в поле», на лацкане его заношенного пестротканого пиджачка красовался вузовский знак. — Ну заливаешь! Ну заливаешь!

Но Дима, к моему удивлению, и сейчас не обиделся. Он словно и не замечал его тона:

— Я служил там.

— А где же она сейчас? — не унимался Юра.

— Там, в Германии, осталась, — не расцепляя рук, Дима покачивался взад-вперед.

— Дима у нас такой! — довольный произведенным на меня впечатлением, продолжал Юра Неганов. — Своих ему мало! Ему иностранок подавай! Так, Дима?.. — И тут же, забыв о нем, включился в общий экспедиционный разговор. А Дима, сгорбленный, по-прежнему обхватив колени руками и покачиваясь, продолжал сидеть у их ног.

Я впервые видел этого Диму, я ничего не знал о нем, но вдруг мне обостренно, до боли стало ясно, что не заливает он, что за всем этим, за его беззащитной и открытой улыбкой стоит какая-то горькая правда.

— Холодно так сидеть, на земле-то, — торопливо сказал я.

— Да нет, — повернулся он ко мне и опять по-детски улыбнулся. — Привык... Было дело... Идешь, как привал, садись так, — расцепил и снова

сцепил он руки. — Это, значит, чтобы бежать трудно было. А куда бежать-то? Бывало, задница примерзнет, — засмеялся он. — А потом идешь, и словно она чужая, словно не кожа у тебя там, а лист холодной жести, только не звенит...

До меня не сразу дошло, о чем он: «идешь, бывало...»

— А где лагерем-то будете вставать? — спросил он. — Как в прошлом году, около меня, что ли?

— Не знаю, — растерялся я. — Я тут первый раз.

— Лагерем-то около меня будете вставать? — повторил он, обращаясь уже к ребятам. — Я спрашиваю, лагерем-то...

— Да нет, наверное... — наконец откликнулся кто-то из ребят.

— Да, я все тебя забываю спросить, — вспомнил о Диме и Юра Неганов, — ты чего это — зимой и летом в шапке?

— Да у меня голова что-то мерзнет, — смутился Дима, снял и снова нахлобучил шапку.

— Голова мерзнет? — наигранно удивился Юра.

— Да не то чтобы особо и мерзнет, — совсем смутился Дима, а словно давит ее изнутри, распирает, даже страшно становится: как бы не лопнула... Как сказали тогда в Германии... поедешь... утром проснулся, а ее давит... Вот с тех пор... Так не около меня встанете, что ли?..

— Нет, Дима, нынче на этой стороне озера встанем, — наконец услышал его кто-то из ребят. — Да прямо около лодочной стоянки. Приходи в гости. Тебе же по пути... Приходи.

— Приду обязательно, — сморщился Дима в радостной улыбке. — Как же!.. Два года рядом жили. Уж, можно сказать, почти родные. Я, правда, нынче свой сезон там, в карьере, кончил. Но специально приду... Отозвали меня в поселок, говорят, тут нужен, да и зима на носу... У меня теперь жилье есть...

Но его уже опять никто не слушал.

— ...А я думаю, если они около меня встанут, тогда, может, и я там еще с месяц поработаю, — пояснил он уже одному мне.

Чувствуя перед ним какую-то вину, я присел рядом на корточки.

Он сразу откликнулся широкой доброй улыбкой.

Тогда я осторожно спросил:

— И дети были?

— Две дочери. Двойняшки... Эльза и Маша.

— А что с ними? — вырвалось у меня, хотя я знал, что этого вопроса задавать не следовало.

Но он, как-то уж слишком безбольно и беззащитно улыбнувшись, пожал плечами:

— Остались там, в Германии...

Меня подмывало еще спросить, но я сдержал себя.

— Ну, ладно, мне на работу, — видя, что ребятам не до него, Дима поднялся. — А я думаю, дай загляну, вдруг они, вместе ведь жили... И вы заходите, у меня теперь и жилье!.. Да тут, в поселке... — уже второй раз и намеренно громко, чтобы все услышали, сказал он, но и сейчас на это никто не обратил внимания. Дима сразу заторопился: — Ну, ладно, до встречи!

— До встречи, Дима, заходи! — хватился кто-то из ребят, его прошлогодних знакомых.

Дима снова нахлобучил шапку, сделал несколько шагов в сторону, но все еще чего-то временил, стоял и тихо улыбался.

— А как же все это случилось? — не выдержал я.

— А! — нисколько не удивился он моему вопросу. И, неожиданно для меня, снова сел на студеную землю и снова привычно сцепил руки на коленях. — Служил в ГДР, в сорок восьмом меня призвали. — Он поднял на меня свои чистые глаза. — Там и женился. Разрешалось это, на сверхсрочной...

Я тоже опустился перед ним на корточки.

— У нас так несколько человек... Мой пост был у Бранденбургских ворот. Ходят из Западного Берлина и обратно, а мы проверяем. Две Германии да еще Западный Берлин — у кого и там, и там родственники...



На корточках было неудобно, ноги быстро затекали, но я не решался сесть, как он, на студеную землю, от нее и так калило, и я время от времени привставал.

— Ну, так стоим мы на контрольно-пропускном посту. Вот идет человек из Западного Берлина в нашу зону. Его проверяет немецкий полицейский. А я в его дело не вмешиваюсь, смотрю со стороны, но если мне что-нибудь покажется подозрительным, я должен незаметно нажать кнопку — и на следующем контрольно-пропускном посту его уже проверят основательно. А у нее как раз два брата в Западном Берлине нашлись — уже после того, как я женился. Дом родительский здесь, она присматривать за ним осталась, и они, оказывается, еще в сорок пятом подались туда. И теперь объявились. Сначала я насторожился, они по разрешению властей приходить стали... А потом смотрю: ничего — люди как люди... И так они вокруг меня, и так — и все добром. Полюбили они меня очень, что я сестру их так жалею... И вот арестовывают меня вдруг. Говорят, пытались протащить они что-то и как раз через мой контрольно-пропускной пункт. И якобы как раз, когда я дежурил. До сих пор толком не знаю, что там было и было ли... — Он доверчиво улыбнулся, вздохнул...

— У тебя есть отец, мать? — спрашивают на допросе.

— Есть, — говорю.

— Кто отец?

— Кочегарил в котельной, — отвечаю. — Сейчас не работает — инвалид войны.

— А мать?

— Мать уборщицей в школу пошла. Кому-то надо работать.

— Братья, сестры, кто?

— Три сестренки, все школьницы...

— А тут у тебя еще два брата числятся?

— Братья на фронте погибли, — отвечаю.

— Зачем после армии на сверхсрочную оставался?

— Командование предложило, — говорю, — вот и остался... Я на хорошем счету был, — пояснил он уже мне. — Потом хотел помочь им встать на ноги, старшая-то сестренка уже на выданье была. — Он замолчал, упершись подбородком в колени, словно забыл о нас.

— А как ты женился-то? — осторожно спросил его Володя Хабаров.

— Да как, — задумчиво улыбнулся Дима. — В столовой она у нас работала, полы мыла. Ну, шмыгает и шмыгает. Однажды обратил внимание: слабенькая, ведро чуть несет, через силу, жалко стало. И все вздрагивает, и все как мышка, словно в детстве ее кто напугал... Потом-то у нее прошло, — широко улыбнулся он. — А тогда: сделают ей замечание, да и не замечание даже, а скажут, где еще вымыть, так она белая вся, как бы застынет, и слезы на глазах. Я не мог смотреть... Ведро возьмешь поднести, а она перепугается: «Найн, найн!..» Потом улыбаться стала, так, чуть-чуть, как увидит меня. Стал расспрашивать через других: одна, мать параличом разбитая лежит, отец в войну без вести пропал на Восточном фронте, только потом сказала — под Сталинградом... Ну, а там и не знаю, как получилось... Пошел я к командиру, а он: «Ну, — говорит, — не думал я, что ты такой смелый... Добавил ты мне хлопот, — вздыхает. — Я-то что! Пойду выше докладывать...» Да что тут рассказывать!.. Как-то само собой...

— Так у тебя, небось, до армии невеста была? — все так же осторожно спросил Володя Хабаров.

— Как же, была — из соседнего двора! — Дима весь засветился... — Впрочем, какая там невеста! — махнул он рукой. — Так, переглядывались, только перед самой армией раз и поцеловал. Правда, переписывались два года... А потом она замуж выскочила за Петьку Еремеева, он еще в школе за ней ухлестывал. В армию не пошел, по здоровью — в техникум поступил... Может, это из-за нее я и остался на сверхсрочную-то... — Он безбольно махнул рукой. — Ну так дальше... — Что-то вроде тени мелькнуло на его лице.

— Как же это так, — говорят, — отец вернулся с войны инвалидом, два брата отдали жизнь за Родину, а ты?.. Так, может, и родина твоя теперь тут? Может, ты и ее променял? Выбирай!

— Нет. Родина моя — Россия. — говорю.

— Тогда собирайся, поедешь на Родину.

— А семья?

— А куда ты поедешь, туда с семьей не ездят, — смеются. — К тому же жена твоя не нашего подданства. Тем более что она подвела тебя.

— А хотя бы проститься с семьей можно будет?

— Нет. Поезд твой отходит через час. Да и зачем — только лишний раз нервы мотать — и ей, и себе. — Дима растерянно улыбнулся. — И повезли меня бесплатно домой, в Россию, а потом так же бесплатно — от границы и до океана, только уже в другом вагоне, — усмехнулся он. — Как в туристическом путешествии, всю посмотрел...

Рассказывал он по-прежнему легко и безбольно, по крайней мере внешне так казалось, и от этого у меня по спине мурашки бежали. Видимо, он уже рассказывал это не раз, а может, и сотни раз; и там, у Тихого океана, где ему то и дело приходилось сидеть на земле, на снегу ли — вот так, сцепив руки на коленях, и, может, еще где, и здесь в поселке. Может быть, так рассказывая всякому, кто попросит и не попросит, ему легче было все эти годы носить в себе беду, она хотя бы на время выветривалась из сердца, ее как бы частью брали на себя те, кому рассказывал, а они, в свою очередь, рассказывали свои беды, часто не менее безысходные, и тебе уже легче, ты уже не один, кругом такие же люди...

И вот сейчас: попросил я, и он не стал отнекиваться, и даже не задумался, стоит ли рассказывать этому человеку, которого и видел-то впервые, а даже как бы обрадовался просьбе, и лишь печально улыбнулся, и сел на землю, скованную вечной мерзлотой, в привычную позу и опять стал рассказывать, словно не о себе, свою необычную и такую обычную для русского человека жизнь:

— Через семь с половиной лет вольный я казак. Стою на берегу Тихого океана, солнышко ласковое, как вот сейчас. Куда? Радио над головой: «Широка страна моя родная...» Поехал домой. Отец к тому времени уже умер. На работу нигде не берут... Вот тогда я и запил... Сколько я с того времени выпил! Наверное, море-океан, — засмеялся, покачал он головой. — Вот так и жил: годы летят, с каждым годом все быстрее, а я только рад этому... Перебиваюсь случайными заработками. И тут приезжает свояк, муж средней сестры из Мирного:

— Назначают меня в Айхал главным инженером. Поехали!

— Но у меня же ни специальности, ни трудовой книжки.

— Поехали! Все-таки я главный инженер. А там, гляди, и приобретешь какую специальность.

Уговорил, поехали. Действительно, пристроил меня помощником при монтаже карьерного экскаватора. Работаю месяц, второй — понравилось мне это дело. Собрали первый экскаватор, хожу как на празднике: стоит громадина, надо же, мной собран, а через день начнем грузить руду... Но работать на нем мне не разрешают, нет удостоверения помощника экскаваторщика. «Ладно, — говорит свояк, — собирай пока второй экскаватор, а потом что-нибудь насчет курсов придумаем».

Стали собирать второй. А тут главного инженера, свояка моего, неожиданно переводят в другое место, а у меня документов по-прежнему нету и ни на какие курсы меня не берут. Мало того, сразу уволили. Ну что, прожил я последние деньги, куда деваться? Опять домой? Матери-старухе, сестрам на шею? С грузовым самолетом — ребята помогли — добрался до Якутска. Ну, в Якутске меня, конечно, ждут не дождутся! Туда сунулся, сюда сунулся. В конце концов осел в аэропорту, тут семь бичей уже года три отираются: кто куда ехал, но так и не доехал. Ну и пристроился я к ним, взяли. А то и это проблема: в речном порту свои бичи, на рынке — свои, и строго соблюдаются границы, попробуй, выйди на охоту на чужой территории... И загудели мы там! А потом примелькались, что ли, или начальство какое высокое должно было приехать, выгнала нас милиция из аэропорта. Тогда перебрались мы в другой аэропорт — Маган, местных авиалиний... Там народ попроще... Ну, дохожу я совсем, можно сказать, погибаю, одеколон для меня вместо марочного коньяка, а так — дрянь всякая... И вдруг однажды останавливается мужик. Холодрыга, стою около автобусной остановки, трясет меня.

— Пропадаешь? — спрашивает.

— Пропадаю, — говорю. В таких случаях лучше: что спрашивают, то и говори — скорее отвяжутся. Людям нравится, когда с ними соглашаются, когда по-ихнему. — Пропадаю, — говорю. А сам думаю: чего тебе надо? Значительность сам себе хочешь показать? Обычно до нас никому дела нет, как до тех собак, что вместе с нами, брошенные, в аэропорту отираются. Разве только какой заезжий начальничек для виду, выкобениваясь перед холуями, строгость напустит: «Как тебе не стыдно!.. Когда страна!..» Или бабочка какая нервная, накрашенная, брезгливо отвернется, как кошка. А так: словно нас и нет, и им хорошо, и нам. Живем вместе, на одной земле, а друг друга не замечаем. И этот тоже:



— Что же это ты так, а? Как же ты дошел до этого, а? У тебя же руки вон, как лопаты.

Смеюсь:

— Зато у меня документов к этим рукам нет. Человек без документов, как машина без бензину.

А сам думаю: «Какого тебе от меня надо?! Там за углом Витька Молодцов с денатуратом ждать должен, ведь может и не утерпеть!»

А он свое:

— А почему без документов?

— Ты что, мужик, я ведь замерзаю совсем, — с Луны свалился или родился только что?! Ты разве не знаешь, почему люди без документов бывают?.. Между прочим, люди рождаются без документов, их только потом выдают. А мне, может, забыли выдать... может, кончились... может, бумаги на мои документы не хватило...

А он не отстает.

— Печи класть умеешь? — спрашивает.

— А при чем тут печи? — Трясет меня всего, а он еще про печи.

— Я тебя спрашиваю: печи класть умеешь? — строго так. «Точно, начальник, — думаю, — голос подает...»

— Не боги горшки обжигают... — говорю.

— Я тебя в третий раз спрашиваю: печи класть умеешь? И что вообще можешь?

— Там все приходилось, было из чего.

— А у нас как раз не из чего. Глины нет, песка нет, одна вечная мерзлота. Приглашали геологов: нет, говорят, у вас глины и песок не тот. И печники у нас разные были, ничего у них не получилось.

— Раз есть вечная мерзлота, должна быть и глина, — смеюсь. — Вечно мерзлая глина, тяжелая такая, как свинец. Ее ни ломом, ни кайлом — и брать не берут, и вязнут в ней, как в том свинце. Много нашего народу на ней надорвалось... Ты не тех геологов приглашал, гражданин начальник, — смеюсь. — У меня, кстати, специальность помощника карьерного экскаваторщика, только вот документов нету, но до этого я почти полжизни проработал самим карьерным экскаватором — и все в вечной мерзлоте. И эту проклятую глину издалека чую. Она где-то еще далеко внизу, а я ее уже чую, родимую.

— Поедешь со мной?

— Поеду, — говорю, а сам думаю: никуда он меня не возьмет, так, одни разговоры, но, может, хоть накормит. Меня же трясет, из подсобки нас сегодня выгнали, на носу зима.

— Без дураков?

— Без дураков!

— Даже не спрашиваешь, куда?

— А мне хоть куда, — смеюсь. — Дальше, где я был, уже некуда — там Америка, чужая сторона. — А сам думаю: или уже мерещится от холода мне, или, на самом деле, как мать говорила: «Терпи! И даже когда уже некуда будет — терпи! Такая доля наша. Это как проверка нам, бог испытывает... Терпи и терпи — бог все видит! И когда вытерпишь свое, явится к тебе посланник божий, Михаил-архангел, и воссияет над тобой счастливая звезда...»

— У нас, — говорит, — глухой эвенский поселок на Верхоянском хребте, ничуть не хуже тех мест, где ты отдыхал, и я там единственный русский. И ни одной кирпичной печки на поселок. Жестяные буржуйки или железные бочки из-под бензина в лучшем случае. Дров уходит уйма. Вроде живем в тайге, а дрова уже за сто километров возим.

— Не пугай, — говорю. — Все равно поеду.

— А сможешь?

— А другого-то печника у тебя все равно нет, раз на меня позарился. Обманывать не буду — не печник я, хотя приходилось. Но дед у меня и прадед печники были. Да и отец по крайней мере себе и соседям клал... Ну, ладно, прощай...

— Что, не поедешь?

— Так не возьмешь ведь... Не печник я. Мог бы, конечно, обмануть...

— Возьму.

— Возьмешь? — Смотрю на него: мужик как мужик, вроде кругом такие. А скажи хоть, — осторожно спрашиваю, — кто ты такой, уж не Михаил-архангел, случаем?

— Нет, — говорит, — не Михаил-архангел. Я совхозный зоотехник из Баянджи. Полетели! А то пропадешь. Многие до тебя пробовали, попробуй и ты. Погода летная, через час регистрация, должны улететь. Вот тебе билет. Товарищ у меня в Якутске отстал, якут. Пока летишь, будешь Протопоповым. Документов у тебя, говоришь, все равно нет. Ты вон как продубел, сойдешь за якута.

— Так я же сам Попов!

— Ну так вот теперь станешь Протопоповым.

— И вот уже пятнадцать лет здесь. Зоотехник Иван Митрофанович давно уехал, а я остался... Живу вот... — Обвел он взглядом студеные горы.

— Что-нибудь знаете о своей семье? — осторожно спросил я.

— Нет, — расцепив колени, махнул он рукой. — С тех пор — ничего.

— Может, напишете в ГДР, — предложил Володя Хабаров, — сейчас времена изменились...

— Зачем? — переспросил его Дима. — Мне и тот немец-практикант предлагал поискать. Зачем? Я уже старый, и она уже старая, да и в Западной Германии, я думаю, давно она. Полагаю, братцы перетянули ее потом. Да и замужем скорей всего. Дай бы бог! Одной-то мыкать! Что ей в ту пору, лишь двадцать исполнилось.

— А дочери?

— Дочери? — печально улыбнулся он. — Они уже взрослые. Я им тогда, маленьким, был нужен, а теперь они без меня проживут. Теперь я им лишь в обузу. Да и вряд ли знают они обо мне... А до сих пор перед глазами. По два годика им как раз исполнилось... Зачем? Живут они теперь, поди, спокойно, добропорядочно, по-немецки, а тут вдруг какой-то сибирский русский отец объявился. И она... Только рвать нервы под старость друг другу.

— Да, Дима, я уже забыл, — закурив, снова встрял в разговор Юра Неганов. — А вторая-то жена кем была?

— Не было у меня второй жены, — повернулся к нему Дима.

— Как же так, Дима?!

— Да так, больше я уже не женился... — Он помолчал. — Первые годы еще на что-то надеялся. Даже там, — махнул он рукой иа восток, — а вдруг... А потом уже поздно было. Не хотел никого оставлять сиротой, одинокой... Теперь уже поздно...

Он по-прежнему говорил как-то уж слишком легко и безбольно, словно не о себе, словно пересказывал прочитанную книгу, вернее, фильм по телевизору, — кто теперь книги читает.

— Ладно... ребята. Я ведь на работу шел. Слышу, вертолет. Думаю, наверное, они прилетели... Я пока тут, на лесопилке...

— А кирпичи-то разве больше не делаешь? — небрежно пыхнул дымом Юра Неганов.

— Почему не делаю?! — Дима сразу оживился, просветлел. — Я уже ведь говорил... Теперь там, вот увидите, целое производство... Так и называется — цех! Теперь я там!.. А зимой на лесопилке... — Дима замялся. — Теперь ведь я почти не пью, — с напускной небрежностью, а на самом деле застенчиво признался он. — И жилье мне дали! Теперь у меня крыша над головой! — с плохо скрываемой гордостью опять повторил он. — У нас ведь теперь почти сухой закон в поселке... Уже слышали, небось?.. Когда это постановление вышло, собрали сход. Все идут — смеются: видано ли — чтобы взять вдруг и бросить. Это как солнце — взяло бы да не взошло. Ведь уже не раз пытались, но дальше разговоров дело не шло... «Вот какое дело, мужики, — говорит председатель сельсовета, — докатились мы совсем, как говорится, дальше уже некуда. Как дети малые. Правительство за голову схватилось. Что будем делать — по талонам водку продавать? Или, например, только один день в неделю — в пятницу или там в субботу?» А старики эвены говорят... они еще больше нас, русских, в водку почему-то втягиваются. Почему так? Я вот видел, те же немцы всегда знают меру. А у нас — словно не защищенные мы от нее. Так вот, старики эвены говорят: «Нет, мы не умеем помаленьку, как ты говоришь, культурно пить, как в кино показывают. И не надо нам никаких талонов или дней. Что это за питье — две бутылки в месяц! Только душу тянуть. Или давай пить по-старому. Или совсем от нее откажемся. А то действительно скоро пропадем...» Так и решили... Во дают! — засмеялся он. — Как в сказке: эвены отказываются пить. Мы, русские, отказываемся пить. Хотя русских-то тут — я, наверное, один. Хотя нет, вон второй появился, и тоже Попов, тоже не дурак выпить. А другие, не скособоченные, тут и не окажутся.



— Ну и как? — хохотнул Юра Неганов. — Кончилось собрание и...

— Держатся — вот уже почти полгода! — с веселым восторгом сказал Дима. — А куда денешься, если ее совсем в поселок не завозят. За полтыщи километров за ней не побежишь. Может, уже и не рады, что так решили, — засмеялся он, — а что делать — сами виноваты, могли не соглашаться. Но в общем-то хорошо. Раньше, как придет вертолет, весь поселок пьяный. А по праздникам — и говорить нечего. И оленей бросят. А у них — нет греха хуже, как оленей бросить. Некоторые, правда, голосовать голосовали, но в тайге тайком самогонку гонят, как суббота — все вдруг в лес, все культурные вдруг такие — кто по грибы, кто по ягоды.

— А ты? — усмехнулся Юра Неганов.

— И я голосовал, — засмеялся Дима. — И меня пригласили на собрание. Открытка пришла: «Уважаемый Дмитрий Иванович...»

— Ну и с тех пор, конечно, не пьешь! — захохотал Юра Неганов. — Раз собрание — то ты... Ну, может, что не завозят...

— Ну и что — не завозят, — буркнул Дима. Реплика Юры Неганова на сей раз, кажется, задела его, и он не смог скрыть этого. — Неужели меня это остановило бы! Да и разве водка — мое питье! Сколько я выпил всякой дряни за свою жизнь, чтобы не просыпаться! Разве на водку у меня хватило бы денег! Да и водка для меня вроде шампанского, и не берет она меня уже вроде. Да вы знаете... — махнул он рукой.

— Да уж знаем! Пока есть тракторы, тебе не грозит никакой сухой закон! — снова хохотнул Юра Неганов, посмотрев на меня: вот, мол, обещал я тебе развлечение. Он был доволен: Дима Попов не подвел его. — Так что, ты навсегда завязал?

— Надо бы! — не замечая его тона, смущенно пожал плечами Дима. — Кто знает, куда выведет... Надо бы! Сколько можно... Ну, ладно, я пойду...

— Заходи, Дима, мы тебе всегда рады, — демократично протянул руку Юра Неганов, у него было хорошее настроение.

— Зайду, — обрадовался Дима. — Заходите сами. У меня ведь теперь жилье, прописка... Как у всех... Теперь я... Ну ладно, пошел я. Я на работу шел, на лесопилку. А так-то я по-прежнему. Мы ведь теперь целый цех по производству кирпича открыли. Уже целых шесть тысяч в год... Иду, слышу: вертолет. Дай, думаю, по пути загляну. Может, знакомые прилетели, с которыми на перешейке между озер жили вместе...

И он встал и пошел, на прощание застенчиво улыбнувшись. Я еще долго смотрел ему вслед и словно ловил себя на чем-то нехорошем: я, например, не люблю, когда мне смотрят в спину.

— Я тебе говорил, экземпляр покажу, — очень довольный собой, подошел ко мне Юра Неганов. — Бичара матерый! — Поднял большой палец. — Я их на Чукотке видел-перевидел, а этот всем бичам бич... Завязал он!.. — хохотнул Юра Неганов и покачал головой. — Так я и поверил!.. Что ему этот сухой закон! Он его не касается. Чего он только не пил! И йод, и формидрон, и даже ацетон — перемешает его с пивом, если вдруг завезут, тут обычно польское или чешское, — облизнулся он. — Северным морским путем. Он завязал!.. Сейчас не знаю, а то ведь он и жил там, прямо в своих кирпичах. И никому дела нет: жив он там или нет. Бывало, придет к нам в лагерь: «Хоть, — говорит, — на людей посмотреть...» А уж самое обычное его питье — солярка. Я же говорю: пока ходят тракторы, никакой сухой закон ему не страшен...

— Да брось ты! — не выдержал Володя Хабаров.
— Что брось! — вспыхнул Юра. — Вон ребят спроси. Иногда нет, нет Димы, послушать бы от скуки про его немецкую жену — сегодня-то он так себе, мало рассказал, — пойдешь к нему — а он спит прямо у бочки, и шланг во рту! Бичара еще тот!..
Стало уже темнеть, и мы один за другим потянулись к сельсовету. Экспедиция только начиналась. Я был уверен, что еще не раз встречу Диму Попова и мы поговорим с ним, я чувствовал перед ним какую-то вину.
Но больше я его не встретил: на другой день мы уехали из поселка, а к нам в лагерь он почему-то ни разу не пришел, впрочем, от поселка до него целых пять километров, не считая двух перебродов через речку, которая от дождей вздулась. Я надеялся встретить его на обратном пути, но неожиданно подвернулся вертолет, выполнявший санрейс, — за все время, как мы прилетели, в поселок не было ни самолета, ни вертолета, и было бы глупо не воспользоваться счастливой для нас оказией.
Вместе с нами летел в районный центр, сопровождая больного, а заодно по своим поселковым делам председатель сельсовета. Внизу, словно мальчишки осколками зеркала, стреляли в нас солнечными зайчиками бесчисленные болота, как они только держатся на этих суровых склонах! Слева, сильно накренившись при крутом повороте вертолета, открылась долина Дулгалаха, есть такая река на Верхоянском хребте. И вдруг внизу по ней, как корабли в кильватерной колонне, только на более значительном расстоянии друг от друга, поплыли черно-серые бараки: один, второй... пятый... На эти бараки я обратил внимание еще утром, когда вертолетчики, неожиданно сев около нас, развернули карту, прося совета, где в горной тундре искать стойбище оленеводческого стада № 6: там был больной. У каждого из этих бараков на карте стояла надпись: пустующий зимник, пустующий зимник... Может быть, я не обратил бы на них такого внимания, если бы они не были расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга: шестой, седьмой... десятый... Вертолетчики не могли сказать ничего определенного по поводу этих бараков, и я скоро забыл о них, а вот сейчас они вдруг один за другим поплыли под нами.
— Тут что, дорога была? — растерянно спросил я. — Неделю назад я пересекал эту долину и не заметил ничего такого.
— Да, зимник, — нахмурился председатель сельсовета. — С Лены, с Батамая, сначала вверх по Тумаре, потом с перевала вниз по Дулгалаху — почти тысячу километров — до рудника Эсэхая люди шли... по этапу... Знаете, около Депутатского?.. Дневной переход от барака до барака — в среднем тридцать километров... Не дошел, чуть отстал — сам виноват. Почти двадцать лет шли — в одну только сторону... Старики наши много могут рассказать... Давно это уже было, а бараки так и стоят, словно ждут.
Я неотрывно смотрел вниз. Душа охолонула, замерла внутри... Рядом растерянно смотрел вниз врач, молодой парень, попавший в Якутию год назад по распределению...
— Вот так и живем, — перевел председатель разговор на другую тему. — Совхоз — один из лучших в Якутии, по итогам прошлого года завоевали переходящий вымпел Министерства сельского хозяйства РСФСР, а связи с нами — никакой. Нет, когда зимой надо мясо вывозить, самолеты будут десятками летать, а вот когда нам надо... Авиатранспорт — самая главная наша проблема. Спасает лишь зимник, по нему все грузы забрасываем, а то не знаю, что делал бы. Иногда месяцами в Сангаре сидит. А дней пятнадцать — двадцать — самое обычное дело...
Долина Дулгалаха с царапающими душу бараками, снова качнувшись, наконец ушла влево, но они все еще плыли перед моими глазами, и я плохо слушал председателя.
— ...И вот еще проблема: отопление. Заметили, кругом лес вырублен? Поселок маленький, а вырубили чуть ли не с целую Бельгию. Он и так-то здесь растет плохо: лед да камень, да морозы такие. Жрут эти железные печки: затопишь — в доме жарища, а потухло — тут же холодно. Поэтому они у нас, как атомные реакторы, беспрестанно работают. У семидесяти процентов жителей — железные печки. Только недавно стали кирпичные появляться — в год одна-две. Нет глины, нет песка. С конца войны пытались тут глину найти — ничего не получилось. Специально геологов приглашали, не нашли.



— Ну, вы же говорите, что у вас уже есть кирпичные печки. Что, из привозного кирпича? — спросил врач.
— Да разве столько привезешь! — засмеялся председатель. — Золотой будет кирпич, если не дороже. Ну, в конце-то концов кирпич действительно можно завезти, а глина, песок для раствора? Чем этот кирпич скреплять будешь?.. Есть тут у нас один специалист. Геологи не нашли, а он нашел. Хоть мало, но нашел. Десять лет искал, если не больше. На него уже все плюнули, тем более что разъехалось давно начальство, которое завезло его сюда: ну живет на перешейке за первым озером, беглый не беглый, бич не бич — не поймешь кто: документов нет, но зла никому не делает, и ладно. Он в конце концов и нашел. И кирпичи из нее жжет. И печи на ней кладет. Какая-то черная глина, и печи из нее черные. Все говорят, нельзя из нее делать кирпич, а он делает: мало, конечно, да еще со срывами большими, как загуляет, но делает, и стоят они, и греют хорошо. Сейчас даже что-то вроде цеха организовали. Уже до шести тысяч кирпичей в год довели. Для вас это, может, смешно, а для нас — большая цифра: четыре-пять кирпичных печей в год. Вся надежда на него, если опять не сорвется, не запьет в черную...
Перед глазами все еще плыли дулгалахские бараки; и до меня не сразу дошло, что он говорит о Диме Попове, и внутри что-то дрогнуло.
— Он и жил-то до последнего времени там, на перешейке. Пригласили его на заседание сельсовета: «Слушай, на тебя вся надежда. Ты сделал великое дело: твои печи стоят и греют. Сможешь за пятнадцать лет, к двухтысячному году ликвидировать в поселке железные печи? Хотим такой пункт вписать в культурно-социальную программу развития поселка, если ты возьмешься за это дело... «К двухтысячному? — спрашивает. — Это же еще черт знает когда!..» — «Да нет, — говорим, — всего через четырнадцать лет. Век кончается». А он сидит и понять не может. А потом как схватится за голову, словно его чем ударили: «Да вы что, граждане начальники, это не просто век, это ведь второе тысячелетие нашей эры кончается!.. На самом деле — неужели третье тысячелетие? Ведь вроде вот только в школе проходили про какой-то Древний Рим, впереди еще по крайней мере полвека было, так далеко, что об этом никто думать не думал». И нас тоже как бы стукнуло: а ведь правда — третье тысячелетие! До этого тоже както все времени не хватало подумать, то одно, то другое... Глядим друг на друга растерянно. А он привстал даже от волнения: «Вот-те на: пил бы, пил — и вдруг третье тысячелетие! Или: пил бы, пил — и даже не знал, что уже наступило третье тысячелетие. А может, и конец света, ведь, говорят, писано где-то. Ты по-прежнему хлещешь какое-нибудь средство для чистки окон и не подозреваешь, что уже наступил конец света!.. Неужели это так близко, а? Нет, вы подумайте: на носу третье тысячелетие нашей эры! Вы хоть понимаете это, мужики?! Хоть кто-нибудь задумался над этим?!» И плачет, и смеется: «Неужели не понимаете?..»
Вертолет снова резко повернул, и председатель сельсовета вслед за мной невольно посмотрел вниз, где, чуть не задевая брюхо вертолета, медленно и равнодушно-угрожающе плыли, занимая собой пространство от горизонта до горизонта, серо-сыпучие, вымороженные временем и стужей, голо-неуютные горы.
— Вот так, — снова повернулся он ко мне, — греют его печи. Вся надежда на него.

---

А. Твардовский

# ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ (1953—1960)

*Записки эти, а если говорить точно, выборки из рабочих тетрадей, готовились Твардовским к публикации в 1970 году. Работу не следует считать подготовленной к печати. Во-первых, автор предполагал ее продолжить; во-вторых, монтаж материала на основе хронологической последовательности в дальнейшем мог подвергнуться изменениям: сокращениям или дополнениям текста.*

*Наверно, у многих, кто ознакомится с этими записками, возникнет вопрос: почему именно так — этой книгой — завершена жизнь писателя Твардовского? Почему, освободившись от обязанностей редактора журнала «Новый мир» и располагая временем для осуществления новых замыслов — того же «Пана Твардовского», которого постоянно держал в памяти,— писатель взялся за старые тетради?*

*Проще всего ответить: он собирался рассказать о работе журнала, показать журнал изнутри — со стороны людей, делавших его,— но и свою работу, и свой взгляд на все, происходившее тогда. И такой ответ будет верным, но недостаточно точным. Нет, не воображаемого читателя в первую очередь имел в виду мемуарист, приступая к этой книге, собирая воедино эпизоды собственной жизни и жизни журнала, вспоминая о преодоленных и непреодоленных трудностях, вновь переживая чувство беспомощности перед бессмысленным требованием цензора, безапелляционным решением «отдела» или досадуя на допущенную собственную ошибку.*

*Во всех делах прежде всего хотел разобраться он сам и для себя. Это общий принцип его работы в зрелые годы. И в поэзии (особенно в поэмах) любил он темы, не ясные самому, работу, сопровождаемую поисками, попытками, многовариантностями, но и неожиданными находками. Такие вещи, казалось ему, более волнуют читателя . Впрочем, не является ли в конце концов всякая работа «для себя» работой для читателя?*

*Ожог обиды — снятие с поста редактора журнала — не затянулся на длительный срок: не тот был характер, чтобы жить обидой. Но не затихало и тревожило недоумение, нерешенный для себя вопрос: в силу каких причин вот уже вторично лишается он работы, которой отдал свыше пятнадцати лет и с которой как будто бы справлялся? Вглядываясь в годы последнего десятилетия, он не находил закономерной связи между делом, которым занимался, и последовавшим наказанием. Теперь, находясь в серьезном возрасте, обладая значительным опытом, он не мог, как в 1954 г., впервые снятый с работы, признать ошибки и с легкостью дисциплинированного солдата сказать: «Виноват!»*

*Сомнения переполняли его и привели к решению — разобраться. Разобраться во всем самому, восстановить цепь событий, происходивших в стенах редакции и вне их, отделить то, что продолжало оставаться достойным памяти и уважения, от того, что относилось к заблуждениям времени и собственным промахам. Разобраться без призыва к участию «добрых душ», не рассчитывая на поддержку СП, который нельзя не помянуть сейчас: он первым ухватился за борта журнала, чтобы потопить его. Писатели-службисты, делавшие литературную карьеру в Союзе писателей, рады были избавиться от новомирцев, доставлявших много беспокойства.*



*Предстоявшая работа требовала документальной опоры: правдивых, компетентных и независимых свидетельств. И такие качества писатель усмотрел в собственных «рабочих тетрадях», которые он вел на протяжении более сорока лет. События записывались обычно сразу, по свежему следу, реакция на них и оценка их значения определялись конкретной обстановкой. Все это — гарантия правдивости материала.*

*Выборки из тетрадей начинаются с 1953 г. (записи в рабочих тетрадях — с 1926 г.). Твардовский счел нужным опустить «малособытийные» годы и открыл свою летопись примерно за год до снятия с должности, когда в рабочих тетрадях стало гуще литературного материала: отзывов о прочитанных книгах, размышлений о делах текущих и общих литературно-философских вопросах; в то же время уже готовилось главное событие первого новомирского периода (1950—1954) — снятие главного редактора.*

*Хотя с точки зрения сегодняшнего дня наказание можно считать несправедливым, оно было пережито спокойно. В запасе были бодрые годы и замыслы. Но, быть может, самое важное, что было,— вера в справедливость наказания. «Решение справедливо»—записывает Твардовский 11 августа 1954 г. Такая вера была тогда в мудрость, справедливость и непререкаемость партийных решений.*

*Доведя выписки из тетрадей до 1960 г., он ознакомил с ними А. Г. Дементьева — бывшего своего заместителя по журналу и соседа по даче на Пахре. Александр Григорьевич одобрил и самый замысел, и намерение Твардовского продолжить выборки из рабочих тетрадей. Предполагалось довести их до последних событий — разгона редколлегии в феврале 1970 г. Но тяжелейшая болезнь внезапно прервала работу писателя. Вернуться к ней он уже не смог.*

*Быть может, непосредственно журнальных и иных литературных событий не так много зафиксировано в этой летописи. Твардовский не успел коснуться самого острого десятилетия — 60-х годов, особенно второй их половины. И в то же время кому-то может показаться, что сообщения о литературной жизни потеснены многими личными заметками писателя о природе, погоде, многочисленными набросками и черновиками стихов, высказываниями о себе — весьма безбоязненными,— лаконичными, но меткими замечаниями о собственной поэтической продукции. Кого-то может удивить признание о предпочтении дровосеки работе за письменным столом. Что ж, это запись живой, непосредственной натуры, предпочитающей результативный физический труд писательскому труду без воодушевления.*

*Ценность той части записок, которые относятся к жизни и личности автора, не только в биографической, но и в историко-литературной информации. Писатель Твардовский был так поглощен интересами советской литературы, имел такие многочисленные и многообразные контакты с современниками, прошел, если оглянуться, такой длинный путь от хуторского подворья до столицы и собственной популярности, что теперь сам являет собой книгу «о времени и о себе», которую еще предстоит прочесть.*

*Признавая незаконченность записок, отсутствие в них годов 60-х— времени наиболее острой борьбы за «Новый мир»,— кажется, что и в таком виде они представляют немалый познавательный интерес: воз-*

*вращают нам те, прошедшие, годы, делают доступнее личность самого писателя. Да и ощущение того, что читаешь последнюю книгу художника, задуманную «для себя», но оставленную для нас, добавляет нечто к ее содержанию.*

*В заключение несколько слов о характере сокращений. Почти все они касаются области семейной, и лишь незначительная часть, относящаяся к писателям-современникам, сделана из опасения обидеть их родных и близких.*

*М. И. Твардовская*

## 1953

**29.XII.** <**Барвиха**>.

Продления путевки не выходит, да я и рад, устал от отдыха и лечения. Настроение так себе. Если б в обычной, нормальной жизни я так работал, это было бы хорошо, нормально, но на специально отведенный срок возлагались вольно и невольно оптимальные надежды. Я лишь могу сказать, что я после значительного перерыва и полного расстройства действительно начал работать. Но начал со столь трудоемкого места, что дай бог хоть как-нибудь в продолжение времени одолеть. [1]

---

Снег идет, но мало, неохотно. Гуляю и пр<очее>, но стал себя чувствовать к концу несколько хуже, нервное, беспокойно отрываюсь от стихов, вот уже перебелишь кусочек, а чуть отошел, опять не то, опять ломать. Но я н а ч а л.

---

Мне здесь как-то мало времени, живу по часам и все не успеваю: недосыпаю, не гуляю без часов, не могу собраться ответить на некоторые письма, заброшенные сюда, мало читаю. Вчера окончил Эккермана, который теперь при перечтении в целом все же был мне полезен. Приятно было находить там мысли, которые у меня, может быть, оттуда же, от первого давнего чтения, но, может быть, и от самого себя. Вообще я в том еще не очень горьком возрасте, когда так ли сяк уже понимаешь, пожалуй, больше, чем можешь, впрочем, надеюсь, что это еще временное.

---

**30.XII.**

К «П а н у» [2]

И если мне нужен был в дело какой-нибудь пастушечий прутик, клок пахучего сена, какой-нибудь изгиб лесной тропинки, какая-нибудь штуковина из обихода, птица или рыба, изделие материнских или отцовских рук, занятный случай, песня, шутка, присловье или одно доброе словечко — я все это, не задумываясь, брал оттуда, из моей главной книги, которую я знал с любой страницы. И это тем более было удобно, что заметить этого заимствования никто не мог, так как книга оставалась

[1] А. Т. работал в Барвихе над «сталинской главой» («За далью — даль») во второй — расширенной редакции. *(Здесь и далее примечания М. И. Твардовской).*

[2] «Пан Твардовский» — замысел автобиографической повести, оставшейся в набросках.



ненаписанной и была известна только мне. И меня нередко хвалили: смотрите, какой у него язык, какие описания, какие детали быта и т. д. И невдомек было, откуда все это у меня. Другое дело, если бы книга была написана и напечатана. Я помню, как подвозивший меня на станцию, где была библиотека, мой старший сверстник (Андрей Волков), заглянув в мои книги, что я собирался обменять, и обнаружив, что одна из них содержала стихи, дружески подмигнул мне:

— Сдираешь?..

И когда я стал отрицать, ему это не понравилось, он рассчитывал на дружескую доверительность с моей стороны. Он теперь меня слегка презирал за трусость, за нежелание признаться товарищу в том, что было само собой разумеющимся — и в то же время не было чем-либо предосудительным.

А в более поздние годы я вдруг подумал: что, если я мою главную книгу так-таки и растаскал на кусочки? А примусь за нее, и окажется, что и одно, и другое, и пятое, и десятое уже рассказано мною. И уже окажется так, что я из своих выпущенных ранее вещей «сдираю», окажется, что книга списана с самого себя.

Но, нет, там еще много есть кой-чего, чего я ни на синь-волос не тронул, не вспомнил. Нужно только поостеречься, не повторяться ни в чем...

А потом подумалось другое, еще более смутившее меня: что, если, написав и выдав в свет мою книгу, я останусь без нее, без такой, какой она была для меня до сих пор, моя заветная... И не будет уже у меня такой радости перелистать ее про себя, порадоваться ее картинам и т. д.

(И когда меня бранили, я говорил себе: ничего, погодите, почитаете еще.)

---

(Ужасно, что сейчас же является соблазн сделать это в стихах — нет, не нужно.)

[...]

**31.XII.**

Думал было сегодня опять перебелить, но решил, что сегодня это будет механическим переписыванием. То, се, сборы... [...]

---

Вчера главный врач Галенин Константин Алексеевич сказал мне, что он был в «домике-музее» И. В. Сталина, там висит картина Непринцева [1] (репродукция?), единственная в доме. Сопровождающий посетителей (музей еще, кажется, не открыт) объясняет: эта картина вывешена здесь по личной просьбе И. В. — Должно быть, Старику очень нравились эти смеющиеся ребята. Вдуматься — трогательно, и грустно, и приятно: ведь это от меня — эта картина, доставляющая ему радость.

Вошла Галина Николаевна (сестра Н. Н. Асеева), попросилась на машину до Москвы, только просит подождать до 3.30. Пожалуйста. А еще одну сестричку можно взять? Пожалуйста. А вы пишите, берегите себя, не будьте эгоистом, не делайте только то, что приятно для вас, думайте о нас и т. д., — еле отпустила.

## 1954

**22.I.**

«Легкость» продвижения уже вчера встревожила — не просто ли старой колеей? Этот «шурф» оставить, может быть, попробовать сталинскую главу.

[1] Картина Ю. М. Непринцева «Отдых после боя» сначала называлась «Василий Теркин».

1. Комендант
2. Стол учетный
3. Стол проверки
4. Стол наград посмертных...[1]

---

Нет, это должно получиться, но требует напряжения, оглядки, строгости — вот-вот и съедешь на пустяки.

**23.I.**

Перебелил на листах начало сталинской главы, собрав все воедино и кое-где найдя новые слова и строчки.[2] Это примерно половина. Теперь «о себе», потом подъемная часть — дело продолжается и т. д.

**24—25—26.I.**

Округлил вчерне главу. Читал Маше — говорит — хорошо. Надо еще почитать кой-кому — чтоб выявились наиболее слабые места. Потом уже в тетрадь. «Теркина» как бы забыл на эти дни.

**5.II.**

Решил вступление[3] сделать основным размером, чтобы переход к повествованию был лучше. Перегнал прежнее вступление (или отступление) в этот размер, но что-то в этом виде оно меньше запоминается, в памяти некоторые прежние строфы тверже. Придется еще думать и ломать, а покамест — все в ряд поставить, отжать стих. Стих этот настолько разработан в «Теркине», что тут того и гляди соступишь в его «легкость», доступную самым наивным подражателям его — авторам стихотворных посланий ко мне, «продолжений», пародий и т. п.

---

**4.IV. Барвиха**

Четвертый день здесь. [...] Весна, шумят умытые сосны, хожу на Москву-реку, жду ледохода. Закраины у берегов уже большие, лед отстал от них, но еще недвижен.

Малолюдно, благодать в пустынных гостиных, даже в столовой, где застаешь двух-трех человек, сидящих по разным столикам. [...]

Пишется хорошо, но тревожно. За два-три дня продвинулся строк более чем на сто. Тревога и сомнения не столько по линии того, о чем Фадеев сказал «боюсь»[4], не по линии содержания и сюжета в части его необычности в наши времена, но главным образом по линии формы, стиха, языка, где опасна сама легкость, где нужно неусыпно преодолевать инерцию «того Теркина», иначе это будут игрушки.

---

[1] Первая запись «планчика» к «Теркииу на том свете» — свидетельство начавшейся работы иад поэмой.

[2] «Сталииская глава», в окончательной редакции получившая название «Так это было» (1960), предварялась двумя публикациями в «Новом мире»: 1953, № 6; 1954, № 3. Как может судить непредвзятый взгляд, постижение автором образа Сталина углублялось по мере того, как ему стаиовнлись доступны новые и новые материалы о времени, деяниях и характере Сталина. Отсюда двукратное возвращение к этой главе.

[3] Вступление к поэме «Теркии иа том свете».

[4] Фадеев, начавший роман на индустриальную тему, опасался, что за время работы над произведением может устареть та техиология, то производство в черной металлургии, на которых основывался сюжет задуманной вещи.



**12.IV.**

Читал сегодня все сначала Маше и Вале (она в первый раз меня слушает). Говорят — хорошо, да и сам чувствую, что занятно. То же говорили вчера Дементьев[1] со Смирновым[2].

Иду в среднем 50 строк в день. Идет хорошо, почти что набело, давно такого со мной не бывало в таком объеме. А страшновато. Валя сказала, что не представляет, как это может появиться в печати. А я не могу себе представить, чтоб у меня вещь в 1000 строк оказалась невозможной к опубликованию.

---

Давно мне не нравится какая-то шипяще-шепелявая, вяловатая рифмовка начальных строк (кромешной — насмешка).

Попробовать:

Прочитав одно заглавье,
Кто-нибудь махнет рукой:
— Э, брат, начал ты за здравье,
А понес за упокой.

Ледоход проспал самый, на днях ночью ушел лед, днем глядел мелкий, остаточный, сбитый к правому берегу полосой в полреки. — Больные сосны. Трубящие сосны.

**1—15.IV.**

Полсрока здесь, ни одного пустого дня, загробный «Теркин» приближается к концу. Что-нибудь строк 800 есть, остается, думаю, написать около ста, но дело покажет.

Остается: 1) Еще, пожалуй, строфы две прощанья, после строки: «С уходящими от них»...

2) Разговор с комендантом, у которого Теркин просит «пропуск на выход» (Лихо!)

3) Полу-ночь, полу-день, полусвет, полутень, полудень, полуночь, полу мать — полу дочь, полудочь, полумать, полу...

4) Дорога к живым. Опыт выхода из окруженья (хорошо, что знал, как).

5) Концовка.

Два-три дня нарушили дела с письмом Хрущеву[3], слухами от замов, рассказом их о сурковских упражнениях на бюро Правления.

Сегодня подписал письмо Н. С. Хрущеву.

**16.IV.**

Возможно, что в два сеанса (завтра и послезавтра) черновик закончу. Хоть иной раз (чаще под вечер и под воздействием внешних радостей — проработка «Нового мира» и меня лично, ожидание ответа на письмо Хрущеву) кажется вдруг: а не мох ли это с болотом, не зря ли, но потом (чаще с утра или, как сейчас, — после переписки в тетрадь утренней выработки) думаю: нет, это не зря, это может быть очень емкой штукой, — работа ведь только и начнется настоящая, как будет все вынесено на первый беловик в целом, — и это вовсе не «вариации» теркинского стиха. Если это окажется так, то утвердится труднейший, но благодарнейший принцип «захвата наибольшей территории с последующим детальным закреплением ее».

---

[1] Дементьев Александр Григорьевич (1904—1986), критик и литературовед, в 1953—1955 и 1958—1966 гг. заместитель главного редактора «Нового мира».

[2] Смирнов Сергей Сергеевич (1915—1976), писатель, автор известной книги «Брестская крепость», в 1950— 1954 гг. заместитель главиого редактора «Нового мира».

[3] Копии своего обращения к Н. С. Хрущеву А. Т. в тетради ие оставил. Но, по-видимому, просил рассмотреть вопрос о социальном происхождении (см. далее письмо в ЦК КПСС от 4.V.54 г.).

Кажется, утренние заморозки прошли, так бодрившие в первой прогулке, — точно легче становишься весом.

---

Мельников-Печерский. Да, язык (хоть и слащав, и приторен местами), быт и т. п., все ж «На горах» уже нет сил читать подряд, а еще прочел биографию, написанную верноподданническим пером некоего Н. Усова — особенно противно. И были же люди, сравнивавшие его с Л. Толстым, Тургеневым.

**17.IV.**

Но вот уже добрался до шлагбаума, до столба (жердь), где с одной стороны смерть, с другой — жизнь. И нужно только ноги перебросить, ан нет, все отдал дороге, сил нет, что делать:

Был бы бог, так помолиться,
А как нету — что тогда?

И тут-то — кто-то бережно помог (сам не мог), ноги перебросил через жердь —

И очнулся в палате (в хате).

**25.IV. Б<арвиха>.**

Все эти дни перебелял, уже 39 страниц, дошел до прощанья с другом включительно, явился поворот, который сообщает делу характер особого происшествия с Теркиным на том свете, без чего недостает сюжетной органичности, — все, как со всяким, не только Теркиным на том свете: Теркина хватились, из Стола Проверки получены сведения, что на этом свете он продолжает числиться в живых, следовательно, не настоящий мертвец, чего мертвецы не могут потерпеть.

Скорее всего, этот поворот должен быть до прощанья с другом (а то все ж прощанье обидное для друга, хоть и мертвого).

Пожалуй, самое лучшее — сразу после слов «Не условный ли мертвец?..» и паузы, предваряющей ответ Теркина.

**28.IV.**

Вчера слишком прналег на перебелку и под конец уже шел не в глубину, а только в длину, так сказать, подавляя недовольство и тревогу за самое заключение (обратный путь на этот свет). Закончил перебелку, но к вечеру недовольство усилилось и, звоня домой, пожаловался (не совсем, правда, искренне), что все кажется плохим, а отстать не могу. С утра — встал, побрился, помылся, погулял в ранний час, чуть подскорлупивший землю, по лесу и вверху речки, подышал, ободрился. Давай читать: нет, право, хорошо все вплоть до заключения, о чем и уведомил Машу вскоре. Определилась закономерность: вечера мои плохи — грусть, сгущение всяческих тревог и раздумий и т. п., но утра все как одно хорошие, работящие, бодрые. А излишняя оживленность вечеров всегда сказывается в утрате утренней ясности. Так что, на худой конец, пусть уж будут утра хороши, а вечера хуже, чем наоборот.

Последние дни несколько притомился — первый раз сегодня даже заснул после послеобеденной прогулки с Печерским в руках (на полу).

Завтра пройдусь по заключительным страницам.

— Нет, не все на этом свете
Так же скучно, как на т о м.



**29.IV.**

Опять с листов «беловика» перегнал заключительные строфы в тетрадь. Многое выпрямилось, подравнялось, постройнело. Неясно еще: во-первых, стоит ли после первого «Ну и ну!» рассказывать задним ходом «обратный путь», не скучно ли, и, во-вторых, достаточно ли «морали» — «Жить тебе еще сто лет». Не обратиться ли с какой-то репликой к читателю. Может быть, нужно несколько строк Теркина в живой жизни, его слово, может быть, только что подумалось, ему самому и следует сказать о перспективе жить сто лет. «Нет, не так на этом свете все уныло, как на том».

Месяц работал, не пропустив ни одного дня, по количеству написанного за месяц — это небывалое для меня дело. И что-то получилось, кажется, хотя не покидало ощущение некоей «неоригинальности» для самого себя этой штуки, использующей готовый образ. Но, помнится, и весь «Теркин», в сущности, написан с ощущением как бы еще не того, что могу и что потом сделаю, а как бы в силу внешней необходимости временной, оставляя за собой мечту о чем-то ином, что сделаю потом.

И как всегда в работе набегали всяческие замыслы — и лирики, и «Далей», и статьи (к съезду)[1], и прозы. Чего бы, кажется, не написал, ан, вдруг, черт за ногу.

**30.IV. Барвиха, день отъезда.**

Не работаю, как и первый день здесь, занятый письмом Довженко[2]. Таким образом, 28 рабочих дней. 1200 — 200 строк[3]. 1000 за 28 дней.

Вчера читал Гладкову[4] и Пешковой[5], хвалили, но я все же не мог не учесть, что известный возраст более прислушивается (с отвращением) к словам «тот свет», чем к тому, что связано с этим. Гладков отметил «режущие слух» рифмы: «вдруг — петух» (такой нет!) с точки зрения истинно литературного языка.

Утром, как всегда, самочувствие хорошее. О б я з а т е л ь н о вместо жанрового обозначения поставить в скобках (Добавление к «Книге про бойца»), чтобы эта вещь не притворялась самостоятельной, а примыкала к своему источнику открыто. (А там еще возможна «Свадьба Теркина») — и это все нормально и хорошо, — такое наращивание. Без этого мне, видимо, было не обойтись. Читатель, как ребенок, хочет, чтоб ему рассказывали сказку т а к у ю, как вчера. Если он видит, что это т а ж е сказка, — не нужно. Я знаю вокруг себя как автора и такое отношение, в котором выражено как бы снисхождение к тому, что я пишу еще что-то, кроме «Теркина».

В данном случае выгода готового имени героя в том, что вещь такой сатирической окраски при этом просто «проходимее».

**4.V. М<осква>**

П р о е к т п и с ь м а в ЦК КПСС

При уточнении биографических данных в связи с обменом партдокументов я обратил внимание на то, что в графе «социальное происхождение»

---

[1] Имеется в виду Второй Всесоюзный съезд советских писателей, состоявшийся в декабре 1954 г.

[2] Довженко Александр Петрович (1894—1956), украинский киносценарист, режиссер. Твардовский отзывается в письме о его пьесе «Потомки запорожцев», предложенной «Новому миру», но в журнале не напечатанной. Свой отказ А. Т. мотивировал таким заключением: «...в ней (пьесе), с одной стороны, нет современности, все отодвинуто в глубь годов, но, с другой стороны, в ней нет и подлинной истории, лучше, может быть, сказать историчности».

[3] Так в подлиннике.

[4] Гладков Федор Васильевич (1883—1958), писатель, автор «Нового мира».

[5] Пешкова Екатерина Павловна (1876—1955), первая жена А. М. Горького, отдыхавшая в это время в Барвихе.

указано, что родители мои в пооктябрьское время были кулаками. В беседе с секретарем Краснопресненского РК КПСС и в письме, адресованном бюро РК, я просил изменить обозначение «кулаки», мотивируя эту просьбу, во-первых, несоответствием этого обозначения действительности, так как в хозяйстве моего отца, административно-высланного в 1931 г. за невыполнение «твердого задания», никогда не применялся наемный труд, и, во-вторых, тем, что это обозначение противоречит утверждению многочисленных биографических справок в печати, что я сын крестьянина-кузнеца.

По истечении некоторого времени секретарь РК КПСС т. Платонов А. Д. сообщил мне, что вопрос об изменении этого обозначения в учетной карточке может быть решен лишь ЦК КПСС и посоветовал мне обратиться с моей просьбой к т. Н. С. Хрущеву.

Я так и сделал. В письме к тов. Хрущеву я уже более подробно мотивировал свою просьбу, относительно которой ответа еще не получил, естественно, что обмен партбилета, назначенный на субботу... марта, не мог быть произведен до окончательного уточнения в учетной карточке. До настоящего дня я продолжаю носить партбилет старого образца и по нему уплачиваю членские взносы. Тов. Платонов разъяснил мне, что это обстоятельство не должно меня беспокоить, и, кроме того, он сказал в беседе со мной, что я поступил правильно, заявив о своем несогласии с формулировкой моего социального происхождения в учетной карточке.

Однако в течение последнего времени до меня стали доходить странные и порочащие меня слухи, широко распространившиеся в литературных кругах Москвы, о том, что будто бы при обмене партдокумента я, Твардовский, «поставил партии ультиматум» об изменении обозначения в учетной карточке и «отказался от партбилета» впредь до принятия этого моего ультиматума. Такие вещи, неизвестно с чьих слов, но ссылаясь на «верхи» (ЦК КПСС), говорил тов. Б. С. Рюриков [1], главный редактор «Литгазеты», моему зам<естителю> по «Новому миру» тов. Дементьеву и тов. В. Л. Василевская [2] тов. Е. Ф. Усиевич [3], причем последняя (Василевская) утверждала помимо того, что хозяйство моего отца в действительности было архикулацким, в частности, в кузнице моего отца работало — не более, не менее — 30 человек наемных рабочих.

Как ни тревожили меня эти слухи, но они были только слухами, достоянием частных бесед, против чего я еще не видел возможности выступать в партийном порядке. Так было до 3.V., когда в помещении Краснопресненского РК начало работу отчетно-выборное партийное собрание московских писателей.

Здесь выступавший в числе других по докладу т. Сытина [4] тов. И. И. Чичеров [5] заявил, что на днях в Академии общественных наук тов. Сурков в своем докладе о задачах подготовки к 2-му съезду писателей, коснувшись в какой-то связи имени Твардовского, заявил перед 800 слушателей, что Твардовский «отказался взять билет нового образца впредь до удовлетворения его требования об изменении социального происхождения».

Я вынужден был попросить слова для справки и сообщить собранию о том, как обстоит дело в действительности, т. е. изложить то, что сказано в этом письме, в опровержение явно клеветнической интерпретации А. Суркова.

Но безотносительно к тому, каким будет решение ЦК КПСС по моему письму с просьбой, изложенной выше, — а я не сомневаюсь в справедливом решении этого вопроса, — безотносительно к этому, я, мне думается, вправе просить ЦК привлечь тов. Суркова к партийной ответственности за попытку политической дискриминации меня, коммуниста и литератора, пользующегося, смею думать, в широких кругах читателей и литературной общественности добрым именем, заслуживающим доверия.

[1] Рюриков Борис Сергеевич (1909—1969), критик с 1953 по 1955 г. главный редактор «Литературной газеты».
[2] Василевская Ванда Львовна (1905—1964), польская и советская писательница, жившая в Советском Союзе с 1939 г.
[3] Усиевич Елена Феликсовна (1893—1968), критик, дочь революционного деятеля Ф. Я. Кона.
[4] Сытин Виктор Александрович (р. 1907), писатель, в то время один из руководителей партийной организации СП.
[5] Чичеров Иван Иванович (1902—1971), литературовед, критик.



3.V.

Из писем о «Далях».

1. «Товарищ Твардовский! Может быть, я не прав. Ответьте мне. По поводу ваших стихов «За далью — даль».

Смоленщина — хороший край,
Тебя Твардовский обожает,
Не знает он твоих полей,
Он никогда там не бывает.

В стихах он пишет, прославляя
Смоленщину — свой отчий край.
А «далей» он твоих не знает,
Он видит лишь другую даль.

Поля, леса и перелески
В широкой дали всем видны,
Вот только нет там урожаев
И двести грамм на трудодни.

Тебя пусть это потревожит,
Ты загляни и в эту даль.
Там молодежь тебя не встретит,
Она ушла в другую даль.

Кому не хочется проехать
В купе вагона к черту в даль?
А ты потопай по дорогам
Своей Смоленщины. Узнай,

Дела колхозные не блещут,
Коль молодежь ушла с полей.
Другие дали надо видеть, —
Теперь они ведь поважней.

Машины, знаю, нынче пашут,
Они у нас — цари степей.
А ты попробуй без народа,
А ты попробуй без людей.

Мне барство (?) [1] видеть надоело
Да поминание войны.
Пора уж взяться вам за дело,
Так нужное для всей страны.

Кому, кому, а вам, Твардовский,
Смоленщину грех забывать,
В купейных полках развалившись,
Стихи о древности писать.

Пусть ваше слово дивной дали
В колхозной жизни зазвучит,
Когда его бы все узнали,
Такое слово не вредит.

И хорошо бы на досуге
Пройтись до Ельни пешака,
В деревнях бедных и убогих
Узнать поближе мужика.

Тогда б про дали позабыли,
Забот немало было б вам,
Поближе бы колхозам были,
Полезны стали мужикам.

Зачем, зачем вам эти «дали»
Искать на полках поездов,
Потеть по суткам на вокзале,
Потеть от собственных трудов.

[1] Знак вопроса поставлен А. Т.; по-видимому, он усомнился в уместности этого слова.

Еще б на том я был согласен,
Когда б конкретным были вы,
Когда б не в общем говорили
Да меньше слов о днях войны.

Сейчас нам хлеб поболе надо,
О хлебе этом и пиши.

Чишуников (?) Василий
(Киев, Артема, 55, кв. 66)

Стыдно закрывать глаза на свою отсталую, почти нищую Смоленщину. Да поминать ее вскользь в стихах. Когда я прочел эти ваши стихи группе молодежи, которая, кстати, самовольно уезжала из Смоленщины, то я услышал то, что более, менее мягко выразил Вам. Их возмутило, что вы земляк и что вы не хотите проявить заботы о колхозниках — о колхозах, об нужде, которую можно было бы прогнать со Смоленщины и от которой бежит молодежь со Смоленщины и ропщут старики о том, что мало скота, нет удобрения на постные земли, что некому да и не за что работать. Кому охота работать год в колхозе и получить по 150—200 грамм на трудодень. Вам бы проехаться да посмотреть, да послушать. А то смоленскому начальству веры мало. Вы ведь Депутат.

Чишуников (?)».

Отличное письмо, если не считать отрицания внесмоленских «далей» и якобы излишнего «поминания войны». Читательский взыскательный счет писателю, апелляция к перу, которое заслужило доверие чем-то и чем-то вызвало огорчение. Обязательно использовать в смоленских записях после поездки.

---

2. (Нет под рукой).[1] «Идейно-бдительное» письмо грамотея, воспитанного в духе автоматизма мышления. Подвергает сомнению «идеологическую выдержанность» главы о 5 марта 1953 г., якобы утверждающей «культ личности».[2] Тот самый читатель, который год назад упрекнул бы меня в недостаточном подчеркивании «роли».

---

Вчера в редакции читал «Теркина» группе людей — С. С., Закс, Сац, Александров, Сутоцкий, Караганова (прочитавшая по рукописи отдельно).[3] Все в один голос говорили о значительности и т. п., заметно даже сдерживаясь от излишеств оценки в отношении автора-начальника. Думаем готовить в 7 книге. Что бог даст? А сегодня, как и вчера перед сном (и, может быть, во сне), одно делаю, а другое в уме перебираю, витийствую, объясняю такие ясные вещи, волнуюсь и т. п. — все в результате вчерашнего выступления Чичерова на партсобрании. Помимо всего прочего, инцидент этот мешает моему «наступательному» (лучше сказать, разъяснительному) выступлению, необходимость которого и томила меня, а все же остается необходимостью. Буду выступать, меня будут слушать, а все же будет немало отвлечения: так-то так, а вот чем еще обернется твое дело — неизвестно. Серьезная помеха. А так как собрание непосредственно само еще не понуждало меня к выступлению, то стоит еще и подумать, посоветоваться.

**5.V.**

Два дня партсобрания, напряжение, усталость, провал сурковского похода против «Нового мира». — Непредвиденный разговор с Н. С. Хрущевым («Изменить нетрудно, но подумайте, стоит ли это делать»), передавшим письмо Фурцевой[4] (сам не читал). Письмо Фадеева.

[1] Чтобы процитировать, как и предыдущее письмо.

[2] Имеется в виду публикация второй редакции «сталинской главы» «Далей» («Новый мир», 1954, № 3).

[3] С. С. Смирнов, Б. Г. Закс, И. А. Сац, С. Б. Сутоцкий, С. Г. Караганова — члены редколлегии и сотрудники редакции «Нового мира»; В. Б. Александров (Келлер) — критик, литературовед, близкий друг А. Т.

[4] Фурцева Екатерина Алексеевна (1910—1974). В 1954 г. — первый секретарь МГК КПСС.



К «Теркину»

1. Пламенный оратор (одна из «странностей» на пути Теркина, обозревающего того света комбинат).

2. Большинство и меньшинство («День мой вечности дороже»)

3. Вроде трудодня (В горевом колхозе... («условность»)

4. Баня (без воды). — Духу — много, пару нет

Духу — много, пару нет,
Воды ни капли.

5. Больше, отчетливее проявить распространенность «того света» во времени — до наших дней.

6. В концовке:

— Нет, не все на этом свете
Так же, как на том...

**7.V.**

Был вчера у Фурцевой в МГК: «Этого изменить никто, кроме вас, не может. Измените — первичная организация вправе потребовать объяснений, почему, что, как. Оставьте как было. Докажите документально, поезжайте в Смоленск, могу позвонить в обком, чтобы расследовали без паники».

Вчера приуныл, сегодня решил съездить на выходной в Смоленск, авось зацеплюсь за что-нибудь документальное. Овечкин — телеграмма.[1]

---

**8. V.**

Уже очень колеблюсь — ехать ли мне в Смоленск, возвращаться ли к неким свидетельствам «Загорья» спустя четверть века? Дело мое право: я внес изменения в названную графу много лет назад в «Автобиографии», послужившей источником для всех печатных справок обо мне. Если я сделал плохо, — накажите. Но наказать не за что. В одном экземпляре учетной карточки я «сын кулака», в миллионах страниц советской печати — «сын кузнеца». Это остается только закрепить в карточке, это бо́льшая реальность (где был Сурков?), чем карточка, — подобно тому, как я закрепил в прошлом году в Загсе свой брак с М. И.

**17.V.**

Закончил правку «Теркина» после первой машинки.

Наиболее существенные советы и замечания дала Маша:

1) Начать с Того света (как и было раньше и как подумывал сделать сам).

2) Отнести «баню» к «медсанобработке».

3) Начать с другом с табака, а потом про паек и проч.

4) Ритмически неудачные переходы.

5) Концовка, которая — как ни хвалили, все мучила. Теперь, кажется, выровнялась. От попытки дополнительного обращения к читателю (нескромно) отказался:

Так. И кстати ли, некстати ль,
Меж своих обычных дел
— Да...— подумал ты, читатель,
А того я и хотел.

[1] В телеграмме со Смоленщины, где в это время был Овечкин, он предложил А. Т. свою помощь в уяснении вопроса о социальном происхождении. Вскоре от него же пришли обнадеживающие сведения: на месте прояснилось середняцкое положение семьи Твардовских. Однако, когда дошла очередь до официального оформления справки, никто не решился взять на себя эту процедуру. На этом дело заглохло.

Это из заготовленной концовки «Далей»:

И книжку ты, вздохнув, закрыл.
Ну вот, а что я говорил.

«Дали» могут остаться и незавершенной штукой, хоть в последней, сталинской, главе есть обещание. Что-то отошло, что-то необратимо уже, хотя с прерванным путешествием можно было бы сладить:

Не все ль равно, куда я еду
И сколько времени в пути...

В Барвихе набегала (в содержании) глава «Друг детства» (встречный поезд, навстречу друг давней юности (хорошо!) и т. д.).

Теперь набегает строчками:

Не знаю, как бы я любил
Всю эту землю с жизнью разом,
Не знаю, как бы я ценил,
Не знаю, как бы я берег,
Не знаю, как бы мог
Быть счастливым,
Если б не был я обязан
Все, все покинуть в некий срок...[1]

---

Глава может быть, но в ней буду идти еще более к отдельной, данной самостоятельности звучания.

Начало (?)

Что ж наша повесть? Дальше — поезд...

---

Не знаю, как бы я любил...

Живу научно в высшей степени. Почти ежедневно езжу на дачу, занимаюсь садовыми и иными преобразованиями. Все собираюсь записать, как это почти что проклятие последних 7—8 лет жизни — дача — чудесно занимает меня своим подобием работы пером: улучшения, изменения, дополнения, возвращения вспять, наращивание густоты и прореживание, выявляемость того, что уже хорошо, и т.д. и т.п.

---

Намечаю после «Теркина» (в четверг читка на редколлегии с активом) заняться, начиная со вступления, набросанного еще в прошлом году, «Паном».

Буду им заниматься — к этому, между прочим, побуждает и внешняя потребность — еще не закончившаяся история с «кулацким происхождением». В течение лета, помимо прочего («Дали», «Дневник», лирика), буду набрасывать набело вчерне[2] «Пана», ведя дело, покамест, в прямом автобиографическом плане... Потом видно будет — какая мера удаления от автобиографии нужна — вплоть до третьего ли лица, или как.

Странно. Отчетливо представилось, что жизнь моя, крайне бедная значительными личными поступками (незначительных и постыдных сколько угодно), характерная покорным следованием необходимостям, подступавшим извне, — все же главный мой материал, объект размышлений, плацдарм для освоения всего, что вне ее — большой общей жизни страны, народа...

---

До возможной поездки на Смоленщину (если там все уладится с моим «происхождением», а иначе — вряд ли) можно и нужно заняться «Печниками», которых обдумывал вчера, видя развитие этого рассказа в плане

---

[1] Этот набросок — в новой редакции — стал в 1957 г. лирическим стихотворением. (См.: Собрание сочинений А. Т. Твардовского в шести томах, т. 3, с. 97). Последующие ссылки — на это издание (1976—1983).

[2] Так в подлиннике. Очевидно, имеются в виду наброски, которые в дальнейшей работе выполнят роль черновиков.



проблемы творчества, таланта и неталанта и т. п. («Генерал, писавший в юности стихи и не утративший интереса и любви к литературе», «друг детства» Н. Долгалев[1], — год за годом откладывавший писанье — то для заработка, то для обучения наукам, то для приобретения материала и т. п. и теперь в районе 50 лет так-таки и не сделавший ничего, — и другие судьбы и странности).

Преимущества воздержания, которое дается без всякого труда, — налицо: хорошие утра, работоспособность, доброе настроение и безунывность в трудных по существу обстоятельствах («поход» Суркова, «происхождение»). Без труда, но, пожалуй, за эти без малого два месяца не было еще дня, чтоб я не помнил, что воздерживаюсь и какой я хороший.

---

Сегодня редколлегия, должно быть, муторная и трудная: два варианта редакционной статьи — мой и Дементьева.

**19. V.**

Позавчера — редколлегия, большинством отклонившая мой вариант «По поводу...», высказавшаяся за вариант «Навстречу...» Тяжко, скверно.

Вчера — «сближение»: я обрезал так-сяк свой вариант, они свой, слепили нечто под заглавием «К новому подъему...» (куда же еще!).

Вчера — звонок Фадеева: были с Симоновым у Петра Николаевича <Поспелова>[2]. «Убедительно критикует Померанцева[3], приводит цитаты, которые...» и т. д. Словом, он поддакнул («Хоть я не читал, но скажу»), а меня, должно быть, вызовут (конечно, не к Поспелову — к Тарасову, хоть бы не к Иванову[4]). Фадееву на предложение встретиться сказал, что не могу принять условий встречи: черного с белым не говорить, да и нет не покупать[5] и т. п.

[...]

Решаю: продолжать свое, давать статью, никого не обескураживать «сведениями» — и будь что будет. Скорее всего — придется уходить из журнала, — не для меня беда. Жаль только, что такого журнала уже не будет. Возможно, что напишу письмо с давно береженным началом:

Дорогой Георгий Максимилианович![6]

При утверждении меня редактором в 1950 г. Вы сказали, что я смогу всегда обратиться к Вам за помощью (сказал ли он так, или это я придумал, что он так сказал?). Я не злоупотреблял этой возможностью...

**29.V.**

Все эти дни только и радости, что работа на даче — посадки, пересадки, расчистка, вырубка и т. п.

Статья «К новому подъему» — задержана, как и превосходное письмо студентов по поводу статьи Агапова[7].

Тарасов: редколлегия будет вызвана к тов. Поспелову.

Я: Мы очень рады, там мы постараемся доказать нашу правоту.

---

[1] О Коле Долгалеве есть упоминания и в других местах рабочих тетрадей («Литературное наследство», т. 93, М., 1983). Помимо главы «Друг детства» («За далью — даль»), рассказывающей о судьбе Долгалева, ему посвящено лирическое стихотворение «В своей захолустной волости...» (Собр. соч., т. 3, с. 72).

[2] Поспелов Петр Николаевич (1898—1979). В 1954 г. — секретарь ЦК КПСС.

[3] Померанцев Владимир Михайлович (1907—1971), писатель, автор нашумевшей в свое время статьи «Об искренности в литературе» («Новый мир», 1953, № 12), послужившей одним из предлогов для снятия А. Т. с поста редактора.

[4] Тарасов Павел Андреевич, Иванов Василий Иванович — в этот период ответственные работники аппарата ЦК КПСС.

[5] Так в подлиннике.

[6] Маленков Георгий Максимилианович (1902—1988), в это время занимал пост Председателя Совета Министров СССР.

[7] В статье Б. Агапова «Против снобизма в критике» («Литературная газета», 6 апреля 1954 г.) критиковалась статья М. Лифшица «Дневник Мариэтты Шагинян», напечатанная в «Новом мире» (1954, № 2).

Т.: Сомневаюсь...

Потом выяснилось, что вызов будет после празднества 800-летия <Москвы>, и не всей редколлегии, а только коммунистов. Это лучше, иначе были бы совсем связаны руки. (Перо, подаренное «Участнику юбилейной сессии» [1].)

А на другой день после задержания нашей статьи Сурков в «Правде» [2]. Потом — Кочетов [3]. Потом Секретариат с изложением К. Симоновым «указаний», изложением без всяких признаков воодушевления.

А между тем была назначена читка «Теркина», перенесена, вновь назначена и т. д. в атмосфере редакционного испуга и благоразумных советов отложить и т. п. Читка состоялась, была очень хороша. Говорились слова о «подвиге» и т. п. (Чуковский К. И., он же прислал потом письмо), Владыкин и Кузнецов попросили рукопись. Послал на другой день. Ни звука.

Третьего дня прислал Рюриков машину на дачу. «Вы обещали дать поэму на прочтение». Дал. Ни звука.

Письмо Овечкина [4]. Отлегло на душе — вроде и с этой, смоленской, стороны мое «дело в порядке». Из Горкома не слышно. После праздников начинаю сам звонить.

---

К Поспелову:

1) Померанцев — да, есть ошибки, неточности, написано несколько претенциозно и т. п., но в основном правильно отражает настроение читателя (письмо).

2) Лифшиц [5] — статья правильная, а что касается «резкости» тона, то см. Чернышевского «Об искренности в критике».

3) Абрамов [6] — ошибка, потому что только после пленумов дали, нужно было бы раньше, как Овечкина.

4) Щеглов [7] — Протестуем.

**7.VI. Внуково**

В Президиум ЦК КПСС

Товарищам Г. М. Маленкову, В. М. Молотову,
Н. С. Хрущеву, К. Е. Ворошилову, Н. А. Булганину,
Л. М. Кагановичу, А. И. Микояну, М. Г. Первухину,
М. З. Сабурову.

На днях члены редколлегии журнала «Новый мир» — коммунисты — были вызваны тов. П. Н. Поспеловым. Предметом беседы были два вопроса: работа критико-библиографического отдела журнала и рукопись новой поэмы А. Твардовского «Теркин на том свете».

---

[1] Продолжение записей другими чернилами — свидетельство о смене пера — подарка, возмутившего писателя своим низким качеством.

[2] В статье «Под знамеием социалистического реализма (Навстречу Второму Всесоюзиому съезду писателей)» («Правда», 25 мая 1954) А. Сурков подвергает критике «направление» журнала «Новый мир».

[3] В. Кочетов в статье «Какие это времена» с особеиным иажимом спрашивал: «Почему В. Паиова, писательница отиюдь не иачииающая, почему она иаписала роман «Времена года», по духу его, по проблемам и персонажам лежащий вие нашего времени? Почему в ее романе оказались искаженными образы наших современников — советских людей, в особенности образы коммунистов?» («Правда», 27 мая 1954).

[4] Более подробное сообщение о справке, удостоверяющей «соцпроисхождение» Твардовского.

[5] Лифшиц Михаил Александрович (1905—1983), философ, искусствовед, литературный критик. А. Т. питал к нему дружеские чувства. В «Новом мире» был опубликован ряд статей М. Лифшица, в том числе и признанная литературным начальством ошибочной статья «Дневник Мариэтты Шагиияи».

[6] Абрамов Федор Александрович (1920—1983) упомииается здесь как автор статьи «Люди колхозной деревни в послевоеиной прозе» («Новый мир», 1954, № 4), признанной руководством ошибочной.

[7] Щеглов Марк Александрович (1925—1956), критик, автор многих статей о классической и совремеиной русской литературе, опубликоваиных в «Новом мире» Упомииается в общей обойме как автор признаиной ошибочной статьи «"Русский лес" Леонида Леонова» («Новый мир», 1954, № 5).



Поскольку тов. П. Н. Поспелов сказал, что эти вопросы будут окончательно рассмотрены на Президиуме ЦК, считаю необходимым довести до сведения членов Президиума следующее.

1. Статьи и рецензии «Нового мира», занявшие внимание литературной общественности и читателей в последнее полугодие (В. Померанцева — «Об искренности в литературе»; М. Лифшица — о «Дневнике писателя» Мариэтты Шагинян; Ф. Абрамова — о послевоенной прозе, посвященной колхозной тематике; М. Щеглова — о «Русском лесе» Л. Леонова), что я и старался разъяснить у тов. Поспелова, нельзя рассматривать как некую «линию» «Нового мира», притом вредную. Никакой особой «линии» у «Нового мира», кроме стремления работать в духе известных указаний партии по вопросам литературы, нет и быть не может. Указания партии о необходимости развертывания смелой критики наших недостатков, в том числе и недостатков литературы, обязывали и обязывают редакцию, в меру своих сил и понимания, честно и добросовестно выполнять их. Будучи участником последних пленумов ЦК КПСС, произведших на меня огромное впечатление духом и тоном прямой и бесстрашной критики недостатков, нетерпимости к приукрашиванию действительности, я старался направлять работу журнала в этом духе, видел и вижу в этом свою прямую задачу коммуниста-литератора, особенно в период подготовки ко Второму съезду писателей. Спору нет, что на этом пути у меня и у моих товарищей могли быть ошибки и упущения. Нельзя не признать, что, например, статья В. Померанцева объективно принесла, по справедливому выражению тов. Поспелова П. Н., «больше вреда, чем пользы». Хочу лишь сказать со всей убежденностью, что «больше вреда» произошло не от самой статьи, а от шумихи, поднятой вокруг нее в печати и в Союзе писателей, шумихи, сделавшей из самого слова «искренность» некий жупел. Об этом примерно мы, редакторы «Нового мира», и говорили в редакционной статье, снятой из № 6 по распоряжению Отдела литературы ЦК КПСС.

2. Моя новая поэма «Теркин на том свете», я считаю, только в силу некоего предубеждения была охарактеризована т. П. Н. Поспеловым как «пасквиль на советскую действительность», как «вещь клеветническая». Не входя в оценку литературных достоинств и недостатков моей новой вещи, я должен сказать, что решительно не согласен с характеристикой ее идейно-политической сущности, данной тов. П. Н. Поспеловым. Пафос этой работы, построенной на давно задуманном мною сюжете (Теркин попадает на «тот свет» и, как носитель неумирающего, жизненного начала, присущего советскому народу, выбирается оттуда), — в победительном, жизнеутверждающем осмеянии «всяческой мертвечины», уродливостей бюрократизма, формализма, казенщины и рутины, мешающих нам, затрудняющих наше победное продвижение вперед. Этой задачей я был одушевлен в работе над поэмой и надеюсь, что в какой-то мере мне удалось ее выполнить. Избранная мною форма условного сгущения, концентрации черт бюрократизма — совершенно правомерна, и великие сатирики, чьему опыту я не мог не следовать, всегда пользовались средствами преувеличения, даже карикатуры для выявления наиболее характерных черт обличаемого и высмеиваемого предмета. Я с готовностью допускаю, что, может быть, мне не все удалось в поэме, может быть, какие-то ее стороны нуждаются в уточнении, доведении до большей определенности, отчетливости. Допускаю даже, что отдельные строфы и строки звучат неверно и противоречат общему замыслу вещи. Но я глубоко убежден, что, будучи доработана мною с учетом всех возможных замечаний, она бы принесла пользу советскому народу и государству.

Перо мое, самое главное, чем я располагаю в жизни, принадлежит партии, ведущей народ к коммунизму. Партии я обязан всем счастьем моего литературного призвания. Всему, что я могу в меру своих сил, научила меня она. С именем партии я связываю все лучшее, разумное, правдивое и прекрасное, что есть на свете, ради чего стоит жить и трудиться. И я буду и впредь трудиться и поступать так, чтобы не за страх, а за совесть служить делу коммунизма.

3. Тщательно и всесторонне обдумав все, связанное с двухдневной беседой у тов. П. Н. Поспелова по вопросам «Нового мира» и моей поэмы, с полной ответственностью перед Президиумом Центрального Комитета —

могу сказать, что малая продуктивность этой беседы определяется «проработочным» ее характером. Были предъявлены грозные обвинения по поводу действий и поступков, которые, как я ожидал, заслуживали бы поддержки и одобрения, и наши возражения (главным образом, мои) и разъяснения по существу дела — уже звучали всуе. Не согласен немедленно признать себя виновным — значит, ты ведешь себя не по-партийному, значит, будешь наказан. Но чего стоят такие «автоматические» признания ошибок, которые произносятся или из страха быть наказанным, или просто по инерции: обвинен — признавай вину, — есть она или нет ее в действительности.

Менее всего, конечно, мог я ожидать, что такой характер примет рассмотрение важных литературных вопросов в столь высокой инстанции.

Прошу Президиум Центрального Комитета уделить этим вопросам внимание и разрешить их по всей справедливости.

А. Твардовский

Отправлено 10—11—VI.54.

**14.VI. Внуково.**

После письма в Президиум, как отчасти и до этого, нет сил что-нибудь делать, кроме садово-хозяйственных «преобразований», — физической работы, где видишь «ряд», какую-то «необходимость», находишь некое удовлетворение в достижении поставленной задачи. Было собрание, будет мне и проборка за неявку, было все ужасно, Дементьев — и тот подшиблен до крайности.

Полумертвые дубы, съеденные «кузькой», яблони, цветшие слабо, а какие и хорошо, так ничего не будет — медяница, черви, скрученные листья, обвалившиеся соцветия. Удивительное дело: до сей минуты даже в шутку не думал о сравнении этих вещей в природе с тем, что делается в литературе «сурковствующими». Настроение, действительно, сходное: средства радикального не видишь, а так все противно, тошнотно, уныло.

Читал в промежутках меж занятий на воздухе сборник Салтыкова-Щедрина «О литературе и искусстве». Давно отметил, что под воздействием определенного настроения в любой, попавшейся под руку книге находишь сходное, касательное, — в любой, а тут Щедрин. — Нет необходимости от себя формулировать, искать выражения того, что томит и мучит. В удивительной свежести и «всеобщности» звучит многое из того, что сказалось в совсем-совсем иных условиях.

«Когда известные формы жизни... находят себе искусственную поддержку отчасти в недальновидном упорстве одних, отчасти же в бессознательности и малодушии других, то из этого возникает множество недоразумений, которые, незаметно вкрадываясь в существование человека, охватывают его со всех сторон. При помощи привычки эти недоразумения не только не поражают заинтересованные в них стороны, но даже кажутся совершенно естественными и находят горячих поборников, которые охотно прибегают к насильственным средствам, чтобы отсрочить их падение. Творческая сила общества как бы иссякает; не общество становится зиждителем своих внутренних распорядков, но, напротив того, являются распорядки совсем готовые... и втягивают в себя всех без исключения членов общества: и дальновидных и недальновидных, и смелых и робких. В таком положении дела, чем более сознательною жизнью живет человек, тем более горьким делается для него существование. Нет спора, что сознательность сама по себе представляет большое утешение, и наслаждения, доставляемые ею, могут поддерживать и ободрять человека в борьбе с запутанностями жизни, но, с другой стороны, так же сознательность немало подливает и отравы, раскрывая безвыходность положения, доказывая бесплодность борьбы и больнее растравляя и без того наболевшие раны. *Обязанность признания разумности неразумного есть одна из самых мучительнейших; она мучительная не только потому, что возмущает совесть человека, но и потому, что, при помощи продолжительной и беспрерывно повторяющейся практики, налагает на действия человека печать автоматизма.* Встречаясь во всех сферах жизни лишь с бессрочными обязательствами, человек принимает эти обязательства совсем не вследствие сознания их пригодности для его счастья, а только потому, что непринятие их было бы равносильно добровольному самоисключению из жизни. Не так живи, как хочется, или лучше сказать: не так живи, как говорит разум, — вот тиранический припев упорно отстаивающей себя искусственности общественных отношений, и когда наконец сама практика приходит разъяснительницею очевидной нелепости ею же наложенных уз, то она приносит не помощь человеку, а, напротив, горшее подтверждение его бессилия и беспомощности. Два выхода возможны в таком изложении: или примирение и окончательный автоматизм всех действий, или борьба, истощающая силы и преисполненная всевозможных рисков и опасностей, начиная от мелких придирок и покалываний и кончая перспективой жить в обществе на правах зачумленного».



Добавить можно только то, что «недоразумения», происходящие от «форм жизни», враждебных тебе по самому изначальному существу своему, — это еще не так горько, как «недоразумения» от «форм жизни», за которые ты готов положить голову и вне которых не представляешь себя человеком.

**14.VI.**

Вчера мои мастера, пошабашив, при расчете сослались на Троицу — была Троица, нынче Духов день. Так доносятся вдруг до сознания слова, которые как бы давным-давно упразднены в обиходе, но когда-то занимали твое воображение значительную часть года. Переживался не только двухдневный праздник поздней весны — раннего, лучшего лета сам непосредственно, — он, сколько помню себя, был уже и воспоминанием об уже пережитых тобою этих праздниках, тобою или старшим сверстником, и мечтой о предстоящих его повторениях — сладкой как возможность всю жизнь вновь пережить наново, опустив неудачи и ошибки (правда, эта возможность могла быть соблазнительной, могла манить лишь в те годы, когда она-таки была реальной возможностью — предстоящей жизнью).

Ничего культового не содержалось в переживаниях этого праздника: ярмарка, гостинцы, новая рубашка (краски в детстве имели силу почти что запаха, почти ощущения), гости, праздничный обед, доброта и веселость отца, радостное оживление матери, отдых, законный досуг.

**17.VII.**

Глубокоуважаемый
Никита Сергеевич!

Очень прошу Вас принять меня по вопросам, связанным с обсуждением работы журнала «Новый мир» и моей неопубликованной поэмы. Не откажите мне хотя бы в самой короткой беседе, поскольку речь идет не только о моей личной литературной судьбе, но и общих принципиальных делах советской литературы.

А. Твардовский

**5.VIII.**

29 июля был у Н. С. Хрущева — 1 ч. 15 м., в тот же день — партком с отчетом о работе партгруппы «Нового мира».

3.VIII — вызов к П. А. Тарасову, где было зачитано нам с Дементьевым Постановление ЦК о «Новом мире» — постановление, ненужность которого мне объяснял Н. С., как и на Секретариате, где меня [...] не было.

Тарасов: — Нет, то речь шла о постановлении типа «Звезды» и «Ленинграда» — для печати. А это — так, как бы внутреннее.

Остается: партгруппа Правления Союза, Президиум, «пожатие руки» в редакции [1].

[1] Имеется в виду снятие А. Т. с редакторского поста.

Фурцева (2.VIII) — «Да, мы получили материал, но нужно поговорить, я должна посоветоваться. Позвоните через денек?» Вчера ее не было.

«Двенадцать баянистов» (Маршак).

Закрываю эту тетрадь — еще один почти пятилетний этап жизни кончился. Как-то пойдет дальше.

Вчера в постели долго перебирал эпизоды детства, которые могли бы составить повесть о детстве (может быть, это до «Пана Твардовского»).

В плане: отдохнуть со своими и немедленно уехать надолго из Москвы, скорее всего — в Смоленск, — лучше не придумать.

В газетах начинаются вычеркивания из «обоймы» и мелкие, глупые щипки по «Далям». Мелькнуло уже нечто и в письмах.

Кому-то поручить (Маше) составление книги стихов из подражаний, продолжений, посланий и т. п. «Теркину».

**11.VIII.**

Вчера — партгруппа правления. Могло быть гораздо хуже. Меня обличали в недостаточности признания (я дал повод, назвав «Теркина на том свете» «детищем», от которого «родитель» не может так вдруг отказаться, хотя бы и видел, что оно незадачливое), но во всем, во всем было «торможение», предуказанное свыше. Все время была «подстилка»: «большой», «талантливый» и т. д. «Выводов» не было. Не было ни намека на «пережиток».

Сегодня — Президиум, где уже легче, так как не нужно говорить о поэме. Главный мой тезис (пояснение — как и почему такое получилось): отожествление своих добрых намерений с реальным, объективным результатом действий, основанных на этих добрых намерениях. Цепляешься за неловкости и промахи твоих критиков и т. п.

Вина главная — моя. — Решение правильное.

**20.IX.**

Продолжаю записи в тетради, занятой было два года назад рассказом о печниках. Предыдущая тетрадь под конец заполнена копиями моих писем в инстанции с приложением верстки «Теркина на том свете». Трудный мой год: на него падают «серьезные политические ошибки» в журнале, написание и провал поэмы, многомесячная мука с записью в учетной карточке и обменом партбилета. Уже более месяца я не редактор. Правда, машина «по инерции» еще приходила, Пиманкин и Саша возили меня по городу и на дачу, но с 16.IX. я от этого отказался, рассчитавшись с Пиманкиным. Машина подходит к тем же воротам, но уже не за мной, а за Сутоцким. Так и во внешне-бытовой жизни наступила другая полоса. Подводя грустные итоги, можно отметить, что я понес поражение «по всем трем» линиям: ж у р н а л, п о э м а, л и ч н о е д е л о в р а й к о м е. Целый этап жизни окончился решительно и нужно начинать другой, а душевных сил мало, неясность, противоречивость всего еще не улеглась, живу день за днем, сплю (хорошо), ем, езжу по грибы, планирую то то, то другое, но все еще не окончательно, без должной решимости. Грезится работа над «Паном» (кажется, что теперь, после истории с обменом, я уж не могу не написать такую вещь) и лирикой, но все это еще отдаляется в практическом смысле.

Тягостное распутье, нерешительность, слабость — придание преувеличенного значения внешним устройствам быта, усталость — дай бог со всем этим справиться и пойти твердой дорогой, хотя бы она была и трудна, и долга. Очень.

**26.IX.**

Третьего дня похоронили Владимира Борисовича[1]. Это одна из самых тяжелых для меня смертей, может быть, потому, что она долго готовилась, но главным образом потому, что она где-то очень близко прошла, задев за самые больные места. Составили мы с Сацем и Некрасовым некроложе, Дементьев выправил потом для «Литгазеты». Подписать его, конечно, не дали.

[1] Речь идет о В. Б. Александрове (Келлере). Человек образованный, мыслящий и начитанный, он, несомненно, оказал влияние на идейно-литературный кодекс А. Т.



В. Б. Александров (Келлер)

После длительной и тяжелой болезни безвременно ушел от нас Владимир Борисович Александров (Келлер). Оборвалась жизнь талантливого критика, литературоведа и педагога, оставившего ряд значительных и ценных работ по теории литературы, по западной, русской классической и советской литературе.

В. Б. Александров родился в 1889 году в семье ученого. Разносторонняя образованность, достигнутая упорным трудом, серьезные познания в области философии, политической экономии, филологии, теории и истории литературы позволили ему быть на протяжении многих лет сотрудником ряда советских научных коллективов, разрабатывающих проблемы марксистско-ленинского литературоведения. Особый интерес и внимание покойного были сосредоточены на вопросах развития советской литературы. Его книги о творчестве М. Исаковского, сборник «Книги и люди» и статьи в газетах и журналах военных и послевоенных лет высоко оценены литературной общественностью и печатью.

Несмотря на тяжелый недуг, В. Б. Александров до последних дней своей жизни с упорством и страстью работал, писал, уделял большую часть своих сил и времени воспитанию молодых кадров советской литературы, руководил одним из семинаров в Литературном институте им. М. Горького, где он заслуженно пользовался большой любовью и уважением.

Память об этом незаурядном литераторе и ученом, скромном и честном труженике, внимательном и отзывчивом товарище будет долго и долго жить в наших сердцах.

**29.IX.**

До крайности неопределенное и бесперспективное состояние. Все как-то висит, живу одним днем, с утра до вечера, с вечера до утра. В Москве, как в захолустье, — некуда пойти, не с кем поговорить — один несчастный, распинаемый Лифшиц.

Между прочим, после похорон Владимира Борисовича смерть перестает ужасать (по крайней мере, на расстоянии, которое еще мыслимо).

---

**5.X.**

Праздное уныние, непродуктивная болтовня, скука ожидания возможности хоть чем-нибудь заняться, — хоть машину покупать поехать в Горький, а на машине уж можно было бы куда-нибудь ехать, чего-то видеть и т. д.

Третьего, что ли, дня:

С какого года и с какого дня —
И сам того я в точности не знаю, —
Томит, гнетет задолженность меня —
На каждый случай мука запасная.

В долгу у жизни, у людей, у книг —
И тем трудней грядущая уплата,
Что все добро я получил от них,
А своего-то было — кот наплакал.

Порой сдается: все я уплачу,
Внесу с лихвой без лишней проволочки,
А то сдается: нет, не по плечу,
И день за днем уже прошу отсрочки.

И до того подчас невмоготу —
Все меньше сил, невдалеке и старость,

А там и время подводить черту,
А что-чего еще за мной осталось!

Очень плохо.

---

— Ну что?

— Печка,— сказал он, но сказал так, что не понять было, то ли печка, то ли всего лишь печка, то ли действительно печка, так уж печка[1].

---

**8.X.**

В каком бы виде и что бы ни писать о сегодняшней колхозной деревне, нужно начинать с самого начала, взяв как бы под сомнение все дело в целом и дав полную волю печальным наблюдениям, как бы и впрямь подводящим к таким заключениям, и при всем этом с неизбежностью обнаружить заново всю убедительность противоположного, позитивного взгляда, обнаружить и выявить во всей силе. Только так. Тот же, кто начинает с априори данного благополучия вещей и лишь в меру необходимого правдоподобия описания допускающий «трудности», «мелочи» и т. п., тот не способен внушить в полной мере свежести мне, читателю, доверия. Ради такой книги, некоего «дневника», с последовательностью жизненного течения развертывающего эту историю, стоило бы прожить год в колхозе, записать его день за днем. А то ведь все (даже Овечкин) только ныряют в эту неуютную пучину и выскакивают оттуда, наскоро прилаживая наблюденное под заранее данное, обязательное. А там бы уж — либо пан, либо — пропал, по крайней мере, для себя окончательно и бесповоротно решил все до конца. А такое решение необходимо, хотя бы ты занимался потом историческими романами или пьесами из заграничной жизни. Иначе — это было бы все равно, что писать об Отечественной войне в середине ее и не видя, не обнаружив во всем ее том серединном ходе будущей победы.

Прошло четверть века этой «революции сверху», а до сих пор дело не идет само, нуждается в разнообразном «стимулировании» сверху и носит черты даже официально признаваемой «запущенности».

**10.X.**

Вчера — «визит вежливости» Фадеева с Ангелиной Осиповной[2]. [...] Почитал, говорит, металлургам главы — все не так (в смысле технических неточностей). Какая ерунда! Читатель с величайшей охотой прощает все допущения и неточности, если в главном автор берет его «за жебры». Жил на даче обкома, один со стряпухой-уборщицей и милицейским постом, на берегу озера 9 × 7 км, в котором много рыбы и т. п. Не похоже, чтоб ему там работалось. [...] Заговорил о некультурности рабочей молодежи. Я заметил что-то в смысле: подымай выше. Он начал возражать «под стенограмму». Я так и сказал. Он засупонился и пошел с обычным у него в таких случаях стремлением сбить тебя пафосом идейной выдержанности, отграничивающим тебя от партийной точки зрения. Я промолчал. Проводил их до машины. «Звони ко мне, когда надумаешь, через А. О.» Не буду.

Какая противоестественность — затеять эту встречу с намерением не коснуться литературных дел, ничего <о том>, что болит. Больной человек. Совершенно ясно, что мила ему рыбная ловля, охота («художественный рассказ» о подбитом им орле), выпивка на свободе от Москвы, а не штатные расписания ФЗУ и т. п., в которых он путается и хочет представить дело так, что вся недолга в этом. Не напишет он романа — и это грустно, и хотя это с самого начала затеи было очевидно, хотя это ему было говорено, нет злорадного торжества — горько. Человек только не хочет признаться, что он кругом заврался, запутался и особенно подрубил себя попыткой поправить дела наиактуальнейшим романом. Зачем он ко мне приезжал? Зачем он мне, если (на словах, по крайней мере) мы не можем сойтись в важнейших пунктах понимания вещей, если дружбу его, в которой я совсем не нуждаюсь, я мог бы покупать, только подлаживаясь к его «поворотам». Собственно, было это ясно уже в момент информации его о заседании Секретариата.[1]

---

Чем бы не современный сюжет пьесы (рассказ М. Лифшица о человеке, вернувшемся из тюрьмы, где он просидел лет 8 и куда ему жена уже прислала развод по всей форме, а теперь они живут в одной квартире.) Очень емкий. Ан нет!

**17.X.**

Второй день не выхожу из-за гриппа,— прицепился после двух дней работы на даче (пересаживали с Сацем смородину). Перед этим получалось что-то такое:

Ни ночи нету мне, ни дня
С неведомого срока:
Моя задолженность меня
Преследует жестоко.

**10.XI.**

Опять было перед праздником зашел, особенно в связи с поездкой в Загорск («Мы — пионеры, дети монахов») Казакевич[2].

Праздник встретил смутно и тяжело, прошел он в болезни, но уже без применения клина для вышибания клина же.

---

Сегодня как будто началось продолжение «Дали» — с верховья.

---

**15.XI.**

11-го пришла телеграмма,— казалось, одна из последних праздничных, мы и вскрывать подождали. «Александр приезжай Василий умер. Мама». Опять ехать хоронить. Стал собираться, договорился с Луконивым[3] о машине. Вспомнили, что можно позвонить. Рыленков[4] говорит: это не здесь, и это случилось давно, в городе Кургане, в больнице. Подходит к телефону Надя[5] — ничего толком тоже не знает. Еду так или иначе. Мама говорит, что в собесе (?) ей сказали: умер, но чего-то не сказали, словом, все неясно. Наутро отправляюсь с мамой в «собес» — это

---

[1] Абзац относится к незаконченному рассказу Твардовского «Печники» и свидетельствует о продолжающейся работе писателя над ним.

[2] Ангелина Осиповна Степанова — супруга А. А. Фадеева, актриса МХАТа.

[1] Высказывание А. Т. не передает вполне его отиошения к Фадееву, чья трагическая судьба, как и судьба самого А. Т., отразила лик эпохи. В последующих записях, да и в поэзии («За далью — даль») можно найти отметки глубокой боли и памяти, которую сохранил Твардовский о Фадееве до самых последних дней.

[2] Казакевич Эммануил Генрихович (1913—1962), прозаик. Экскурсия в Загорск, насколько помнится, была вызвана интересом к реставрированным здесь церквам и монастырям, а также к духовным учебным заведениям. Именно загорской обстановкой навеяна строка Казакевича, пародирующая пионерскую песню («Мы пионеры — дети рабочих»).

[3] Луконин Михаил Кузьмич (1918—1976), поэт. Для поездки в Смоленск А. Т. воспользовался его личной машиной.

[4] Рыленков Николай Иванович (1909—1969), смоленский поэт, сосед семьи Твардовских по квартире.

[5] Надя — племянница А. Т.

бюро жалоб облисполкома, куда она попала ненароком из гормилиции, куда сперва обратилась. Я прошел один к человеку, с которым мама накануне говорила. Это тов. Михальченков. Оказывается, он звонил в Починковскую раймилицию. Оттуда ему ответили, что у них имеется отношение транспортного прокурора ст. Курган т. Литвяк о том, что такой-то покончил самоубийством. Отношение от 16 июля, послано оно, как видно, по месту рождения на основании паспорта. Шли месяцы, от Василия ни слуху ни духу — но это с ним неудивительно, мало ли что, уехал на целинные земли. Наконец, какой-то мальчик, бывший на каникулах в Загорье или около того, рассказывает, что приходил милиционер, разыскивал родных — чтобы известить о смерти Василия. Тогда мама и кинулась в милицию.

Вся жизнь, весь облик и всякие «художества» этого парня, пятилетним ребенком отправленного с семьей в ссылку, и т. д., балованного и тертого, самоуверенного и слабого, сошедшего с круга со своими женитьбами, скандалами и т. п., как бы готовила к этому известию, а все же это страшно, и тяжко, и не бесследно, как ни мало значил он для меня в жизни. И все же я не могу считать себя не виновным каким-то образом в этом его конце, хотя и вины вроде нет: далеко он был от меня, давно он приобрел свои навыки и ухватки и прибегал ко мне только в известных целях — «подлататься». А может быть, это и не так.

Чтобы не сидеть с глазу на глаз с матерью и единственной этой темой и думой, поехали к Косте[1]. Это было хорошо. Вообще я увидел, что Костя живет хорошей, правильной и полной жизнью, работает, охотится, читает, обладил домишко, сад, огород. Он мне показался намного моложе меня, веселей, доверчивее к жизни. Полон общих интересов, начитан по сельскому хозяйству, думает, наблюдает. И подобно тому, как когда-то, в его приезд ко мне, я не мог не верить его словам об упадке колхозного производства, так теперь не могу не верить словам об очевидном сдвиге. Он мало и не очень охотно говорит о брате: случай тяжелый, но человек — дрянь, спился, скрутился, утратил волю, боясь труда, особенно скис, когда за скандал с женой был уволен в запас... Костя, его жизнь, семья, настроение произвели на меня в этот раз очень серьезное впечатление простого трудового счастья, радости жизни... Но я не кузнец.

**18.XI.**

Два дня был на даче, окапывал с И. Сацем яблони на зиму, — нехорошо как-то было оставить их так: еще один непорядок на душу, перегруженную столькими непорядками.

До поездки в Смоленск набрасывалось что-то такое на листках, какие-то самовариации.

**19.XI.**

Странное со мной делается. Я так постарел душевно, что даже золотой фонд души — воспоминания детства, родной природы, времен года, мечты о «главной книге» — и это все как-то потускнело, перестает быть надежным убежищем от преходящих бед. Но так не может установиться — тогда уж я — не я, и жить неинтересно. Возраст суживает горизонты, это я давно замечал, но за каждым возрастом должны быть какие-то резервы. В сегодняшнем наброске как будто намечается какой-то новый ход, но это опять же — малый мир возрастных оглядок и воздыханий. Не дай бог.

Смоленск. Та самая квартира, — как не бывало этих 10 лет со дня, как я привез туда своих — первую семью, поселившуюся в этом доме. Даже парадная дверь в две створки болтается, как было (одну бы створку закрепить, а другую закрывать и открывать по-человечески) с тех пор, как я там в темноте расшиб лоб.

---

[1] Константин Трифонович Твардовский (р. 1908) — брат А. Т.



Праздные батареи парового отопления, времянка с дымоходом в вентиляционный ход, бездровица ужасная, холод, сырость, скрюченность, отсутствие распорядка в быту, принесут — съедят, иногда что-нибудь сварят, запущенность, неуют. [...]

---

**24.XI.**

Бровка: — Выступи на съезде. Ты должен это сделать. Выступи, признай ошибки и дай перспективу советской поэзии.

— Какие же ошибки?

— Ну, какие там есть.

— Какие же?

— Да все равно какие. Признай.

и т. д.

**26.XI.**

Явилось заглавие: «Последний разговор».[1] Поэма. Это должно быть небольшой, но одного дыхания вещью. Вещью, с которой нельзя торопиться, не уяснив в ней для себя до конца всю сложность темы. Есть опасность предвосхищения в ней вещи «эпохальной». Писать только из интереса, для себя, без непосредственной надежды на опубликование, на существование ее в литературе, но и с перспективой именно такого рода. Смешно и странно, не справившись с этим, надеяться обрести какое-нибудь удовлетворение в чем-то, обходящем эту тему. Но это может дать смысл и одушевление моей нынешней жизни, полной неясностей, недовольства всем и в первую очередь самим собой. Это — задача. Без задачи жить нельзя, и уходить от решения ее — тоже нельзя. Аминь.

М. А.[2] прав, этой темы еще рано касаться.

**30.XI.**

Все это так — наброски, заготовки. Но вот брезжит дело: непритязательнейшая историйка — он, она, студенты-выпускники, ехать — не ехать из Москвы,[3] у нее — папа поговорит с министром, в таком духе. И все как бы только в шутку и на богатейшем фоне Москвы разной. И все в плане «Далей».

**2.XII.**

Вчера (не вышло). Действительно, мне не однажды снился такой сон, полный сладостной грусти при воспоминании о нем.

...Как будто я некончившим студентом
Был на войне — и вот на курс вернулся,
И должен догонять вперед ушедших,
Экзамены за прошлое сдавать...[4]

**4.XII.**

Два дня выбыло из строя. Пустопорожний президиум перед пустопорожним съездом.

---

[1] Темой «Последнего разговора» предполагалась беседа Смерти со Сталиным. Значительно позднее, уже в 60-х годах, она предстала в главе «Так это было» («За далью — даль»).

[2] М. А. Лифшиц.

[3] Тема, ставшая позже содержанием главы «Москва в пути» («За далью — даль»).

[4] К этому наброску А. Т. вернулся в 1966 году и завершил его («Который год мне снится, повторяясь...»), (Собр. соч., т. 3, с. 176). Миниатюра написана чрезвычайно редким у Твардовского белым стихом: позднейшая редакция сохранила изначальный ритмический строй.

Вчера — у Тарасова и Румянцева[1]. «Теркин», передаваемый «Би-би-си» — запись на слух, поэтому не понять, что стиль, что неточность записи. Речь идет о целинных землях, холоде, ночном костре, каких-то гвоздях. Интонации теркинские различимы, но все это очень глухо и «лирично». Я предполагал, что все это побойчее. Что делать? Писать в газету — значит признаться в том, что мы слушаем эти передачи, они нас задевают и т. п.[2]

— Вам нужно выступить на съезде.

— С чем?

— О поэзии, конечно.

— Но когда я буду говорить о ней, то минус уже тот, что из нее исключаюсь я. А потом последние годы, премии и т. д., невозможность правдиво сказать, что дело дрянь. О «Новом мире» мне говорить не хочется.

— Подумайте. (Все интеллигентно взаимно).

**12.XII.**

Три дня московского собрания, дни пустопорожние. Отсутствие Фадеева, с кем я виделся за день до собрания у него на даче. Его ужасное состояние. Реплика Злобина[3] (на утреннем заседании, когда я не был — дочитывал Гудериана[4]). [...] Остракизм Бубеннова[5]. Выборы, провал Грибачева[6], независимое положение других.

Вчера ходил в Союз — сдать замечания по проекту «Устава»[7] (ужасного) и для ознакомления с докладами, в чем расписался в специальной по каждому докладу тетради, полистав доклады, не отходя от кассы.

Самед Вургун, чувствующий, что дело — не полоса: «Помоги». Отбоярился общими фразами: нельзя этак с ходу и т. п. А он: — Негодяи, они (люди, писавшие ему доклад) меня подведут[8].

Вчера же встреча с пустым по-прежнему и глупым, хоть и седым, — с Фиксиным[9].

Вечером дома передали, что звонил Сурков: в понедельник — встреча с членами Президиума — в 2 ч. Что-то будет, будет ли возможность говорить по правде? Кто там будет — важно. Фадеев в больнице. Может быть, сегодня буду у него.

**13.XII.**

К сегодняшней встрече в ЦК

Может быть, ничего этого сказать не удастся, или будет высказано неудачно, не к месту, и не будет услышано, как бы хотелось, но если там

[1] Румянцев Алексей Матвеевич (р. 1905), в 1952—1955 гг. заведующий Отделом ЦК КПСС.

[2] Более конкретно отзывается А. Т. о заграничных подражаниях «Книге про бойца» в своей статье «Как был написан Василий „Теркин"» (см.: Собр. соч., т. 5, с. 140).

[3] Злобин Степан Павлович (1903—1954), прозаик. Бестактно, оскорбительно отозвался на этом собрании об А. А. Фадееве.

[4] Гудериан Хейнц Вильгельм (1888—1954), немецкий генерал, военный теоретик. Книгу Х. Гудериана «Воспоминания солдата» (М., 1954 г.) А. Т., помнится, получил на очень малый срок от кого-то из знакомых журналистов.

[5] Бубеннов Михаил Семенович (1909—1983), писатель.

[6] Грибачев Николай Матвеевич (р. 1910), писатель.

[7] Проект нового Устава Союза советских писателей, подготовленный Редакционной комиссией, в которую входил А. Т., обсуждался на Втором съезде СП, где и был принят. Истинное суждение об этом Уставе А. Т. дает в тезисах к своему выступлению. Попытка его что-то изменить в проекте, дебаты по этому поводу с Л. Леоновым, председателем Редакционной комиссии по Уставу ССП, не имели успеха. Но он как в воду смотрел: бюрократизация работы СП в последующие годы, при Г. М. Маркове, стала нарастать и развиваться.

[8] Самед Вургун (1906—1956), народный поэт Азербайджана. На Втором съезде писателей, открывшемся 15 декабря докладом А. Суркова, С. Вургун выступил с содокладом о советской поэзии.

[9] Фиксин Сергей Андреевич (1907—1978), поэт, известный А. Т. по ранним годам в Смоленске. После войны жил во Фрунзе. Переписывался с А. Т.



выступать (а промолчать, пожалуй, нельзя), то нужно говорить по-крупному, поскольку крупным мне это представляется.

— Литература наша за 20 лет имеет много бесспорных приобретений — не только новых книг, новых имен, но целых новых литератур или родов и жанров литературы, каких не было прежде, или они были в зачатке (проза среднеазиатских писателей).

Этот большой рост, эти бесспорные успехи не могли, как это бывает во всяком деле, не иметь некоторых упущений и недостатков.

Я позволю себе сказать здесь, что главным изъяном в нашем деле является заметное, несмотря на все уверения на словах, снижение требовательности в отношении мастерства, формы, средства выражения.

Годы войны дали разнообразную и большую литературу, но она создавалась в условиях особых, когда особо дорога была ложка к обеду. Это не помешало появиться в те годы выдающимся произведениям, но в целом, можно предположить, создало навыки некоей с к о р о п и с и, пафос количества. Роман за романом, пьеса за пьесой. Шолохов. IV книга «Тихого Дона».[1] И подтверждением этих слов о снижении требовательности является, между прочим, то, что слова — классик, классический — с легкостью стали ходить у нас в отношении сперва покойников, а потом и живых современников.

Тема, материал, вернее название (заглавие) темы стало иметь почти решающее значение. («Свекла!») Мы забыли слова Белинского о том, что прежде, чем говорить об идейной направленности произведения, нужно решить вопрос: да точно ли оно художественное произведение?

Вместе с ростом влияния литературы на нашего читателя, расширением места ее в духовном обиходе людей (здесь показатели небывалые) обозначалось и заметное недовольство, неудовлетворенность ею, критика. (Письма читателей и т. п.)

Как ни важны сами по себе такие акты широкого публичного освоения литературы, как читательские конференции, встречи, обсуждения и т. п., нельзя упускать из виду, что наибольшая сила литературы в ее возможности воздействовать на читателя, оставаясь с ним с глазу на глаз, в интимнейшей беседе с ним. Но часто, вернувшись с читательской конференции, человек берет почитать на ночь Чехова, а великих современников оставляет до следующей конференции.

Практика ежегодных присуждений сталинских премий, может быть, создала такие условия, что наша критика не имела возможности осмысливать явления литературы в свете ее большого исторического развития, в разрезе десятилетий. По крайней мере это делалось очень редко. У нас была как бы только литература года. На этот год, вне исторического контекста, направлялось внимание.

От времени до времени мы делаем признания, подтверждающие это положение о заниженности требований в отношении качества (Панферов, Вирта, Суров, Первенцев). Жаль только, что у нас это делается только в связи с нелитературными обстоятельствами — проштрафится писатель, тогда мы позволяем сказать, что и писал он плохо.

(А надо бы знать, что самый тяжкий проступок свой они творили в трезвом виде, когда писали свои страховидные вещи).

Нельзя не предположить, что и другие из именитых ходят неприкосновенными до поры, а нужно бы это видеть д о т о г о.

Съезд должен во всем объеме выдвинуть эту задачу — повышения требований к искусству. В обстановке общего подъема в стране — забот о хлебе, одежде, жилищах — нельзя литературе не стать более совершенной.

Пафос «борьбы» — и пафос д е л а.

Проект нового устава — документ, свидетельствующий о живучести аппаратно-бюрократического духа в Союзе писателей.

[1] Упоминание в данном контексте имени М. Шолохова и четвертой книги «Тихого Дона» кому-то может показаться уничижением романа. На самом деле А. Т. здесь противопоставляет этот, как он считал, непревзойденный роман литературной продукции последних лет.

«Соц<иалистический> реализм обеспечивает возможностями выбора стилей... для новаторства».[1]

Обязанности членов союза

Автор проекта исходит из предположения, что литература для литератора — тяжкая и нудная повинность. Он обязан, обязан, обязан — быть, стоять, делиться опытом и т. д.

Кто не делает этого по влечению сердца, по призванию, тот просто не писатель и ни к чему его обязывать не надо (Л. Толстой «Об искусстве»).

Права членов союза

Вспомнить: нам даны все права, кроме одного — права плохо писать.

---

Встречать белорусов[2].

**14.XII.**

Конечно, я не обольщался относительно этой встречи, и малой надежды не имел, что тут-то и совершится нечто решающее в нашем деле, но все же испытал чувство вроде утраты какой-то, хоть и слабой, иллюзии, а вместе с тем и облегчения: мы — сами по себе — и слава богу.

За столом президиума сидели люди большого государственного дела и всемирной ответственности, люди эти не знатоки нашего дела, но они и не притворялись таковыми, они были скромны, внимательны, осторожны и сдержанны в репликах. Они ждали конкретных просьб, того, в чем они могли бы тотчас помочь. А тут бросились десятки охотников поораторствовать у них перед глазами 10 минут, напомнить о себе, образованность показать, оправдаться в том, в чем их обвиняют у нас, щегольнуть, нанести кому-то рассчитанный удар или укол. А они сидели и внимательно слушали и, надо думать, при всем этом внимании их не оставляли мысли об огромных жизненных и житейских делах страны — о войне, дипломатических хитросплетениях, о зиме, хлебе, обуви, жилищах, топливе, дорогах, моторостроении, добыче угля и нефти и т. п. И не могли не показаться им ничтожно-мелкими многие выступления наших товарищей.

Жаль Шолохова. Он выступил постыдно. Каким-то отголоском проработок космополитов звучали его напоминания Эренбургу о том, что тот писал в 21 г. и издавал в Риге, что тот принижает русских людей и, наоборот, возвеличивает евреев. Ах, не тебе, не тебе, Михаил Александрович, говорить эти слова. И хриплый задушенный голос, местами глохнувший, срывавшийся совсем, голос, относительно происхождения хрипоты которого не могло быть ни у кого сомнений.

Еще и еще раз, в одно слово с Казакевичем, явилось решение покидать Москву — хоть на длительное время, создать себе такие условия, чтобы вырваться из «орбиты» Союза писателей и всего этого непоправимого и бессмысленного, поедающего дни и годы, которых все меньше.

**16.XII.**

Открытие съезда

Что-то трогательное в присутствии руководителей партии на съезде, пришли: помочь вам иным образом не можем, а так — вот вам и Кремль, и все мы налицо.

Доклад Суркова, исключающий возможность выступления, помимо объявления его полностью несостоятельным, чего сделать нельзя.

[1] Эта цитата является образчиком стиля проекта Устава.

[2] Делегацию белорусских писателей, прибывшую на Второй съезд писателей.



В самом деле, если первый и главный мой тезис о деградации мастерства литературы, о снижении уровня требовательности несовместим с положениями этого доклада и приветствием ЦК, зачитанным Поспеловым, то и второй о чертах бюрократизма и пр. в проекте Устава, как показало мое выступление на пленуме, дал бы огромные возможности для демагогии. Фадеев уже не защитник, сам сидит с мнимой важностью и мнимой непринужденностью в президиуме, где он уже не председатель.

По первому тезису. Когда это началось — с послевоенных вещей вроде Ажаева?[1] С войны? С 37 г. — с первых награждений вроде награждения Лебедева-Кумача? Или еще ранее — сразу после смерти Горького, который так ли сяк помнил о языке, о письме литературы? Может быть, и книга Н. Островского, которой, как говорят, он не признал за литературу, только после него пошла так беспрепятственно? Это все близко к правде, как и то, что эта книга — результат подвижнического труда, будучи всем тем, что она есть, поспособствовала широкому представлению о легкости литературного труда, о доступности пути в литературу для каждого потерявшего трудоспособность.

Да, она необычайно повысила цену личного труда, жизненного подвига, цену героической биографии человека, но можно ли придать ей значение нормы и образца по письму, стилю, языку? Нет, конечно, не по ней учить писать, хотя (что важнее) учить жить можно.

Но обо всем этом не скажешь, не заикнешься, не напоровшись на рогач демагогии.

**27.XII.**

Две недели съезда, который сам себя съел, т. е. изжил, обнаружил свою никчемную громоздкость, которая стала очевидной даже для тех, кто, может быть, ждал от него чего-нибудь.

«Ослабление» во время съезда и выход из него более или менее благополучный. Дворцовый бал, трезвость и усталость.

И вместе со всем тем, что изнуряло душу все эти дни, что обрыдло, как [...] голос Суркова, — освобождение. Ничего этого не страшно, ничего и не нужно, раз нельзя переиначить. Остается делать дело, искать радость в нем только, не тешиться иллюзиями. Впервые с неотступностью подходит решение изменить ход личной жизни, оторваться или хотя бы отрываться от литературной столицы, приучить ее к тому, что тебя нет, ты в отъезде, и набираться живого знания той, не придуманной, а натуральной жизни, какая только и может иметь цену.

Милая моя Валечка выходит замуж. [...]

А мне — еще одна черта, за которой, слава богу, еще видится фон некоей новой полосы в работе, жизни, постижении и выражении.

---

## 1955

**4.I. Москва.**

В 9.05 отправляемся в Ленинград — я, Маша, Оля — уменьшившаяся наша семья.

Не собрался подводить итоги года — они грустные: одна глава «Далей», да и та написана вчерне в декабре 53.

Первый год за много лет, когда у меня задержана и предана анафеме большая, хоть бы по объему, вещь.

Впереди смутно виднеются возможные очертания новых глав «Далей», может быть, очерки современной деревни, но главное в виду — работа над автобиографической штукой.

[1] Ажаев Василий Николаевич (1915—1968), писатель, автор романа «Далеко от Москвы», который А. Т. имеет в виду.

В Ленинград еду для своих — не видели они ни отдыха, ни радости, побыть нужно с ними по-доброму эти дни, а там отъезд и, надо полагать, надолго.

В Ленинград тетрадь брать ни к чему — предвижу утомление туристского времяпрепровождения.

Сегодня написал несколько писем, запаковал бандероли. Опять чудные письма читателей.

## 19.I.

Две недели болит ухо, прихватив по пути глаз (конъюнктивит). Собственно, началось все с пиявок, примененных во время съезда в связи с «ослаблением».

Ленинград, в сущности, не видел, сидел в номере, изредка спускаясь вниз, лечился.

Осталось от Ленинграда одна вечерняя прогулка, когда было хорошо на душе, а центр города, знаменитые здания при мягком снежном вечере воспринимались вширь и вглубь.

Город с какой-то неизгладимой печалью во всем его облике, так, наверно, со всеми городами, что некогда играли бо́льшую роль в жизни страны, где еще слышатся отголоски столицы. Еще, должно быть, годы блокады, от которых в центре только редкие метки на камне от осколков, редкие (одна) достройки коробок.

Литературная жизнь — уныние и жалость. Саша Прокофьев.[1] Наши гостевания. Стыд — ни о какой литературе нет речи при встречах литераторов. Умеренная выпивка, подогретое оживление в вокальных формах.

Соколов-Микитов[2] прелесть. Прочел там почти всю его книгу, говорил о ней с ним по телефону и при встрече. Главного не сказал — что он потерял, уйдя от коллективизации в дальние охотничьи путешествия, в Заполярье, ледовые походы и т. п. Поэтому все меньше в очерках людей (кроме посредственных зарисовок полярников, эпроновцев, изъятых из большой социальной и исторической жизни) против набросков 20-х годов, где и мужики, и земля, и самогонщики, и всякая всячина первых лет революции в деревне. Можно допустить, что этому отходу от жизни способствовали тон и характер складывавшейся уже к этому времени литературы, вранье, обязательность идейности и необязательность достоверности — все то, что все более утверждалось и выросло до нынешних столпов.

Однако это все равно не прощается художнику, оттого он и грустен, сам понимает, что жизнь прошла не на полную мощность. А писать умеет, слово чувствует, много в нем смоленского в языке, фразеологии, пейзаже, типах, жаль даже, что я хорошо не знал его прежде.

В Москве меня ждало его теплое и трогательнейшее письмо по поводу двухтомника, отправленного ему еще здесь в гостиницу — в обмен.

Посетил в один день квартиры-музеи Пушкина и Некрасова. Кроме непреодолимо неприятного чувства, что это не то, что спустя много лет все это примерно, приблизительно обозначено — обычное чувство потери при виде того, о чем много знал заранее, думал, представлял себе так-то и так-то, а оно вот только так. В квартире Некрасова я продолжал мысленно быть где-то в той, 60—70-х гг. квартире, какая у меня всегда была в голове — по книгам, а этой недоставало. Это, конечно, не то, что дома Гете или Толстого, где все ихнее заранее уже было определено как музей и тотчас по смерти накрыто стеклянным колпаком.

---

[1] Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971), поэт, сотрудничал в «Новом мире» до начала 60-х годов. Подписав известное «Письмо одиннадцати» («Огонек», 1969, № 30), Прокофьев как бы отказался от прежних дружественных отношений с А. Т.

[2] Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892—1975), писатель. Состоявшееся в Ленинграде знакомство перешло затем в близкие дружеские отношения, сохранявшиеся до конца дней А. Т., который выделял прозу Соколова-Микитова (особенно до периода коллективизации). В отзыве на его книгу «На теплой земле» (1954) А. Т. отмечает именно различие его письма о старой деревне и о современных событиях.



Болел, почитывал «Письма» Толстого по Академическому изданию, читаю 3-й том, а всего их 29! Какая объемность всего и мелочность, и всечеловечность, и пустяки, и много, много всего. Какое неусыпное бдение над собой, над каждым поступком, движением души, какая непрямота, сложность пути. Пустые слова.

Потихоньку выходя из уныния и мучительной бездеятельности, стал думать, как буду дальше быть.

Надо двигать «Дали». Безумно было бы отказаться от такой свободной формы, уже найденной и уже принятой читателем, формы, где, при несвершении даже целого, в частностях можно много сделать, особенно если стремиться к законченности отдельных кусков, глав в себе.

Главное же, не на голом месте начинать, что всегда для меня очень важно. Эти годы, журнальная работа и те потери, какие я нес от своей слабости, эти годы продолжалось внутреннее осваивание этой формы и всей затеи, даже через многократное отрицание ее, примирение, хоть и натянутое, с мыслью, что, мол, у приличного писателя должны быть и незаконченные вещи.

Для начала перенести в возможной последовательности имеющиеся малые наброски в новую тетрадь и попробовать двигаться.

Параллельно идут мысли о «Пане», иногда вырисовывается особый и независимый тон и лад этой вещи, но все это почему-то со дня на день откладывается, отодвигается.

Нет, конечно, после аборта загробного Теркина надо же мне продлиться в поэзии, тем более что, по счастью, есть то, что было до и что даже по понятиям вурдалаков можно и нужно продолжать. И душа замирает при мысли о том, что не того ждут от меня вурдалаки, что могу и хочу, а того, чего я не хочу и не могу. Впрочем, будем еще верить в победительность подлинной удачи. Мне уже не раз приходила мысль, что аборт с Теркиным произошел отчасти и потому, что это вещь в чем-то, где-то не до конца независимая художественная находка. Я думал, что первый Теркин поможет ей пробиться, могло быть и так, а получилось, что он встал ей помехой — со своим первородством, завоеванным признанием, натуральностью, скрытостью более глубокого под более поверхностным, видимым на первый взгляд и доступным восприятию даже руководящих лиц. Ах, так ли это все?

Замужество Вали. Вот оно и произошло. [...] И она уже другая Валя, которая хоть и университет окончила, и в аспирантуре, а все была еще для меня моя Валя, во взрослость которой еще не вполне верилось. Совсем недавно (и страшно давно!) я гулял с ней на руках в задне-провском смоленском садике, потом у ней был «братчик» Саша (которому нынче, как я сообразил по вывешенным приказам, уже нужно было бы приписываться к призывному участку), потом она сообщала мне на фронт в письме, что вдвоем с подругой работает над «романом из английской жизни» [...]

Отвечал директору Димитровской МТС Балашовской обл.— некоему Сергиенко насчет Теркина:

«Вы правы безусловно, что есть потребность читательская, народная и всяческая в таком (литературном) герое, который бы рожден был нынешней действительностью и обладал бы такими, как Теркин, чертами (известной) привлекательности, (импонировал бы ему, читателю). Это большая, но это особая, отдельная от этого Теркина задача. И этот новый герой будет каким-то уже другим,— иначе и быть не может в искусстве. И кому эта задача окажется по плечу — мне ли, другому ли (кому) — неизвестно. Во всяком случае, это не совсем от меня, от моей воли или от добрых пожеланий извне зависит. Это сложный вопрос. Когда не было Теркина, никому в голову не приходило требовать такого героя от меня, советовать мне заняться именно этим образом героя. Точно так же и сейчас. То, что я пишу, над чем думаю и тружусь, может быть, это вовсе не Теркин, а уже какой-нибудь Егоркин или вовсе что-нибудь непохожее».

И опять возникла мысль, что из Теркина можно было бы еще что-то заварить вроде некоего коллективного, вселенского авторства, на базе хотя бы посланий в стихах, продолжений и подражаний, каких у меня груда

за годы,— вещь, где бы Теркин был и то, и то, и оттуда родом, и отсюда. Конечно, это не может быть всерьез художеством.

Вчера еще мелькнула эта мысль, когда хвалили с Казакевичем заглавие «Шапка по кругу» [1]. «С миру по нитке» — пришло мне к примеру, и, пожалуй, именно такого рода «шапка» (газетная) должна быть к подобному делу.

Но, так или иначе, это только после того, как сильно продвинусь с «Далями» и подъявлюсь читателю.

---

**21.I**

Два года минуло — и вновь я
Дорогой той в работу взят.
Начнем для ясности с верховья,
Вернемся несколько назад...

Это — вчерашнее. А сегодня что-то наклевывается:

Неисчислимый, древний, неоглядный,
Живущий и векам несущий жизнь,
Мир, откажись от этой тьмы нещадной,
От этой ночи дикой откажись.

Она твой день (уже) незримо притемнила
Тяжелой тенью на душу легла.

Уже не те твои в цветеньи вёсны,
И небо не такое над тобой,
И небо настороженное —

---

Она тебя — ест, сушит, как недуг.

**22.I.**

Нет, об атомной только вскользь, мимоходом и *с высоты жизни.*

Мыслимо было бы некое высказывание Теркина, но в идеале это опять же с высоты жизни. Тут не может быть места хотя бы и лукавому простодушию, потому что и у Теркина есть. Бог знает, что тут должно быть.

Легко и привычно, в конце концов, людям думать о неизбежности личной смерти, хотя и тут довольно простора для толстовских и иных метаний, отчаяния и т. п., но что это в сравнении с мыслью о возможной и близкой смерти человечества, по крайней мере, значительной его части! О гибели того, что тысячелетиями лепилось, собиралось по кирпичику, по буковке и представляет собою поистине (хоть и со стороны, извне откуда-нибудь посмотреть) богатейшее и драгоценнейшее хозяйство, скрепляющее возросшую на нем же идею единства человека и человечества, идею, которая избавляет от отчаяния личной смерти.

И эта угроза не где-то на дальних пребудущих этапах веков, а вот она — на мыслимом отрезке, может быть, десятилетия, на середине, на второй половине жизни моего поколения.

Как и приступиться к этому, но что-то подсказывает, что вернее всего перед угрозой смерти петь жизнь во всей ее неумирающей силе, во всей притягательности. «Война и мир» — большее препятствие этому мраку, чем последняя повесть Г. Фаста [2].

---

[1] «Шапка по кругу» — сборник рассказов австралийского писателя Генри Лоусона (1867—1922); книга вышла у нас в 1954 г., другие его сочинения издавались и переиздавались в последующие годы.

[2] Фаст Говард (р. 1914), американский писатель.



**31.I.**

Ухо, глаз, нос — вот уж месяц лечусь, отлыниваю от работы. Пленум [1] — неделя. Сегодня окончание в 2 ч. Опять — впечатление дельности, практичности, разумности во всем конкретно. Нехватка одного — того «ключа», которым бы завести это, и все бы пошло без постоянного, неусыпного понукания, контроля и т. п.

Встреча с П. И. Дорониным [2], разговорились — умен, знающ, форсист, незауряден.

Главное мое звено — некая повесть о людях, идущих на работу в деревние, о деревне и городе, о счастье жизни, о «возвращении веры» (Дарья).

В Верховный Совет меня, очевидно, уже не выдвинули. Так, постепенно превращусь я в дикого «охотника».

«Охотник» Д. Олдриджа [3] — хорошо, душевно и ново (развенчание «бродяжничества»).

**1.II.**

Вчера пришел с *последнего заседания*, содержавшего *новую неожиданность*, принятую в обычном порядке. Все так, но жаль, что и в свое время всем казалось, что не этому лицу [4] эта должность, но все подавляли в себе это, искали оправдания в том-то и том-то, привыкали к «значительности» его профиля и т. п. И опять не то лицо, которое, по всенародному представлению и ожиданию, должно было еще тогда заступить. Тайна сия велика есть, а может быть, и не велика.

Тяжкое впечатление, как в полчаса увял этот человек, исчезла вся значительность, был просто толстый человек на трибуне под устремленными на него указательными пальцами протянутых рук президиума, запинающийся, повторяющийся, «темнящий», растерянный, чуть ли не жалкий. Странно, что у него не хватило ума в свое время отойти в сторонку чуть-чуть, быть вторым, неужели так хотелось быть первым? Руби дерево по себе. Жалка и безнадежна его дальнейшая судьба. Это-то он понимал.

Пришел, пообедал с коньяком (из остатков встречи с Дорониным), почувствовал готовность лечь, лечь и проспать часов 18. Почти так и вышло, с перерывом на чай.

**14.II.**

Еще две недели жизни зряшной, муторной, доводящей до края самоунижения, апатии, нежелания жить. Только на 50% можно это отнести за счет уха-носа-горла, действительно до сих пор не прошедших полностью, а 50, конечно, за счет выжидательной бездеятельности, нерешительности в планах и предположениях. До того, что уж боязно записывать сегодня сложившееся решение, чтоб не так стыдно было завтра опровергать его.

Может быть, есть и объективные обстоятельства, давящие на меня и мнимо, и действительно, но не мне же для самого себя выискивать их, опираться на них. Жить для меня значит — сочинять, «копать», продвигаться так ли, сяк ли дальше, оставляя какой-то кое-как хотя бы взрытый след. Но как только все это перебазируется в голову, в ночные горькие думы, в дневные пустопорожние разговоры под стопку или так, тут наступает беда бедущая.

Относит и относит тебя куда-то в мерзость бездеятельного мысле-и-словоблудия, в «бродяжество», за которым только конец — и конец постыдный, мучительный, разрушающий тебя еще заранее своей неизбежностью, своим ужасом.

Нет, что ни делать, так делать, но предпринимать что-то, хотя бы

---

[1] Пленум ЦК КПСС.

[2] Доронин П. И.— первый секретарь Смоленского обкома.

[3] Джеймс Олдридж — английский писатель (р. 1918). Роман «Охотник» (1950) был переведен у нас в 1954 г.

[4] Имеется в виду Маленков Г. М.

и не тотчас выводящее на свет. Ехать в Смоленск — ехать; нехорошо, не по силам еще — не ехать. Тогда ехать в Комарово (Карельский перешеек), писать «Пана», читать, гулять, зная, что каждый день время отмеренное. Немеренным временем жить мне нельзя. Может быть, не Комарово — как бы там не простудиться, может быть, лучше к югу податься, отдохнуть, пописать, сколько возможно «П а н а» и л и «Д а л и». Вернуться, поздоровев основательно, покопаться на даче посадочный период и потом в большую дорогу на восток — до океана и вверх до Чукотки.

Конечно, я в трудном своем периоде, он и внешне, и внутренне труден и затянулся, может быть, более прежних и труднее, потому что не те годы, не молод, но нужно поступать достойно, терпеливо, без упований на ближайший перелом. Главное, приучить себя ковырять ниву что ни день. Это не может увести от большой тревоги, а может быть, наоборот, положит ее постепенно в русло каждодневных деятельных усилий.

Сегодня уже почти совсем здоров. Дней пять совсем не выходил из дому, читал, спал, думал. Даже втянулся в этот госпиталь. А за стеной — декада Бровки и Глебки и пр.

Пожалуй, впервые, отчасти под влиянием чтения (письма Толстого, Миклухи, сейчас роман Причард, впервые знакомит меня с австралийской жизнью[1], тот же Олдридж и много разного) толкнуло меня нечто всерьез: хватит.

**15.II.**

Как немного надо, чтобы опять появилось и хотенье, и рвенье. — Чуть начал — думается — пойдет. А пока идет — не зевай, Фомка.

---

Причард — первая книга — золотоискательские «походы» девяностых годов, юго-запад Австралии, безводье, безлесье, «лихорадка» — все прелесть почти до конца, с образом «австралийской лошадки» — Салли в центре. Вот же пыль, грязь, бесприютность, гофрированное железо, красная пыль, мухи, мерзость первопоселений, а — поэзия. Первый признак поэзии, что читателю хочется туда.

Ни один черт не додумается у нас намахать роман из жизни «целинников» с таким бытом, скарбом, муками и радостями молодых новоселов, обживающих эти места, со стандартными домиками и без них, банями и без них, колодцами, киношками, почтой, первыми свадьбами и похоронами, младенцами, пьянством и убийствами и всем святым.

Даже мне захотелось махнуть туда по теплым дням машиной с товарищем типа Баканова[2], побыть, пожить с кочевками в степи, со столовками и пр., поглядеть, позаписать и трахнуть чего-нибудь.

**18.II.**

Сегодня пообещал Кригеру[3] взамен «отклика» на борьбу за мир дать из «Далей», имея в виду развитие этого наброска. Авось!

---

К «Пану» записать автобиографически точно по памяти: 1) Хутор пустоши Столпово; 2) Поставщик двора е.и.в.[4].

---

[1] Помнится, что впервые А. Т. познакомился с прозой Катарины Причард по роману «Девяностые годы» и был восхищен реалистичностью письма и зримостью колорита страны, жизни ее туземцев и пришлых.

[2] Баканов Николай Александрович, полковник, сослуживец А. Т. по редакции «Красноармейской правды», потом сотрудник газеты «Известия». А. Т. совершал с ним грибные походы по Подмосковью в первые послевоенные годы.

[3] Кригер Евгений Генрихович (1906—1983), журналист, сотрудник редакции «Известий».

[4] Поставщик двора его императорского величества. Запись фиксирует эпизод из биографии Т. Г. Твардовского, взявшего подряд на поставку сена военному ведомству.



Стихи из записной книжки (Цикл 2). Вспомнить, подсобрать.

**20.II.**

Переносил из тетрадки на листы и связывал набросанное. С точки зрения напечатания почти готово. С точки зрения вещи — скольцшек.

---

Вчера набросалось для «Записной книжки».

У новоселов в Казахстане
Среди степного ковыля
Лежит в раскрытом чемодане
Наследник, соской шевеля.

К стене привязанная крышка,
Никелированный замок.
Лежит, сопит себе парнишка,
Катая глазки в потолок.

Честь-честью все — опрятно, строго,
Постель, простынка на груди.
Что ж, чемодан! — Мальцу дорога
Еще какая впереди.

Неотчетливо, сыро, и потом «Казахстан» тут ни при чем. Это мой Саша спал так в чемодане у нас на Могильцевской.

---

[...]

**15.III. «Истра»**

Плохо, разрывно, громкословно в важнейших местах. В окне полумрак — лес, с утра шел снег, сейчас от ветра порхают с ветвей пушистые комья. Неужели такая разница между прежней моей силой, хоть бы как в Малеевке, и теперешним унынием. Приезд — незадача, вернуться невозможно, придумал оплатить вторую путевку (из-за комнаты чуть побольше). Места кругом хороши. Соседи по столу — Вирта[1], Родам[2].

Лучше не придумать для человека, искавшего убежища от «литературной среды».

**16.III. «Истра»**

Лег вчера рано, сморила тоска, ночью проснулся, закурил раз и другой, почитал, повертелся на короткой неуютной постели, решил было окончательно сегодня бежать отсюда с машиной, что привезет мне деньги на вторую путевку (за комнату). Отложил все же решить на утро. Прошелся по новой дороге вправо от деревни Степаново (?), позавтракал, позвонил в Москву. — надо жить. «Корой» решил, что вся эта моя неуживчивость и переменчивость не что иное, как мои несчастные нервы. И клин — клином: удерживает здесь не что иное, а боязнь осложнений, объяснений и Лидии Дмитриевны[3]. Конечно, нехорошо, что я буду жить на две путевки, но ведь это пустяки, ведь не денег же мне жалко, а опять же боязнь «мнений» — пустяки все. Сегодня привезли мне ботинки, деньги, бритвенные ножи. Выдержать здесь, несмотря ни на что — вроде всяких этих опасений и соображений, — это уже будет хоть малой победой. Я знаю, что

---

[1] Вирта Николай Евгеньевич (1906—1976), писатель.

[2] Родам Амирэджиби — жена поэта Михаила Светлова.

[3] Морозова Лидия Дмитриевна — лечащий врач А. Т. из поликлиники четвертого управления Минздрава.

делать тогда дальше,— Смоленск и т. п. А сорвешься отсюда без поры — еще хуже будет.

---

Вчера, пересиливая себя, переписал главку «Огни Сибири», к вечеру стал допускать мысль, что так-таки и не поднять мне продолжения «Далей». Пусть, но нужно набросать то, что вертелось, начиналось в голове. Конечно, хитрость, что вдруг и пойдет.

Допускал не раз уж мысль, что в стихах я уже весь вышел, повторяюсь, что с этим нужно помириться, как с возрастом, выпадением волос и зубов, тем более, что остается еще надежда на прозу.— Но все это не так легко. И прозу хвать-похвать не возьмешь, ведь она у меня больше была «в уме», а не на деле, и сил неизбежна убыль, поскольку увидишь, что стихи уходят (а это, может быть, действительно так и есть — почему, например, я совершенно почти не читаю поэзии, хотя всего иного читаю порядочно).

---

**17.III. «Истра»**

Я нахожусь в доме отдыха, должен отдыхать, и отдыхать есть от чего. От водки (тут она есть, но я отдыхаю), от плохих и хороших людей, от своих близких, которым нужно отдохнуть от меня, от звонков, от опасений, от Лидии Дмитриевны с ее медициной, от больших затей при малом времени — от моих «Далей», которые, чувствую, нахрапом мне не подвинуть,— без нового запаса впечатлений и мыслей. Отдыхать. Сегодня уже спал без перерыва с 11 до 6 — при открытой форточке нормально — только зуб немного застудил. «Пана» мне здесь тоже не начать. Мне нужно, соблюдая себя, писать понемножку, что придет, отдохнуть от напряженности одного размера, который то и дело грозит обернуться повторением ранее найденных ходов и оборотов, полазать с ветки на ветку, попробовать того-другого, поиграть. Пусть это все будет «узколичное», даже возрастное, субъективное, пусть это будет только человеческое. Может быть, вообще невредно обратиться к устойчивым и простым вещам, как погода, природа, вода, еда,— ведь без этого не живут люди ни в какие эпохи. Но это, может быть, уже хитрость, умысел, пусть будет так, как уже складывается мой здешний день (по типу барвихинских): ранний подъем, прогулка, завтрак, тетрадь, обед, шахматы, прогулка, чай, чтение, ужин или кино, прогулка перед сном. Неплохо бы доказать в этот месяц всей медицине, что никаких иных средств у нас нет, я все могу сам. И этого было бы достаточно. Я здесь четвертый день — и уже заметно здоровею, успокаиваюсь.

**18.III.**

Встал слишком рано, до шести, глотнул чаю, покурил, почитал «Египетское восстание», дай подремлю еще — и едва вскочил около восьми. Голова уже не та, кроме того спал с закрытой форточкой, опасаясь застудить зуб. Погулял, позавтракал — сперва своей колбасой с печеньем, потом выпил стакан чаю в столовой — хлеб с маслом, другого ничего не захотелось, сейчас приходил директор — тоскливое объяснение: «спрашивайте другое», «не беспокойтесь, пожалуйста». Уныло.

---

Это как видение, как совесть всюду, где думаешь насладиться отдыхом, природой,— девки, долбящие землю, промерзшую на метр, или делающие иную неженскую трудную работу, а ты идешь, прогуливаешь свои 80 килограммов. Здесь долбят траншею — канализация от стандартных дач для работников министерства. Рабочие сняты, говорят, со строительства санатория, приезжал замминистра: «К 15 апреля чтоб были дачи готовы». Вчера незнакомые мне люди говорили: «Хамство. Неужели в летнее время нельзя обойтись надворным нужником». А сегодня я подумал, что эти дачи — еще одна лишняя привязка к Москве. Где это видано — такая забота о живом руководящем человеке. А эти дома нужны-пренужны где-нибудь на целине, да и в любом месте. Девушки вырабатывают 10—15 р.[1] в день, питание скверное. А когда я пошутил сегодня, проходя: подождали бы до весны — легче было бы копать, одна, очень милая, с грустной твердостью ответила: — Надо сделать.



Сколько такого, что не принято замечать.

---

— Девушки, грунт уж такой каменистый,
Лезешь в траншею, как будто в забой,
Бьешься, хоть матушку-репку запой,
Что-то уж больно их много, министров.
Теплые нужники строим зимой.

---

**19.III.**

Просмотрел тетрадку: есть пять-шесть мутных набросков к «Далям» — что войдет, что не войдет. Их нужно «погонять» с листа на лист. Какой набросок разовьется хорошо, какой не разовьется, скруглить для рассыпной лирики.

1) Не знаю, как бы я любил
2) Два года минуло — и вновь я
3) Последний разговор
4) Нет, жизнь меня не обделила
5) Москва (к главе «Встречный»)
6) Ты вечной мглой грозишься людям.

Наброски рассыпной лирики:

1) С какого года и с какого дня.
Беспамятство преследует меня.
2) Экзамен есть, а молодости нет.
3) А что ж ты наделала,
Черемуха белая.
4) У новоселов
5) Все грома ждать —

И еще что-нибудь.

Всегда был таким и гордился, что не могу ничего написать не для печати, а так, «для себя», про запас, «для потомства». И это было счастливейшее время беззаветной, все покрывающей веры. А теперь иное, в данном, по крайней мере, случае: считаю, что нельзя не писать «для себя» (правда, это свидетельство и большой веры в себя), «для потомства», про запас, иначе от многого пришлось бы отказаться и ограничить себя до крайности, самоубийственно. У Симонова[2] или Софронова[3] нет «для себя», потому что и «себя»-то там нету, а есть бог его знает что. Вернее даже, «себя» там есть, но не дай бог его обнаружить.

Словом, я должен все у себя подскрести и подмести, и если это не даст разгона, то уж и делать выводы.

Сегодня подумалось, что надо бы доделать «Печников» здесь, тоже в порядке подскребания.

---

[1] В старом денежном исчислении.

[2] Наследие писателя и журналиста К. Симонова представляет значительную историческую ценность. Это понимал А. Т., собиравшийся печатать его военные записки. Литературные и личные отношения А. Т. с К. М. Симоновым в разные годы были различными. К концу 60-х годов они приобрели вполне дружественный, доверительный характер (см. воспоминания К. Симонова о Твардовском в сб. «Воспоминания об А. Твардовском». М., 1978).

[3] Софронов А. В. (р. 1911), поэт.

Для памяти:
Записные книжки («россыпь») можно начать с «Послевоенной зимы».
Еще там есть что-то весеннее, еще что-то об антоновке (заглянуть в предыдущую тетрадь).
Гулять почти негде, сегодня пёр лесом по санному следку, допер до дров и назад.

**20.III.**

Вчера и сегодня.

С какого года и с какого дня
Беда моя преследует меня?

Многословно, надо лаконичнее, и это может получиться, если не будет жалостной исповеди пьяницы, а время — жизнь, очерк эпохи — не для оправдания личного пьянства, а для нее самой.
Дальше должна быть — война и послевоенное пьянство, возраст — все с точки зрения «трезвости, быть может, запоздалой». И не в осуждение пьянству — это все равно, что осуждать жизнь за то, что она старит человека. Т. е. ни атома клиничности.
Встал в семь, гулял два часа, немного устал, вялоеат сегодня и жду своих в гости. [...]

---

Здесь — неделя. Прочел «Восстание 1919 года в Египте» А. ар-Рафии, «В шелковой паутине» А. Упита, «Об эстетике» Лефевра (из дому).

---

[...]

**21.III.**

Утром, встав вовремя и погуляв, как сегодня, — белый чистый новый с ночи снег, просека, светло-зеленые сосенки на темно-зеленом фоне ельника, — позавтракав и закурив лучшую сигарету суток, я испытываю отраднейшее состояние, вроде легкого и бодрого хмеля — без стремления продолжать пьянство и предчувствия беды-расплаты. Я просто счастлив некоторое время. Потом накуриваюсь, огорчаюсь тем, что что-то не то идет, тяжелею, и мне уже трудно даже записать как следует то особое состояние бодрости и подъема, сосредоточенности и ясности.
Идет снег — мартовский, пухлый, мокроватый, дымный.

---

[...] [1]

**22.III.**

[...]. Как трудно, как мало подвигаюсь, хотя как будто и не ленюсь и не отвлекаюсь.
Как знакома эта тревога и тоска, когда уже считаешь дни, что ушли, не принеся видимых результатов. Но нужно, как задумал, продолжать гонять строчки со страницы на страницу.

**23.III.**

Несколько, может быть, мельчат капели и пр., так что опустил строфу насчет «подтаявших дровец», хотя она хороша.
И явно не хватает чего-то исторического, мужицкого, советского. Переход от кружки самогона к дальнейшему, пожалуй, недостаточен. А в целом что-то получилось. То ли для «Далей», то ли так, и то ничего.

---

[1] А. Т. записал набросок стихотворения на «алкогольную тему», раскрытую как тему болезни общества, болезни социальной. Работа над стихотворением не была доведена до конца.



Снег сел, лес обмыт оттепелью, шумит, просыхает. Ходил по «инфарктштрассе» (тропинка до выхода из лесу к пойме Истры) в Дмитриевское, где церковь 17 века, действующая, обнесенная металлической трубчатой сварной оградкой, там за оградкой сарай из горбылей с каменным углем, где копалась сторожиха или что-то в этом роде. Большая колокольня — явная поздняя пристройка, а старая церквушка с милой своей колоколенкой и крыльцами боковин — прелесть. Обветренная краснота кирпича и белизна извести, овальность и фигурность старинной кладки. Село, которому, может быть, 300—400—500 лет, внизу Истра, по ней уже паводок, мостик, пожалуй, военных времен вроде плавучего, берег, простор, Россия. И почему-то все это грустное, как будто что-то утратившее, как будто пришедшее в упадок и как будто жизнь здесь не полной меры, какая была когда-то. Странно, но часто это впечатление является в старинных селах, маленьких старинных городках. Очень все посодвинулось с места и никак еще не установится по-настоящему.

**24.III.**

Первое легкоморозное весеннее утро, прогулка к Дмитриевскому, петухи на селе, церквушка на крутом берегу Истры, сосняк по отвесному обрыву, тишь, легкая чистая свежесть и бодрость, снежная пойма реки в дымке по горизонту, простор, тихая радость, хоть молиться там впору.

Прочел С. Льюнса «Кингсблад — потомок королей» — замысел острый, но много явных натянутостей ради него, — пенкоснимательство. Письмо развязное (может, перевод?), болтливое, фельетонное.
Читал Блока, мало. Много красивого пустословия, изящной по выражению, красивой муки и боли, которым потому и не веришь. Правду сказал тот профессор: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете черт знает что творится». Дальше он, должно быть, лучше.
Читаю брошюру о Морозове-лесоводе, чью книгу не дочитал во Внукове, так она там и лежит, кажется, на столике у тахты. Брошюра скучная.
Прочел «Потерянную родину» В. Лациса. В замысле что-то есть, но все это немного отдает «Тарзаном», с одной стороны, а с другой, тот же Тарзан уже знает чуть ли не «Империализм» Ленина. Писатель он, в общем, слабый. И если это из ранних его газетных романов, то еще ничего, но зачем пришивать конец, доводить повествование до событий 2-й мировой войны и борьбы за мир. Если же роман теперешнего изготовления, то — хуже.

**25.III.**

Неплохо, но лучше бы этому быть в тех еще «Главах».[1] А так — ясно, что я не оторвался еще от того тона, лада и склада, который уже воспринят и после которого уже естественно ожидается еще и еще что-то новое. Может быть, это и не выйдет.

«Мне доставляет величайшую радость сознание того, что я стою на плечах предшественников и что в то же время я, по-видимому, сумел в некоторых отношениях продвинуть дело вперед».
Г. Ф. Морозов, лесовод. (По книге И. Г. Бейлина).

**26.III.**

Что-то не идет сегодня. Проснулся в 4 ч., курил и пр., читал Стерна, заснул около 6, проснулся в 7, гулял, заходил в церковь, погода опять млявая, мокрая.

---

[1] Замечание относится к наброску «Нет, жизнь меня не обделила», который теперь является частью главы «С самим собой» («За далью — даль»).

Хорошо, что день горячей воды, принять душ, поваляться с книжкой до обеда.

### 27.III.

Встал в 6, не стал досыпать, пошел гулять, был опять снег липучий, густой. Клонит в сон. После обеда встречать Машу — воскресенье. О «Далях» (возможно, в связи с чтением Стерна) думается не совсем безнадежно. Где еще найти такие возможности разнообразнейшей беседы, цепляний и задеваний того-сего! Посмотрим, что будет после Смоленска.

### 28.III.

Как будто еще маленько что-то стронулось и завязывается. Все время тверди себе, что целое складывается «по кирпичику» (Т. Манн), что только неустанная готовность за все труды и усилия увидеть малую пядь продвижения — только она может привести и к «слою», где пойдет веселей. — Наброски оживают, тянутся один к другому, правда, все это еще то, что должно быть при чем-то, при каком-то конкретном изложении. Правда, на всех этих набросках еще очень очевидна печать прежнего, как бы вариации на том же месте, но это буду вытравлять всячески. Но уже не могу не чувствовать, что, разойдись опять эта штука, она будет вести себя дальше и дальше.

### 29.III.

Встал в полшестого, досыпать не удалось.

Надо писать главу о встрече с товарищем юности, другом детства, писавшим стихи, мечтавшим вместе со мной о Москве и т. д.

Я его узнаю, но сначала пугаюсь, ведь он был, как я знал, репрессирован.

Примерно твк в тридцать седьмом. Мы разговариваем, а потом я додумываю и довспоминаю все в вагоне. Это — д е л о.

---

Следующая глава смоленская, деревенская.

---

Перехожу в новую тетрадь. 29.III.55. «Истра», дом отдыха.

### 30.III.

— Из-за стихов? — Ну да. Правда, еще я был агентом трех держав — и ножнк перочинный в столе по глупости держал. — В этом роде [1].

Если бы эту главу хоть бы развернуть в ход за оставшуюся у меня неделю здешнего пребывания. Сидеть дольше не хочу здесь — нужно в Смоленск.

Вчера и сегодня осваивал новые «круги» на прогулках — все по лесу, по довольно пробитым дорогам. Сегодня было легко, морозно, славно. В шахматы играю, в общем, скверно.

Прочел внимательно «Возмездие» Блока. Нет, это не очень, это та же его лирика с добавлением некоторой, уже увядшей публицистичности. В стихе много допусков и даже кокетства архаизмами и т. п.

---

[1] Предполагавшиеся реплики к главе «Друг детства», объяснявшие причины ареста друга лирического героя.



### 31.III.

Вгрызаюсь, но еще нет нужной серьезной ноты, кроме, может быть, зубов.[1]

Зашел директор: не нужно ли чего, я стал зачем-то его занимать, отвлекся.

### 2.IV.

Вчера как-то самн собой пришлн начальные слова «Пана» или автобиографии.

Д е д мой, Гордей Васильевич, служил старую двадцатипятилетнюю солдатскую службу в Варшаве, в крепостной артиллерии, в звании бомбардира-наводчнка. Помню его черный с красной окантовкой мундир, в который он обряжался, отправляясь пешком за 50 верст в город за своей немалой по тем временам пенсией — 3 руб. в месяц. Позже я узнал, что такая пенсия была ему не просто за безупречную службу, а еще и за ранение, или, вернее сказать, увечье, полученное, правда, не в бою, а на каких-то ученнях, когда колесом пушки ему повредило правую ногу.

Умер он глубоким стариком, ста четырех лет от роду, — так по крайней мере всегда говорил отец, Трифон Гордеевич, хотя нельзя не принять во внимание того, что он обычно любил прихвастнуть, чем бы то ни было выделиться, превзойти всех.

С м е р т ь д е д а произошла буквально на моих глазах, я помню ее до подробностей, хотя было мне тогда не больше четырех лет. Я с печки смотрел на его большую седую голову, лежавшую на подушке в его запечном углу (передний от дверей «пол» у печи) и крупную руку, в которой плохо держалась свечка, — ее все время поправляли. Помню, что меня все это занимало и глубоко подавляло и устрашало. Понятне об ужасном и неизбежном для всех людей, а значит, и для меня конце просто наполняло меня всего, когда я, отрываясь от той картины, припадал к разостланной на большом «полу» или каком-то полке над ним, вровень с печкой, овчинной шубе и думал, думал: что же это такое, как все это ужасно. (Первые попавшиеся слова.) При мне деда и обмывали двое наших соседей, усадив его голого на скамье перед печкой, где на загнетке стоял чугун с водой, и обряжали в его черный мундир, причесывали, ласково и уважительно пошучивая: вот так, вот так будет ему (красиво). Почему я должен был это все видеть? Мать, боявшаяся смерти и покойников, впечатлнтельная до крайности и во всех таких делах совершенно беспомощная женщина, сбилась, должно быть, с ног, или просто некуда было меня (нас) девать: хутор, зима (осень?). Отца дома не было — он был в «поставщиках двора его величества» и был, запутавшись в этом деле, рад смерти деда, выручавшей его из беды (какая-то неустойка, которую, не будь этого семейного несчастья, он должен был платить).

---

Гуляю дважды в день, но не меньше 4 часов в общем. Новые маршруты — Бузлатово, военный городок («проверка документов»), Николо-Урюпнно, Петрово-Дальнее.

---

### 4.IV.

Вчера и сегодня сидел над главой и подвигался помалости, но не захотел сегодня заносить еще в тетрадь, чтобы не было механической перепиской. Завтра совсвежа. А послезавтра, кажется, мне уже уезжать. Остается подбираться, хоть и можно было бы тут еще побыть, не хочется. Отбыл свое, отдохнул, вгрызся в работу так, что уже ночами приходят соображения насчет дополнений и изменений в том, что уже напечатано

---

[1] Комментируется работа над тою же главой. В частности, отмечена найденная характерная деталь для облика друга: «Зубов казенных блеск унылый».

(«Урал» и «Сталин»)[1], и всякое иное, обгоняющее обычно реальный ход дела.

---

**5.IV.**

Идет, подвигается, лепится понемногу. Хоть, конечно, это такая глава, что, может быть, не просто начнешь и кончишь, а и отложишь не раз, но без нее мне уже нельзя. Завтра последнее утро здесь.

**6.IV.**

Краткие итоги здешнего пребывания:

Я уверился и убедился, что у меня есть «хомут» — большая и единственная покамест работа — мои «Дали», которые требуют всех моих сил сейчас. И безумием было бы отказаться от этой формы, дающей такой простор и необязательность речи. [...]

Я по-барвихински поздоровел, держа тот же порядок: ранний подъем, прогулки, разумное чередование работы и отдыха, чтения, шахмат, иногда кино.

Я могу быть немножко довольным собой за этот срок.

Собрание сочинений в 5 томах
(Примерный план)

Том 1. Страна Муравия. Сельская хроника, юношеские стихотворения. Дневник председателя колхоза, очерки. (Проза — в Приложении, как бы автокомментарий.)

Том 2. Фронтовая хроника. Родина и чужбина.

Том 3. «Василий Теркин» с «Ответом».

Том 4. Дом у дороги. Послевоенные стихи и очерки. (?)

Том 5. За далью — даль. Автобиография.

Из А. Блока

«Кажется, никогда еще не приходилось писателям попадать в такое ложное положение, как теперь».

«Последнее и единственное верное оправдание для писателя — голос публики, неподкупное мнение читателя...

...не все ли равно, что говорит обо мне такой-то, когда я не знаю и никогда не узнаю, что думают обо мне «все»?»

«А ведь эта народная санкция, это безмолвное оправдание, может поведать только одно: «Ты много ошибался, ты много падал, но я слышу, что ты идешь в меру своих сил, что ты бескорыстен и, значит, можешь стать больше себя».

«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, — является чувство пути».

«Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, — так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты подземного роста души».

«...главное затруднение... (метания и т. п.[2]) писатель испытывает, главным образом, в необходимые и неизбежные периоды остановок в пути, прислушиваний, ощупыванья почвы и искания соков, чтобы напоить ими клубни для дальнейшего развития и роста».

---

[1] Имеются в виду главы из «Далей»: «Две кузницы» («Урал») и «сталинская глава», над которой А. Т. продолжил работу.

[2] В скобках — слова А. Т.



«Только наличностью пути определяется внутренний «такт» писателя, его ритм. Всего опаснее — утрата этого ритма. Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушивание как бы к отдаленной музыке есть непременное условие писательского бытия. Только слыша музыку отдаленного «оркестра» (который и есть «мировой оркестр» души народной), можно позволить себе легкую «игру».

«Раз ритм налицо, значит, творчество художника есть отзвук целого оркестра, то есть, отзвук души народной. Вопрос только в степени удаленности от нее или близости к ней».

«Знание своего ритма — для художника самый надежный щит от всякой хулы и похвалы. — У современных художников... надежда на благословение души народной робка только потому, что они бесконечно удалены от нее. Но те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра» (1909).[1]

Все это я, конечно, знал, но сказано хорошо.

Прочел А. Блока (с письмами), Стерна (буду сейчас заканчивать), две вещицы Новикова-Прибоя «По-темному» и «Подводники» (перечел). Мало.

**9.IV. Москва.**

Четвертый день здесь. Союз — взносы и Поликарпов[2] — поимка меня на ходу разными деятелями. Собрание по поводу создания Московской организации. Тот же Сурков. Ощущение омерзения, оскорбления, усталости, почти отчаяния от всех речей и всей муры, где так-сяк, а, по Суркову, оказывается, вся «скверна» восходит к 4-м статьям «Нового мира». Стоило мне ходить за этим, сидеть там 6 часов? Но не пойти нельзя — день и ночь на примете, помянули и пропуск предыдущего собрания.

Читал свои наброски Маше. Она была очень обрадована количеством и качеством. Это и меня ободряет — не зря терпел «Истру», Вирту и Родам и прочее. И мы оба заговорили с тревогой: как быть, чтоб не удлинять перерыв в работе, куда скрыться.

В Смоленск до черной тропы уже не поеду — нет смысла, и нужно, нужно довести главу до полного вида, а потом уже легче будет доделать другую — «Огни Сибири» — и видеть дальнейшее.

Писал письма, разгружал стол. [...]

**16.IV. Суханово.**

Комнатка тесновата, но вполне пригодна, с балконом — обрыв к речке, мест вообще еще не смотрел, — только что приехал и расположился, читал 29 т. Горького — письма.

Настроение, надеюсь, наладится, но этих двух-трех дней, что выпали в Москве, конечно, жаль.

**17.IV.** В Москве попробовал двигать «Друга», но, кажется, сильно затормозился, кое-что нужно на после встречи в пути, а то необходимой лаконичности не будет.

Нет, нет, надо не так, а ближе к прежнему, но и немного иначе. С утра — пойду с начала.

«Нет, жизнь меня не обделила». Это нужно к «Огням Сибири». А «Избыток лет бесповоротных» к «Другу детства»?

**17.IV.**

Отработалось почти набело 5 страниц главы «Друг детства».

Кажется, идет. После — «вот, собственно, и повесть» — нужно:

---

[1] Выписки сделаны А. Т. из «заметок современника» А. Блока «Душа писателя», 1909 г.

[2] Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905—1965), с 1955 г.— заведующий Отделом ЦК КПСС.

1) Я не бросил все, не сел с ним и т. п. — он в этом не так нуждался, чем в том, чего я (меньшего, может быть) не мог.

2) Он как будто кинулся за мной с отчаянием сказать то, что более всего важно было ему сказать мне, преодолевая всю наивность этих слов в дружбе:

— я не стал врагом народа,—
Я только — в списке том...

3) Воспоминания юности, воли слов и мечтаний

— в кузнице отцовской.

4) Может быть, его жене несколько строк — она не виновата, что не дождалась.

5) Нас это время обучило молчать и пр.

6) «А зачем?»

Ведь не затем командировку давали мне, чтоб я включал (подобное) в свой творческий отчет.

Уже выясняются контуры обеих глав — «Друга» и «Огней Сибири». Там вступлением может быть — «Нет, жизнь меня не обделила».

Там нужно место о том, что от любви к Родине и всему доброму меня не отучить, если даже долго бить (и методично) и обвинять, в чем я не грешен, и за ошибки бить втройне, — не отучить от той любви, не оттолкнуть.

И нет на свете большей веры,
Что сердцу может быть дана.

---

После этих двух глав — будет смоленская деревенская глава и, может быть, «Москва», а там можно ехать до Владивостока, наконец. И уже делать, что бог даст. Сибирь будет «уравновешивать» «Друга», а «Москва» — «Смоленщину». «Вра, вра!»

---

Осваиваюсь. Комната хороша. Душ хорош. «Табльдот» немного натянутый за круглым столом в бывшей усыпальнице князей Волконских. Гулял утром с час — идти почти некуда, где утречком пройдешь — днем уже нет, где сегодня — завтра нет. Парк. Люди, архитекторы: «старичок-желчевичок» Борис Яковлевич [1], царевич Алексей [2], Барто [3], Т. Хренников [4]. «Моя дочь замужем».

## 18.IV.

В карандаше набросал строк 50, которые могут быть и концовкой главы (как всегда, немного неожиданно), будет ли это: ты слышишь, друг? — все слышу, брат. — Или что другое в самом конце. Таким образом, вместе с серединой, полуперебеленной вчера на листах, и вступлением, что пододвигается сюда из прежних набросков «Избыток лет бесповоротных», это уже как будто образуется глава.

Только додержать, только не уронить ее тон и лад. А то сегодня уже стал и под слезу работать, и сам первый потек, а на поверку, пожалуй, еще там не то, уже понесло к «идейно-выдержанной» прочувствованности, — чуть ли не благодарность судьбе за все «радости» эти.

Уберечься от злоупотребления, переигрывания словом «даль». Завтра начну приводить в порядок концовку, потом начну слаживать все подряд.

Вчера вечером и сегодня утром гулял в районе бывшей тюрьмы, занимавшей, по-видимому, бывший монастырь — стены, внутренние помеще-

---

[1] Улинич Борис Яковлевич, архитектор.
[2] «Царевич Алексей» — прозвище, имя не выяснено.
[3] Барто Агния Львовна (1906—1981), детская писательница.
[4] Хренников Тихон Николаевич (р. 1913), композитор.



ния, бескрестовые набалдашники церквей, проволока на железных стояках по стенам и по крышам наружных строений, что в линию со стенами, угóльные будки с прожекторными фонарями и узкими, во всю высоту стен прорезями окон. А вокруг — дома, довольно много, старые и однотипные двухэтажные, в окнах цветы, занавесочки — жизнь «обслуживающего персонала». Очень не понравилась мне одна там четырехугольная труба в глубине подворья — черт ее знает, — что за дым оттуда вылетал. Все это как будто и под стать моей текущей главе, но тяжело, хотя, говорят, там теперь какой-то архив. Ведет туда хорошее асфальтированное шоссе, по бокам унылые старообразные и оббитые ветром редкие сосенки. Бог с ним, со всем этим делом!

## 19.IV.

Бегло перебелил концовку, приложил вступление (подойдет ли?).

Сегодня эту чернь прочту Маше, когда приедет. Утром ходил в Расторгуево — вправо от бывшей тюрьмы — поселок (сосны обглоданные, нужники косые и т. п.) и станция (близость Москвы, утренний шалманный люд). Дочитываю Горького.

## 20.IV.

Пожалуй, дальше сегодня не идти — уже трудно. Диалог встречи, кажется, получается.

Вчера вечером и сегодня утром обновлял сапоги, привезенные Машей, — дерьмо, — 119 р. — голенища из какого-то дерматина, линяют, но все ж вольней, чем в полуботинках с галошами. Академик Исаак Абрамович Ковнарский (?), — статья в БСЭ «Кислород».

Еда на сцене — мука, — так расположены столы в круглом бывшем мавзолее князей, что каждый как бы на сцене жрет свою простоквашу и должен здороваться и разговаривать со всем залом — амфитеатром.

Всю ночь за окном шумела вода.

Вдали у мостов подрывают лед. Веселая, нужная шла война. Весна — даже на снегу: скорлупа крашенок — пасха.

## 22.IV.

Черновизна:

— Мы одного с тобою года
И курс прошли одних наук.
Ты знал, какой я враг народа,
Поскольку я твой первый друг.

— Да, ты мне близок был и кровен —
И если где искать вины,
То я не менее виновен
Перед любым судом страны.

— Ты знал, ты был со мной в ответе,
Но как же мог ты жить на свете,
Скажи-ка, друг? — Я трудно жил.

Я и теперь тоски вчерашней
Не ворошил бы без нужды.
— Скажи, что просто было страшно —
— Нет, кабы так, то — полбеды...

Нет, я того не в силах разом
Облечь в обычные слова —
Еще тому страшится разум,
Как говорится, — дать права.

и т. д. и т. п. «прение живота со смертью», а в заключение — то, что уже

набросано было для концовки, хотя оно еще не выше концовки старого «братнего» стихотворения[1] «на каком беломорском канале?» (Это мне сегодня пришло, что собственно, тема этой главы у меня идет из далекой юности — это примета добрая, хотя все равно — иду по льду, который трещит во всю ширину реки).

Может быть, никогда еще я не был так — лицом к лицу с самой личной и неличной темой, темой моего поколения, вопросом совести и смысла жизни. Во всем ином что-то оставалось «для внутреннего потребления», а тут уж нет. Но это отнюдь не гарантия, что это должно получиться хорошо. Такие задачи редко решаются в лоб.

---

Письма Горького — великий воистину, но тяжелый, малообаятельный, деланный и нудноватый человек.

---

Серебров[2] — паршивец, пытающийся выдумки выдать за подлинные свидетельства по неспособности выдумать так, чтоб уже подлинность мемуарная была ни при чем.

---

**23.IV.**

День памяти Ленина, конечно, можно отнести ко дню рождения, но нужно было, чтобы этот день постепенно перевесил траурную память — ведь там уже — давность, традиция, память той морозной Москвы и всей страны, гудков, костров — все. Народ тогда и полюбил, и увидел Ленина вполне, как потерял его, а до того его имя еще было в ряду с другими именами (для масс народа) и даже рядом с именем, сугубо преданным забвению. — Как часто это у нас, к сожалению: не за суть, а за форму, за заглавие, за название держимся. То же и с «Пантеоном», который как будто канул в забвение среди насущных дел. Лишить Красную площадь мавзолея и кладбища-стены и городить нечто на какой-то «классический» образец!

**24.IV.**

Никаких «прений», все это вчерашний день и непродуктивно, а, главное, может быть взято окольным образом, через общее настроение. Сегодня отработалось так (концовка, может быть, еще все же не то).[3]

Завтра буду выносить все на листы, а там поглядим, как будет со вступлением.

**26.IV.**

Вчера перебелял «Друга». 10 стр. Еще сыровато. Наотдаль теперь видны лишние строфы, недостаточность в некоторых переходах, например, от воспоминаний «ночи предосенней» к пафосу «чести возвращенной» и т. п.

Обязательно выкинуть две строфы отступления «Да, я люблю тебя душевно», плохо и вразрез с серьезным настроением начала, может быть, вместо них — одну описательную.

---

[1] Стихотворение «Братья» (1933). Собр. соч., т. 1, с. 68.

[2] Серебров (А. Н. Тихонов) (1880—1956), писатель, принимал участие во многих издательских начинаниях А. М. Горького («Всемирная литература», «История фабрик и заводов» и др.). А. Т. отзывается о его книге «Время и люди. Воспоминания 1898—1905».

[3] А. Т. решает отказаться от диалога с «другом детства», оставляя в главе лишь обмен краткими репликами.



После этой главы приняться сразу за «Огни» трудно, как после войны за мирный труд. После той резкости и боли тут будет некоторая обычность и даже обязательность пафоса. Предвидится некая вставка-отступление: «Ничем меня не отучить» (любить родину и т. п.).

Гулял мало и вяло, вчера лег поздно, вчера вообще уже день был не такой, когда пробиваешь лыжню. После завтрака сегодня буду смотреть и дополнять начало «Далей» по старой беловой тетради, чтобы туда же занести «Друга детства», когда будет готов.

Здесь опять же, как и в иных местах и встречах, есть люди, читавшие «Теркина в аду» (?) — название обычно искажается: в раю, в аду, на небе. Я давно это знаю, и мне малоинтересно, даже неприятно, что вещь ходит в списках. При этом — умные и добрые люди недоумевают: почему это нельзя было опубликовать? А глупые и поганые разочарованы: только и всего? Какая ерунда, кому это нужно! Только, чтоб у меня была в биографии «неопубликованная», распространявшаяся в списках вещь?..

**26.IV.**

А с концовкой нужно повозиться сосвежа, все старое почти не годится, кроме двух последних строф.

Ходил в Расторгуево звонить из автомата насчет Выходцева[1] (вчера был), обратно шел полями, раскисшей пашней, лужайками, где размокший дерн не держит, вышел к строившейся плотине у сада, промывал сапоги.

**28.IV.**

Завтра — отсюда уезжаю. Вчера уже, закончив перебелку «Огней», с 12 пошел в «общество» в парк, гулял, проиграл 5 партий в шахматы, к вечеру взял поллитра, банку консервов, пригласил партнера, архитектора г. Кемерово Лаврентия Ивановича, а тут Дементьев с бутылкой вина, я позвал еще одного архитектора, Бориса Яковлевича Улинича («Старичок-желчевичок»), и давай им троим читать. Кажется, хорошо. Сегодня в полшестого залетела ласточка, выпроводил и спать не стал, гулял, банился, позавтракал, взял книжку С. В. Обручева и заснул с ней, едва одолев предисловие. Хотел было перебелять еще раз в тетрадь «Друга», да есть повод уклониться — авось, на новом месте будет продуктивнее ее переписать.

Думаю о деревенской главе, о подборке стихов, отдельных от «Дали», о всяких планах поездки в Смоленск и т. д.

**24.VI. Внуково.**

Выезжаем с Олей в Смоленск в 7 ч. утра. Позади — печальная нынешняя весна, начиная с 1 мая, но уже позади давно. В тетрадке главы, которые как-то за это время «почерновели», особенно «Друг детства». Но впереди что-то же есть, посмотрим, разберемся. «Друг» — во второй половине очевиднейшим образом затянут и разжижен, надо кончать все на станции, — до тех пор только и есть напряжение.

**5.VII. Внуково.**

В субботу приехал с Дорониными из Смоленска. Если не считать некоторых семейных оттенков и того, как совсем не мог найти бывшей загорьевской усадьбы, многое меня порадовало и подняло дух в этой части: сельское большое строительство, самочувствие народа, виды на урожай (кроме кукурузы), которой всходов прежде не видел и не могу сам судить.

---

[1] Выходцев Петр Созонтович (р. 1923), литературовед.

Записи, может быть, разверну из блокнота после пленума[1], который начался вчера.

Фадеев — печальнейшее впечатление — и не столько его полнневрнт, который он охотно и подробно характеризует, сколько объяснения по позоду романа: основной мотив сюжета, видите ли, «погорел». Там, мол, у него был конфликт нового со старым и враждебным, ан, оказалось, что новое это в действительности несостоятельно, а старое реабилитировано. Боже мой, да это ли не конфликт, характернейшнй для времени. Нет, ему нужно, чтоб он совпадал с последними решениями.— Всего этого нужно было ждать, отсюда и полиневрит.

**7.VII. Виуково.**

Три дня — доклад и прения по промышленности. Все смело, правдиво, даже с перехопом — в отношении отставания от США, недоиспользования наших социалистических возможностей, неумелости, некультурности, излишеств централизации и фантастической бессмыслицы встречных перевозок и т. п.

Но все кажется, что частности все верны, а общего ключа ко всему вроде как нет. То-то мы, обнаружив, исправнм, повернем, а глядишь — в другом месте потечет.

Можно ли говорить о социалистической стихнйности? Думается, можно, только она менее изучена, чем иная.

Какой бы из него был могучий крнтикан этой стихийностн, не будь он во главе дела? Живописен, умен, форсист, груб, но смотрнт в корень и хочет добра.

---

Фадеев [...] то и дело задремывает на заседанин. (Правда, я хороший, и то борюсь с какими-то, порой пугающнми приступами оцепенения или чего-то в этом роде — 3 ч. без перерыва, речь за речью — материал универсальнейший и т. д.) Мне знакомо его состояние — я переживал такое в мае, но не ходил на люди. В машине: — А вот на 20 съезде нас с тобой уже не изберут, и будет нам полегче (пнть?). Это он в первый раз так о себе, о такой возможности. О себе я давно это знаю, с поспеловских «собеседований».

**15.VII.**

Дни пленума, разнообразное фактическое и ндейное содержание его работ, общая усталость от напряжения, перегруженность впечатлениями и размышлениямн — все это несколько отслонило впечатления поездкн на Смоленщину, которые при всей их беглости значительны и радостны,— действнтельно что-то подвинулось с места и сулит доброе завтра этих многострадальных мест.

И страшно трудно сделать во всех отношениях доброе дело — написать об этом для «Правды» (просил Сатюков[2]), отделить все радостное от грустного, черты новой строящейся деревни от тягостных картин запустения, задичания, отказаться от своего личного чувства, в котором и радость, но и боль, и на место всей этой сложности выставить одни снлосные башни, скотники, виды на урожай.

Кто больше меня мог бы увидеть здесь и нового и старого, если я здесь родился и вырос, застав еще кусочек старого дореволюционного мира, пройдя самый запечатлевающий срок жизни — детство, мальчишество, ранняя юность в годы Советской власти — и расставшись с этими (родным домом) местами в канун коллективизацин. Многослойность перемен даже

[1] Пленум ЦК КПСС (4—12 июля 1955 г.) «О задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу и улучшению организации производства». Доклад на Пленуме сделал Н. С. Хрущев.

[2] Сатюков Павел Алексеевич (р. 1911) — журналист, с 1953 по 1956 г.— зам. главного редактора «Правды», с 1956 по 1964 г.— редактор «Правды».



внешнего облика мест: широкое деревенское строительство на старый манер, но при вольном барском лесе в начале 20-х годов. Хуторизация, всякие выселки этих лет. В 30-е годы — общественные постройки из старых, перетряхнутых дворов и амбаров. «Расхуторизация» конца 30-х гг., проводившаяся, кажется, успешно по той причине, что она не опнралась на укрупнение колхозов — просто сселялись с хуторских усадеб на поселки, чтоб сподручнее управлять колхозом.

Война — сожженне и разгром множества сел и деревень,— от иных теперь только названия, известные редким коренным жителям.

Послевоенные годы — бабья стройка, переселение из землянок в коекакие избушки. Нынче — уже эти постройкн успели обветшать и облохматиться, не говоря о скотных дворах первых лет колхозной жизни — они (Рудня[1]) идут на слом (которые пережили войну).

И вот среди этой соломенной и всякой ветоши последнего, послевоенного слоя новые, иного типа постройки, действительно изменяющие пейзаж,— краснокирпичные, а если деревянные, то на каменном фундаменте и столбах скотные дворы, амбары, снлосные башни и полубашни.

---

Кукуруза на Смоленщине.— Об этом нельзя.

Петровский мост — место гулянья целого округа — ни кустика, нн знака и деревень тех нет вокруг.

---

И соответственно этим перестройкам — шла утечка людей из деревни — коллективизация, расхуторнзация, послевоенное разорение, «запущенность».

Первые признаки иного порядка и 200 заявлений по Починковскому району о возвращенин в колхоз.

**15.VIII.**

Так и не знаю еще — нужно ли что-то после строки «И сорок первым, и иным» в смысле величия эпохи и удовлетворення души — от лукавого или действнтельно что-то нужно.

---

Неделю назад, [...] обрадовавшись письмецу Ив. Сергеевича[2], приехал сюда с Дементьевым, протормозил дня два и выяснилось, что могу здесь приютнться в доме отдыха. И вот уже третий день здесь. Благо — вода,— московское море, купанье утром и перед обедом, Иван Сергеевич, прогулки, неудобства (терпимые) — радио над ухом на столбе днем и запах говна вечером, который при свежести как-то особенно явствен. 700 с лишком человек испражняются в нужниках и вне оных — в папоротниках и елочках берега.

**16.VIII. Карачарово.**

Тронул «Друга детства» и — боже мой — как эта глава мне показалась плоха, и только стыд, что такое сырье читал столько раз людям [...] — и, может быть, все-то и дело в этакой некоторой «запретности» темы. Но все же стал ее выносить на лнсты. И она стала разваливаться: я пытаюсь вторую ее часть — воспоминательную — вынести наперед, чтобы дальше провести все в более энергическом темпе бывшей первой части, но что еще из этого получится — неизвестно, стихи условны и, может быть, до встречи вся эта лирика воспоминаний затягивается. Но и так, как все есть, в сухановском виде оставить не могу — плохо.

[1] Один из районных центров Смоленщины.

[2] И. С. Соколов-Микитов.

Это все еще не работа — еще тянет смотреть окрестности, то-се, Иван Сергеевич — милейший и умный старик, который хочет меня как бы развлечь. Вчера ездили на «Топорок» — оттуда на веслах — моторчик не завелся. Чудное поистине место — обрывистый мысок над водой, откуда видно так широко и много, что день бы деньской сидел так и глядел бы. Тот самый «Топорок», с которым связана трагическая история археолога Юлии Густавовны Гендуне, похороненной напротив на противоположном берегу — близ быв. Сучковской церкви, фундамент которой, по рассказам, пошел на постройку Калининского речного вокзала (плитняк). Здесь я гуляю, всякий раз глубоко впечатляясь следом ушедшей отсюда, отодвинутой и частью скрытой водой жизни — садовые кусты и деревья, кирпичная щебенка, обмываемая водой у берега, могилы большого кладбища — все под зарослью, где рябинка и акация, березки и бузина.

Сегодня смотрел, как тянули большую сеть метров в 300 — две лодки — рыбы мало, одна <рыбина> крупная — жерех кило на 2.

**19.VIII.**

Преодолевая, особенно под конец, чувство отвращения к черновизне и несовершенству, неотчетливости и т. п., перенес на листы всю главу, чтоб лучше видеть, что с ней делать (еще не знаю).

Все заволочено дымом, едва виден тот берег моря — горят леса за Волгой — близко. В лесу и здесь — сушь, мох крошится в пыль под ногой. Поджег вчера на дорожке какие-то бумаги — зеленая трава так суха, что того и гляди пойдет подряд.

Жду Ольгу, придумываю, чем бы ее здесь потешить, что показать, [...]. Милый мой карапет, самый дорогой мне человек на свете.

---

А может быть, отдохнуть от ямбов, от «далей», заняться чем-либо в другом ключе? Может быть, напишу еще одну «Поездку в Загорье». Боже мой, за что ни возьмись, нужно напряжение лжи и натяжек. А уже не могу, не хочу — хоть что хочешь.

**20.VIII.**

Кажется, нащупывается что-то в «Друге» без «ночи предосенней»[1], которая что-то начинает и не дает полного слияния с предыдущим. Может быть, она выпадет, и тогда заключение главы прямее, определеннее.

Все нужное из тех строф встанет в ряд, кажется. Важно сказать о том, из-за чего вся речь:

Что я внешней мудростью (чьей-то) был избавлен от сердца горестных хлопот. Так, должно быть, нужно, там видней, дела не нашего ума. И подумай я иначе, я сам уже как бы против всего доброго на свете. Как бы это выразить — это главное: замок на мысли, «грех» — избавление от необходимости думать, иметь свое человеческое мнение и суждение. Кому-то там видней (больше, чем мне, другу, знающему человека, как самого себя). Отказ себе в каком-либо значении своей принадлежности тому, общему, к чему апеллирую.

Опять дым, гарь, горит, говорят, торф. С утра слышалось что-то вроде бомбежки в той стороне. Потом вроде настоящего грома — в другой. Небо заволочено, может быть, дымом, а не облаками. У меня — Оля, мне это очень приятно, но чем бы ее занять, чтоб ей было хорошо. Покамест, кроме купанья, ничего не могу ей предложить.

---

[1] Под заголовком «На сеновале» этот фрагмент главы был напечатан в «Новом мире» (1969, № 1). В окончательной редакции и с новым заголовком («Перед отлетом») он стал частью последней поэмы Твардовского — «По праву памяти».



**21.VIII.**

Позавчера прошел-таки дождь, посвежело, хотя под влажной коркой песка — белый, сухой.

Что-то рассыпается мой «друг», нельзя этак — «ночь предосенняя», то и спереди как-то не совсем так стоит. Еще нужно короче и ближе к делу.

**23.VIII. Карачарово.**

Сегодня уедут гости (Маша и Оля). Брусника.

**26.VIII. Карачарово.**

Прожил здесь две недели, уже ясно, что ничего почти не сделал — обстановка радиофицированного городка отдыха, встречи с милейшим Иваном Сергеевичем, выпивочки, приезд Оли и Маши, а, главное, я взялся за ту же главу, в которой так-таки и не могу еще дойти до какой-то полной отчетливости, нечем ее кончать. Ну, отсидел, выпустили, жизнь «поломата» — и что? Или: отсидел, выпустили, все прекрасно, послужим родине, настроение бодрое. Может быть, нельзя было эту тему вгонять в самостоятельную главу, а подразбросить ее там-сям. Нет, можно и нужно, и пружинка в ней есть — эпизод путешествия, но еще и сейчас, при значительных сокращениях и некоторых исправлениях и добавках, — масло еще не сбилось (сравнение Маршака), — еще та масса, что уже не сметана, но еще и не масло орешками.

Настроение, однако, неплохое, может быть, главное дело в купанье, в отдыхе. Сплю прекрасно, чувствую себя поздоровевшим, руки набрались силы — охота что-то ими потаскать, поделать. Нет той расслабленности и отвращения ко всякому усилию, что были в Москве и во Внукове.

Вчера день повернул явно на осень, так вдруг погрустнело в парке, где сторож подметал дорожки, так как-то зашумело в верхушках, так все пригорюнилось, как в конце праздника. Сегодня купался, пожалуй, один я из всех 700 человек отдыхающих. Едем, наконец-то, с Иваном Сергеевичем в Калинин — на машине, т. е. опять проезжать этот унылый участок до шоссе, который мне и без того проезжать еще при возвращении.

**2.IX.Внуково.**

Четвертый день здесь. Веду более или менее (скорее более) ритмичный быт. Подчищаю стол, колупаюсь, без интереса, по хозяйству. Сегодня — в город по делам В. Б. Александрова (посмертного издания).

Пребывание в Карачарове только разворотило то, что было набросано и что я бессовестно читал людям. Теперь ясно, что ни «Друг», ни «Огни» еще не готовы. С «Другом» вообще тяжело, а «Огни», как теперь определенно обозначается, в сущности, опять лирическое отступление, подход к чему-то, чего нет. Может быть, придется сбивать обе главы в одну. Во всяком случае — первая часть «Огней» решительно не годится. Сибирь так Сибирь, а к чему это опять о Союзе писателей — и пр. Это — вчера. А как со Смоленской главой? Ей-богу, не знаю. Пожалуй, еще никогда до такой степени не был в незнании, неопределенности. Только и осталось, что понимание: не то все, что покамест делаю, самого не греет.

Попробую еще и еще одолевать это настроение.

«Трудно Музу посылать на кукурузу».

**3.IX. Внуково.**

Что-то начал в духе давнего наброска. «Надо жить»[1] и (посмотреть) насчет того, сколько раз человек строился заново за все эти годы.

---

[1] См. стихотворение «Новоселье» (1955—1959). Собр. соч., т. 3, с. 116.

Погода стоит ужасная: поздняя сухмень, пыль, земля в трещинах, дороги поразмолоты в пыль, пыль даже за лесозащитной моих дубов и орешника.

Был раза три за эти дни у М. В., с Лидией Ивановной[1] плохо — взгляд уже нехороший, и все лицо не ее совсем. Ясно, что он ждет конца. Тяжелейшее впечатление. [...]

Читаю «Подростка» Достоевского. Неужели не читал прежде? Все както вновe и вроде знакомо.

Буду перебелять, приводить в порядок, что есть из набросков, авось, при длительном усердии выбьюсь на какую-нибудь твердую тропу.

**6.IX. Внуково.**

Последние дни все больше спокойного, с чувством свободы примирения с мыслью (давней) о том, что «Даль» не пойдет дальше — по той самой причине: она начата т о г д а, д о. И дело не в том, что вещь во времени затянулась, а нельзя уже ехать по т о й дороге. Однако я буду доводить, что есть, до известной законченности и, может быть, печатать по возможности. Но это все еще не окончательно. «Муравию» долго считал первой частью, собираясь вести куда-то дальше. Правильно поступил, что не попер дальше. «Теркина» кончал однажды, правильно поступил, что продолжил — война велела. А тут все дело в том, что нет у меня той, как до 53 г., безоговорочной веры в наличествующее благоденствие. Там-то все было с точки зрения той веры — даже критика, «редактор». А тут так ли сяк, а что-то не лепится. Вещь не такая, что терпит такой перерыв. Хотя все на свете бывает. Во всяком случае — то из «Огней», например, что в духе и стиле прежних глав, — лучше, может быть, воткнуть частично в прежние же — при переиздании, не приторачиваться к тóму. В «Друге» есть самостоятельное содержание, и, примыкая по сюжетной ниточке к тóму, он может быть и отдельным делом.

**7.IX.**

[...] ...ей-богу, хорошо. Но тут надо не опустить, не ослабить напряжение до конца. Малый подвиг — этим не искупить и не исправить. Завтра — сперва проработать на листах, а потом в тетрадь[2]. У меня — Сац, вскрыт ящик Александрова[3]. Прибираюсь на дровосеке. Собирается дождь.

**9.IX.**

Кажется, лучше, хоть еще не до конца. Уже не стал бы я читать новому человеку в прежнем виде — «с сеновалом» и т. п. Здесь отчетливее.

Подумалось, что можно колхозную (смоленскую) главу развернуть на наброске «Новоселье» — история строек-перестроек мужика за годы Советской власти. Хорея не жалко — он там натянуто-вялый. Мысль: надо же, наконец, жить хорошо, уж столько пережито всякого. Предуведомить вступлением — «разговором» о том, что не все же это время я еду-еду — не доеду, — уже сто раз можно было покрыть этот маршрут, а я могу вдруг и вернуться и, как условились, обратиться к прошлому и т. п. Тогда уж 3 главы — пан или пропал окончательно, но можно было бы показать исподволь кое-кому.

А ты подумай-ка, смекни-ка —
Такой ли есть у нас запас.
И есть ли где такая книга —
На каждый час и каждый раз.

---

[1] Михаил Васильевич и Лидия Ивановна Исаковские были соседями А. Т. в дачном поселке Внуково.

[2] А. Т. комментирует вновь отредактированную главу «Друг детства».

[3] А. Т. вместе с И. А. Сацем подготовил к изданию сборник статей В. Александрова «Люди и книги» (М., 1956).



Читаю в очках давно, начал, когда еще острой нужды не было, но писал все до последнего времени без очков. А теперь (то ли темновато здесь от кустов орешника) не могу без очков — мутно вижу, и не хочется к очкам при писании привыкать, да уж, видно, придется.

---

**12.IX.**

И пусть в редакции столичной

Благожелатель мой обычный
Вздохнет: — А, собственно, зачем
Вам этот случай нетипичный,
Когда важнейших столько тем.

Когда в стране и в целом мире...
— Да, да, — я тотчас подхвачу. —
И нужно брать явленья шире,

И отражать их нужно в свете
Определяющих идей...
Да, да, и я согласен с этим,
Я сам такой же грамотей...

Был вчера Поликарпий, больной, непьющий, некурящий, неврастеничный, грустный безнадежно. Дал ему согласие взять семинар Высших курсов. Делать Ежегодник поэзии отказался.

**13. IX.**

Вчера читал Сацу, еще в чтении чувствовал, что окончательно не выходит. Сац воздержался от построчных замечаний, но высказал одно общее: правильно, что начинается с личного, чувства вины и т. п., но останавливаться на этом нельзя, не возведя дело к общему. Но я сейчас не вижу, как это сделать, чтоб не было в конце концов итога: вот и хорошо, ты сидел, я молчал, а теперь ты на воле, мы еще не стары, будем жить, работать. Словом, я не в силах вытянуть это дело сейчас. И, может быть, с другого конца нужно зайти. Тема страшная, взявшись, бросить нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи. Тема многослойная, многорадиусная — туда и сюда кинься — она до всего касается — современности, войны, деревни, прошлого — революции и т. д. Может быть, опять возникает мысль, — она нерешима в лоб, а только может где-то исподволь проходить, но — нет! Во всяком случае, надо попробовать ее разрабатывать без надежд на ближайшее доведение «до дела». А без этого никаких «далей» у меня не может развернуться. Я уже колеблюсь — ехать ли на Дальний Восток, спустя лето по малину. «Дали» кончились на сталинской главе. В сущности, и «Огни» принадлежат еще тому тону и стилю. Может быть, при переиздании «Далей» я и вставлю эту главу куда-нибудь, н е к у д а - н и б у д ь, а к а к р а з п е р е д с т а л и н с к о й, только уже н е т о й. Аминь.

«Друг детства» может вырасти, если это суждено, до самостоятельной вещи.

**15. IX.**

Письмо Марьенкова[1]: вызвали его и говорят, что свои пять лет он отбыл напрасно, что он был полностью невиновен, как и другие. «Жаль, пишет, что не сказали мне об этом 18 лет назад».

Вот в сущности повод, чтоб написать, как делали в старину, стихи Марьенкову на случай. И все, что нужно, там сказать, а потом перейти к

---

[1] Марьенков Ефрем Михайлович (1898—1977), писатель, один из друзей А. Т. в первые годы жизни в Смоленске. Реабилитированный в 1955 г., он снова вернулся к литературной работе. Его «Записки краскома» — «Огонь на севере» — печатались в «Новом мире» с послесловием А. Т. (1966, №№ 11, 12).

другому. А я исхитряюсь взять эту тему как таковую, не ошибиться в том-то и том-то, переливаю из пустого в порожнее, отказываю себе в одних словах, навязываю себе другие — и все не то.

Вчера закончена разборка и приведение в некоторый порядок архива В. Б. Александрова, отходы в виде чужих машинописных рукописей, газет и т. п. пошли в печку — она была хорошо натоплена без единой щепки дров — ушли в небо все эти строчки и страницы, над которыми сидел (или лежал), и стало в его ящике опрятнее и поместительнее. Люблю огонь для этого дела. Не все нужно помнить, не все хранить из наших пустяков. К себе это я всегда готов применить.

Еду в город (Сац тоже) в баню и по делам.

**15.IX.**

Ничего нет легче — как уговорить себя, что предстоящее тебе трудное дело не может быть выполнено по объективным обстоятельствам. Будь это крах некоей новаторской затеи, как в «Черной металлургии», или 53 г. для «Далей». Но это не годится, совесть не дает покоя. Вещь может остаться незаконченной только в силу того, что ее на ходу перебила другая, более жизненная и неотложная. А так — вдруг останешься ни с чем, один, без задачи, лишенный всех тех возможностей, какие она (вещь) сулила и имела, хотя бы и тревожила своей неясностью и т. п.

Поэтому — необходимо вывести в люди эти две главы и написать третью, смоленскую, поводом к ней — письмо читателя-земляка — то самое, что где-то подклеено у меня в тетради. И опубликовать эти три главы, а там в путь, нужно же доехать когда-нибудь до океана. Эта поездка только и может решить, что будет дальше.

«Друг детства» — должен быть плотнее приглнан ко всему материалу путешествия, чтобы он не выглядел в нем особняком.

Не здесь ли ты (рубил тайгу, долбил тоннели).

**16.IX.**

Стоят и стоят жаркие тихие дни ранней осени, с преждевременным увяданием, даже, верней сказать, усыханием. Много желтой листвы — клоками, а где и зеленая пожухла, грибов нет по-прежнему, сушь, тепло, земля на дорожках — в трещинах. Но через такое отклонение от порядка виднее и ярче прелесть природы, хотя что-то в этом и не по душе.

Живу на даче, больше один, иногда явится Сац, под выходной Оля с Машей, в сторожке живут молодые — готовятся стать родителями и меня объявить дедом. Вот и дед Твардовский. Странно, но меня это беспокоит меньше, чем когда-то предстоявшее раннее отцовство. Видно и без этих внешних примет — дело все более всерьез к старости.

Живу в странном спокойствии, сплю хорошо, к вину не тянет, [...] Не томит то, что пишется туго, — тут я что-то понял или понимаю постепенно. Вчера немножко пробилось нечто в развитии «Друга» («Я с ним — он со мной»), может, даже получится. И именно тогда начало пробиваться, когда уже примирился внутренне, что не идет, и пусть. Не раз так было замечено, что не тогда именно открывается, когда стучишь изо всей мочи. А иногда — чуть толкнул на всякий случай, уже решив уйти отсюда, — чуть толкнул, а оно и открылось, — там и запора нет. Наслаждаюсь стариковскими хлопотами на дровосеке, по двору, прибираюсь к зиме, чтоб если и уехать отсюда, так душа не болела за беспорядок и разброс.

**19.IX.**

И через сутки с другом вместе
Стоял, взволнованный, как он,
Едва столичные предместья
Пошли вдоль окон с двух сторон.

Курил, объят его тревогой,
С ним разглядеть спешил Москву.
А между тем своей дорогой
Все дальше ехал наяву...



Есть и дальше черновое, но утренний присест был нарушен сборами моих в город, а после дневного творческого сна что-то уже не идет.

---

Я вроде и близок уже к концу, но с трудом преодолеваю некое отупение — строфы то, кажется, ничего, то видишь, что это кое-какой сопряженный набор слов. Стих сработался, вял, как старый хрен.

---

В протоколе Секретариата: «Восстановить в членах ССП Македонова Адриана Владимировича».[1]

**12.X.**

Переписал для «Правды» «Огни»[2], просят настойчиво, а мне бы тоже показаться не вредно на поверхности. Живу здесь уже с неделю после очередного, не сильного, но тем не менее прискорбного прорыва. Из чтения — самое большое впечатление — статья Т. Манна «Мое время». Записки Б. Энгельгардта — интересно по объему материала от и до. Статьи В. Брюсова — боже мой, какая мелочная и безнадежная формалистская премудрость. Кое-что ковыряю на участке, но все только так. Смерть Лидии Ивановны — страшное дело по близости и наглядности. Буду потихоньку переписывать «Друга» — хотя бы для себя только. Сил мало, желания короткие — не в самом ли деле старость. Но — вздор.

**29.XI.**

Вчера у Вали родился сын: я заснул до 12 ч., но проснулся как раз, когда Маша звонила, поздравил ее со званием бабушки, и она меня соответственно. Дед!

**5.XII. Москва.**

Вчера и сегодня пробивался к концовке «Друга детства». Концовки еще нет, но есть строфы и строки, что, должно быть, останутся. Завтра, может быть, поеду с Иваном Сергеевичем в Карачарово дня на 2—3.

## 1956

**6.I.**

После прочтения последнего наброска второй половины Казакевичу (он был тронут) вынес сегодня всю главку на листы — 7 страничек. Конца нет. Конца, точки, выводов не нужно, но нужно как-то оборвать уместно. Пока что:

---

[1] Македонов Адриан Владимирович (р. 1909), критик, литературовед, один из друзей смоленской юности А. Т. Поэт отразил его судьбу в главе «Друг детства». Отношение А. В. Македонова к Твардовскому в «смоленский период» не было однозначным: как человек, отзывчивый на поэзию, он не мог не признавать таланта автора уже по ранним произведениям, но как член рапповской организации нередко предъявлял Твардовскому требования чисто рапповской эстетики. В последние годы у них установились ровные, дружеские отношения и регулярный обмен письмами. Помимо книги «Творческий путь Твардовского» (М., 1981), А. Македонов опубликовал много статей о Твардовском в периодической печати.

[2] «Огни Сибири» («Правда», 1955. 16 октября).

И пусть хоть в той толпе перронной,
В минутной встрече (спешке) проездной
Поздравить с честью (волей) возвращенной
Мне довелось тебя, родной.

Поздравить с волей (правдой), друг усталый.
Что со вчерашнего числа,
Хоть на полжизни запоздала,
А все ж еще тебя застала,
Когда с вещами позвала.

Плохо, слабо это «И пусть» — оно предполагает далее что-то вроде: и то хорошо, отлично, это уже «округление».

**7.II.**

Морозы, морозы, в комнате 7—10 гр. тепла, сижу в пальто, все не так. Отболелась Оля, лежит Маша, быт кой-какой.

**16.II.**

Ужасный месяц после доклада о культе — голова не вмещала всего. [...] Собрание в Союзе; не дослушал Суркова, ушел и т. д. Болтовня, инфляция мысли, позорная праздность. Потом неделя у Ивана Сергеевича. [...] Приехал сюда [1], думал, дом отдыха, а тут санаторий. Ну, думаю, попал. Кажется, все обошлось — либерализм. Вчера, увидев шофера Фадеева, хотел тотчас повернуть домой: после его ужасного письма не хотелось с ним встречаться. Но обошлось — он только провожал кого-то. Здесь Лифшиц, и сразу стало от этого хорошо, хотя я и раньше знал, что он здесь. Опять обо всем с самого начала, но я уже поостыл а кроме того, хорошие впечатления поездки (Ал. Ив. Кукушкин [2] — Конаково, Кооперативная, 15 — послать книгу!).

Нет, все хорошо, нужно жить и исполнять свои обязанности.

Процесс социализма — естественноисторический процесс — как вода, как трава,— что ни делай — найдет путь, пробьется, прорастет. Правда нужна потому, что иначе мир перестанет быть управляемым, хотя бы в той малой степени, как это доступно людям.

Планы на ближайшее полугодие.

1. До 10 мая здесь.
2. С 10 по 15—20 — на даче,— жить не жить, а весну прожить, не покопавшись в земельке, нельзя.
3. С 20 по 10 июня — поездка на строительство Братской ГЭС.
4. 15 июня — 1 июля — поездка на Смоленщину.
5. Июнь или июль — август — с женой и дочкой — юг или Рижское взморье.

Здесь намерен дописать главу и рассказ «Печники», начало которого прочел Ивану Сергеевичу и почувствовал, что можно и нужно его дописать.

Главу тоже можно и нужно, а что будет вообще с «Далями» — бог весть, поездка в Сибирь покажет.

**17.IV.**

Перенес на листы наброски, привезенные сюда и уже складывающиеся в начало главы (4 стр.) [3]. Как будто ничего, но еще легковато, хотя опять же речь о насущном, столица и провинция и т. п. Боже упаси, если все это получится припевкой к известным речам перед молодежью, отправляющейся на целину и т. п. Забирать глубже и резче.

---

[1] Санаторий им. Горького (Чкаловская, Курской ж. д.).
[2] Кукушкин А. И.— работник карачаровского дома отдыха, сопровождавший А. Т. и Соколова-Микитова в их поездке по району.
[3] «Молодежная» глава («Дали»), получившая затем название «Москва в пути».



**19.IV.**

Нанизываю на вялую нить первоначального плана главы, строчки, строфы, движения почти нет. Не решил еще, перебрать ли всех пассажиров вагона в их отношении к молодоженам-новоселам, тем самым напомнив и о них. И даже батюшка с медалью кивнул, должно быть, хотел благословить, да постеснялся. Может быть, нужно.

Туман и дожди съели снег, уже в полях больше голой земли, чем снега, в парке также. Читаю (Милютина [1] кончил) Ленина (Детская болезнь <«левизны» в коммунизме>) и Успенского (Опустошители) [2]. Я не должен и не могу спешить, иначе запорюсь. Пока идет глава, нужно ее тянуть. Потом помаленьку прозу. Дышу скверно, кашляю тяжело, особенно почему-то к вечеру. Лифшиц, бедняга, страдает бессонницей. Пишу письма по стихам и т. п.— все дело.

**24.IV.56**

Год — тетрадь [3]. Год очень трудный и скудный.

**25.IV.**

Десять дней, каждый день после утренней прогулки сажусь за стол, мурыжу начатую еще в Москве главку, но дело подвигается плохо. Правда, эти дни хоть ввели в дело, обозначили, что, куда, как и к чему,— примерно, конечно.

Втоптать сюда всю остроту и сложность проблемы Москвы и периферии — нелегко. Начало самое есть, есть очень еще черновой набросок вагонного разговора о Москве и периферии. «В уме» — размолвка молодоженов (по неизвестным причинам) перед их станцией. Стали появляться в одиночку. Может быть, это начало того, что еще разовьется у них на месте назначенья. А, может быть, просто так. Но невероятно, чтоб она села во встречный поезд на этой станции. Третий момент — лирическая Москва — в противовес житейско-жилищной.

Идет все порой так трудно и обманчиво, что день пройдет — нет ни строчки вполне надежной, но оставить этой главы я не могу сейчас, надо ее одолеть. Утешаюсь тем, что «Друг» был еще трудней во второй своей части, которая потом явилась прямо-таки вдруг — после чтения Сацу и видимого тупика. Логические суждения мне не вредят,— они помогают мне скорей увидеть, где рыть и куда пробубаться своими способами.

Снега почти нет, сегодня солнечный весенний день с холодком. Давление сегодня 80—120. Играю с Ковалевским в шахматы, когда выигрываю, хорошо, подъем, но проигрыши обнаруживают пустопорожность этих часов.

**27.IV.**

12-й день здесь, это уже ровно половина срока пребывания здесь, а дело идет плохо: на «жилу» не нападаю, находки не радуют безусловностью, топчусь все на месте, хотя сижу аккуратно от завтрака до обеда, правда, без особого напряжения, но особое напряжение в таких случаях, как известно из опыта, ничего не дает, кроме утомления, раздражения и пр.

Примерно ясны причины этого «буксования»; я продолжаю то, что начал до особого моего душевного состояния в эту зиму, пишу не самое то, что в первую очередь и главным образом занимает меня в данное время, делаю вид, что ничего ни во мне, ни вовне не случилось, хотя при иных условиях тема главы вполне существенная, актуальная, поэтическая.

---

[1] Милютин Д. А. (1816—1912), русский государственный деятель, военный министр. А. Т. читал переизданный «Дневник» Милютина (М., 1947—1950 гг.).
[2] Г. Успенский. «Бог грехам терпит. Опустошители».
[3] Замечание по окончании очередной рабочей тетради.

Его же не прейдеши. Второе — обвялость моих непосредственных впечатлений пути, вообще живой большой жизни за пределами Москвы и Подмосковья, хотя, конечно, в существенном вряд ли я так уж оторвался. Но мне — по природе моей — необходима свежесть впечатлений, невыдуманность картин, ситуации, какого-то воздуха времени.

Третье — вообще затяжение «Далей», которые так бы и нужно было кончить, быть может, на сталинской главе, когда замысел и настроение оказались уже «за той чертой». Но теперь глава эта вообще выпадает — читал на днях ее,— кроме обязательных по традиции строк, слов, оборотов, все там годится, но все равно теперь выпадает. «Друг детства» мог быть отдельной вещью.

**3.V.**

Когда позволяю себе решить, что ничего не выходит, не выйдет, нечего себя обманывать и зря понуждать, и что остается только подобрать, что уцелеет в виде строчек и строф отдельных, вижу, что нет, многое уже получается и, может быть, должно окончательно получиться. Но тут, действительно, вялость, неуверенность, иногда обрыдлость такая, что непреоборимо клонит в творческий сон.

Все прилично, терпимо, даже бойко, теперь уже, пожалуй, вплоть до того, как должны заговорить супруги, но все какое-то вчерашнее, несвежее.

Невозможно этак, между прочим, отвлекшись от своих настроений и размышлений, ежечасных и неотступных, еще написать и главку для «Правды», что было бы очень неплохо в смысле «оживления торговли».

Но не буду унывать, не впервой. Пусть даже полежит, отлежится, может быть, после поездки пригодится частично, а нет, так нет. Не то, не то. Лодка посуху влачится, под нее бы помочиться.

Кое-что из того, что может еще пригодиться.

[...] [1]

Нет, нельзя дело опускать до «проблемы Москвы» — все это хитрее.

**4.V.**

Решил отложить главу о молодоженах, чувствуя, что вяло и натянуто все, стих усталый, жидкий, как спитой чай.

Обратился к наброску 54 г. о «культе». Может быть, разовьется что-нибудь, но это, чтобы только делать что-нибудь в этом роде, отписаться ото всего этого хоть для себя. А там видно будет. Путевка уже к концу, а дела — ни хрена. Целое полугодие такое. Дальше нельзя так, нужно что-то предпринимать, нужно ехать, нужно слышать, видеть, нужно жить.

В парке уже зеленеет молодая травка,— как она пахнет на угреве вместе со свежей землей и прелью листвы и травы из-под снега,— на днях отметил этот запах, забытый уже давным-давно, ушедший от меня на десятки лет. И вдруг тот, тот, что был в детстве, в Загорье, где-нибудь возле нашей кузни, в саду или в поле; когда лежишь на земле с коровами.

Когда кремлевскими стенами,
Живой, от жизни огражден...

**6.V.**

Это, конечно, только для себя, и в этом весь смысл: поддается ли это «оформлению». Если да, тогда все ничего, и ничего не страшно.[2]

Первый весенний мягкий и спорый дождик с ночи — береза дала листочки, трава зазеленела светлей и ярче, у речки расцвели купавы[3], на-

---

[1] Здесь в тетрадь занесены отрывки «молодежной» главы.

[2] Поясняется смысл наброска (черновика) к главе «Так это было», опущенного автором в тетради.

[3] Это, конечно, были не купавы, а калужница, о чем свидетельствует ее народное название — желтуха.



рвал было, да бросил, услышав, как встречные бабенки сказали: желтуху тащит...

**7.V. 8.V.**

Я не о нем, я о себе...

Это должно пойти дальше, и дальше будет самое главное: то, что потом, т. е. теперь. (И пусть жестокая наука пойдет на будущее впрок.) Включатся какие-то строчки и строфы из старой сталинской главы — тут ничего дурного: та глава отмирает в целом, в ней много дани тому, что было вне меня, но какое-то нужное склонение тона было и там.

Как бы то ни было, но это, кажется, то, что самое важное и трудное, от чего я не в силах уклониться, сделав вид, что ничего не случилось. В случае удачи этой главы — «Дали» вновь оживают и возрастают.

Последний день здесь. Последняя вечерняя прогулка вчера. Утренняя прогулка по новому маршруту — за фабрику и обратно через Анискино, вотчину С. И. Вашенцева[1], в которой он по дальности расстояния (30 км) не бывал уже 50 лет, точнее — за весь этот срок приехал на один час на только что приобретенном (и тотчас же проданном) «Москвиче» — и его никто там не узнал.

Из местных памятных впечатлений.

1) Витька — «коварный», как о нем говорит мать, мальчик лет трех (без чего-то), дробно бегущий по шоссе в красненьких, грязненьких штанах лыжного типа — вслед за матерью, работницей подсобного хозяйства, у которой маленький на руках, а позади еще старшенький — все из детсада.

— Такой хитрый, коварный, что тот, большой: «Дай мне супчику».— «Нет, бабушка, он горячий, ты обваришься». И воображает очень хорошо. Вот тут нет стеночки прислониться, он бы вам повоображал.— Он становится у белого шоссейного столбика, складывает на груди ручонки, закидывает ногу на ногу и растягивает губы в закрытой спесивой ухмылке — это он воображает.

Дали ему конфетку.— Что надо сказать?

— Не дам. Съем сам.

---

Старики на скамеечке у магазина — 70 и 84.

70: — Ты меня не узнаешь, а? Узнаешь?

84: — Узнаю: ты — самоварник.

— Во, во, во, самоварник.

Говорят о других стариках.

— Ему тоже 70, а он женился, да мало того, что женился, ребеночка произвел. А? Стало быть, есть еще у него?... А?...

84 (рот открыт, там трепещет конец языка — от дыхания):

— Стало быть, есть еще...

70: — Вот черт. Молодую взял. Тут от своей старухи, шут с ней совсем, отказаться готов, а он — молодую. Да-а... Значит, теперь тут старше тебя уже нет, гляди, никого?

84: — Нету, нету. Теперь я на фабрике (в поселке) самый старший.

У Самоварника вид рабочий, мастеровщинский, он худ, сух, истрепан. У того — малая бородка, а щеки (полные, желтоватые) подбриты, еще он следит за внешностью. На нем порядочный полушубок, в руках палочка, на которую он и сидя опирается.

— А вот в Анискине, вон там, за клубом, живет — 110 ему... Два только года, как не работает в колхозе.

---

«Участие» пана Твардовского в революционном движении. Ехал куда-то в 5 году с попом и еще одним из этих. Послушал, послушал их,

---

[1] Вашенцев Сергей Иванович (1897—1970), писатель, сотрудник журкала «Знамя», в котором А. Т. много печатал своего.

думаю: не-е... это одна глупость затевать, чтоб всем было хорошо. Зачем это? Ты мне дай хорошо, тогда — да, а не то что...

**13.V.**

Начал было перебелять начало «Москвы» на листах, но влез во Внуково, дня три потел, кряхтел, что-то корчевал, что — пересаживал. Ни в чем этом радости, так — привычка весной что-то сделать в этом роде. Иногда с мечтами об этих «преобразованиях» живешь и за тридевять земель от Внуково. А там уже ничего того, что когда-то грезилось. «Молодые» с чисто горожанской невнимательностью и безразличием ко всему попирают стопами мои дорожки, взирают на мои кусты. У меня с отцом — при полярной отчужденности психо-идеологической, так сказать, было что-то общее в отношении земли, растения и цветения на ней и т. п. С дочерью — при полном соответствии общественно-политических взглядов — полная отчужденность в отношении к этим вещам.

Начало «юношеской» главы заношу в тетрадь для порядка: стих подносившийся, сколько его ни разглаживай, содержание, может быть, и верное, и «фокусное», но не глубокое. *Потребности продолжать, напрягаясь и изворачиваясь,* просто нет. Другое дело — *сталинское начало.* Там есть поиск и риск, потребность и необходимость дела, но там не видно — куда, для кого, для какого употребления.

**13.V.**

Мол, край земли — оно понятно и т. д.

Даже неохота все переписывать так безлюбовно. Прав Маршак (вообще говоря) в отношении великой тайны ритма. В данном случае — это монотонность «стихов», слов, построенных известными рядами, а не слитная энергия, безусловность и обязательность такой речи.

**15.V.**

*Смерть Фадеева.* Узнал вчера утром. Самое страшное, что она не удивила. Это было очень похоже. Сегодня газеты хамски уточняют причины самоубийства.

**20.V.**

Думал найти последнее письмо Фадеева ко мне, подклеить его в этой тетради и дать «для истории» свои пояснения к нему, но раздумал. Пусть оно лежит, как лежат и другие его письма. Все это уже прошлое. Разрыв, объявленный им в этом письме, совершился гораздо ранее. Последние годы я уже только сохранял форму вежливости в отношении старой дружбы, а ее уже не было, и была ли доподлинно, — трудно сказать. От меня он ушел раньше, чем от всех нас, а я от него еще раньше. И теперь мне только страшно жалко его по-человечески, хотя ни в чем не могу себя попрекнуть. Неужели после такого письма: «Прекращаю с Вами всякие отношения» я мог ему звонить, искать объяснений и т. п. Конечно, да, если б я мог предполагать этот его конец. Я бы всем поступился, чтобы спасти его. Но это не было бы искренним душевным порывом, возмещающим понесенную ранее утрату.

Думаю помаленьку о предстоящей встрече с Президиумом. «Репетиция» откровенного разговора в Союзе писателей только разбередила незаживающие раны: как все ясно и понятно — что нужно и чего не нужно — и как невозможно высказать это, не натолкнувшись на стену иезуитски и демагогически «идейно-выдержанных» коллег, утверждения которых наверняка будут более доступны, привычнее слуху руководства. В лучшем случае — дай бог — добиться «сосуществования» с ними.



**24.V.**

Что-нибудь прекращать можно только для того, чтобы что-нибудь начинать. Он прекратил жизнь, но что же он начал? Разве только — для нас началось что-то другое.

[...]

---

Понемногу толкаю главку, ах, как бы она была ко времени. А ведь и начата она до «Обращения к молодежи»[1], до всего официального. Да и вся «Даль» — с ее устремленным пафосом, духом сибирских пространств и т. д. — никому это не интересно и на память не приходит.

Еду опять на дачу. Опять пересаживаю, перекапываю и т. п. Способен не только с упоением заниматься всем этим, но думать, мечтать об этих делах. Нет такой квартиры, самой удобной, самой живописной и т. п., что заменила бы тебе особое внутреннее счастье дел и поступков, когда все на свете удобно и живописно. Как давно я уже это знаю, а все же в мечтательных предположениях имею и еще что-то иное — за этой квартирой и дачей.

**14.IX.**

Пожалуй, самый длительный перерыв в моих записях за все время, как их веду. Тетрадку в Сибирь не брал и записей там не вел почти *совсем.* Затем безалаберный и ужасный по упадку духа месяц в Москве, на даче. И все я считал, что тетрадь эта и предыдущая, где что-то нужно было, лежат в столе. Вдруг Маша говорит: а где твои тетради. Пережил пренеприятнейшие дни, искал — нет и нет, хоть хорошо помню, что не выносил их из дому. Всерьез начало казаться, что, может быть, они украдены (кому они нужны!). Третьего дня нашел их среди других тетрадей в шкафу — это я их прибрал, так и забыл.

---

Главные объекты впечатлений поездки на Ангару.

1. Перекрытие.
2. Падун.
3. Байкал.
4. Тайга, цветы, трава, запахи, гроза в тайге.
5. Александровский централ и лагерь.

**26.VI.[2] Падун**

*Порог Падун.*

Грохочет бешеный Падун, грохочет, воет и трубит неутомимо день и ночь... А те, что съехались сюда, как медлительны они в сравнении с ним. И ночью спят, и нянчат маленьких ребят, и варят бедный свой обед на сырых дровах. Они из разных мест, их душит холод, ест мошка́, но сколько они еще теряют времени по-пустому: и заседают, что ни день, и говорят про ложь и лень, и спорят тут из-за жилья, из-за рубля. И ходят вечером в кино и т. д. Как будто все им — все равно. И он бежит, гремит скорей по трассе каменной своей. Сбегают воды, как с крыльца. Как год назад и миллион годов. Ах, люди, думает, куда вам со мной управиться. Едва ль. Как медлительны их, людей, орудия — и стрелы кранов, и ковши, грызущие породу. Попробуйте, попробуйте, я здесь миллион лет работаю — едва пробил себе проход. А вы его загородить хотите.

---

[1] Твардовский отмечает возросшую актуальность главы «Москва в пути» («Дали») в связи с появившимся в центральных газетах «Обращением ЦК КПСС и Совета Министров СССР к комсомольским организациям и всей советской молодежи»: «Просторы Сибири и Севера, степи Казахстана ждут тебя, молодой патриот!» («Комсомольская правда» 19 мая 1956 г.). Или передовая статья в «Комсомольской правде» (20 мая): «Родина зоает на Восток».

[2] Так в подлиннике.

*Ему снизу не видно*, что из-за горы ведут бичевник (береговой подъездной путь). *За шумом собственным своим* не слышит он, как камень рвут, дробят, сверлят, как обошли со всех сторон, как накапливаются в засаде, как месят бетон и вяжут сталь. И тысячи своих машин... И эти девочки в штанах, и старик, и всяк за четверых, за семерых. И день решенный недалек... Сомкнутся воды в вышине, и смолкнет бешеный порог...

*Эта запись сделана однажды утром на Падуне в «доме заезжающих».*

К ней потом уже в уме и на словах добавилось еще примерно такое. И смолкнет порог, и часть красы мира сего навсегда скроется от глаз людей. Правда, на месте нее явится другая красота, но то уже будет другая, один возраст сменяется другим, и прежний становится только памятью (об этом хорошо у Короленко в «Современнике»). Но иначе не бывает, ничего не придумаешь вместо такого порядка: что ни добудешь у природы — то что-нибудь и утратишь. За все — платить.

Но с той записи за всю поездку начинается первое поэтическое волнение, толчок, а до того — записывай, не записывай — все было так, есть, нету — все равно. И я хорошо знаю во всей своей жизни, когда такой толчок происходит. Нужно накопление впечатлений, и потом вдруг. Думаю, что переезд через Амурский мост у Хабаровска по возвращении из Комсомольска был тем толчком, что послужил началом «Далей». (Стихотворение «Мост».)

После этого — перекрытие. Оно уже при самом созерцании, наблюдении жило во мне, как поэзия, я уже все хватал — и цвета воды, и «игру» наплавного моста под колесами самосвалов, груженных «кубами», и лица людей, и общую атмосферу воодушевления, напряжения, радости и удовлетворения.

**16.IX.**

Обдумывал главу «Далей» о перекрытии Ангары.
— Дай сойду, а то скажут: все из окна вагона.

**19.IX.**

Еще одна глава должна быть: о машинисте, ведущем состав. Натолкнуло письмо одного машиниста о Теркине (И. Д. Вишняков из Люблино). Но необходимо проехаться на паровозе. (Володарская, д. 47).

Вчера в разговоре по Щегловской комиссии[1] со С<мирновым> В. А.[2] по телефону — он вдруг: «берите «Октябрь». Человек он слишком осторожный, чтобы по собственной инициативе сделать такое предложение. Все время думаю, зовет меня к этой работе, хотя, как вспомнишь все муки, неудовлетворенность и т. п. и как подумаешь, что чего нужно написать:

1. «Дали» (по крайней мере 3 главы в этом году).
2. Записать впечатления сибирской поездки в виде пригодного для печати очерка.
3. Лирику.
4. Дописать «Печников» и, может быть, приготовить для издания книжку прозы.
5. Написать статью о русской лирике для предполагаемого, мною же имеющего быть составленным сборника в 2 тт. «Русская лирика». И т. д.

[1] В комиссию по литературному наследию Марка Александровича Щеглова входили: А. Т. Твардовский, Н. К. Гудзий, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, А. М. Турков. Комиссия подготовила к печати сборник работ критика (М. Щеглов. «Литературно-критические статьи». М., 1958).

[2] Смирнов Василий Александрович (1905—1979), писатель, в то время секретарь Правления СП СССР.



Но что-то нужно делать в этом смысле. Ведь все равно я читаю столько рукописей, отписываюсь, беседую с приходящими — а там хоть помощь будет. И потом — известно, что иногда при занятости больше пишешь, больше дорожишь временем и этой сластью, чем когда свободен. Сколько раз я мечтал, горевал в этн два года о такой занятости. Она, между прочим, важна для меня и в смысле дисциплины. Не говоря уже о том, что кое-что можно сделать, пока не сгонят. Однако само это предложение — признание, что я работник и что «провинности» мои в «Новом мире» — дело фиктивное. Наоборот, многое в нашей атмосфере этих двух лет подтверждает правильность, во всяком случае, некримнналыюсть того, что делалось.

Я взял 10 дней сроку для обдумывания. За это время нужно все взвесить, осмотреться, где какие есть люди, кто ко мне пойдет, кто нет, у кого что есть. Тяжелейшая необходимость отвязаться от храпченковской редколлегии[1], от его аппарата за некоторыми исключениями и от контннгента авторов известного типа.

---

В пятннцу 21.IX. еду в Смоленск, может быть, с А. Г.[2]

**8.X.**

Более недели назад вернулся из Смоленска, где было все более или менее благополучно, хотя денька два переболел дома.

Главный вопрос, занимавший меня все это время,— идти или не идти на «Октябрь». Все более и с отрадой склоняюсь к тому, чтоб не идти: слишком много накладных расходов, а силы, годы уже очень заметно не те, и все реальнее «опасность не успеть» (Т. Манн).

Принимаю это решение (еще не принял) не со своей «шкурной» точки зрения, а с точки зрения общественной, общелитературной: на посту редактора «Октября» я могу быть заменен так или иначе, но на своем посту, на этом, какой занимаю,— покамест нет. А что писать я не смогу одновременно с работой по журналу, который нужно пробудить из небытия,— это несомненно. А сколько уйдет времени на обязательную, но бесплодную тоску заседаний, приемов, чтения плохих вещей,— ведь все я это знаю по опыту. И представляю, как может не раз охватить отчаяние: свое упускаю, и здесь, в журнале, ничего особенного, а время уходит.

Мне помимо «Далей» в ближайшие месяцы нужно бы:

1) Лирика на сибирские мотивы.
2) Очерк об Ангаре.
3) Очерк о Норвегии (после поездки).
4) Дописать «Печников».
5) Написать «Русскую лирику» — статья предположительно для Двухтомника Детгиза.

**10.X.**

Пришел из бани, где был с Сацем. Звонок М. Лифшица, стихи Добролюбова о либералах. Потом сообщает мне очередной, однако более определенный слух о «Теркине на том свете». Якобы сын Анастаса Микояна показал отцу, а тот членам Президиума (размножил). Даже будто бы попеняли Поспелову. Что тут правда, так то, что они только впервые знакомились бы с этой штукой, так как она, я уверен, не была тогда доведена до них, а изложена и интерпретирована. Так ли, сяк, а придется, должно быть, посидеть над ней.

Ездил вчера под Звенигород — смотрел дом отдыха министерства оборонной промышленности. Уже решил было туда ехать, как узнаю сегодня, что в Малеевку не нужно справок и курортных карт. Колеблюсь.

[1] Храпченко Михаил Борисович (1904—1986), литературовед. В 1956 г. главный редактор журнала «Октябрь».

[2] А. Г. Дементьев.

**11.X.**

В 6 ч. сел перечитать «Теркина на том свете» (под влиянием «мифа», сообщенного М. А.). Нет, нечего там, как будто, поправлять. И глубоко ясно, что не будь квалифицированной интерпретации Суркова и др.,— эта штука могла быть опубликована, ее бы читали и похваливали те же идейно-выдержанные вурдалаки, которые запретили ее (предварительно сняв для себя копийку). Распространенность вещи в списках, по-видимому, огромная: письма из разных мест, изустные свидетельства и т. п. Вспомнить хотя бы, как начальник строительства Братской ГЭС просил у секретаря обкома Журавлева — откуда-то он знал!

Сейчас говорил с Казакевичем по телефону. Он, по памяти, говорит о конце, что он неопределенен, может быть, скомкан. Тут он попадает в какую-то точку: в вещи борются или взаимодействуют два плана: условный — сатирический и натуральный — лирический. Может быть, концовка уводит дело в лирику, но что тут делать, я не знаю, покамест. Нужно доискаться и сделать. Теркин жаждет попасть на этот, где столько добра, вырываясь с того света, где всяческая мертвечина.

**14.X.**

Третьего дня — звонок В. С. Лебедева, помощника Хрущева: «Н. С. спрашивал, как живете, как здоровье, над чем работаете», и т. д.

— Работаю над «Теркиным на том свете».— Хорошо. Ведь Н. С. дал вам указания.— Да, я их все учел. А доработать и опубликовать вещь необходимо ввиду ее распространенности в списках.— Да, да, я знаю. Это — верно.— Вот когда все сделаю, проясню в вещи то, что было неясно, то прошу помочь мне ознакомить с ней Н. С.— Да, да, конечно. Вы ведь знаете, как я вас люблю как поэта — и т. д.

Вчера начал ломать начало. Есть выгода в том, что гляжу на вещь свежим взглядом — 2 года отлежки, но есть и опасность слишком в нее вломиться. Во всяком случае, решительно отделяется то, что в ней отболело, и уже не хотелось бы, чтоб было закреплено в печати. Иными словами, предложи мне сейчас напечатать хоть в самой «Правде» так, как есть, я уже не соглашусь, буду дорабатывать.

**24.X. Малеевка.**

Вчера приехал сюда, где последний раз жил 4 года назад. К вечеру приуныл, как обычно на новом месте. Новый, вернее, перестроенный с излишествами и украшательствами дом, нелепый, с массой пустующих просторов, дом, начатый одним, продолженный строительством другим и достроенный, по малому счету, третьим, да еще и недостроенный.

Вот я и вновь здесь, где был четыре и двадцать лет назад со своими стихами, мечтами, бедами и тяготами, слабостями и радостями. Мне вдруг в темноте, на вечерней прогулке по дороге к шоссе показалось, что совсем я зря здесь, где столько мне вспоминается, столько памятно и почему-то больно, неприятно. Нечто схожее с тем, что я испытывал (особенно — в последний раз), наезжая к себе на родину, в те места, которые называл для себя Загорьем и где на самом деле никакого Загорья нет и тех людей нет. Еще время такое: лес оголенный, мокрый, дорога хоть и крепкая, но с затасканной на нее колесами грязью. Посидел днем в чайной, выпил 200 гр. коньяку, еще более замалодушествовал. [...] Спать лег рано, с угнетенной душой, все мелкие неприятности казались такими значительными: попытка врачихи осмотреть меня при первом появлении, тягостное присутствие за столом двоих стариков, толкующих с развязностью и самолюбованием о своих желудочно-кишечных делах. Утром — ничего. А встал — еще лучше. Денек обещался редкостный, с утренником, с ледком и инеем на траве. Выпросил стакан чаю, закурил, пошел в лес за совхозом вырезать можжевеловую палку и чуть не пел. Днем работа — так себе. Окно мое выходит, кажется, на запад, на поросший лесопарковой зарослью овраг с Виртушинкой на дне и полем вдали с деревушками.



**25.X.**

Над вступлением можно без толку биться без конца, но нужно пройти всю вещь насквозь, тогда, может быть, и во вступлении определится норма. Во всяком случае, это вступление отчетливее и определеннее прежнего, хотя, может быть, в нем больше сказано, чем нужно наперед. Но нельзя меньше.

**26.X.**

Начал разрисовывать старые листы верстки вставками и вычерками — так, вроде, виднее дело. Вычеркнутое, опущенное (все начало почти) выглядит уже ненужным и безвозвратным, но и вновь внесенное не все кажется готовым, окончательным. И как будто — бес смущает — все это я делаю понапрасну, все это уже отошло, превзойдено в сознании общества, старо — так что совестно произносить вслух иные строчки.

Обычная мука в этих местах, куда приехал, чтобы писать, писать, не теряя ни одного дня и часа, что входят в счет оплаченного срока,— обычная мука: вот, кажется, не выходит, и вокруг все такие же люди: «Работается?» И в глазах настороженная зависть, как у грибников в лесу друг другу — при безгрибье: «А у меня ни одного белого!» Но я не намерен поддаваться этому чувству. Писать столько, сколько нужно во всякое время, т. е. ежедневно, в лучшее время суток, хоть по малости, но ежедневно. Уже нет, чую — нет тех сил молодости, которые способны на рывки, по крайней мере, сейчас еще нет.

Сплю хорошо, не менее 7 ч. Во второй половине дня — вял, но спать днем боюсь. Вечерами плохой, неровный свет, иногда совсем пропадает. Лучшее время — утренняя прогулка, чай или завтрак, первые две-три сигареты.

Именно в таких случаях, когда выходишь из обычной колеи практической жизни, появляется потребность, почти обязанность записывать всякую муру вокруг себя, но лень. И еще отвычка во всю жизнь, с юности, касаться в записках всего серьезного, что именно занимает — что в большой жизни, в газетах и т. п.

А только подумать, какая бы это была книга поколения, эпохи, если б кто вроде Никитенки[1] просто честно записывал бы ежедневно или даже не ежедневно, но сколько-нибудь регулярно — все, что видел, слышал, думал на уровне интеллигентного человека наших дней. Тут бы и первые пятилетки, и еще ранее — дискуссии в партии, и коллективизация, и 37-й год, и этапы искусства, и хроника внешнеполитических событий, и война, и послевоенное время, и «культ», и его развенчание, и наш нынешний день. Такого дневника у нас нет, не могло быть до последнего времени, разве что только у злопыхателя, чуждого нашим идеалам человека, а тогда это не так уж и интересно, хотя все же интересно — какая и там была бы эволюция взглядов, оценок и т. п.

Не обязательно природа должна только отмечать ступени, по которым ты спускаешься вниз, к концу, и вести счет твоим утратам. Больно тебе так применять всю ее красу к себе, а она, и не будь тебя вовсе,— все же есть — для кого в первый, для кого не в первый раз — для всех. Зрелый возраст вообще должен удерживаться от этих заметок, зарубок — «сколько воды утекло». Это молодость любит говорить о том, что она миновала. Вспомнить мои стихи — поездка в Загорье — сколько там еще этого кокетства, хотя бы и искреннего,— утратами,— это лишь предчувствие будущих утрат, ощущение или чувство того, что «самый первый праздник встречи прошел».

Совсем отвык читать стихи, почему я их еще пишу. Это — просто запущенность.

---

[1] Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), профессор русской словесности, литературный критик, цензор. Оставил три тома мемуаров («Дневник»), которые А. Т. очень ценил и не однажды в них заглядывал.

Хотел что-то записать о вечере Дудинцева[1] (милиция и пр.) и свои соображения о романе, который после всеобщих и слишком подогретых особыми причинами похвал уже не кажется мне таким значительным, вернее, художественным произведением.

Еще об «Октябре» (звонок Симонова, по рассказу М. И.), но неохота. Сил действительно не чувствую для того, чтобы все, со всеми накладными расходами начинать сначала, одолевать всяческие сопротивления и т. п.

---

Никитенко — либерал чистой воды, но как-то не такими уж разительно неверными представляются теперь мне его некоторые взгляды, опасения и предположения относительно русской жизни. В них много здравого, разумного, хотя с ними одними далеко не уйти. Не то хотел.

«Я продолжаю заниматься собиранием разного запаса сведений и изощрением моего ума и вообще самоусовершенствованием так, как будто передо мной лежит еще длинная перспектива жизни. Много узнаю такого, что гораздо было бы полезнее знать прежде, и многое во внутренней своей администрации устраиваю так, что если бы подобные меры принимались в раннюю эпоху жизни, то я избежал бы бесчисленного множества ошибок и хоть несколько ближе походил бы на свой идеал. Позднёнько — нечего делать, но лучше поздно, чем никогда. Притом есть какое-то великое утешение чувствовать еще в себе на закате дней довольно сил для того, чтобы идти вперед, а не оставаться позади или стоять все на одном месте. Итак, вперед, вперед, пока не споткнемся о могилу, в которую лучше стремглав свалиться, чем, как червяку, доползти до нее»[2].

## 28.X.

Да, в нынешней обстановке я не знаю, не представляю работы, какою я занимался бы с большим или таким, по крайней мере, чувством ее необходимости, неустарелости, важности. Но она потребует еще много усилий. День так мал здесь, где тебе только спать, пить, есть, гулять и писать. Многовато отнимают завтрак, обед и ужин, а за столом посидишь — едва две-три строфы зачеркнешь либо вставишь — глядишь, уже присест кончается.

Вступление как будто есть, окончательно оно отработается по окончании всей вещи в целом.

Первые этапы прохождения «Теркина на том свете» почти без изменений, кое-что, но далее, когда «во весь свой разворот» — не годится решительно начинать с заседания преисподнего бюро. Нет общей картины.

Пожалуй, надо после общей унылой картины и одиночества Теркина поскорей дать ему спутника — гида и представителя того света — «дружка».

Он ему и показывает «общественность» того света: «кружки», «научные учреждения», «клубы» и т. п.

Что за кружки?

Знаний бесполезных (в этом роде), научных знаний кройки и шитья («все для нужд небытия»), рыболовный (обсуждают, как лучше хранить крючки), «мичуринцы-садоводы» (ладят, как бы что скрестить,— горох масличный рядом с клюквою тепличной). Выводят типовой загробный гриб.

Литературный — обсуждают план романа. Стенгазета. Вокальный — песня того света.

---

[1] Дудинцев Владимир Дмитриевич (р. 1918), писатель. Его роман «Не хлебом единым» (1956 г.) стал своего рода бестселлером, хотя и был раскритикован в печати.

[2] Цитата из «Дневника» А. В. Никитенко, переизданного в 1955—1956 гг. (т. 3, с. 76).



И везде — руководитель
И, как водится, при нем —
Первый первый заместитель,
Второй первый заместитель,
Третий первый заместитель,
Просто зам и первый пом.

Теркин мыслит: что за чудо,
Что за выдумка судеб,
Друг ты мой, ведь ты оттуда,
Где в натуре труд и хлеб.

Где всю жизнь без руководства
Наставлений и угроз
Брали воду из колодца,
Выходили на покос.

Даже в жизни подневольной
Размножались добровольно...

## 30.X.

Вчерашняя прогулка. Бек[1] и я, Лаптев Ю.[2] Мы с Беком ходили по
этой дорожке до шоссе ровно 20 лет тому назад. Как нам все казалось
тогда просто и ясно наперед, хоть уже и нависала тень 37 г., но мы ее
отгоняли. Мне казалось, что все уже — промышленность и деревня и т. д.
на ходу — все на ходу.

Если бы кто сказал, что через 20 лет все будет не только не легче, но
сложнее и темнее во многом!

Опять я занят этими местами,
Где двадцать лет назад
С моими — стихами и мечтами
Ходил.

С утра попархивает снежок, уже не мухи белые, а как бы малая ме-
телька — сухая, из рваных пушинок, какую имел 4 года назад я здесь над
макушками этих елок и берез. Милый мир берез и елей... Как очужден-
ный, стоит наш дурацки-роскошный дом среди этих полей и перелесков.
Как противно звучит — стыдно почему-то — название остановки «Писате-
ли» — «Вам до «Писателей»?

И предстал пехоте
Того света комбинат
В полном развороте...

## 1.XI.

Самое лучшее — это когда мысль сама, без малейшего понуждения
воли — за чтением, за разговором, между делом — вдруг обращается к на-
чатому, долго долбленому и струганому, и с легкостью внезапной и неза-
метной все проясняется, становится по нужным местам,— что нужно, до-
бавляется, ненужное опускается... В этом духе что-то бывает, когда си-
дишь-сидишь, вертишь и так и этак, стараешься аккуратным почерком за-
крепить то, что не скрепляется, придать жизнь мертвому, пустопорожне-
му,— вдруг, когда уж готов все свернуть, только переписать для поряд-

---

[1] Бек Александр Альфредович (1903—1972), писатель. Отношения их воз-
никают вскоре после поступления А. Т. в институт (1936). Оба они, не имея
в это время прочной крыши над головой, прибегали к уюту «домов отдыха». Пере-
писка, существовавшая между ними (см. А. Твардовский. «Письма о литера-
туре». М., 1985), относится именно ко второй половине 30-х годов. Позже их от-
ношения поддерживались сотрудничеством А. Бека в «Новом мире».

[2] Лаптев Юрий Григорьевич (1903—1984), писатель. А. Т. знал его отча-
сти как человека, пользовавшегося расположением А. А. Фадеева (см., например,
в сборнике: А. Фадеев «Письма», М. 1973 г., письмо 372).

ку,— с легкостью является что-то, чего с великим трудом не мог нащупать. Что-то похожее есть в том, как играешь в шахматы при наблюдателях-болельщиках или так, один на один. В первом случае — оглядываешься на замечания или предполагаешь их, стремишься не ударить в грязь лицом, не быть смешным в слабости и т. п.— и проигрываешь. Во втором — не озабочен ничем таким, играешь, как подсказывает вольное соображение, не применяешься к мыслимому суду — и играешь лучше.

Вчера пришло просветление относительно начала. Да, так лучше, как теперь, во всяком случае, короче — и то уже хорошо. Та часть старого вступления, где идет «отеческий совет»,— пойдет, пожалуй, в середине, например, в том месте после «редактора», где строчки

Попадись такому в руки
эта книжка — я погиб.

---

По-своему лучшее время года — легкоморозно, сухо, иди напрямик, куда хочешь,— болото ли, гать ли — все проходимо, твердо и звонко. Сегодня 2 часа прокружил в лесу утром — забрал по кругу лишнего.

Порошит и порошит мелкий мучной сухой снежок, но уже погуще, чем вчера. Сколько чего у меня с ним дорогого, памятного и не выраженного — того, что не мне только, нынешнему, принадлежит, но и тому молодому человеку, что глядел на такой снежок, на эти елки, дубки и березы 20 лет назад.

---

Мы как бы вышли из некоего возраста, и нам как-то неловко, не подходит то и не по душе, что с нами обращаются, как с малыми детьми, не говорят правды, скрывают «запретное» и навязывают мысли и представления, которые не по возрасту. Действительно, как все виднее стало далеко вокруг, всем виднее, кроме «впередсмотрящих», пожалуй.

**2.XI.**

С ночи было уже на вершок и больше снега, с утра попархивало сверху, а к полудню вот он — пошел и пошел, густой, косой, отвесный и кружащийся. Едва видны в окне елки на той стороне оврага. Зачем-то стул плетеный на балконе оставлен на зиму.

Подумать — как мало минут неверного и обманчивого счастья, как вся в сущности жизнь проходит в ощущении себя бессильным, жалким, недовольным собой до тошноты. И из этого что-то получается. Заметил, гуляя по коридору, что на мне те же ботинки, что тогда, 4 года назад, смущали меня здесь своим скрипом,— а теперь они, старенькие, «генеральские» — с резинками,— вместо домашних туфель, которых не терплю. И тогда я так же томился неуловимостью того, чего хотел, радовался проблескам удачи дня и тоже не жил, а писал, потому что дни считанные и оплаченные вперед.

Сегодня перевел ту часть вступления, где «горечь и попрек» на читателя и т. д.

Тот свет — излишество призывов, плакатов, надписей в повелительном наклонении:

Береги. Спеши. Внедряй.

Пей вино, один хлопочет,
Вредно пить — другой вопит,
Ешь горячие сосиски,
Если даже их и нет.
И реклама холостая.

**3.XI.**

В другом размере — перешло в «Дали».

Будь ты снизу или сверху,
Мой читатель дорогой,



Ты ведь тоже на поверку
Разный — мало ли какой.

Ты и лучший друг надежный,
И наставник, и отец,
И порой неосторожный
Льстец, и шут пустопорожний,
И заноза, и квасец,

И по слабости потатчик,
И взыскательный чудак (?),
И начетчик, и цитатчик,
И дурак, и просто так.

И еще замечу кстати,
Хуже нет болезни той,
Той беды, как ты, читатель,
Про себя, в душе — писатель —
Неизвестный Лев Толстой.

Эх, мол, вы! Туда ж, писаки.
Вот, мол, мне бы да засесть.
Да такой ты есть и всякий,—
Хорошо, что все же есть.

Не пропал, не стал дитятей,
Тем, что матушка-печать,
Тешась, хвалит: Ах, читатель,
Ах, как вырос — не достать!

Сторожит тебя тревожно,
За рукавчик теребя:
То-то нужно, то-то можно,
То-то вредно для тебя.

Нет, и ей уже в догадку,
Что пора бы снять надзор.
Так что — дальше по порядку
Продолжаем сказку-складку.
Смотрит Теркин: что за черт!

---

Бывает — оставишь начатое на какой-то строчке, высидев приличный срок, и обращаешься к другим делам и забавам и прочему, и не вспомнишь, не обернешься и не приблизишься мыслью к тому, что оставил в наброске. Тогда дело дрянь. А то — бросишь что-то, едва проклюнувшееся, и куда бы ты ни девался, никуда от этой завязи не уйдешь, она с тобой — на прогулке, за обедом, в разных делах, в нужнике — везде. Тогда — хорошо.

---

Еду вечером в Москву, в баню и вообще.

---

— Повышай. Вводи. Внедряй.
Круче. Выше. Больше. Строже.
Круче, вверх крутой подъем.

(Лозунги на том свете).

**7.XI.**

Праздник — здесь, мои не приедут — как-то разладилось. Баня повлекла за собой два пустых и глупых дня. Отношу их за счет праздников, которые должны быть сухими. Такой перерасчет все же немного утешает.

Дочитываю Черчилля[1], который уже порядочно надоел, но в атмосфе-

[1] Имеются в виду многотомные мемуары У. Черчилля «Вторая мировая война».

ре нынешних событий напоминает некоторые исторические моменты (например, тяжба о Польше), в свете которых кое-что видней. Новостишки смутноваты и неопределенны, одно в них ясно — тревожность и напряженность.

Не миновать того, что после известного подъема в работе приходится испытать и муку отчаяния и отвращения к тому, что делаешь, и потом нужно изжить это горькое чувство и идти дальше. Но это разочарование, опустошающее отчаяние — позволяют видеть с особой очевидностью все недостачи, фальшь, натяжки и т. п. Но наперед спланировать эту «депрессию» опять же не приходится,— ее получаешь помимо твоей воли, и она является в натуре не как предвестие нового подъема, а как таковая — и только.

Прочел вчера воспоминания Ю. Либединского об А. Фадееве, они так себе, но мне все это пало на подходящую почву и дополнительно придавило душу. Сегодня еще не пытаюсь браться за работу, хотя встал рано, пил чай, брился, гулял перед завтраком,— все по лучшей норме рабочего дня.

Продолжение следует



Евгения Альбац

# ДИАЛОГИ С ДОКТОРОМ ФЕДОРОВЫМ

## О ТОМ, КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ И ПОЧЕМУ ЕМУ ВСЕГДА БОЛЬШЕ ВСЕХ НАДО

Строго говоря, диалогами наши беседы назвать нельзя. Это монологи. Федорова. Как-то так получается, что диалоги я все больше веду с его оппонентами.

Вообще-то людей монологичных я не люблю. Может быть, потому, что не всегда умею слушать. Может быть, потому, что для монологов надо иметь, что сказать. Может быть, потому, что монологичность как стиль весьма присуща нашему Отечеству и не только в последние семьдесят лет. Россия всегда была страной хорошо говорящей. Сейчас же до одури хочется дела.

Федорова я люблю.

Первое свое интервью я взяла у него в марте 1982 года. С тех пор мы не раз встречались — по работе или в компании, за столом, десятки, если не сотни раз говорили по телефону. У Федорова есть привычка вечером, дома, обдумывая какую-нибудь очередную сумасшедшую идею, набрать телефон человека, который его заинтересованно выслушает,— иной раз набирает и мой. К чему я обо всем этом? Да к тому, что беседы эти были интересны, очень темпераментны, изобиловали идеями. Однако от них всегда оставалось ощущение — ну, скажем так — избытка фантазии. Интересно, но не очень реально. Реально, но не у нас. У нас, но в некоем благословенном послезавтра.

Самое поразительное заключается в том, что Федоров осуществлял и осуществляет практически все, о чем говорит.

В том первом, семилеткей давности интервью говорил о филиалах по всей стране. Их сейчас уже восемь. О передвижном автобусе-операционной. Такой автобус теперь ездит по России. О собственном институтском самолете. Арендовал. О конвейерном принципе операционной. Сделал — сначала силами фирмы «Сименс», потом наладил выпуск в Чебоксарах. (В тех самых Чебоксарах, откуда его когда-то выгнали с треском.) Потом мечтал о переводе клиники на хозрасчет и коллективный подряд, о том, что врачи у него будут получать по пятьсот рублей. Перевел. Врачи получают и больше. Год назад я писала о его идее взять институт в аренду. Взял. Каждый сотрудник от уборщицы до директора внес в счет аренды 520 рублей, а через полгода каждый сотрудник получил из образовавшейся прибыли 1652 рубля. Наконец три месяца назад позвонил вечером: собираемся создать в институте фонд социальной защищенности. Ведь пенсии копеечные, больничные не покрывают расходов на лекарства. Женщины, родив, вообще, судя по пособию — 35 рублей в месяц,— должны святым духом питаться. «Как, ничего идея?» — спросил. «Замечательная»,— искренне сказала я, ибо как раз сидела на этих тридцати пяти рублях... Читаю в «Правде»: в свой фонд социальной защиты институт положил 250 тысяч рублей. В результате каждая молодая мама — сотрудница института — сможет прибавлять к государственному пособию 150 рублей ежемесячно в течение полутора лет; каждый сотрудник, вышедший на пенсию, за каждый год работы в коллективе — 10 рублей к пенсии (двадцать лет стажа — 200 рублей прибавки), каждый занемогший член коллектива — 5 рублей к больничному ежедневно... Кажется, чуть ли не единственное,

что он пока не осуществил из задуманного, так это не построил взлетно-посадочную площадку на крыше института. Ну ничего, даст бог, сделает... Согласитесь, прямо-таки американский хэппи-энд: решил — сделал, захотел — сделал... Как будто он на Марсе живет. Но ведь нет же, здесь. Сегодня Федоров — это Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» (МНТК) с бюджетом в 58 миллионов рублей, из коих 12 миллионов — валюта, это 5 тысяч сотрудников, это 200 тысяч операций ежегодно. И я спрашиваю себя: как ему это удалось? Здесь. Не на Марсе. Как?

## ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ: КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ

— Святослав Николаевич, я вам этого вопроса не задавала никогда еще и потому, что ответ на него предполагает раскрытие неких правил игры, по которым жила и во многом все еще живет система. Теперь спрашиваю. Но прежде — о слухах, или, если угодно, сплетнях, которые — для вас это не секрет — во множестве бродят вокруг вашего имени. Итак: Федорову все удавалось, потому что глаза были животрепещущей проблемой для прежнего, не слишком юного, состава Политбюро. Помню, один замечательный нейрохирург так мне и сказал: те, кто деньгами ведает, голову не лечат, потому у меня сто коек, а у Федорова — институт...

— Никаких членов Политбюро я никогда не оперировал. Хотя бы уже потому, что к Четвертому Главному управлению никто меня на пушечный выстрел не подпускал — все места там заняты намертво. Правда, я и не пытался туда влезть: это огромная потеря времени — длительные консультации, консилиумы, решения, которые принимаются с черепашьей скоростью. Так что никаких больших начальников я не оперировал; в консилиумах принимал участие — это было. Только в последние годы... Но это уже, так сказать, отставники, не действующие начальники, их я оперировал уже после того, как было принято постановление об организации МНТК «Микрохирургия глаза».

— Говорят — эта тема особенно обсуждается в медицинской среде,— что ваш МНТК изъял и продолжает изымать из бюджета здравоохранения кругленькую сумму, в то время как медицина наша пребывает — и это действительно страшная реальность — в крайней нищете и нужде.

— Наш МНТК взял 100 миллионов, но не из тех денег, которые выделены из бюджета на здравоохранение, а из дополнительных средств.

— Что это за дополнительные средства?

— К ежегодным 17 миллиардам наше правительство добавило еще 2,5—3 миллиарда. Причем бедная наша медицина не знает, что делать с этими деньгами: строители не строят, потому что у них нет цемента и кранов, аппаратуру нельзя купить, потому что промышленность ее не выпускает. Советскому директору деньги давно не нужны: его бог — фонды, сиречь карточки, карточки на бетон, карточки на цемент, на аппаратуру, на канализационные трубы. Поэтому Федоров никого не ограбил. Федоров, наоборот, помог и продолжает помогать расходовать с пользой для медицины деньги, которые часто возвращаются в бюджет и потом тратятся на какие-нибудь плотины и рукотворные моря. Так что МНТК нередко попросту спасает деньги от этого нашего бесхоза.

— Каким образом? Или для вас «карточек» не существует? Как вы достаете тот же бетон?

— Я? Выклянчиваю у директоров, у отдельных предприятий, чтобы они сверх плана сделали для меня бетон или цемент.

— А почему, собственно, они так щедры?

— Я лечу их людей. Скажем, мы договорились с директором одного огромного комбината, что ежегодно будем вылечивать 1500 его сотрудников. Взамен комплекс выручает меня строительными материалами и рабочими. Недавно, например, прислали восемь временных домиков для дома отдыха наших врачей, обещают помочь нам построить небольшой спортивный центр. А других директоров я заинтересовываю тем, что даю им заказ на наше оборудование, которое потом мы вместе продаем на Запад, и они имеют от 25 до 40 процентов прибылей в валюте.



— Вы можете привести пример?

— Электромеханический завод в Свердловске. Он делает специальные приборы для лечения дальнозоркости, аппараты, инструменты прекрасные. А еще и направляет к нам больных. Бюрократическая система не может испортить всех поголовно. Добро, милосердие, взаимопомощь, невранье и прочее — заповеди вечнозеленые. Ну, а кроме того... Во всем мире люди друг с другом общаются, обмениваясь деньгами, и это создает взаимовыгодные связи. У нас их нет. Но у нас, правда, есть другая вещь — у нас есть дефицит. На все! И этот дефицит нас объединяет. У тебя есть кусок мяса, у него — итальянские сапоги, а у меня руки, умеющие оперировать... Так что, если у нас еще и дефицита не будет, нам вообще крышка: мы станем нацией, ничем не объединенной, кроме языка. Я шучу, понятно...

— Это все, конечно, замечательно, Святослав Николаевич. И, конечно, директора крупных предприятий из соображений милосердия, перспектив подзаработать немного валюты или просто по причине плохого зрения могут вам помочь. Но сомневаюсь, чтобы эта помощь имела первостепенное значение. Как вы уже заметили, мы живем в условиях всевластия бюрократической системы, которая, как известно, не отличается ни милосердием, ни экономическим мышлением. Вот как вам с ней удалось найти контакт — поделитесь опытом?

— А я ее все время чуть-чуть обманывал...

— То есть?

— Я умел быть хитрее системы. Например, нам надо построить новую поликлинику. Если бы я сказал, что эта поликлиника будет основана на принципиально новых методах работы и новых принципах оплаты труда, то я вряд ли чего-нибудь добился бы. А я говорил так: поликлиника небольшая, даже маленькая, ничего особенного, так, некоторые новшества, ну и прочее. В том же духе. В общем, все время приходилось где-то недоговаривать, а где-то уговаривать. Так что первый закон общения с бюрократической системой: ее нельзя слишком пугать нововведениями.

— А второй закон?

— Система боится идти на скандал.

— Что вы понимаете под скандалом?

— Письма, которые, например, пишут слепые люди, возмущенные тем, что у них в городе нет глазной клиники, статьи в газетах, телепередачи и так далее. Когда накапливается критическая масса таких писем и статей, система — правда, не всегда — начинает шевелиться: ей становится некомфортно, она начинает стремиться вернуть себе утерянное спокойствие и принимает положительное решение. Но это требует, конечно, очень больших усилий. Очень.

— Неужели вы действительно полагаете, что общественное мнение имеет... скажем так: имело в прошлые годы какое-либо значение?

— Общественное мнение — нет. А скандал — да! Ведь почему буксует экономическая реформа, почему мы далеко не везде переходим на более прогрессивные методы работы, почему не торопимся ликвидировать уравниловку? Боимся скандала, который поднимут лентяи. «Почему это я получаю 150 рублей (а «я» мог бы получать вдвое больше, введя у себя, скажем, хозрасчет, но ведь для этого надо р а б о т а т ь и перестать тащить с завода все, что плохо лежит), а какой-то там докторишко — тысячу? «Где справедливость?» — возопиет лентяй. «За что боролись?» — бьет он себя в грудь. Этот ложно понятый социализм, единственный смысл коего — сделать всех одинаковыми, в том числе и одинаково бедными, глубоко укоренился в психологии: как минимум три поколения потчевали подобными уравнительными вливаниями, и бороться с этой психологией крайне трудно.

Действительно, за что боролись... Мы бы и рады отказаться от уравниловки, да психология людей мешает. Но меня занесло... Так вот, для административно-командной системы общественное мнение имеет очень небольшое значение, а вот скандальная ситуация — огромное, поскольку вся система настроена на бесскандальное существование. Вот на прошлой неделе говорил с одним областным руководителем по поводу сельскохозяйственной фермы, которую институт арендовал под Москвой, в Протасове. Он мне: «Вы развращаете людей большими зарплатами». «Так ведь они работают в два раза больше, чем прежде,— отвечаю я.— Раньше доярки надаивали по 200 литров от коровы, а теперь по 650—700...» Не слышит. И я его понимаю: то, что молока в магазинах после полудня нет,— привыкли, сыр в дефиците — привыкнем, зато, а ну как завтра в обком пойдут письма из соседнего совхоза: почему у них так, а у нас этак...

— О вашей ферме разговор впереди. Святослав Николаевич, а вы разве по натуре скандальный человек?

— Нет, абсолютно: я не люблю скандалов. Как сказал один мой приятель, я вязкий. Знаете, есть такие собаки: если она уж прицепится на охоте к кабану, то как бы тот ни бежал, что бы ни делал — она от него не отцепится. Так и я. Меня выгоняют в дверь — я лезу в окно, меня — в окно, я — через трубу или подвал проломлю, и так до тех пор, пока рано или поздно этот «кабан», которого я достаю, не скажет: да гори этот Федоров зеленым огнем, дам я ему аппаратуру, иглы, миллион — все дам, только пусть отстанет от меня! Толя Аграновский про меня так и написал: Федоров будет своего добиваться, пока не упадет, но и если упадет — все равно будет царапаться... Я когда приезжаю в Америку, смотрю на них и поражаюсь: как же им легко жить! «У вас, ребята,— говорю я им,— жизнь как у балалаечника русского, три струны: деньги — товар — деньги. А у меня — орга́н! Я работаю руками, ногами, носом... Совмин, райком, министерство — всех надо связать, всех увязать, поставить лицом к лицу, вовремя самому отойти в сторону... Это ж высшая дипломатия!

— И вам это — «высшая дипломатия» — интересно?

— Интересно — не то, наверное, слово. Втянулся. Впрочем, и интересно...

Тут в нашем разговоре возникло что-то вроде паузы. И я вернула насчет того, что вот как раз за «проломленный подвал» его в медицинской среде и не любят. И не только в медицинской. Он кивнул. Но было видно, что слова мои его нисколько не задели — скользнули и ушли. А я все же уцепилась, стала развивать тему, вспомнила, как спорила с одним милым и очень известным врачом. «Да, у Федорова — руки,— говорил тот.— Да, он хороший организатор. Но прохиндей, авантюрист. Минздрав вокруг пальца обводит...» «Ну и пускай обводит,— возражала я.— Мне, пациенту, от этого хорошо, да и государству, что взамен слепых получает зрячих,— тоже» «У нас белья не хватает, тяжелых больных черт-те чем кормим, инструкции дурацкие каждый день получаем, а он один корпус уже отгрохал и второй начинает...» «Так напишите в газету о ваших безобразиях,— предложила я.— Только на полную катушку и, кстати, с указанием фамилий тех, кто идиотские инструкции издает». Тут пыл моего собеседника заметно стал угасать: написать-то можно, соглашался, но какой от этого прок, все равно ничего не изменишь, а отношения будут испорчены, а кам работать... И то, и се. В общем, писать не стал. А я смотрела на него и думала: «Э, батюшка, как славно быть хорошим, и знаменитым, и чтоб начальство своим благословением не забывало или уж, во всяком случае, за дурной характер по углам не склоняло.— И еще думала: — А ведь завидуете вы Федорову — и организаторским способностям завидуете, и деловой хватке, и пробивной силе тоже. Но, доведись вам на его место, со всеми его корпусами и связями, ведь не будете рвать на себе рубашку от того, что иглы дурные, и обивать пороги, где с кулаками, а где и с поклоном поясным, не будете. Потому как жизнь у всех одна. Но ведь и у Федорова тоже одна!» «Врач — адвокат больного... Адвокат, защищающий его интересы, его жизнь,— говорил мне как-то Федоров.— И больному плевать на твои проблемы, он попросту не должен их знать, ты же обязан его вылечить на самом



современном уровне. Нет хорошей аппаратуры? Найди, добейся. Нет нужных игл? Рви в облздраве на себе рубашку, но не смей пользоваться плохими. Иначе надо выбирать другую профессию».

Вот это все я излагала Федорову в открывшейся паузе, но видела: не слышит. Руки перебирают четки, и глаза не здесь... Наблюдала не раз в самых любопытных компаниях: стоит разговору уйти не туда, стоит беседе начать крутиться в русле, далеком от его дела, стоит ему «уступить площадку», как Федоров тут же скучнеет. Плохо, хорошо ли — не знаю, но это «родовой признак» Федорова.

— Святослав Николаевич, а как складывались ваши отношения с властями? В данном случае я не медицинских начальников имею в виду — об этом Аграновский рассказал, а именно власть: партийную, советскую. Мне кажется, все-таки неплохо, все-таки вы умели с ними ладить? Институт-то ваш появился в самые что ни на есть застойные годы — конец семидесятых...

— То, что институт удалось организовать,— счастливый случай помог. Мне говорили: что вы, доктор Федоров, все суетитесь, письма разные пишете — в Москве два института есть, и хватит. Есть Краснов, есть Аветисов — куда еще? Короче, шансов не было никаких. Но тут ко мне приехал Асад, президент Сирии, я его консультировал, по клинике водил, все показывал, он недоумевал: неужели близорукость можно лечить? Неужели с дальнозоркостью кардинально можно справляться? А после этого он где-то с Косыгиным Алексеем Николаевичем встречался, рассказал ему, какой у нас замечательный коллектив и какие мы замечательные ребята. И Косыгин вопреки всем — и Минздраву, и Минфину — подписал приказ об организации института. А шансы были нулевые. Так что, если б не Асад... Нет, конечно, я и дальше царапался бы, но...

Что меня всегда выручало? Новизна идей! Это был мой главный козырь. Сначала имплантация искусственного хрусталика — таких операций никто в мире, кроме одного голландца и одного англичанина, и то в малом количестве, больше не делал. Потом появилась другая идея — лечение глаукомы. Потом главная — исправление близорукости и астигматизма. И теперь что получается? Никто и нигде не лечит близорукость и дальнозоркость такой степени — никто и нигде, кроме нашего института. Никто и нигде не лечит атрофию зрительного нерва. Никто и нигде не лечит глаукому в самой ранней стадии, да еще без вскрытия глаза. Вот поэтому мне и было легко бороться: у меня были козырные тузы в колоде. С «валетами» ни в Минздрав, ни в Совмин и соваться не стоило — обязательно зарубили бы.

— Бог с вами! И с «козырными тузами» зарубали, да еще как! С гиканьем и притоптыванием! Система тем и замечательна, что принципиально настроена на усредненность, на серость. Талант опасен — им труднее управлять: он потенциально способен к самостоятельности мышления. Поэтому-то десятилетиями и отрабатывался, стал, супротив законов генетики, наследуем закон «трамвая»: не высовываться! Я убеждена: сам факт вашего существования — «вопреки». Почему вы выжили — на это у меня есть свой ответ. Сейчас же меня все-таки интересуют, так сказать, условия среды. Потому я вновь возвращаюсь к своему вопросу о ваших отношениях с властью. Надо признать, что вы, Святослав Николаевич, от него ушли. Почему бы это? И еще я подброшу «дровишек». В «Московских новостях» я увидела замечательную формулу: «Прораб застоя, инженер перестройки». Так вот, сей чудесный афоризм нет-нет да проскакивает в разговорах о вас. Правда, чужая удачливость у нас всегда режет глаз и портит настроение. И, кроме того, я вовсе не считаю, что нормальное, благополучное существование в застойные годы само по себе может быть поставлено в вину. В нашем Отечестве безгрешных нет... Впрочем, есть: Андрей Дмитриевич Сахаров. Для всех же остальных критерий должен быть занижен: делал подлости или не делал... Наверное, не стоит тешить себя иллюзиями: все мы у ч а с т н и к и. В большей или меньшей степени — не суть...

— Действительно, экстремистом я никогда не был. И на Красную площадь

никогда с плакатами не выходил. Может быть, и зря. А если бы и выходил, что бы я сделал? Мне, для того чтобы приносить добро, письменного стола мало — нужен операционный, нужны микроскоп, скальпель, иглы, нужны медицинские сестры, нянечки, шовный материал, лекарства. Что касается отношений с властями, они были разными. Когда хорошими, когда и весьма прохладными. В райкоме партии, например, стоило начать мне вылезать, принялись писать на меня анонимки: страна нуждается в чугуне, а у меня — в смысле у института — заборы чугунные. Или: у Федорова много ружей, а это для коммуниста нескромно: следует иметь одно, максимум два. Вот такую муру собачью писали. А 16 апреля 1986 года меня хотели арестовать...

— Почему — не спрашиваю, глупый вопрос. Но зачем?

— Затем, что на 24 апреля намечалось заседание Совмина СССР, на котором должен был обсуждаться вопрос об организации МНТК «Микрохирургия глаза» и строительстве двенадцати филиалов.

— Подождите, подождите... Это связано с тем делом, о котором писали в газетах? В институте обнаружена группа, за деньги устраивающая людей на операцию, так? А организатором был какой-то рецидивист, который разъезжал по городам и весям и находил клиентов?

— 9 апреля было решено создать наш МНТК, а 10-го на Петровку пришел некто с чистосердечным признанием: у Федорова в институте он вовлек в преступную сделку врача и медсестру. Так началось это фантастическое следствие, которое закончилось полным его провалом. Но врач отсидела в тюрьме полтора года — пока шло следствие, медсестра — четыре месяца, а рецидивист — для меня абсолютно ясно, что это была подсадная утка МВД,— ни одного дня: то лежал в больнице, то с подпиской о невыезде разъезжал по стране. Ну и еще вызывали наших больных и требовали, чтобы они дали показания, что Федоров вымогал у них деньги. Показаний таких никто не дал, а больные звонили в институт и предупреждали: на вас «накручивают» дело. Вот такая ситуация была... Но постановление Совмин все же принял, и уже буквально через два дня следствие потеряло всякий интерес к моим сотрудникам — их перестали даже вызывать на допросы... Будь это не 86-й год, а хотя бы 84-й...

— И вы не боялись оказаться в тюрьме?

— Нет. Я бы не дался.

— То есть?

— Отстреливался бы до последнего патрона. Тюрьма страшнее смерти.

— Ответ, простите, на уровне третьего класса...

— Почему? Отца арестовали, потому что он не ожидал ареста. Нас же приучили быть готовыми ко всему... Я действительно буду отстреливаться до последнего патрона... Так что — вернемся к нашему разговору — в то время шла постоянная борьба с начальством. И я все время играл. Потому-то теперь я, елки-палки, такой хитрый, и никто меня на мякине не проведет! Вы спрашиваете, почему мне многое удается: да я же прошел фантастический тренаж! Я же работаю в самой сложной административной системе мира — сложнее нет, не придумали. Поэтому, если ты к ней приспособился, если нашел путь, по которому через все заборы все-таки пролезаешь, если идешь так, как сам себе наметил, а не так, как тебе наметили, о, тогда ты становишься непобедим. Абсолютно! С тобой уже трудно что-либо сделать. Разве только убить.

И все же у меня есть свой ответ на вопрос: «Как Федорову это удалось?» Ответ этот прост, как воздух: Федоров — свободный человек. Ответ этот сложен, как сложна формула воздуха: он свободный человек в стране, рабской по психологии. По историческим корням. По уровню страха. По отношению к царям низвергнутым. По способу труда и по отношению к труду. Потому что веками, если не любила, то принимала как должное плеть. И забивала плетьми тех, кто позволял себе усомниться во всесильности плети. Федоров — человек свободный.

Свободный в том, как говорит, как принимает у себя в институте большое начальство (я видела), как разговаривает по «вертушке» (я слышала), как общается с подчиненными (не пытается придавить), как живет, как относится к своей славе и к всевозможным слухам о себе, свободный наконец в самоощущении — это, может быть, важнее всего... Это очень трудно объяснить словами, но это чувствуется сразу... Внутренне свободный. Но кто и почему дал ему вольную?



Когда-то я хотела писать о Федорове очерк и даже придумала первую фразу — не бог весть что, но вот запомнилась: «Как плохо быть на букву «ф». Дело в том, что отец Святослава Николаевича, кавалерийский комдив Николай Федоров, в тридцать восьмом, как положено, был арестован. По слухам, в самом начале войны Сталину был предложен список командиров Красной Армии, которых вождь собирался амнистировать. Список был составлен по алфавиту, и Отец родной расщедрился лишь наполовину: те, кто был, скажем, на «н», вышли из лагерей, другие — нижняя часть списка — прошли все круги сполна. Сполна, от звонка до звонка, семнадцать лет, принял колымского и экибастузского кошмара и комдив Федоров. Человек он был, видимо, незаурядный, необыкновенно сильный физически и смелый. (Кстати, Федоров-младший очень похож на отца внешне и характером тоже. «Мама была мягкой, сдержанной. Отец же резкий, взрывной, непримиримый, упрямый. Но быстро отходил, зла никогда не держал. Я в него».) Я читала о комдиве в воспоминаниях генерала Горбатова «Годы и войны» и совсем недавно в «Красной звезде». Точнее, было так: позвонил Святослав Николаевич: «Вот, послушай, тут о моем отце». Я послушала: «Помню стычку с блатными в омских банях, куда весь этап привели мыться. Дверь в раздевалку преградил здоровенный детина... «Мыться собрались, контры?!» На последнем слове он захлебнулся и плюхнулся в мыльную лужу у противоположной стены. Туда же полетели от железных рук Федорова еще несколько уркачей... Уголовникам Федоров отвел скамейку в углу, и им ничего не оставалось, как подчиниться строгому приказу комдива: «Мыться добела!» И дальше прочитал про то, как в Находке урки напали на барак политических, и началась страшная драка: «Когда выбросили за дверь последнего налетчика, Федоров выставил караул, а всем остальным приказал спать». (Галина Федоровна Аграновская, вдова А. А. Аграновского, рассказывала мне потом: «Позвонил Слава, прочел отрывки из «Красной звезды» и говорит: «Знаешь, Галонька, я человек не сентиментальный, а когда это прочел — заплакал... Видно, старый стал...»)

Так вот, комдив чудом остался жив, через семнадцать лет вернулся к семье в Ростов. Но это был уже не тот комдив. Колыма ломала всех. Так что Федоров-младший не только испытал участь сына врага народа, но и воочию увидел, что система делает (и может сделать!) с людьми. И не задался вопросом: «А если и меня?» И не испугался? Навсегда. На всю жизнь. Как пугались — и страх этот не ушел — миллионы. Ведь «тридцать седьмой год» сажал и расстреливал не только те поколения, но и поколения последующие. Сидим на своих кухнях, рассуждаем о гласности и демократии, но вопрос: «А вдруг снова начнут сажать?» — вопрос этот никуда не уходит. И думаешь: «А может, не стоит на рожон, а может, погодить, не вылезать?..» Рабы, рабы...» От страха рабы...

Я спросила Федорова:

— Святослав Николаевич, вам было одиннадцать лет, когда отца арестовали. Мама без профессии, в вечном ужасе перед арестом, в страхе потерять чудом найденное место машинистки. Вы вечно голодный, плохо одетый, но, главное, вы изгой, прокаженный, на лбу выведено — сын врага... Неужели вы постоянно этого не чувствовали?

— Конечно, я всем подряд не говорил, что мой отец репрессирован, вообще старался на эту тему не говорить. Но я твердо знал: мой отец невиновен. И рано или поздно все это кончится. Не мальчишкой, конечно, но юношей я понял, что система, которая требует постоянно кому-то молиться, неверна. Я верю в человеческую логику, основанную на фактах. А если нет фактов, а есть одно словословие — это же чепуха какая-то! Меня все это ужасно раздражало. Но страха не было. То есть я понимал, что могут взять — кругом-то людей брали,— но страха не было. Я всегда был и остаюсь фаталистом. Как-то так получилось, что у

меня вообще полностью отсутствует животный страх. Когда был пацаном, не боялся утонуть, не боялся, что набьют морду, что в темном углу убьют. Почему — не знаю... Не боялся. И потом много разных ситуаций было...

Помню, когда в Чебоксарах совсем за горло взяли, в угол загнали — ночь не спал, думал: что же это я мучаюсь, страдаю? Голова есть, руки тоже есть, одна нога[1] как-никак тоже есть — хватит! Утром пошел, написал заявление об уходе, в момент собрал вещи, покидал два чемодана в машину и — вперед! Ехал, голову высунул в окно и орал как сумасшедший: «Я свободен! Я свободен!»

Вот с тех пор я себе и говорю: голова есть, руки есть, одна нога — тоже как-никак есть. Я — непобедим.

...А что, может, и правда Федоров непобедим? И, может быть, именно от сознания собственной непобедимости ему все и удается?

## ДИАЛОГ ВТОРОЙ: ПОЧЕМУ ЕМУ ВСЕГДА БОЛЬШЕ ВСЕХ НАДО?

Это выражение «почему (или — «что») тебе больше всех надо?» вызывает у меня стойкий восторг. Оно замечательно тем, что, подозревая цель — больше надо чего? — денег, славы, почестей? — оно эту цель не конкретизирует, но уже заранее подозревает в ней и, следовательно, в человеке негатив, побуждения нечистые. Однако оставим филологические изыскания. Меня интересует другое: могло ли это выражение появиться в другом языке? И главное, широкое его распространение не свидетельствует ли о том, что бытовое сознание не только отвергает поступки нестандартные — это-то понятно,— но и поступки, филантропические в своей основе. Впрочем, боюсь, что чистая филантропия у нас вообще утеряна. Представить себе, что имярек решается на какие-то поступки не потому, что ему «больше надо», а потому, что ему-то не надо, но надо другим,— что-то тут из века девятнадцатого. Короче, вопрос «почему ему всегда больше всех надо?» меня давно в Федорове интересовал.

Ну, действительно, почему он добивался института — понятно, почему филиалов — тоже объяснимо: генеральный директор — это уже не просто директор, размах, фонды, статус другой. Но вот зачем ему понадобился уже МНТК и миллион связанных с ним хлопот, причем хлопот именно на свою голову? Зачем он добивался включения в комплекс оптического завода (которому опять же нужны фонды, материалы, оборудование) — был бы он западным человеком — ясно: расширяет дело, завоевывает новые рынки сбыта, умножает прибыль, с которой уже его дети продолжат сделанное отцом,— но у нас-то зачем? Наконец, зачем занялся сельским хозяйством, зачем взял в аренду ферму в Протасове под Москвой, зачем повесил себе на шею десятки, если не сотни вопросов, решения которых не видно десятилетиями? Слава? Есть. Деньги? Не обижен. Герой Труда на пиджаке, депутатский значок на лацкане. Дача, квартира, машина, короче, по нашим меркам, у него все есть. И даже больше. И шестидесятилетний юбилей, два года назад отшумевший,— тоже...

— Святослав Николаевич, свой ряд «зачем и почему» я начну все же с вопроса, может быть, странного: зачем вам перестройка?

---

[1] Когда Федорову было восемнадцать лет, он, прыгая на подножку трамвая, промахнулся и ему отрезало ногу. Его приятель тех лет, Лактионов, рассказывал (правда, не мне): «Мы пошли к нему в больницу — приготавливались успокаивать: дескать, ничего, молодой еще, здоровый... В общем, почти как к покойнику шли. А он нам весь вечер анекдоты травил, хохмил почем зря, говорил: «Нога — это еще не самое главное у человека»...



— Зачем? Это возможность хорошо работать. Это возможность свободно, хорошо, умно работать.

— Слов «спокойно», «нормально» вы, однако, не сказали... Но ведь и в застойные годы вы тоже работали, и неплохо?

— Тогда я, то есть институт, делал 120—130 операций в день, а теперь — 450, тогда очередь к нам была восемь лет, а теперь — два.

— Я понимаю, что вопрос звучит для вас странно. Поясню. Не так давно был у меня разговор с одним милым человеком, директором. Он говорил: раньше, конечно, было миллион проблем, но были налажены связи, взаимоотношения, «руки», с вытекающими из них фондами, ставками, материалами, заказами, обменами «ты — мне, я — тебе» и так далее. Теперь эти связи если не рухнули совсем, то рушатся, на налаживание новых нет ни сил, ни времени. Так вот, эти связи — в самом широком смысле слова — рушатся для очень многих людей. Скажем, из близкой мне сферы: сейчас из оборота выпало немало вполне приличных, а то и просто блестящих журналистов ну хотя бы потому, что их темы оказались не нужны, а их диапазон мышления уже диапазона тех, кто долгие годы молчал. Причем в эпоху застоя (господи, как же режет ухо: «э п о х а застоя») они были весьма прогрессивны, сделали массу полезного, спасали судьбы, получали оплеухи и окрики. То же, уверена, и в других профессиях. Ибо сказано Пастернаком: «Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона»... Вы точно выразились: «перестройка — это возможность хорошо работать»,— однако многие люди не могут х о р о ш о работать в общечеловеческом понимании этих слов, потому что никогда не умели, потому что их не научили, потому что от них этого не требовалось... Довод: зато дети (или, вернее, внуки) будут жить по-человечески, довод, конечно, сильный, но... Короче, я боюсь, что на фоне общего перестроечного оптимизма, точнее, за этим фоном разыгрываются сейчас настоящие трагедии. Но это — крайность. Для многих же перестройка — это усложнение жизни. Тем более что колбасы в магазинах не прибавилось, а мыло пропало. И в иных душах, особенно пятидесяти-, шестидесятилетних (за исключением того все-таки малого числа, кто всегда шел поперек), так вот, в душах немалого числа порядочных людей при всей искренности их гражданских чувств кошки скребут. «Перестройка — это, конечно, замечательно, но мне бы... Эх, мне бы и при застое можно было дожить...»

— Я абсолютно не согласен. Вот недавно я был на окружном собрании, где баллотировался Коротич. Ты бы видела эти глаза! Горящие глаза тех, кто пришел голосовать за Коротича. Ты бы видела эти эмоции! Этот страх — а вдруг обманут! (И обманули.) Эту надежду — а вдруг действительно удастся выбрать в Верховный Совет человека, который станет выражать их чаяния и их мысли. Там было много стариков и старух, которые при Сталине жили и, казалось, лежать должны в постели и вообще не высовываться. Но они пришли и готовы были сидеть до 12 часов ночи. Почему? Замаячил свет свободы. Это великая штука — свобода.

— Я не хотела говорить о выборах, потому что когда наши диалоги будут опубликованы, тема выборов станет, следуя английскому выражению, старой новостью. Но коли уж мы ее коснулись, удовлетворите мое любопытство: почему вы ушли с того окружного собрания? Вы, Коротич и Никулин, так?

— Да, так. А ушел я потому, что мне было стыдно за людей, которые пришли на это собрание не выбирать, а выполнять задание, данное им мелкопоместным князьком — секретарем парткома. Я имею в виду так называемых выборщиков, чья задача была завалить Коротича. Вообще эти окружные собрания, с моей точки зрения, совершенно реакционны — реакционны по самому смыслу, в них заложенному. Опять, оказывается, народ настолько глуп и бездарен, что ему нужны какие-то представители — батраки от демократии, которые за него будут выбирать. И 26 марта люди доказали, сколь порочен этот подход.

— Святослав Николаевич, вы депутат от КПСС. Скажите, вам... не было, ну, что ли, неловко от того, что вас выбирают четыреста с чем-то человек — участников Пленума, а других кандидатов — тысячи, а то и миллионы?

— Я думал, что при тайном голосовании меня завалят, а оказалось всего одиннадцать голосов против. Если же говорить о принципе, то я считаю, что принцип «один человек — один голос» более демократичен, и мы к этому придем.

Но я не согласен, что выборы — старая новость. Какая же она старая? Я вот тут как-то сидел вечером дома и подумал: я народный депутат, а какие у меня права? Какие обязанности? Что нужно сделать, чтобы получить слово на сессии? Какие вопросы председательствующий обязан ставить на голосование? В какой форме делается депутатский запрос? И так далее. Короче, я, оказывается, в этих вопросах стерильно невежествен. Я и подумал: к черту Америка — я должен был ехать сейчас туда оперировать,— надо садиться за книжки и изучать, какие в мире существуют парламенты, каковы принципы их работы, что наиболее приемлемо для нас? Как без этого? Ведь, по сути, мы, депутаты, сейчас должны создавать аппарат управления страной, в противном случае мы мало чем будем отличаться от тех, кто единогласно «за» голосовал на сессиях в прошлые годы. Или, скажем, такой вопрос: где депутат будет получать информацию? Очевидно, что депутат, черпающий информацию из газет, только из газет, не может быть компетентным в вопросах управления страной. Значит, видимо, депутаты должны не только получать соответствующие информационные листки, но и иметь доступ к компьютеру, связанному с информационными центрами крупнейших ведомств. Иначе как я узнаю, что в данный момент происходит с бюджетом страны или как работает интересующая меня отрасль промышленности, или — да мало ли будет этих «или»? Еще, мне думается, надо создать клуб (клубы) депутатов, где они могли бы собираться и за чашкой чая обсуждать вопросы, вести дискуссии — понятно, что все на сессиях не обсудишь, рассматривать разные точки зрения, разбирать конфликтные ситуации. Вчера я позвонил в Президиум Верховного Совета и мне обещали, что будет выделена комната, где мы, депутаты, могли бы, например, встретиться с прессой. А вы говорите «старая новость»...

— Ну что же, вернемся, если можно, к нашей теме — почему все-таки Федорову всегда больше всех надо? Я хочу вам задать один бестактный вопрос, можно? Помню, вы как-то рассказывали мне, что, оставшись без ноги, учились по учебнику плавать и даже потом выигрывали какие-то крупные соревнования...

— Ну да, брал учебник, приходил на речку — поплаваю, поплаваю, вылезу, почитаю книгу и опять в речку. Очень хороший способ обучения.

— Так вот, не есть ли все это — плавание по учебнику в том числе — стремление преодолеть физическую ущербность? Не выработала ли эта юношеская травма навсегда в вас потребность все время доказывать, что вы не хуже других, а даже лучше. Дескать, вы все с двумя ногами, а я с одной, но иду впереди?

— Да нет, наверное. Особо ущемленного самолюбия у меня не было. Мне просто хотелось быть не хуже. Но никак не хотелось быть лучше. И сегодня я не хочу быть лучше.

— А когда в Вешенской (для читателей скажу, что в эту станицу Федоров был распределен после окончания субординатуры, и совмещал там должность терапевта и окулиста) вы прооперировали всех старух в округе, вам хотелось, наверное, быть лучше хотя бы того врача, что был до вас?

— Нет. Просто я хотел сделать какое-то интересное дело. Там никого не было, рядом же работал врач на полставки, который почти ничего не делал. А я так не могу. Я буквально заболеваю, если не чувствую в жизни динамики. Понимаете, мне не нужно доказывать людям, что я лучше. Я говорил и говорю, что это очень удобная метода, чтобы самому ничего не делать: «У Федорова получается? — так это же Федоров! А я просто Иванов, Сидоров, и у меня ни черта не выходит». Как удобно! У меня нет никаких суперталантов, кроме вот дикой настойчивости, трудоспособности, желания добиться своей цели, если эта цель принесет пользу людям, а вовсе не потому, что она полезна мне. Мне много уже лет и мне давно уже ничего не надо. Что мне нужно? Мне нужно, мне хочется, чтобы дело делалось на нормальном, то есть мировом уровне. Чтобы чувствовать себя нормальным человеком, профессионалом не только у себя в стране, но и в других странах. Ущемленное профессиональное самолюбие — это неприятно. Не говоря уже о том, что есть и национальная гордость. Это тоже двигатель, который меня толкает, мне действительно хочется работать не хуже, чем мои коллеги в мире.



— Хорошо, это я понимаю. А зачем вам нужна ферма?

— Ферма... Я уже говорил: мне просто обидно, что такая простая технология, как сельское хозяйство, которую наши неграмотные деды и прадеды прекрасно освоили, да так, что страна продавала пшеницу и другие сельхозпродукты за рубеж,— так вот, эта технология сегодня пришла в совершеннейший упадок, и мы теперь вводим карточки на мясо и масло,— да разве это то масло, какое я ел в детстве? А повод к тому был случайный. Пришел ко мне крестьянин из Протасова (у меня дача рядом), такой Ваня Пузаткин, и сказал: «Доктор Федоров, мы получили роскошных датских коров, каждая тысячи четыре-пять долларов стоит, помогите нам взять их в аренду, чтобы мы могли сами за ними ухаживать. Иначе у нас в совхозе они рано или поздно доиться перестанут». Я подумал: а почему бы не попробовать нашу систему — систему, по которой живет МНТК — платить за труд те деньги, кои он стоит,— применить на селе? Ведь мои врачи и медсестры — самые обычные советские люди, однако ж начали работать с эффективностью в 7—8 раз большей, чем раньше. Только потому... потому что им начали платить за труд.

Так вот, я решил, почему бы на этой ферме мне не ввести такую же аренду и тот же метод применить, и тем еще раз показать, что правильное распределение денег является основой социализма. Каждому по труду — этот принцип может делать чудеса. Но только при том условии, что никто не будет устанавливать никаких финансовых и прочих крыш: «два этажа» — можно, а «третий» — извините... Если мне это удастся, если я смогу это доказать, то это станет еще одним шажочком на пути необратимости процесса перестройки.

— Каким образом?

— Пока наш институт будет уникален, мне никто не поверит. Скажут: «Да, Федоров толковый мужик, собрал толковых людей, и то, что у них получается,— исключение, но ни в коем случае не правило». А мне хочется, чтобы наш народ наконец-то стал самостоятельным народом, чтобы идеи революции были овеществлены.

— Вы действительно искренне считаете, что опыт медицинского, офтальмологического центра может быть перенесен в наше многострадальное сельское хозяйство?

— Сто процентов. Мы «питаемся» от вылеченного больного: вылечили — получили, больше вылечили — больше получили. Здесь, на ферме, все будут «кормиться» от надоенного литра молока и выращенного килограмма мяса... Мне говорят: в деревне грязь, в деревне разучились работать. Я отвечаю: ничего подобного. Да, крестьяне привыкли к грязи, да, они действительно любят выпить, но как им не любить, если в деревне нет никаких развлечений? Естественно, что ничего другого не остается. Поехать куда-то, например, в город? Для этого деревенскому человеку нужны большие деньги — надо как минимум иметь машину, чтобы, например, поехать в Москву в Большой или в цирк. Короче, я посчитал: если 50 процентов заработанных от реализации молока денег я отдам крестьянам, хватит ли мне средств, чтобы продержаться на поверхности, то есть купить корма, технику, бензин? Получилось, хватит.

— Сколько вы должны платить за аренду?

— Ежегодно — 590 тысяч рублей — по 5 тысяч за гектар, хотя совхоз «Менжинец», у которого мы арендовали ферму, за землю не платит. Точнее, из этих 590 тысяч он должен отдать государству 28 тысяч. Неплохая прибыль — 562 тысячи — за то, что ровным счетом ничего не сделали? Спрашиваем: почему? Объясняют: «Мы отдаем вам землю, вы на ней получите доход 1,5 миллиона рублей, треть его — нам». Это где же видано, чтобы брали аренду за ожидаемую прибыль? Предполагается, что за это мне будут делать дороги, будут давать комбикорма. Но дороги я строю сам, сам связь провожу, медпункты устраиваю, комбикорм же советский плохой, поэтому, я думаю, мы купим свой комбикормовый завод. Кроме того, из наших валютных средств мы купим маленький сыроваренный завод — где-то на полтонны в день: один литр молока, переведенный

в сыр,— это двадцать копеек прибыли. Кроме того, мы сделаем небольшой мясо-отделочный цех — будем делать из сверхпланового мяса (государству мы должны сдавать 150 тонн) колбасу, а колбаса — это уже не два рэ восемьдесят копеек за килограмм — шесть-семь. Картофеля у нас много, поэтому мы быстренько соорудим небольшой цех, где будут работать пенсионеры, получающие жалкое подаяние в виде пенсии 40—50 рублей,— они этот картофель станут обжаривать в виде палочек или соленых чипсов — тоже как-никак не десять копеек за килограмм. Потом разведем хмель для производства пива. Займемся навозом: чтобы землю не разрушать всякими нитратами и сделать наше производство экологически абсолютно безопасным, мы будем готовить навоз специальным образом — в герметических чанах; через четыре-пять месяцев 50 процентов навоза превратится в чистый азот, а газ, который в ходе этого процесса будет образовываться, можно собирать и использовать для отопления домов и других помещений. Чистый азот — это богатство, во Франции, например, он стоит дороже, чем молоко. Поэтому французы любят покупать коров, от которых много навоза. Так мы вылечим землю, и она будет рожать нетоксичную пищу. Это для нас очень важно: мы перестанем отравлять своих больных пищей из нитратов, а то, я чувствую, мне скоро придется в институте открывать лабораторию по определению уровня нитратов в больничных обедах. Кроме того, мы решили там, в Протасове, создать туристический центр для иностранцев, которые живут в Москве и не знают, куда вечером деться. Построим теннисные корты, зимний бассейн, гольф-корт, ресторан, на реке поставим пароход-гостиницу и будем брать по 25—30 долларов за ночь. А на эту валюту купим самые современные сельскохозяйственные орудия, технологии переработки, удобные контейнеры, чтобы не терять на дорогах выращенное, и так далее. Красота! У нас там 35 квадратных километров прекрасной земли — да на такой земле не иметь денег может либо идиот, либо человек, которому не дают нормально трудиться. Нормально трудиться может только свободный человек, а не крепостной крестьянин, каковым крестьянина сделали, как только отобрали у него землю. Поэтому я везде и говорю: землю — крестьянам, фабрики — рабочим!

— Потрясающе! Святослав Николаевич, а откуда все-таки вы возьмете деньги на аренду — из прибыли института?

— Нет, мы их заработаем продажей молока и прочих продуктов. И еще 800 тысяч из заработанных мы вложим в этом году в строительство, а то, если ждать, пока нам дороги построят, мы все молоко на колдобинах расплескаем.

— Институт какие-нибудь деньги вкладывает в Протасово?

— Не много — 30—40 тысяч. Эти деньги мы вложим в такие простые вещи, как хороший душ, который люди могли бы принять после работы, как комната отдыха, наладим нормальный подвоз продуктов, свяжем все деревни внутренним телефоном и проведем телефон московский. Сейчас вот в коровнике стереомагнитофон устанавливаем: чтобы и людям, и коровам было приятно.

— А прибыль? Прибыль институт какую-нибудь получит от Протасова — вы же на аренде?

— Два года мы не будем иметь никакой прибыли. Это нормально: в Америке, например, любое новое предприятие на три года освобождается от каких-либо налогов. С меня же совхоз за каждую запчасть дерет 120 процентов, а платит нам за молоко, мясо, картофель на 20 процентов меньше той суммы, за которую продает государству. Это же форменная спекуляция! Нам за тонну зерна — 340 рублей, сдают государству — за 440, за тонну молока нам — 360 рублей, продают — за 440 и так далее. Подумать только: мы за первый квартал надоили на 197 тонн молока больше, чем за тот же квартал в прошлом году, а прибыль — ноль! Это если нас так раздевают, то что же будет с рядовыми арендаторами?! Но дело в принципе, не в прибыли. Главное — возбудить у людей интерес к работе. Как это можно сделать? Только достаточно высокой заработной платой, но обязательно адекватной затраченному труду.

— А откуда вы знаете, сколько надо платить сельскому человеку?

— Это очень просто. За литр молока государство платит 40 копеек. Значит, 20 копеек идет в заработную плату. Сейчас мы составили: доярка получает 7,4 копейки от литра, тот, кто кормит,— 5 копеек, тот, кто убирает за скотом,— 4 копейки, механик — 3,5 копейки. Принцип тот же, что в институте. Много прооперируешь — много заработаешь, много надоишь — много заработаешь. Это сразу создает совершенно другие отношения между людьми. Выгодно вовремя подвезти корма, выгодно вовремя убрать, чтобы корова не стояла в грязи, выгодно починить крышу, чтобы не дуло... Считать все умеют. Когда мы взяли ферму в аренду, то собрали людей и объяснили: если будете надаивать 4500 литров, как сейчас, ваша зарплата — 450 рублей. 6 тысяч литров молока — 650 рублей и так далее.



Стоило эти цифры просто назвать людям — ни одной зарплаты еще не дали,— как за три недели удой вышел на полторы — две тонны больше, чем раньше. Сейчас доярки у нас надаивают почти в два раза больше, чем прежде, и получают 650—750 рублей. Соответственно этому получают и все остальные. Так мы научим людей сначала работать в коллективе, а затем построим семейные фермы — скажем, десять ферм, и весь этот огромный коровник раздадим фермерам, например, по 25—30 коров. Ну еще и поле, порядка 60—70 гектаров, чтобы было где приготовить корма. Такая семейная ферма может заработать в год до 50 тысяч рублей: 15 тысяч в течение 15 лет они будут выплачивать за ферму, 35 тысяч — останется на то, чтобы иметь нормальный автомобиль, ездить куда угодно. И еще развивать свое дело. Я же таким образом попробую доказать в какой-то мере и нашим сельхозначальникам, и некоторым политическим деятелям — доказать и показать на примере, что фермерский путь, личная заинтересованность крестьянина, владеющего и личными орудиями производства, и полем,— это тот путь, который позволит нашей стране быстрее стать на ноги. Много быстрее, чем при создании огромных комплексов, где человек превращается в наемника, батрака, которому работать хорошо просто невыгодно... Мне рассказали: первый секретарь райкома приехал, спрашивает протасовцев: «Почему вы стали работать?» «Потому,— отвечают,— что к нам стали относиться, как к людям».

...Вот тут я должна остановиться и выключить магнитофон. Тут я должна познакомить читателей с одной цитатой. «Сегодня вопрос о лидерах чрезвычайно актуален. Все они по положению, как правило, интеллигенты, не физического труда работники. Недавно телевидение показало сюжет на тему новый лидер в роли преобразователя деревни.

Известный всей стране ученый прибывает в село, скликает на морозную площадь мужиков и баб и произносит такую зажигательную речь о будущем рае, который он создаст у них, что, кажется, самые зачерствелые сердца-льдины вот-вот растают и потекут по щекам теплой водицей. А он, внимающий бобровой шапке народишко, безмолвствовал. Ни оваций, ни эмоций. Жаль, оператор не сообразил снять крупным планом лица слушателей, камера, как замороженная, застряла на ораторе, а сколь полезно было бы потом, дома, сидя в уютном кресле, не собственным красноречием упиться еще раз, а вглядеться в лица, постичь, что же там, за угрюмой их непроницаемостью, авось и припомнились бы тогда герои Григоровича и Гарина-Михайловского с их мечтами о переделке темной, забитой российской деревни. Ведь повторяем мы, братцы-коллеги, своих предшественников! Прожектерством от сострадания и барственной любви к униженным повторяем». Ну и дальше, естественно, сакраментальный вопрос: «Что такое есть народ и что такое есть мы?» И дальше: «Может, потому и безмолвствует народ, слушая истекающего любовью барина, что понимает: ах, родненький, твоими бы устами да мед пить!» И дальше: «Нет у меня веры в сладкоголосых балаболов, нет ее и у мужика». Пожалуй, хватит... Как нетрудно догадаться, «барин» — Федоров, собрание — в Протасове, а раскритикованная телепередача — «Сельский час» (ее вел Ю. Черниченко).

Все — не новость. И деление на народ и интеллигенцию — не новость. И ругань в адрес интеллигенции — не новость. И даже позиция газеты, это напечатавшей,— «Советская Россия» — тоже не новость. Новость, во всяком случае для

меня, то, что автор статьи (которого, оказывается, так же, как и меня, интересует, чего это Федорову неймется,— знак интереса только разный) — публицист Иван Васильев.

Передачу я ту видела, и шапка Федорова (правда, не бобровая) мне тоже понравилась. А еще подумала я тогда — даже в блокнот записала: найдется человек, который попрекнет Федорова и этой шапкой, и шубой теплой — ему бы в телогрейке да опорках прийти, вот и чудненько было бы и понравилось бы всем! Господи, как же все это надоело! И этот уровень мысли. И это стремление натравить одних на других. И эта нетерпимость к любому, кто думает, выглядит, ведет себя не так, как мне, любимому, бы хотелось. В стране карточки, в стране стомиллиардный дефицит бюджета, в стране инфляция и мыла нет, а мы того, кто принимается за дело,— за шкирку да об стол, за шкирку да об стол! Сосед хорошо, лучше тебя живет? Так пойди узнай почему, наберись ума-разума. Нет, я его лучше облаю да еще и хату его сожгу. Чтобы неповадно было. А напоследок еще и вопросик кину: тебе чего, больше всех надо?

Я спросила тогда Федорова по телефону: задела ли его эта статья?

— Нет,— ответил,— это даже хорошо, это надо: держит в тонусе. Просто я удивился: Иван Васильев — вроде рассудительный человек...

— Святослав Николаевич, объясните мне, пожалуйста, почему вы, офтальмолог, знаете, что надо делать, а наш Минсельхоз и агропромы, судя по продовольственной ситуации в стране, не знают. Почему у вас, у офтальмолога, удои на ферме повышаются вдвое, а в большинстве наших колхозов-совхозов, где сидят специалисты по коровам и быкам, они неуклонно идут вниз?

— Во-первых, потому, что большинство советских руководителей — это касается не только сельского хозяйства — не могут принимать те решения, которые принимаю я: они связаны тысячью инструкций. Например, платить этому можно только 250 рублей, а этому только 150 рублей. Шаг вправо, шаг влево... По сути дела, и начальники, и их подчиненные — батраки (или надсмотрщики), только у разных хозяев, занимающих разное положение. Как же они будут хорошо работать? Зачем? Какой стимул?

А во-вторых, потому, что мы все еще находимся во власти тезиса, будто стоит только найти хороших начальников, как все у них будут хорошо работать. Это — глубокое заблуждение. Начальник может только тогда хорошо работать, когда все вокруг хорошо работают — заставить он не в силах...

— Вы сами себе противоречите. Вы как раз тот начальник, который хорошо работал и всем показал, как можно работать.

— Но я, начальник, уперся в порог. Почему я вдруг решил перейти на коллективный подряд? Почему я решил взять в аренду предприятие? Потому что, когда в 71-м году, через год после Злобина, мы перешли на простой бригадный подряд, то увидели: да, появилась прибыль, да, люди стали лучше работать, но поскольку зарплата не изменилась, то все достижения за счет самолюбия и борьбы за первое место. В результате производительность труда выросла только в 2,7 раза. И с того времени вплоть до 84-го года не менялась. Мы делали 120—130 операций в день. Мы этим гордились. Но очередь не сокращалась — увеличивалась. А что дальше? Я понял, что необходимо менять принцип, то есть мне было ясно это и раньше, но бесполезно было куда-то стучаться: правительство тогда стояло на уравнительных позициях, хорошо работаешь, плохо работаешь,— все должны жить одинаково. А после апрельского Пленума я обратился к Николаю Ивановичу Рыжкову, и нам разрешили применить коллективный подряд. Так заинтересованными в труде стали все, включая начальников. Это дало сразу подскок производительности труда приблизительно еще в два раза. Мы стали вылечивать вместо 21 тысячи 31 тысячу больных, а затем вышли на уровень 42 тысяч. А сегодня делаем 70 тысяч операций за год.

Однако все время мне приходилось думать о том, чтобы люди не тратили зря деньги, чтобы не калечили аппаратуру, здание и так далее. Вот тогда, собственно, я понял, что, только сделав человека полностью хозяином, пайщиком, совладельцем данного учреждения, можно создать такую ситуацию, когда все вместе будут думать над конечным результатом, думать о прибыли. Я давно понял: один я ничего не могу. Как бы я ни орал, какой бы я ни был гениальный руководитель, я все равно заставить каждого, если он не хочет, работать с высокой интенсивностью не смогу. Заставить может только экономика — плата по труду.



— Уж коли мы затронули начальников. Скажем, вы уйдете на пенсию, вы убеждены, что ваш комплекс будет так же хорошо функционировать?

— Конечно.

— У вас есть преемник? Вы его готовите?

— Не я готовлю преемников. Готовит себе преемников система. Та система, которая у нас установилась. Через пять лет, самое большее, появятся лидеры, умеющие доказывать людям, что надо принимать именно такое, а не иное экономическое решение. Уже сейчас человек шесть могли бы спокойно меня заменить.

— Я была в вашем институте не раз и не десять. Специально сидела в приемной и наблюдала: со всеми вопросами идут к вам. Подписать бумажку, что-то решить — идут, идут...

— Дело в том, что кучу бумаг мы отправляем в другие организации, и без моей подписи там эти бумаги проходят хуже, чем с моей. То, что вы видели,— пример контакта новой системы со старой, командной. Мой же кабинет — что-то вроде переходного отсека. Так что, если бы не было у нас вовне командной системы, никто бы с бумажками не ходил. Каждый заведующий имеет деньги, отпущенные на развитие его отдела, которые он спокойно бы истратил. Но у нас же везде нужно не просто покупать, а просить, чтобы дали право купить. Когда я прошу, тогда проходит легче, просят мои сотрудники — бумага будет лежать, и в конце концов на нее ответят «нет».

— Знаете, кажется, у академика Моисея Маркова была такая красивая гипотеза. Это очень сложная физика, но в элементарно популярной форме смысл ее, как мне объясняли, в следующем. В каждой галактике существует масса цивилизаций. Но каждая представляет собой сугубо замкнутое пространство — что-то вроде шарика — и для внешнего наблюдателя имеет размер не более размера атома или, может быть, атомного ядра — не помню. Так вот, между собой они в принципе связаны некими туннелями-переходами, но сообщение это до крайности затруднено, если не сказать невозможно. Это я к тому, что ваш институт мне иной раз напоминает вот такой же маленький шарик, который ищет контактов с внешним миром, но, увы, разная система координат.

— Положение изменится, когда наш сталинский казарменный социализм станет социализмом цивилизованных кооператоров и арендаторов. Я убежден, что наша перспектива — это всеобщая аренда средств производства. Сначала на сроки 20—30 лет, а потом и много больше — 100, например. Когда станет ясно, что данный коллектив или семья продуктивно работают, то обществу будет выгодно отдать орудия производства на достаточно большой срок. Люди будут работать не только на себя — на своих детей, и будут заинтересованы в том, чтобы дети получили орудия производства в лучшем виде, чем они. Мы, кстати, у себя в институте сейчас ввели право передачи арендного пая по наследству. Вот я уйду на пенсию и передам свой сертификат дочери, и коллектив обязан будет ее трудоустроить.

— А если дочь доярка, что она будет делать?

— Доярка? На ферме будет работать.

— А токарь?

— У нас есть заводы. У нас огромное количество специальностей в институте: два завода, восемь филиалов, ферма, конюшня — да у нас все что угодно.

— А вы не боитесь, что... профессия врача затеряется среди других профессий?

— Не боюсь. Я уверен, что многие люди, которые у нас работают, будут готовить своих детей именно к тому делу, которым они занимаются. И врач будет стремиться, чтобы его дочь стала врачом.

— Ну а как к вам будут попадать люди извне?

— Если будем расширяться, то будут новые люди, а если нет, то будет одно и то же товарищество, а потом дети членов этого товарищества. Разве это плохо: спаянная команда с общими знакомствами, связями, совместной работой? Это же замечательно!

— Только бы не надоели друг другу. Да нет, наверное, это хорошо, просто очень уж непривычно... Однако возвращаясь к разговору об аренде, что-то я не замечаю, чтобы сограждане мои опрометью бросились брать, например, землю в аренду. Да и ваши коллеги-директора не больно торопятся переводить свои институты и предприятия на аренду. Почему бы так?

— Это как раз очень понятно. Многие руководители по сути — мелкие вассальные князья, да к тому же с психологией временщиков. Они имеют достаточно высокий жизненный уровень, зарплату, они привыкли к этому уровню, и их не тянет к другому. Скажем, директор завода имеет 500—700 рублей, министр — 600 рублей. И директор полагает, что получать больше, чем министр, опасно. Во-вторых, он не уверен в результатах и боится социальных конфликтов. Наконец, извечная боязнь нового. Думает: получать буду те же 700 рублей, а сколько возни, сколько проблем. А еще при арендном подряде народ сам выбирает директора — спустить сверху его нельзя. Многие руководители и этого опасаются. К тому же они зажаты инструкциями, отчетами, нормативами, тарифами, колоссальным количеством всяких ограничений. Подобное вырабатывает особую психологию. Потому никто на это дело и не идет, за исключением небольшого количества лидеров. А их не так много.

— Вот я слушаю вас, Святослав Николаевич, понимаю, что, наверное, вы имеете право на такие жесткие оценки. Но притом не идет у меня из головы история одного молодого и блестящего директора. Он стал руководителем по нашим масштабам просто в юном возрасте — было ему лет тридцать. Умен, образован, независим... Предприятие ему досталось — хуже не бывает: в провале уже лет десять, директора менялись постоянно. Короче, он сутками не вылезал с завода, пересчитал все технологические карты, поменял где-то каких-то мастеров и начальников, дал план и пошел в гору. Ему прочили блестящую карьеру, говорили, что через пяток лет этот парень с его энергией, умом, предприимчивостью станет министром. Правда, говорили все больше журналисты, на его несчастье, о нем писали много, а ему не хватило опыта это «много» притормозить. В общем, как писал Аграновский в очерке «Открытие доктора Федорова»: «Беда, если про вас напишут в печати! Худо, если раскритикуют, это каждому ясно. Но вы покаетесь, и вас простят. А вот если похвалят вас, о, тут найдутся люди, которые никогда вам этого не простят». Однако травили его не коллеги-начальники — революций он не совершал, план давал, дома для рабочих строил. Травить его стали партийные местные власти. Ибо всем он был хорош, одним плох: забывал приехать в горком и посоветоваться, в какой цвет, например, крышу красить. Я утрирую, конечно. Независим был очень, приличий не знал. Ну и началось... На заводской партийной конференции, которую тщательно готовил райком партии, его не избирают в партком (потом один из участников «операции» признается ему, что результаты были подтасованы), в центральной газете появляется разоблачительная статья «карманного» журналиста, с предприятием приходится расстаться, его переводят на другой завод — уже не директором... Короче, вот уже четвертый год он герой игры под названием «пятый угол». Он, конечно, барахтается, пытается выплыть, все кругом понимают, что совершена несправедливость, но стоит ему чуть-чуть подняться на поверхность, как из того среднерусского городка раздается звонок, и... А ведь он, я повторю, революций не совершал...

— Но он нарушил закон, о котором я говорил: систему нельзя пугать. Независимостью в том числе. А к тому же умен, образован! Это сегодня он не спрашивает, как «крышку красить», а завтра, позволь ему, акции своего предприятия выпустит... Система, конечно же, защищается: упреждающий удар — один из ее методов.

— Тогда почему вам дали в свое время выплыть?

— Во-первых, помог Аграновский — он не только напечатал прекрасную статью, но и был потом моим ангелом-хранителем. А во-вторых, кто я был? Провинциальный доктор. Хирург-офтальмолог — глаза какие-то там резал. Разве могли они ожидать, что отсюда им грозит такая опасность? Ругается с медицинскими генералами? Ну и пусть ругается. Нет, я для них тогда просто был не «фигура». Директор — это уже серьезно.



— Однако и в Чебоксарах, и потом в Архангельске вас могли затолкать, не дать работать — и все.

— Э, нет, это надо еще позволить себя затолкать. Меня «затолкать» всегда было трудно.

— Святослав Николаевич, я ведь не спорю с вами. Я понимаю, что для того, чтобы что-нибудь изменилось, кто-то должен быть первым, кому-то судьба подставить грудь. Но меня, знаете, не оставляет одна мысль: вот мы, журналисты, пишем о гласности и демократии, призываем: «проявляйте инициативу», укоряем: «перестраховщики!», а люди верят нам, а их отправляют бегать по кругу: кто послабее — сами сходят с дистанции. Ладно, оставим это...

Вы говорили, что система отчетов и инструкций, которая держит директоров в тисках, вырабатывает определенную психологию. Но ведь и у вас были те же инструкции и те же отчеты.

— Может быть, все-таки несколько меньше. Когда мы попросили, чтобы с нас сняли эти оковы, нам это позволили.

— Почему же другие не попросят?

— И Председатель Совета Министров Николай Иванович Рыжков удивляется, почему не просят. А не просят потому, что не видят своей выгоды. Поэтому я недавно в «Ленинском знамени» специально сказал, что получил за декабрь месяц заработную плату 1500 рублей,— сказал, чтобы лидеры поняли, что аренда — это выгодно не только всем, кто работает на предприятии, но и лидеру, что при коллективном подряде лидер всегда имеет самую высокую зарплату. Правда, она у меня ограничена четырьмя с половиной ставками санитарки.

— Почему именно четырьмя с половиной?

— Мы посмотрели литературу, и оказалось, что в Швеции премьер-министр Пальме в свое время ввел закон, согласно которому премьер не может иметь зарплату больше, чем четыре зарплаты квалифицированного рабочего. Но главное не это. Главное в таком распределении то, что оно стимулирует начальника максимально повысить зарплату тому, кто стоит внизу пирамиды, и не допускать несправедливых диспропорций. Санитарка у нас сейчас получает 300 рублей. Дежурная медсестра — 400—450, медсестра операционного блока — за 500 рублей. Можно жить, правда? Можно купить в кооперативном магазине колбасу, на рынке — парное мясо, можно даже купить себе какую-то хорошую вещь. Я так и говорю: люди должны получать такую зарплату, чтобы они могли хотя бы нормально питаться.

— Как вы полагаете, насколько модель вашего МНТК применима к другим сферам медицины?

— Она применима ко всему. Не подходит только к тем заводам, где выпускается огромный ассортимент продукции и трудно учесть вклад каждого человека. А в медицине она, по-моему, применима везде.

— Но вот что тогда меня удивляет. У нас немало прекрасных специалистов, высоких профессионалов, наделенных, как говорится, золотыми медицинскими погонами. Среди них есть, как я понимаю, и неплохие организаторы. В прессе то тут, то там появляются статьи, в которых корифеи с большей или меньшей откровенностью говорят о буквально трагическом положении дел в нашей медицине — как в практическом здравоохранении, так и в науке. Но почему же никто не пытается пойти по проторенному пути? Насколько я знаю Евгения Ивановича Чазова, он человек интеллигентный и не будет сердиться, если кто-то из руководителей клиники станет получать больше него, министра. Я отдаю себе отчет в том, что в каких-то областях медицины это, может быть, сделать сложнее (хотя, если я правильно понимаю, суть арендного подряда в том, что все сотрудники клиники или института становятся совладельцами этой клиники и этого института), потребует больших первоначальных вложений и так далее. Допускаю, что, скажем, в

трансплантологии это и вовсе пока невозможно. Допускаю, что не всем ваши суперрадикальные изменения по плечу. Но хотя бы какие-то минимальные попытки. Кардиохирургия — сфера не самая легкая. Однако Амосов в Киеве ищет свои пути. Так вот, как вы полагаете, что мешает вашим коллегам начать зарабатывать деньги, получать валюту, покупать столь необходимое медицинское оборудование, лекарства, налаживать международные связи и так далее?

— Во-первых, отсутствие идей мирового уровня: в целом ряде направлений мы плетемся в хвосте. И, наверное, желания нет. Они делают 100—200 операций в год, а пятистам или тысяче больных говорят, что у них нет мест, не хватает оборудования, проблема со скальпелями и шовным материалом. В общем, извините, но ничего поделать не можем, идите, ждите, умирайте... Ради вас на баррикады мы не пойдем. Меня же в бешенство приводит, когда я должен людям отказывать, потому что у меня нет какого-то там микроскопа. Как это так? Я могу помочь, но из-за того, что какие-то управления в министерстве работают плохо, или потому, что кто-то, там, наверху, придумал для медицины остаточное финансирование, я, врач, должен нарушать главный принцип профессии — помоги. Значит, я должен стать министерством и еще не знаю чем в одном лице. Значит, должен. Врач при нашей системе не просто врач — так же, как поэт в России больше, чем поэт. Врач, я тебе уже говорил, еще и адвокат, который защищает интересы больного человека перед государством, перед молохом, который для того, чтобы потенциально убить кого-то, тратит колоссальные деньги, а чтобы спасти — мизер. Почему Плевако был хорошим адвокатом, а другие — хуже? Наверное, потому, что больше, чем другие, хотел помочь людям, которые приходили к нему за защитой. А не потому только, что хотел прославиться. Прославиться — это вторично. Главное — хочешь помочь или не хочешь.

— Так просто?

— Только так.

...Ответ действительно очень прост и, думаю, абсолютно точен. Общее дурное состояние нашей медицины для многих ее замечательных представителей стало своего рода индульгенцией. Может быть, в каких-то других профессиях это простительно, простительно плыть по течению и не пытаться самому что-то изменить. Но медицина имеет дело с жизнью. И со смертью. У нас этих смертей больше, чем в других цивилизованных странах.

Некоторое время назад я опубликовала репортаж из роддома, где появилась на свет моя замечательная девочка. Как нетрудно догадаться, репортаж этот не изобиловал радужными красками, номер роддома я не назвала, фамилий не указала, но его сотрудники без особого напряжения себя узнали. Гнев был велик. Спустя некоторое время я получила письмо от одной журналистки, которая писала мне, какой там замечательный главный врач, какой прекрасный коллектив, как они спасают рожениц и их детей и как мало средств у нас отпускается на роддома. Пафос письма: как вам не стыдно обижать хороших людей, они расстроились. Спустя некоторое время и программа «Время» показала сюжет из этого роддома, отметила, что вот есть тут, конечно, отдельные изъяны, а потом дала слово главному врачу. Главный врач говорил, как трудно работать, как мало отпускается средств, как тяжело и прочее другое. Я слушала и ждала, вот сейчас он скажет: но есть, конечно, в сложившемся положении и наша вина, и мы не все делаем, что надо бы. Ибо в своем репортаже я, в частности, задавалась вопросом: какие нужны особые вложения, чтобы починить унитаз и открыть душ? Не сказал. В этом все и дело. Федоров не только свою вину признает, но и чужую на себя берет. Не только рассуждает, как плохо, но и пытается это плохо исправить. И когда он говорит, что его цель — и оттого-то ему неймется — сделать максимальное количество людей счастливыми, вернув им зрение, он не лукавит. Ни на йоту не лукавит. Он врач. Такая у него профессия.

И он делает.

Федоров — человек добрый. И это главный ответ на вопрос, почему ему больше всех надо. Добрый. А потом уже деятельный, пробивной, настойчивый и так далее. По-человечески очень добрый. За аргументами отсылаю к очеркам «Открытие доктора Федорова», «Два плана доброты», «Отписка», «Десять лет спустя» Анатолия Абрамовича Аграновского.



Есть и другие ответы, менее тривиальные. Например, такой: ему интересно. Интересно заниматься экономикой, интересно думать о том, как повысить удойность протасовских коров. Интересно сделать так, чтобы советские люди могли носить очки с советскими оправами. Интересно оперировать. Интересно быть народным депутатом. Интересно тягаться с бюрократией. Ему жить интересно. И хочется прожить как можно больше жизней.

Наконец, есть еще одна версия. Ее автор — жена Федорова, Ирэн Ефимовна, его друг, собеседник и главный болельщик. Суть этой версии в том, что Федоров — эгоист. Все, что он делает, доставляет ему удовольствие. Ему доставляет удовольствие приносить людям радость. И чем больше он делает добра, тем больше он получает удовольствия. Жаль, что такой тип эгоизма редкость.

Можно и еще найти ответы на вопрос, почему ему больше всех надо. Желающим охотно освобождаю площадку.

## ДИАЛОГ ТРЕТИЙ: ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

— Святослав Николаевич, а что дальше? Институт вы в аренду взяли, на ферме создадите образцово-показательное сельское хозяйство, врачи у вас уже получают втрое больше, чем средняя зарплата по Союзу, филиалы откроете в Париже и где-нибудь на Филиппинах. Но, насколько я вас знаю, для вас это уже «мятый пар». Вам для внутреннего спокойствия нужны некие качественные скачки. Так что дальше? Вы как-то сказали: «Я животное целевое, мне необходимо видеть перед собой четкую цель». Какова она, эта цель, сегодня?

— Главная моя цель — заняться по-настоящему медициной, выйти на молекулярный уровень.

— Ну, наконец-то! А то мы говорим о чем угодно — о политике, об экономике, о проблемах здравоохранения, о выборах, но ни слова о медицине. Я даже, грешным делом, подумала, а не жалеете ли вы сейчас, когда получили такие возможности для политической деятельности и экономических экспериментов, не жалеете ли, что в свое время пошли в медицинский?

— В медицинский я, кстати, поступил случайно — просто хотел куда-нибудь поступить, и потом несколько лет по молодой глупости от девушек скрывал, что я врач, говорил: химик, инженер. Стеснялся: мол, здоровый мужик, а занимаюсь каким-то женским делом,— слабый пол в те годы составлял в медицине большинство. Я тогда еще не понимал, что медицина, хирургия — это потрясающе, фантастически интересно. Это Антарктида, а я чувствую себя Амундсеном! Ведь мы о человеке так мало знаем, так мало тратим на его познание, много меньше, чем на познание какого-нибудь кобальта, урана или плутония. Ты только представь себе, как же здорово попытаться наконец разобраться, откуда берутся заболевания, какие именно атомы начинают соскакивать со своих орбит, в результате чего все летит к чертовой матери. Что такое процесс старения? Что такое процесс воспаления? Можно ли эти кирпичи, из которых мы сделаны, менять, ремонтировать: взял молекулку, вынул, заменил ее другой, здоровой? Это же потрясающе! А мы ничего не знаем. Вот этим я и хочу заняться. Для этого нужно, конечно, собрать хорошую команду и нужны большие деньги, чтобы создать Центр молекулярной хирургии. Я получил 12 миллионов на строительство корпуса для Центра, и сейчас мы заканчиваем его проектирование.

— А кто вам дал эти деньги? Я почему спрашиваю: ведь в свое время на институт дало средства Всесоюзное общество слепых.

— Нет, сейчас это Совмин.

— Совмин? Святослав Николаевич, а почему, собственно, вам дают деньги, тогда как многим другим отказывают?

— Потому что видят, что вложения, которые раньше были сделаны, не только оправдываются, но оправдываются с лихвой. Вот смотри: на строительство филиалов в нас вложили 100 миллионов. Когда все они будут построены, МНТК станет делать 350 тысяч операций в год — это приблизительно столько же, даже больше, чем делает вся Российская Федерация, которая на это тратит 130 миллионов. То есть мы практически за один год окупаем все вложенные в нас средства. Каждый же последующий год я буду отдавать государству примерно 65—70 миллионов за счет того, что оно будет тратить на нас в два раза меньше, чем на все остальные офтальмологические операции России. О качестве я уж не говорю. Вот поэтому мне и дают деньги. А когда я прихожу их просить, то я не говорю, дайте мне деньги, потому что я такой хороший и ребята мои тоже хорошие, а предъявляю четкий экономический расчет: столько-то вылеченных больных, такое-то качество, такой-то экономический эффект от того, что слепые или полуслепые станут зрячими. И это, конечно, большое достижение перестройки, что логика экономики, логика затрат, прибылей, цифр начинает срабатывать. Надеюсь, я доживу до того времени, когда эта логика станет определяющей для всего нашего государственного хозяйства.

— Правильно ли я вас поняла, что вы придерживаетесь оптимистического взгляда на перспективы перестройки?

— Да, конечно. Я нисколько не сомневаюсь, что народ жаждет перемен, свободы духовной, экономической, творческой, что он заставит правительство создать социалистический рынок, который поможет объединению людей. Потому что рынок — это не только то место, фигурально говоря, куда мы приходим продавать и покупать, но место, где мы оцениваем друг друга по продуктам труда, оцениваем ум, талант, индивидуальность друг друга, выражая эту оценку экономическим языком. Без такого рынка нормальная жизнь невозможна. Именно он, этот рынок, позволит разделить некую безликую массу на индивидуальности, научит уважать человека, ценить личность, разрушит это идиотское представление, будто стоит только заставить весь этот огромный механизм, именуемый государством, работать четко, как ты, я, мы — все будем счастливы. Глупость это: счастье — привилегия личности, а не стада. И наша история это замечательно показала. Ведь что такое перестройка? Это выигранная забастовка — тихая, сидячая русская забастовка, которая длилась несколько десятилетий. И сегодня мы поняли: так больше сидеть-жить нельзя, надо начинать работать. Производительность труда уже спустилась ниже критической точки, коррупция и мафия опутали государственный аппарат, экономические связи порушены. Поэтому победить перестройку невозможно, она выиграна десятилетиями забастовки.

— Ну а если... если аппарат сделает то, что удалось сделать в свое время с Хрущевым?

— Сейчас вряд ли это возможно.

— Сейчас — какой рубеж вы имеете в виду?

— Выборы. Они существенно изменили соотношение сил в Верховном Совете. Теперь уже так просто не проведешь какой-нибудь противоправный закон, не примешь решение, за которое прежде голосовали единогласно. Как голосовал когда-то Пленум ЦК 1964 года. В Верховном Совете теперь есть люди, способные встать и сказать: нет! Не говоря уж о том, что альтернатива перестройке — а смещение Горбачева будет означать ее конец — диктатура, тоталитарный режим. Но у нашего народа *такой* уже опыт, мы все *такие* уже умные, что нас голыми руками, как наших отцов, не взять. Мы не дадим себя убивать. И смять нас теперь тоже трудно.

Каждый день он встает в 7.30. В 8.45 садится в машину. В 9.15 начинает утреннюю конференцию. Раз в неделю — его операционный день; операции сложные — глаукома, травматическая катаракта, близорукость высокой степени, отслойка сетчатки. Если нет операций, принимает посетителей — больных, иностранцев, журналистов, экономистов, фермеров. Одновременно в кабинете могут находиться несколько человек, часто незнакомых друг с другом. Они мило общаются между собой. И со всеми одновременно, объединяя всех своими прожектами,— общается Федоров. При этом он по «воки-токи» говорит с кем-то из своих сотрудников, дает указания помощникам и секретарям, наблюдает за 32 телевизорами, экраны которых, если все они включены, показывают 32 операции. Переговаривается с операционными бригадами, дает советы. Подписывает кучу бумаг и отвечает на массу звонков. Попутно заключает контракты, генерирует идеи и учит своих сотрудников работать. В кабинете Федорова можно провести целый день и не заметить, как он прошел.



В 8—8.30 вечера он уходит с работы. Машина отвозит его домой. Если Ирэн Ефимовны вдруг нет дома, он садится на лавочку у подъезда, ставит свой огромный портфель возле ног и ждет, когда жена придет. Ключей у него нет, и он не знает, в какую сторону открывается замок.

Если в этот день Федоровы не пошли в кино, театр, в гости к знакомым и друзьям, то после программы «Время» у него начинается общественная жизнь. Спать ложится в 2—3 часа ночи.

Успевает он колоссально много. Но не потому, что мало спит, а потому, что не суетится,— суетности в нем нет совершенно. Не суетился вокруг наградных кормушек, не стоял в очереди за званиями, не играл во всякие закулисные игры. Награды и звания приходили к нему сами. Или не приходили. Думаю, что, когда не приходили, ему было неприятно. Но он никогда не тратил на это жизнь, как многие другие. Ему это неинтересно.

Он считает каждый день. Последний раз, когда мы с ним виделись, ему, по его подсчетам, оставалось жить 4 тысячи 910 дней. В других тысячах, в тех, что прошли, уместилась огромная жизнь, в которой было все. На одном полюсе — изгнание его со свадьбы лучшего друга, потому что он, Слава Федоров, не вписывался в роскошный интерьер. На другом — он, Святослав Федоров, назначает директором одного из филиалов МНТК сына человека, который в свое время травил его в Чебоксарах.

Он писал когда-то Аграновскому: «Неужели я добьюсь возможности работать к тому возрасту, когда работать уже не смогу?» Он добился раньше.

И последнее. Я люблю Федорова. Я понимаю, что это сентенция из застойных времен, когда нелюбимых, за исключением, может быть, торговых работников, не было. Но я люблю Федорова. Я считаю это нормальным, когда журналист любит своего героя — в известном смысле, он роднится с ним, и потому его удачи мне столь же радостны, сколь болезненны промахи. Я люблю Федорова, потому что он любит людей и у него есть идея, а сам факт его существования очень помогает мне жить. Поэтому я должна еще раз низко поклониться Анатолию Абрамовичу Аграновскому за то, что двадцать пять лет назад он открыл Федорова, помог ему, а потом познакомил меня с ним. Я об этом помню...

P. S. Когда машинистка уже допечатывала последние страницы этого интервью, позвонил Федоров: сегодня, радостно сообщил, сделали, наконец, вертолетные площадки — возле клиники, в Дубне и в Протасове.

апрель 1989 года

---

Вл. Новиков

# ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

## СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ АНТИУТОПИИ

Завершается антиутопический век.

Думаю, одно из определений уходящего столетия может быть и таким. Поскольку именно XX веку выпала участь проверить на себе издавна формировавшиеся глобально-преобразовательные идеи, экспериментально испытать проекты улучшения человечества — и в итоге крепко усомниться в утопии как таковой, в самом феномене конструирования мира и человеческой жизни по предварительному плану и замыслу.

Думаю, что и литературный жанр антиутопии в пределах нашего столетия выкристаллизовался и «выложился» полностью. Вызревавшая в литературе со времен Свифта и Вольтера, предсказанная в своих основных очертаниях в «Легенде о Великом Инквизиторе» и в монологе Шигалева, художественная антиутопия явила в XX веке свои классические образцы. Конечно, в оставшиеся десять с половиной лет кто-то еще может попытаться пополнить тот ряд, в котором стоят «Мы» Е. Замятина и «О дивный новый мир» О. Хаксли, «Скотный двор» и «1984» Дж. Оруэлла, «Котлован» и «Чевенгур» А. Платонова, но едва ли это у кого-нибудь получится. Сама жанрово-композиционная структура антиутопии сделалась уже столь ощутимой и прозрачной, что ее дальнейшая эксплуатация чревата подражательностью, эпигонством. Антиутопия уже тяготеет к взаимодействию с другими жанрами и, возможно, растворению в них. Можно сегодня говорить об антиутопизме как свойстве произведений самых разных, включая сюда и роман А. Кестлера «Слепящая тьма», и роман В. Тендрякова «Покушение на миражи», и философскую сказку Ф. Искандера «Кролики и удавы», и фантастические романы братьев Стругацких, явившиеся нам в последнее время.

Разговор об антиутопическом начале в художественной литературе (естественно, в соотнесении с утопическим) мог бы составить — и, наверное, вскоре составит — предмет большой, обстоятельной и нескучной книги. Первые подступы к ней сделаны в двух чрезвычайно интересных статьях «Помеха — человек. Опыт века в зеркале антиутопий» Р. Гальцевой и И. Роднянской («Новый мир», 1988, № 12) и «Когда пробьет последний час природы... (Антиутопия. XX век)» А. Зверева («Вопросы литературы», 1989, № 1). Многое в этих статьях вызывает безоговорочное согласие, но вместе с тем и нежелание повторять то же самое другими словами. После того как уже опубликованы два таких историко-литературных (отчасти и философских) введения в изучение антиутопии, дальнейший о ней разговор должен быть совсем иным.

Каким же? Боюсь, что злободневно-полемическим. Почему боюсь? Да потому, что при недавнем обсуждении журнала «Знамя» в Союзе писателей уважаемый мною коллега посетовал на недостаток эстетического анализа в разделе критики, а по поводу одной моей статьи сказал, что ей вообще место не в критике, а в публицистике. Даже не знаешь, как к этому отнестись. Слово «публицистика» звучит сегодня во много раз престижнее, чем слово «критика», но пристраиваться к публицистам считаю для себя и нескромным, и неуместным: жизнь уже отдана писаниям на жанрово-стилевые темы, и отказываться от эстетического по преимуществу подхода к литературе я не собираюсь.

Но эстетика и поэтика — это не ведомство, изолированное от других учреждений, а между критикой и публицистикой в отличие от соответствующих журнальных отделов нет стены. И как раз вот одна из эстетических, структурных особенностей антиутопии заключается, по-моему, в активизации читательского отношения к самому материалу, освоенному художником. Поясню свою мысль. Антиутопия не замкнутый самодовлеющий мир, а действующая модель, «запустить» которую можно только одним способом — войдя внутрь нее не на правах зрителя, а на правах персонажа. Замятинское «Мы» — название всего жанра, о воссоздаваемых антиутопистами мирах невозможно сказать в третьем лице: «они». Как верно сформулировано Р. Гальцевой и И. Родиянской, «утопия социоцентрична, антиутопия персоналистична». Попробуйте изъять из замятин-



ского романа персонаж по имени Д-503, из романа Хаксли — Бернарда Маркса, из «1984» — Уинстона Смита, из «Кроликов и удавов» — Задумавшегося. Сразу рухнет вся постройка, хотя это все не то чтобы «положительные герои», да и вообще слово «герой» сюда не вписывается. Речь можно вести скорее о центральном персонаже, находящемся в поле действия тоталитарных сил. Это, как правило, жертва Системы, это в большинстве случаев человек, не только уничтоженный физически, но и сломленный духовно. Антиутопия, не преувеличивая возможностей личности в сопротивлении Системе, неизменно делает человека мерой познания и оценки социального строя.

В самой структуре антиутопии, таким образом, заложены сравнения «человек и общество», «человек и мир», несводимые к однозначным абстракциям, создающие художественную многозначность, что отличает этот жанр от гораздо более умозрительной и утилитарной утопии. Утопия в иллюстративной форме подает отвлеченную идею, антиутопия действует прежде всего эмоционально: подключаясь к ее сети и ставя себя на место персонажа, читатель пропускает через себя электрический заряд. «А сейчас,— не сказал, а прокричал Директор (ибо шум стоял оглушительный),— сейчас мы слегка подействуем на них электротоком, чтобы закрепить преподанный урок». Как ни жутка эта замятинская картина «формирования рефлексов» в «младопитомнике», она в какой-то мере моделирует болевой характер восприятия антиутопии читателем. Ничто здесь не льстит нашему самолюбию. Невелика радость отождествить себя с лишенным имени, пронумерованным персонажем Замятина. А читатель Фазиля Искандера, привыкший с удовольствием узнавать себя в юном Чике, слушать бесконечные (пусть порой и трагичные) истории дяди Сандро, не приходит в восторг, будучи поставлен перед необходимостью увидеть себя в одном из кроликов. Тут читателю не обойтись без каких-то внутренних жертв и потерь. Как резюмирует автор «Кроликов и удавов», «я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего». По этой причине антиутопия, по-видимому, никогда не сделается массовым чтением и обращение читателя к произведениям этого жанра будет всегда оставаться серьезным индивидуально-интимным духовным актом.

Поэтому как-то не очень уместным показался вынесенный на обложку «Вопросов литературы» бодро-призывный вопрос: «Чему нас учат антиутопии?» (к статье А. Зверева, как выяснилось, прямого отношения не имеющий). И немножко смутило изречение Евг. Евтушенко: «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла — это учебники антитоталитаризма». Мне кажется, что самое ценное в антиутопии — непохожесть на учебник, и сила жанра именно в том, что он отказывается учить, превращать читателя в школьника. Дело в том, что тоталитаризму учить можно, это показывают, к примеру, все показательные процессы — как над политиками, так и над литераторами. А вот антитоталитаризм — это не учение, это свойство социального бытия. Либо оно есть, либо его нет. Научить же ему нельзя, как нельзя научить теплу окоченевшего человека, не обогрев его, или научить голодного сытости, иначе как его накормив.

Парадоксально, но культ «учебы» и настойчивые призывы учиться особенно характерны для ситуаций культурного одичания: вспомним хотя бы недавние события истории Китая. Да и у нас в свое время стали обязывать учиться заново людей вполне взрослых и достаточно ученых. Нет сейчас под рукой «Некрополя», он пока еще у нас не издан, но, насколько я помню, Ходасевич принял окончательное решение об отъезде после того, как ему предложили читать лекции профессорам, а поэт счел не совсем приличным учить Модзалевского пушкинистике.

Нет, воздействие антиутопии не «учебное», а какое-то другое. Какое же? Тут, наверное, лучше пойти от собственного опыта «облучения» этим жанром.

О нацеленности романа «1984» на сталинский тоталитаризм достаточно убедительно сказал в своей статье А. Зверев. Вновь и вновь открываемые факты из нашей истории до 1953 года, да и после, дают читателю возможность для множества параллелей. Думается, потенциал действия антиутопии не ограничен хронологически. Почему бы не вспомнить тут не условно выбранную писателем дату («1984», как известно, простая метатеза цифры 1948 — года создания романа), а реальный, календарный 1984 год?

Год, когда зловещая тень Старшего Брата явственно присутствовала в нашей жизни. Царивший тогда культ безличности тайком протягивал руку не упоминавшемуся вслух культу личности. К. У. Черненко, приход которого к власти сопровождался всеобщим скепсисом и равнодушием к политическим вопросам, восстановил в партии одного из наших О'Брайенов — В. М. Молотова (о чем мы узнали позднее). Репутация И. В. Сталина носила амбивалентный характер, тревожно приближаясь к позитивной оценке. Киноактеры уже воссоздавали его образ в мужественно-сдержанных тонах, а литераторы—такие, как И. Стаднюк,— с откровенной и неподдельной симпатией. Сталин был, во всяком случае, упоминаем. Чего нельзя было сказать о многих его жертвах. Да и те, чьи девяносто- и столетние юбилеи скромно отмечались газетой «Правда», выглядели в ее статьях людьми, неизвестно от чего ушедшими из жизни в конце тридцатых годов. Формулировка «Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно» была полностью исключена из обихода.

«Изменчивость прошлого — главный

догмат ангсоца»,— говорится у Оруэлла. «Ангсоц» — литературная условность, а изменчивость прошлого хорошо ощущали все, кто работал в литературе, в печати под зорким оком тех инстанций, которым в «1984» соответствует министерство правды. «Профессионализм» литератора, журналиста, редактора определялся главным образом умением не пропустить в тексте ничего, что может вызвать красные пометки на корректуре. Помню, в «Литературном обозрении» печатались письма Заболоцкого. Не терпящий возражений красный карандаш потребовал изменить прошлое поэта и сделать так, чтобы он выглядел в публикации неуравновешенным любителем дальних странствий, неизвестно зачем устремившимся на Дальний Восток, а потом скитавшимся по Алтаю и Казахстану.

Изымались из библиотек книги, совершенно далекие от политики,— только потому, что их авторы выехали за пределы страны. Имена авторов вычеркивались не только из настоящего, но и из прошлого. Один мой коллега схлопотал выговор за то, что в отредактированном им материале упоминалось имя даже не Солженицына и не Войновича, а никому не известного третьестепенного литератора, незадолго до того эмигрировавшего (о чем не преминул донести в письменном виде один хорошо осведомленный читатель). «Радио зарубежное надо слушать»,— глумливо советовало в таких случаях начальство, хотя «голоса» тогда глушили и внимать им можно было только при большом терпении. На другого моего коллегу, впрочем, поступил в редакцию донос от соседки, уловившей доносящиеся из его квартиры чуждые радиозвуки. Ему удалось отговориться как раз «производственной необходимостью»: редактор должен быть в курсе. Кстати, про наше иновещание: один из его работников в передаче на английском языке внес в текст «отсебятину» и высказался о событиях в Афганистане примерно так, как о них все стали говорить три-четыре года спустя. Естественно, с самыми суровыми для себя последствиями. Его преследование считалось нормальным, так же как нормальными считались крупные неприятности у тех, кто попался на чтении книг, ныне воспроизводимых огромными журнальными тиражами, как казались нормальными лишения тех, кто говорил о правах человека. Академик Сахаров был в Горьком.

А что в литературе? Помаячил на переходе от 1983 к 1984 году в очередной раз призрак «положительного героя» и быстро исчез, журналы-близнецы вызывали зевоту, критику почему-то объявили главным методом руководства литературой, о чем, впрочем, тут же забыли. Одним из ходовых выражений было «мировоззренческая путаница», с которой без особенного темперамента, но все же боролись. Предполагалось по-прежнему, что у нас должно быть одно мировоззрение на всех. Неясно, правда, какое — цитатник из материалов последнего пленума или тот эклектический винегрет, который в вузах изучают под уродливым именем (вполне в духе аббревиатур Оруэлла) «днамата» и «истмата». Впрочем, о смысле слов думали тогда мало. Действовавший «новояз» был классически выдержан в духе двоемыслия, которого было повсюду предостаточно. Может быть, больше, чем когда-либо.

Вот очень приблизительный абрис года 1984-го. Это было всего лишь пять лет назад. И дело вовсе не в том, какие прогнозы Оруэлла сбылись, какие нет, а в том, что роман «1984» реально помогал — тем, кому посчастливилось уже тогда его прочесть,— понять свое время. И это немало. Было важно убедиться в том, что все существующее, каким бы абсурдным оно ни казалось, можно назвать по имени, что для всего есть имена.

Скажем, с того момента, как я узнал, что слово «партия» происходит от латинского слова «pars», обозначающего «часть, сторона», мое сознание никак не могло вместить в себя такой феномен, как однопартийность. Вроде бы частей, как и сторон, должно быть минимум две. Оруэлл сразу внес ясность в этот вопрос, показав, что необходимая бинарность мироустройства не утрачивается никогда, что единственная партия неизбежно разделится на две: внутреннюю и внешнюю. «Внутренняя партия» — лучшее определение того социального слоя, который в сталинскую эпоху пришел к власти. Оно и сейчас помогает ясно видеть явления, не подменяя их словами. Ведь столь часто используемое нами слово «бюрократия» в значительной мере истрепалось, сами бюрократы при помощи приемов двоемыслия умело отводят его острие на второстепенных клерков. Конечно же, бюрократ — это не всякий, кто сидит за столом, отнюдь не каждый «зав» или «зам». К «внутренней партии» принадлежат только те, кто располагает реальной властью, кто при всех раскладах, при любых понижениях все равно будет где-то и кем-то руководить. Размоют ли введенные с этого года альтернативные выборы народных депутатов тот вал, которым отборная номенклатура, «внутренняя партия» отделена от прочих смертных? Этот вопрос — в компетенции будущего.

Наивно было бы полагать, что жесткое тоталитарное *единомыслие*, описанное еще таким «антиутопистом», как Козьма Прутков, и неразлучное с ним демагогическое *двоемыслие* — свойства какого-то одного исторического периода, свойства, которые можно в более благоприятный период легко преодолеть. Антиутопический жанр не только социологичен, но и во многом философичен. Военное министерство в Океании называется министерством мира. Но пока существуют война и военные, будут существовать и такого рода эвфемизмы. «Военные люди защищают отечество»,— говорил тот же Прутков, не задаваясь вопросом о чужих отечествах, в которых военным людям доводится бывать. И такой сегодняшний реликт двоемыслия, как выражение «интернациональный долг», сохраняется не просто как пропагандистский штамп, но и как категория, обусловленная реальными житейскими интересами того совсем молодого полковника, который, выступая по телевидению, не одобрил документальный фильм «Боль» за «односторонность», за «однобокую» сосредоточенность на страданиях солдатских матерей.



Наше время интересно тем, что оно с неуклонной последовательностью возвращается к самым основным, исходным, «наивным» вопросам. Конечно, очень много сил уходит сегодня на споры о том, сколько будет дважды два. Но, поскольку полный текст таблицы умножения долго был нам недоступен и таился в спецхранах, каждому необходимо наглядно и самостоятельно убедиться в элементарных истинах. В этом смысле синхронное появление в нашем круге чтения целого ансамбля антиутопий весьма своевременно.

При всей своей логической разветвленности и композиционной замысловатости антиутопия как таковая содержит в себе сюжетное ядро, недвусмысленно перекликающееся с нынешней нашей ситуацией. Мы сейчас азартно спорим об идеалах истинных и мнимых, настраиваясь на воплощение идеалов в жизнь, на переход от слов к делу. Так вот антиутопия, сюжет которой — это всегда испытание идеи действием, заставляет задуматься над самой сутью стертой метафоры воплощения того или иного принципа в жизнь. Подчиняется ли плоть жизни, плоть человека (предельная реализация этого мотива дана, конечно же, Платоновым, феноменальность стиля которого — в свободе взаимоперетекания «плотского» и «платонического») внедряемой в нее идее?

Нет — отвечает антиутопия. Органика жизни и человека отторгает любую идею, берущую на себя право изменять ее изначальную и рассчитанную на вечность структуру. Мир идей обладает своей неповторимой ценностью и значимостью, но жизнь по своей природе (вопреки представлениям всех утопистов начиная с Платона), так сказать, безыдейна. Таково последнее слово этого жанра, и пытаться трактовать его иначе — бесплодная схоластика.

Не случайно ведь у Замятина, Хаксли и Оруэлла такую важную роль приобретают любовно-эротические мотивы. Государственное регулирование сексуальных отношений — наименее сбывшийся из прогнозов антиутопистов, да и не самый оригинальный: социализму с давних пор вменялся в вину принцип «общности жен», имеющий как раз, быть может, не только идейно-утопическую основу. Думаю, впрочем, что утилитарно-прогностическая роль этих сюжетных линий в антиутопиях — не главная. Это просто наиболее наглядный пример «безыдейности» человеческой природы, поскольку эрос весьма иррационален, с чем спорить не возьмутся самые отъявленные рационалисты и утописты.

Естественно, антиутопия не претендует на монополию в области абсолютной истины. Если утопия навязывает человеку веру в спасительную силу отвлеченных теорий, то антиутопия не вербует читателя в противоположный стан, она просто освобождает его от пут «теоретизма». А ими были мы связаны основательно. Культ теории последовательно внедрялся на всех уровнях. Начинаешь вспоминать годы детства — и вдруг видишь крупными буквами: «Без революционной теории нет и революционного движения», причем вывешено это почему-то в аптеке. Нет, я не против теории вообще: она может быть дельной — в конкретных науках, где между теорией и практикой существует сложная, многократно опосредованная связь. Культ теоретизма вызвал негативную реакцию и породил скептическое отношение, например, к теории литературы, развитие которой давно и надолго остановилось — но это уже к слову. Теория литературы не предписывает, как писать стихи, теоретическая физика не диктует, где строить атомные реакторы. А вот утопические «теории жизни», получая прямое отражение в социальной практике, неизбежно вступают в противоречие с мироустройством. Все-таки призвание философии — объяснять мир, причем разными способами. Когда же философия начинает заниматься изменением мира, это оборачивается бедой и для мира, и для самой философии, лучшие намерения которой сразу выворачиваются наизнанку и... «Свинцовым погребальным звоном приплыли слова:

ВОЙНА ЭТО МИР
СВОБОДА ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА».

(Дж. Оруэлл. «1984»)

А что же противопоставляет антиутопия тотальному «теоретизму»? В чем ее позитивное, созидательное начало? Каков общий духовный знаменатель тревожных раздумий и сюжетных экспериментов писателей разных национальностей и поколений, разных религиозно-философских убеждений и литературных традиций?

Гуманизм? Несомненно — в том смысле, что сам факт существования антиутопии безусловно способствует упрочению гуманистических принципов. Вера в неистребимость человеческого в человеке — исходная аксиома антиутопического мышления. Но эта спокойная и сосредоточенная вера глубоко интимна и далека от экстатического воспевания человека с большой буквы. Жизнь — штука коварная. И декларативный гуманизм легко поддается уловкам двоемыслия. У всех нас в памяти со школьных лет громкие чеканные строки из пьесы «На дне». Только отчего это они так легко забалтываются, перестают сознательно

восприниматься? А Иннокентия Анненского (которого в нелюбви к человеку заподозрить трудно) они озадачили сразу по выходе пьесы: «Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он — все, и что все только для него?..»

Дело в том, что фетишизация человека тоже вписывается в систему двоемыслия и приведенную выше матрицу Оруэлла легко пополнить еще одним звеном: «Человечность — это бесчеловечность». Идея человека с большой буквы легко становится прикрытием для уничтожения множества людей с буквы маленькой. Да и в «вегетарианские» времена лозунги типа «все для человека, для блага человека» хорошо годятся для маскировки переполненных вокзалов и пустующих прилавков. Молва не преминула в застойные годы добавить к этому лозунгу приписку: «И мы знаем имя этого человека».

Антиутопия — жанр без восклицательных знаков, жанр, изначально отрицающий любой пафос. Вот что говорит Задумавшийся у Искандера: «Не надо злоупотреблять словом «победа», даже если это победа разума... Я бы заменил его словом «преодоление». В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков...» Ну, а что же может служить реальной мерой преодоления?

Рискну ответить от имени жанра: здравый смысл.

Конечно, словосочетание это не очень красивое. Оно не несет в себе всеобъемлюще-универсального размаха. Скажем, наука и искусство развиваются в постоянном конфликте со здравым смыслом, возвышаясь над ним при результатах положительных и отдавая на осуждение и осмеяние здравому смыслу результаты отрицательные. Но социальная практика целого народа, целой страны — дело другое. Здесь смелые эксперименты уместны в гораздо меньшей степени — о чем и свидетельствуют все без исключения антиутописты.

Художник, поэт, философ могут в своих поисках метаться между индивидуализмом и соборностью, между богоборчеством и богоискательством, в каждой из крайностей достигая значимых духовных результатов и избегая прямого контакта с обыденной логикой, со здравым смыслом. Но если государство категорически предпочтет коллективизм индивидуализму и положит этот абстрактный принцип в основу аграрной политики, ему потом неизбежно придется вернуться к здравому смыслу и в более или менее явных формах приступить к деколлективизации сельского хозяйства. И если государство объявит себя «воинствующим безбожником», а атеизм сделает политической категорией,— то ему придется со временем подчиниться доводам здравого смысла и пойти на сближение с церковью. Причем и то, и другое приходится исправлять с большими потерями. Трудовые навыки земледельца утрачены, храмы разрушены. Возвращение к исходной точке небезболезненно, но абсолютно неизбежно.

Здравый смысл не учение, а всего лишь точка отсчета. Он ничего не предписывает, а лишь недвусмысленно свидетельствует о неудачах. Он и дает о себе знать главным образом в негативных ситуациях, по принципу «от противного». Но зато и демагогическим передергиваниям он не поддается.

Поэтому никакие выкладки не в состоянии оправдать чудовищную унификацию людей, право общества распоряжаться жизнью своих членов, подвергать их «смертовоспитанию», как у Хаксли, и Великой Операции, как у Замятина. Как шигалевский проект мог увлечь только пастырей, но отнюдь не паству, так и Единое Государство свои аргументы спускает сверху, не допуская их обсуждения. Ибо здравый смысл — всегда на стороне «простого» человека, на стороне жертвы.

Рационализм технократических тоталитарных систем в романах «Мы» и «О дивный новый мир» — призрачный, кажущийся. Просто невозможно представить читателя, способного подумать: а что, в этой системе есть своя логика и своя правда. Более сложный случай— «Чевенгур», где идея унифицирующего равенства исходит, так сказать, снизу. Роман Платонова, прочно связанный, как уже не раз отмечалось, с народно-утопическим мышлением, с русской философско-утопической традицией, нам еще предстоит многократно перечитывать и осмысливать не только в контексте XX века, но и уходя, что называется, к корням. Роман, во всяком случае, резко противоречит расхожим разговорам и писаниям об «импортном» характере революции в России и решающей роли «инородцев» в ее осуществлении. Утопизм и антиутопизм в «Чевенгуре» взаимодействуют на уровне фразы, на уровне слова, образуя причудливый полилог, создавая сложный музыкальный синтез. Копенкин, Чепурной, Пашинцев — это все не столько характеры, подлежащие моралистической оценке, сколько персонифицированные голоса самого социального бытия Во всем этом «слышится родное», российское, кровное. Читательская дистанция здесь гораздо короче — тем более, что Замятин и Хаксли свои технизированные миры отнесли к отдаленному будущему. Да и теперь оно все еще отдалено, если посмотреть на реальный уровень технического прогресса и материального благосостояния нашего современного общества.

И при всем том, что чевенгурцы вызывают у нас сочувственно-жалостливое отношение, нам сегодня отчетливо видна страшная разрушительная суть эгалитарной утопии, сформулированной в «символе Чевенгура»: «Товарищи бедные. Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и желаете лучшего — друг друга. Ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с про-



хожих дорог». Эта косноязычно-наивная мечта стремительно движется наперекор здравому смыслу, полагая условием равенства уничтожение «удобства и вещи».

Читая «Чевенгур», задумываешься о предпосылках утопизма, заложенных в самой человеческой природе. В самом деле, все мы немножко утописты хотя бы потому, что даже свои индивидуальные жизненные планы строим на весьма шатких основаниях: «Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем». А наши дерзновенные проекты регулирования всеобщей жизни наивны, поскольку, как было однажды замечено, ни один из нас не может получить для этого даже «смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу»...

Ну, это, так сказать, философская лирика, а инфантильно-путаный язык чевенгурской идеологии навеял мне вдруг личные воспоминания из дошкольного возраста. В эту пору жизни наше социальное мышление отличается наибольшей цельностью, оно еще не разъедено скепсисом и свободно от индивидуалистических тенденций. Городской двор — наша первая «коммуна», средоточие «роевого» духа и идейной «соборности». Естественно, во дворе наряду с другими новыми словами впервые было услышано и слово «коммунизм». Как мы тогда его объясняли друг другу? Формулу «от каждого по способностям, каждому по потребностям» мы еще не слыхали, да и понять не смогли бы. (Впрочем, каюсь, я не вполне ее понимаю и теперь. Ну, с первой половиной более или менее ясно: талантливый шофер Л. И. Брежнев должен был бы работать в таксопарке или в автоколонне. А вот как быть со второй половиной, с потребностью Л. И. Брежнева коллекционировать первоклассные автомобили иномарок?) Так вот, наше детское «рабочее определение» коммунизма было следующим: это когда не будет денег и все будет бесплатно.

Деньги были категорией сугубо негативной, символом зла. Точно так же, как в антонимической паре «богатый — бедный» первое прилагательное значило «плохой», а второе — «хороший». Мы узнавали из детских книжек любимую песню Володи Ульянова: «Богачу, дураку, и с казной не спится, бедняк гол как сокол, поет-веселится» — и даже предположить не смели, что богатство может быть приобретено за счет высокой культуры и эффективности труда, а веселящийся бедняк мог оказаться просто бездельником, а то и пьяницей.

Осуждение богатства, идейная неприязнь к «тельцу златому» так въелись в сознание, что, помнится, меня впоследствии изумил один пассаж в «Письмах русского путешественника»: «Мы... хвалим прекрасную выдумку денег, которые столько чудес производят в свете и столько выгод доставляют в жизни. Кусок золота — нет, еще лучше: клочок бумажки, присланный из Москвы в Лондон, как волшебный талисман, дает мне власть над людьми и вещами: захочу — имею, скажу — сделано... стукнул в руке беленькими кружками,— гордые англичане исполняют мою волю...»

Николай Михайлович Карамзин, наверное, не придавал этому своему размышлению принципиального значения, и слова «прекрасная выдумка» скорее обусловлены законами сентименталистского стиля, чем социально-экономическими убеждениями автора. Не более чем лирический трюизм, эмоционально изреченная истина здравого смысла. Но как впечатляюще звучит она для сегодняшних «русских путешественников», скажем, для артистов, привозящих с собой в Лондон вместо «беленьких кружков» плавленые сырки и пакеты с суповыми концентратами!

Что там говорить, мы сегодня вовсю пожинаем плоды уравнительно-утопического мышления, сделавшего своей стратегией не «чтобы не было бедных», а «чтобы не было богатых». Несколько туманный и расплывчатый принцип распределения «по труду» приобрел реальное толкование «по месту работы», «по занимаемой должности». Я уж не говорю о «спецснабжении» как неизбежном следствии практического устранения «прекрасной выдумки денег», но возьмем сферу торговли, постоянно нами обсуждаемую и осуждаемую. Пройдясь мимо пустых прилавков, мы видим вечером при помощи телевидения и активистов союза потребителей подсобные помещения магазинов, где хранятся утаенные от нас товары и продукты. Мы дружно ругаем «торговцев», «торгашей», но мы просто неправильно их называем. Ибо работники наших магазинов торговлей не занимаются. Торговля, согласно здравому смыслу и толковому словарю (не Даля беру, а как раз словарь нашего времени),— это «деятельность по обороту, купле и продаже товаров». То есть чтобы торговать, надо сначала самому купить, и целью торгующего является продажа с выгодным оборотом товара. Наши же магазины осуществляют не торговлю, а распределение. И естественно, работники магазинов подходят к этому процессу творчески, стремясь распределять товары не хаотически — первому встречному, а как-то более логично и сообразно своим целям, своему здравому смыслу. Любые попытки волевого на них воздействия заведомо утопичны.

Прошу прощения за «низкие» материи, но просто они наиболее наглядные примеры дают. Перейдем к сфере высокой, где уравнительные тенденции тоже по-своему сказываются. Весной проходили выборы народных депутатов — и результаты тайного голосования в творческих союзах заставляют кое о чем задуматься. За чертой осталось немало ярких личностей, темпераментных людей, способных реально отстаивать в будущем парламенте интересы народа, интересы культуры. В чем тут дело? Не в той ли самой чевенгурской солидарности «бедных», их «желании друг друга» и нежелании способствовать продвижению «бо-

гатых» — богатых, конечно, не деньгами, не нашими «утопическими» рублями, а идеями и инициативностью. Опять-таки налицо расхождение со здравым смыслом. Депутатство ведь не льгота (хотя раньше оно именно сводилось к «депутатским залам» и «пайкам»), а ответственное бремя (во всяком случае, оно должно им стать). Но у нас все пока привыкли мыслить категориями распределения, а не категориями созидания. И желающий созидать постоянно рискует быть выведенным из игры.

Сегодняшняя наша жизнь отмечена обострившимся противоречием между здравым смыслом и дошедшей до абсурда рутиной, безответственными прожектами и все еще привычными разговорами о светлом будущем. Настоящее требует к себе уважения. Утопические соблазны открываются вновь, один из характернейших примеров — реанимация националистических утопий. И навыки антиутопического мышления, умение совладать с культом отвлеченной идеи чрезвычайно полезны.

Вкус здравого смысла нередко оказывается горьким. Дорого приходится платить за долгие годы обещаний вроде «5 в 4!», что в переводе на язык здравого смысла обозначает: дважды два — пять. Мы вынуждены вернуться к подлинной, неотредактированной, не прошедшей утверждения в отделах и секретариатах таблице умножения.

Жесткая, неромантичная, отнюдь не окрыляющая эта таблица. И тем не менее приходится все на нее пересчитывать, обнаруживая бесконечный поток приписок, скрытые убытки в миллионах рублей, тонн, человеческих жизней.

Кажется, мы понемногу научаемся ценить вкус правды. При всех спорах о сегодняшней прессе вроде бы бесспорна репутация еженедельника «Аргументы и факты». Но и то сказать, факты там идут намного впереди аргументов. Вот следователь по особо важным делам Е. Мысловский разворачивает в № 14 от 8—14 апреля 1989 г. довольно мрачную картину из жизни нашей Фемиды, рассказывает о глубоко противоречивых результатах чурбановского процесса, где многие хитрые лихоимцы отделались легким испугом. И тут же маститый эксперт спешит подсластить пилюлю: «Добиться коренного изменения сложившейся ситуации можно в течение двух-трех лет. Но для этого надо исполнять все действующие законы без каких-либо изъятий». Но ведь только что шла речь о несовершенстве этих законов! А главное: откуда эти «два-три года»? Почему не четыре-пять или не шесть-семь? Как говорит один персонаж Жванецкого, каким аргументом вы аргументируете?

«Общество обещаний» — так определил нашу реальность в написанном в 1980 году и еще пока не опубликованном романе «День Зверя» Виктор Соснора. Если мы не учтем такой суровый диагноз, то никогда не излечимся. Преисподняя, как известно, вымощена благими намерениями. А обещание — это благое намерение, получившее социально-идеологическое закрепление.

«Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»,— гремело из репродукторов в год первого полета человека в космос и выноса Сталина из Мавзолея. Через три года после травли Пастернака и за три года до процесса Бродского. В год дефицита и бесхозяйственности, в год принятия очередной порции невыполнимых планов. «Партия торжественно предполагает», — пародировали иные остряки. А уже в восьмидесятые годы молва выдвинула такую усеченную формулу: нынешнее поколение советских людей будет жить...

В этимологическом словаре Макса Фасмера слово «обещать» связывается с обетом, с принесением в жертву. Каждое обещание предполагает какой-то залог и в случае неисполнения — жертвы. Жанр антиутопии показал это с категорической неоспоримостью.

Так что уж если извлекать из этого жанра уроки, то главный из них, по-моему, должен быть таким: больше не обещать...

...Телефонный звонок. «Да, я. Статья? Да, помню, что обещал еще полгода назад. Она уже в общем готова, только перепечатать осталось. В понедельник — твердо».

Сажусь за стол, пишу первую фразу. Если и успею к понедельнику, то потом придется недели две в себя приходить.

Да, мы обещаем, нам обещают. Из радиоприемника льются слова о повышении эффективности сельского хозяйства на основе научно-технического прогресса. По щучьему веленью, «на основе» волшебной палочки...

---



# Глагол времен...

Никто из нас, читателей,— и, допускаю, даже сам автор — пока еще не в силах определить, сколь широко раскинется и каких глубин достигнет то эпическое море, в которое вплыл А. Ананьев первой книгой романа «Скрижали и колокола».

В известной мере роман продолжает то плавание, которое совершила его предшествующая, тоже эпопейного замаха книга «Годы без войны». И в обоих случаях он избрал объемные и нелегко поддающиеся логической «раскодировке» заглавия, хотя в каждом из них все-таки можно уловить некий нервный центр.

Первый роман был движим вопросом, как же мы прожили, как оправдали годы, оплаченные великой народной кровью во время войны. И все повествование было пронизано тревогой и болью за то, как во многом «наперекосяк» пошла жизнь самых разных социальных слоев и в деревне, и в городе.

Теперь же, вглядываясь в бурлящее народное море современности — оно-то в конечном счете определяет глубины того эпического пространства, куда направился корабль нового романа,— А. Ананьев продвигается дальше. Он отыскивает и утверждает те необходимые для нравственного здоровья всего общества «скрижальные» заповеди, заветы, установления, ради неотложного воплощения которых нужно бить в набатные колокола, созывая, собирая воедино весь народ.

И потому, что жизненное море современности так велико, что желанные дальние берега еще плохо просматриваются, и потому, что сами заповеди побуждают к вдумчивому и прочному их освоению,— так неторопливо, внешне «малосюжетно» действие романа.

Сравнительно немного в романе персонажей, расчетливо отобранных автором за их выразительную «типажность». Да и сама интонация, внутренняя структура фраз отвечает такому внутреннему движению мысли при внешней событийной «малоподвижности». Так, взглянув в квартире свояченицы на коллекцию африканских масок, автор продолжает фразу: они «представлялись даже будто богатством, обладательницей которого она была. Но мне казалось, да и кажется теперь, что нет большей безвкусицы, чем подобное, не в русских традициях, украшательство наших жилищ, и от этой ли безвкусицы или от самих масок с их омертвелыми оскалами во мне начал подниматься какой-то будто общий протест против неистребимой человеческой глупости, слишком уж во всем сегодня сопровождающей нас». Так вместо короткой клеймящей фразы писатель совершает своего рода восхождение по все более расширяющимся кругам обобщения.

И так почти всегда: при всей точности, саркастичности авторского взгляда роман ориентирован на то, чтобы заставить читателя вдуматься в увиденные картины современной жизни. Наверное, не каждый читатель — особенно из тех, кто расположен к лаконичной, пружинно сжатой фразе или остросюжетным завихрениям,— легко втянется в этот ритм повествования. Но только втянувшись в него, постигнешь и характер, и суть, и цель всего художественного движения.

Как и в «Годах без войны», в новом романе автора интересуют не какие-то отвлеченные абстракции. Его тревожат самые, может быть, главные сегодня вопросы: как почувствовать себя человеку хозяином в жизни, хозяином на земле, как исполнить свой долг перед простым народом, перед которым все мы — такова уж давняя традиция русской литературы — чувствуем себя в долгу, ибо не дали ему того, что было щедро и доверчиво обещано нами же, интеллигентами. Как преодолеть все увеличивающийся разрыв между простым народом и интеллигенцией?

В сущности, тема «интеллигенция и

---

**Анатолий Ананьев. Скрижали и колокола. Роман. Октябрь, №№ 1—2, 1989.**

народ» поистине безгранична, вбирает множество аспектов, споров, туго завязавшихся узлов. Но, может быть, самое главное в ней — умение постичь, чем же живет народ, чего хочет, на что надеется. Не провозвестить и уж тем более не навязать новые скрижали, а увидеть весомость и истинность тех заповедей, которые выросли из народных чаяний и устоев, но столь часто оборачивались против народа же.

И не поэтому ли — хотя, вероятно, и по каким-то биографическим причинам тоже — А. Ананьев оперирует двумя простыми категориями: **народ**, имея в виду тех, кто трудится в деревне, на земле, и **элита**, под которой он разумеет разного рода руководящих говорильщиков, но прежде всего склонную к празднословию творческую интеллигенцию? Ни заводская жизнь, ни научно-техническая интеллигенция его в данном случае не интересуют, поскольку это неизбежно увеличило бы круг вопросов и раздробило суть ответов. А ориентиры в таком плавании должны быть крупными, «маяковыми».

Три основных сюжетных блока удерживают повествование. Сначала это вернисаж в старой деревенской мельнице — своего рода загородном летнем салоне художественной «элиты», полагающей себя выразителем мнений народных. Затем — городская квартира, на которой происходят бдения по новомодным зарубежным рецептам того, как избавиться от духовной пустоты и душевных напряжений.

А все эти пустые слова и забавы и «хваленых наших деревенщиков», и «еще более захваленных западников» как бы проверяются жизнью крестьянского двора колхозницы Анастасии Федоровны: этот двор для автора — своего рода плацдарм, символ, оплот истинной сути происходящего сейчас. Анастасия Федоровна «прожила долгую, нелегкую и типичную для многих русских деревенских женщин жизнь». Достаточно сказать, что она вдова солдата, павшего на войне, а единственная дочь, Светлана, свет в окошке, упорхнула в город,— и каждый легко представит ее жизненную ношу. Судьбой этой крестьянки и поверяет Ананьев все высокоумные построения «спасителей народа».

Многое множество саркастических слов сказано в романе об интеллигенции, особенно о столичной «элите», заведшей в тупик наше хозяйство, наши нравственные устои (есть и такое: «столичные прыщи»). Активно вторгаясь своим прямым авторским словом в повествование (впервые у А. Ананьева сам автор открыто действует в ряду других персонажей), он даже обобщает: «Захотим ли мы или не захотим признать, но существует народное и столичное восприятие жизни». Но было бы неправильным видеть в этом плоское деление на народ и столичных «интеллектуалов», которое так часто звучит со страниц некоторых изданий.

Это раздумье подпирается, наполняется всем реальным смыслом того, что вкладывает автор на протяжении романа в понятие народа, как хранителя опорных устоев жизни, и столичных пустозвонных радетелей «за народ», «от имени народа». Прямо говорит он о том, с чем сталкиваемся мы не только в Москве, а и повсеместно: «Празднословие и развращенность элиты и отупляющая безысходность тех, кто пашет, сеет и не находит выхода из своих повседневных забот». Так что вызывающе значительное название «Скрижали и колокола» вполне соответствует такой постановке вопроса.

Но, разведя народ и «элиту», автор сводит народ и народную интеллигенцию на некоем высшем уровне, введя на роль центрального персонажа Ивана Егорыча Беспалова, который надолго приехал в Лыково собирать материал для книги «Наблюдения за жизнью простых людей»,— именно такие наблюдения и должны подтвердить то «дошедшее до нас из глубин **народное** восприятие целей и существа жизни», те опорные истины, которые запечатлены на скрижалях. А родом этот «подвижник-исследователь народной жизни» из семьи потомственных московских интеллигентов — «одной из тех редкостных теперь интеллигентских семей, о которых, как и о крестьянских, говорят, что они вымирают, как вымерли некогда целые народы, оставив после себя лишь памятники величия человеческого духа».

Так что, пожалуй, в равной мере болит у автора душа и за народ, и за русскую интеллигенцию.

Невысоко, кажется, по духовному наполнению то благо, которого хочет автор народу, но в том-то и дело, что идет он не от идеалистических мечтаний, а от естественного желания человека иметь дом, семью, вкусно и сытно есть, одеться по-современному. Все это, говорит автор, «с легкостью названо у нас (людьми обеспеченными) мещанством, потребительством, бытовизмом, но что, по моему глубочайшему убеждению, является естественной потребностью человека, без удовлетворения которой он теряет интерес и к работе, ничего не приносящей ему, и к жизни». Это и есть главный пафос книги: исходить из естественных потребностей тех простых людей, «для которых вера в справедливость и труд есть высший источник и стимул жизни».

Многое в романе и в чертах персонажей, и в гротескно обнаженных ситуациях, и в рассуждениях автора звучит непривычно даже для столь многое уже сказавшей литературы последнего времени: «Напрасно полагать, что русские люди не имеют гордости; они горды и не хотят и не будут просить милости у власти, которую поставили над собой и которая называется народной, и уносят в могилу свои обиды и неудовлетворенность жизнью». Особенно выделяется та саркастичность, с которой он обрушивается на разного рода радетелей за народ, единственная цель которых — собрать дивиденды на своем профессионально умелом плаче, ибо за их словами о красоте и значимости крестьянского быта нет реального представления о том, насколько же тяжелым был и остается этот быт, и оттого их заискивающие слова не ведут ни к каким жизненным делам, как не ведут их и отвлеченные суждения «элиты».



Давая своим персонажам возможность высказать самые разные взгляды на предназначение народа, на пути достижения действительного блага, на истоки и следствия российского славянофильства, сам автор твердо стоит на «земной почве», ибо для него абсолютно ясна непосредственная и прямая зависимость **нравственного** состояния общества от его **социального** состояния.

Благодаря пониманию этой взаимозависимости нравственного и социального широко и свободно входят в сюжетную ткань авторские суждения о самых разных сторонах нашей сегодняшней жизни — от раздумий об уроках истории, учащих тому, что жизнь обычно возвращается на круги своя и не возвращаются к жизни лишь нации и народы, не сумевшие отстоять своей самобытности, до горестных сетований на то, что все больше становится одиноких женщин, обделенных семьей и материнством, «что как раз, может быть, и составляет высший смысл бытия», и едкой насмешки над теми, кто еще верит тому, будто «в хозяйственный аппарат власти пробрался некий штирлиц и вредил делу».

Но наибольшее внимание все-таки привлечено к размышлениям о корнях нравственности и о том, в каком соотношении с социальными проблемами находится нравственное самоочищение личности.

Нет нужды сколько-нибудь полно обозначать их, ибо они неотторжимы от всего происходящего с персонажами, тем более, что дальнейшее движение романной жизни — в соответствии с движением самой жизни — будет выносить на поверхность все новые и новые проблемы.

Но наибольшее внимание все-таки приударную силу опубликованной первой части? В злободневности тех проблем, которые нужно решать неотложно — и каждому из нас: как и куда приложить руки тем, кто действительно намерен совершенствовать народную жизнь.

Не стенания, не заклинания, не прорицания, а социальные действия могут изменить что-либо. Клясться в любви к народу нетрудно — пустозвонить о ней навострились многие. Автор же и его герои озабочены тем, какие реальные усилия для социального переустройства жизни нужно предпринять сегодня.

**А. Бочаров**

# В полосе дождей осенних

С легкой руки Марины Цветаевой («Мой Пушкин»!) у многих из нас есть «свои» писатели и художники, политические деятели и полководцы. «Мой» Бухарин окончательно сложился не только из его работ, которые в силу своей профессии историка я мог читать и в пору их заточения в спецфондах, и не только из читанной лет десять назад книги Стивена Коэна (впервые она была издана в США в 1973 г.), но и еще... из нескольких бухаринских слов. А. Борин в статье «Ритуал» (ЛГ, № 47, 1988 г.) привел короткий отрывок из письма Бухарина его первой жене, Надежде Михайловне Лукиной. Всего лишь за полгода до своего ареста он советовал ей поскорее уехать лечиться на юг, «...чтобы не очутиться в полосе дождей осенних». Вот эти бесхитростные слова и дорисовали в какие-то секунды «моего» Бухарина. Да, формально иные авторы правы, когда говорят, что все, мол, «они» одним миром мазаны, все перепачканы кровью. Бухарин, как и большинство его товарищей по партии, был соткан из трагических противоречий, из тьмы и света. И все-таки одни из них стали палачами, другие — никчемными посредственностями, а Бухарин остался человеком, с обостренными чувствами, обнаженными нервами, ранимой душой. Это — главное.

Еще до официальной реабилитации Бухарина (февраль 1988 г.) в нашей печати появились первые публикации о нем, вышли несколько сборников его работ, а в начале этого года на книжных прилавках появилась (точнее — промелькнула) широко известная во всем мире книга американского историка Стивена Коэна. Не без иронии автор вспоминает в предисловии, что всего несколько лет назад его работа квалифицировалась у нас как «клеветнический опус», а в 1979 году она даже была конфиско-

**Стивен Коэн. Бухарин. Политическая биография. 1888—1938. Перевод с английского. М., Прогресс, 1988.**

вана на очередной Московской международной книжной ярмарке. Летом 1981 года в «Литературной газете» появилась заметка о Коэне под названием, звучащим сейчас прямо-таки пародийно: «Пакостник из Нью-Йорка». И вот, наконец, сегодня мы имеем возможность самостоятельно разобраться в этой книге, «выставить» собственные, не директивные оценки.

Главное достижение работы Коэна — это, конечно, подробный политический портрет Бухарина в контексте времени, развернутый анализ его теории, яркая, динамичная картина внутрипартийной борьбы 20—30-х годов. На обширном пространстве своей работы Коэн, кажется, ни разу не сбился с пути, с самого начала ясно представляя, что и как он хочет написать, выделяя главный аспект: «являлась ли собой новая экономическая политика, которую Ленин ввел в 1921 г., а Бухарин позднее развил и защищал, жизнеспособную альтернативу «великому перелому», осуществленному Сталиным в 1929 г.?» В этой связи Коэн выдвигает понятие «бухаринизма», определяемое им как «более либеральный и гуманный вариант русского коммунизма с его врожденными авторитарными традициями». Здесь нам в пору, конечно, обидеться и встать в позу... Вряд ли стоит это делать: автор вполне доброжелателен и к нашей истории, и к ее ключевым персонажам,— просто он писал свою работу без привычного для нас давления конъюнктуры и формулировал все именно так, как ему хотелось и виделось, а не «как надо».

Непредвзятая позиция Коэна помогла ему хорошо разглядеть и поместить в центр работы столь волнующие нас сегодня внутрипартийные конфликты тех лет. Автор напоминает о времени «дуумвирата» Бухарина и Сталина (глава седьмая), внутри которого «существовало приблизительное разделение обязанностей: один (Бухарин.— **С. Б.**) занимался формулированием вопросов политики и теории, другой руководил организационным механизмом». Рассматривая эволюцию «дуумвирата», Коэн приходит к важным теоретическим выводам относительно природы сталинских расправ с оппозицией. «Правительства,— пишет он,— обычно реагируют на реальные или воображаемые кризисы либо объединением с оппозицией под единым знаменем, либо подавлением ее. Сталинско-бухаринское руководство избрало второй путь... Начиная с лета 1927 г. левые стали подвергаться усиливавшимся репрессиям, угрозам и давлению. Они впервые стали объектом систематических преследований».

Здесь мы подходим к сложнейшему вопросу в биографии Бухарина. В отличие от множества скороспелых публикаторов статей о нем Коэн не идеализирует своего героя, прямо говоря, в частности, что «как и другие основатели Советского государства, он ответствен за убийства во времена сталинского режима». И как нам ни хотелось бы возразить, приходится согласиться с Коэном, в том числе и с такими его словами: «Нормы партийной демократии 1917 г. так же, как и почти либеральный и реформистский облик партии начала 1918 г., уступили дорогу безжалостному фанатизму, жестокой авторитарности и проникновению «милитаризации» во все сферы жизни». Ни истории, ни нам, грешным, не перечеркнуть таких вот слов Бухарина: «...пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов (увы! — так и сказано.— **С. Б.**) и кончая трудовой повинностью, ...является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Дорого пришлось заплатить Николаю Ивановичу за поддержку Сталина на начальном этапе расправы с оппозицией. Коэн убедительно показывает, что разгром «троцкистско-зиновьевской» оппозиции в 1927 году, когда Бухарин столь наивно выступил в союзе со Сталиным, был лишь первым звеном в цепи последующих расправ с неугодными. 1928—1929 годы «ознаменовали переход от преимущественно открытой внутрипартийной политики 20—30-х гг. и последующего времени». В недрах этой тайной политики и решилась судьба Бухарина. Слишком поздно разобрался он в некогда любимом им «Кобочке»: «Это беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти. Меняет теории в зависимости от того, кого он в данный момент хочет убрать».

Разумеется, Коэн с более чем достаточной полнотой представил не только «негатив», но и «позитив» в биографии Бухарина. По об этом «позитиве» (хотя и не столь полно) уже многократно сообщала отечественная печать, вольно или невольно делая это в духе прежних традиций, когда во всем многообразии мира мы видели лишь крайности: «наш» — «не наш», «черное» — «белое» и т. д. Но американский историк рассказал о Бухарине честно и непредвзято, и за это, думается, мы должны быть ему благодарны.

Отмечу и то, что автору удалось выйти далеко за рамки бухаринской биографии и в значительной мере понять существо событий, в водоворот которых оказался ввергнутым его герой. Вот одно из характерных замечаний: «Цель создания государства-коммуны отражала утопические устремления большевизма. ...Она была изначально обречена на провал потому, что подразумевала, будто современное индустриальное общество... может существовать в условиях несложного административного порядка, легко управляемого неспециалистами». Разве эти слова не звучат актуально и сегодня, когда у нас сверх всякой меры расплодились «неспециалисты» — и в экономике, и в политике?

Не могу удержаться, чтобы не привести еще одно высказывание, где Коэн документально анализирует процесс



разложения партии, сознательно проводимый Сталиным и его приспешниками: «Увеличившись численно с 472 тыс. членов в 1924 г. до 1305 тыс. в 1928 г., партия перестала быть политическим авангардом революции и превратилась в массовую организацию с жестким расслоением, привилегиями и властью. В самом низу находились недавно принятые рядовые партийцы, готовые к безмолвному послушанию и в большинстве своем политически безграмотные».

И здесь, наверное, «положено» обидеться, возмутиться, но почему же так горько, так страшно становится от этих слов? Может быть, лучше к ним прислушаться? Слишком уж нагляден процесс, о котором пишет Коэн и которого долго не желали замечать мы сами, потому что этого не может быть никогда... Как не желали замечать и того, что проделал с партией Сталин в течение лишь одного десятилетия: «Место уничтоженной большевистской партии заняла новая партия с иным составом и иным духовным обликом... 75% членов партии в 1939 г. вступили в нее после 1929 г., то есть уже при Сталине, и лишь 3% состояли в ней до 1917 г. К концу 30-х гг. ...Сталин сделался самодержцем и низвел партию до роли одного из орудий своей личной диктатуры». Да, по понятиям 1981 года, такое мог написать только «пакостник». Но ведь сегодня на дворе 1989-й...

Существует неписаная традиция, согласно которой в рецензии даже на отличную работу ее автора полагается слегка пожурить: здесь, мол, неверный акцент, а там дата не та... Не вижу в этом особой необходимости, хотя, конечно, не все в работе Коэна бесспорно. Но ведь написанное им — это именно его, Коэна, позиция, и долгие годы напряженной работы с материалами к биографии Бухарина, безусловно, дают автору право ее иметь. Единственное, на что можно было бы посетовать,— это бесстрастный, холодноватый тон книги. Но коль скоро мы, соотечественники, на добрых (недобрых!) полвека начисто «забыли» о Николае Ивановиче Бухарине, то как можно требовать особых эмоций от автора-иностранца? Свое дело он сделал и сделал мастерски.

Наши споры о Бухарине, разумеется, еще не завершены, напротив — они только начинаются. И все же с какими-то позициями нам, как говорилось недавно, не по пути. Многим, наверное, памятно опубликованное «Огоньком» письмо отставного охранника, писавшего примерно так: «Я этих гадов, вроде Бухарина и его жены, столько лет охранял, здоровье на этом потерял, а вы их снова на свет божий выволакиваете?!» Что ж, есть еще в нашем обществе и такие. Но их время прошло. Долго ли, коротко ли — общество наше, все мы выкарабкиваемся из полосы дождей осенних и идем, то стремглав, как суворовские чудо-богатыри, то спотыкаясь и падая, подобно брейгелевским слепцам. Идем потому, что вся наша давняя и недавняя история взывает: хватит, нельзя больше топтаться на месте! И в ней, в нашей истории, навсегда останется трагическая и противоречивая фигура Николая Ивановича Бухарина. Пусть его жизнь будет нам уроком. Пусть уроком будет и то, что самым полным, непредвзятым и документированным рассказом об этой жизни стала для нас пока что книга американца Стивена Коэна.

**Сергей Бурин**

# Беззаконный метеор

В известном по спискам варианте автор именовал свое сочинение поэмой. На первый взгляд в применении к столь прозаическому, даже «грязноватому» сюжету такое обозначение выглядит насмешкой. Но, может быть, определение жанра почерпнуто из литературной старины? Ирои-комические поэмы были в чести лет двести назад. Гоголь оживил эту традицию, назвав, к недоумению современников, поэмой «Мертвые души».

И писатель нашего времени окрестил так свое как будто непритязательное сочинение, написанное с доброй порцией сарказма — в совсем непоэтическом, даже антипоэтическом ключе. С первой же страницы, когда рассказчик доверительно жалуется вам на то, что никак не удается ему найти в Москве Кремль и как ни кружит он по городу, а все возвращается к Курскому вокзалу, автор то и дело заставляет вас улыбаться, посмеиваться, от души смеяться: он владеет тайной юмора. Но, как в гоголевских повестях, вы замечаете вскоре, что смех этот горек, надсаден и легко пресекается сдавливающей горло судорогой.

Тема В. Ерофеева вроде бы и узка — пьянство, водка, житие российского алко-

**Вен. Ерофеев. Москва — Петушки. Повесть. Трезвость и культура, № 12, 1988; №№ 1—3, 1989.**

голика. Самый дешевый вид любительского актерства — изображение пьяного, расхожая тема анекдота, легче всего вызывающая улыбку на лицах слушателей. Но у автора повести «Москва — Петушки» его сюжет вырастает как трагический, и это оттого, что автор не мельчит, не кривляется, не пустословит... Он художник, а значит, понимает свою тему глубоко и крупно.

Повесть написана почти два десятилетия назад. И водка уже к тому времени была грозным бичом страны. Беду подтверждала даже официальная статистика. В СССР на душу населения в 1950 году приходилось 3,4 литра спирто-водочных изделий, в 1960 г.— 6,7 литра, в 1970-м — 9,5, в 1973-м — 10,2 литра...

Но художник не статистик, и под его пером сухая цифирь получает плоть судьбы, обретает личный и болезненно-трагический оттенок. Несчастье Венечки (автор отдал герою свое имя) — несчастье всей огромной, могущественной страны, ее беда и позор, всем явленная и долго скрывавшаяся дурная болезнь. В недавние времена об алкоголических тяготах и восторгах с большим пониманием дела писали Виль Липатов в повести «Серая мышь» и В. Максимов в «Карантине». Но свой сюжет один из них привязывал к куцей идейке «перевоспитания», другой — к мизантропической психопатологии. Фоном, хотя и существенным, прошла эта тема в превосходной повести Андрея Битова «Человек в пейзаже».

У В. Ерофеева она приобрела бурлескно-эпический размах.

Масштаб таланта проверяется тем, способен ли автор поднять малые факты и обстоятельства до настоящей высоты обозрения. Дорога на электричке от московской пригородной платформы до недальнего городка Владимирской области Петушки, через знакомые всякому москвичу пункты следования «Серп и молот», Малахояка и т. д.— достаточное для автора линейное пространство, чтобы дать понять, чем жили и живут простые люди, работяги, впряженные в упряжку каждого дня, шабашники и отщепенцы, вечные «перекати-поле». И не только на этих ближайших, пристоличных путях, но, пожалуй, и на тысячах других станций и полустанков, на колеях и маршрутах, протянувшихся через всю страну.

Водка в повести — бич, наваждение, услада, погибель, спасение. Водка — средство забыться, уйти в голубой алкогольный дым от сумрачных забот будней, на миг почувствовать мир цветным и интересным, снова полюбить людей, испытать минутное счастливое состояние братства со всеми и, наконец, вернуть себе в самом падении драгоценную иллюзию собственного достоинства, возможность не лгать другим и себе.

Водка возникает в повести не как баловство или удовольствие. Она единственная отдушина, замена газетной дидактики, казенной трудовой морали, бутафорской идеологии, всего, что так настойчиво вкладывалось, внедрялось, вколачивалось в голову юного Венечки и к чему он потом стал испытывать одно инстинктивное отвращение и стыд. «Человек — это звучит гордо», «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», «Человек человеку друг, товарищ и брат...» Плывут, плывут в тумане сознания, как разорванные облака, остатки школьной премудрости, классических цитат, газетные заголовки — растасканный на потребу дня, несовмещаемый с жизнью и вызывавший лишь скептическую усмешку идеологический мир, казалось, так прочно, солидно и красиво воздвигнутый и поверженный жизнью в обломки. Скажем прямо: во многих честных и прямых душах крушение мира казавшихся общепризнанными дидактических понятий оставило по себе мертвую пустоту и расчистило дорогу победному шествию зеленого змия.

Говорят, такова национальная традиция. Вспоминают афоризм великого князя Владимира о веселии Руси. Все же и на столь благодатном историческом фоне поразившее страну за последние четверть века пьянство кажется явлением небывалым. Водка — царь, водка — бог, водка — вера или, во всяком случае, замещение всякой веры для чуткой, не погибшей во лжи души.

Можно посмеяться над тем, как разработаны у Венечки ритуалы и обряды этого верования, с какой искушенностью и тонким знанием расписаны все состояния опьянения, соблазны двухсуточного забытья, когда, проснувшись в субботу после четверговой выпивки, не знаешь, куда девалась пятница; радости опохмелки, рецепты чудовищных коктейлей, включающих в себя подручные зелья, вроде одеколона «ландыш серебристый» или «средства от потливости ног».

Не надо, наверное, принимать все описанное автором за простодушную картинку с натуры и недоуменно пожимать плечами: «Все бывает, знаете, и пьют у нас изрядно, но чтобы так...» Пойдем навстречу этому сомнению: такое не каждый день увидишь. Но представьте себе тогда ради утешения, что перед нами гипербола, гротеск, художественное заострение, подобное которому мы находим у Свифта, Гофмана, Гоголя или Булгакова. И кто решится отрицать, что эта пьяная фантасмагория, эти сумеречные видения подмосковного «алкаша», эти невозможные разговоры в купе, этот проход по вагону едва стоящего на ногах контролера правдивы до оптической иллюзии.

И как точен у автора инстинкт художника, когда в картине пьяного безобразия, на обломках возвышенных теорий и опозоренных реальностью формул «классового гуманизма», возникает отдаленным, мерцающим, но мало-помалу все более внятным светом огонек про-



стой человечности: воспоминание о трехлетнем мальчике, который учится выговаривать букву «ю», и о женщине, ждущей нашего героя каждую пятницу около полудня на платформе станции Петушки.

Забытый чемоданчик Венечки, где рядом с пустой «посудой» лежали кулек с конфетами «ромашка» для его подруги и два стакана орехов маленькому сыну,— какая щемящая подробность! Непогрешимое нравственное чувство торжествует на миг над всем этим опустошением и ерничеством, чтобы тут же смениться чувством страха, безнадежности, опасной погони, пока над судьбой героя не опустится навеки черный полог.

Русская литература приобрела в Венедикте Ерофееве, ворвавшемся в нее беззаконным метеором, значительного писателя, русский читатель — талантливую книгу. Рядом с унынием и горечью повесть поселяет в душе чувство освобождения и надежды, как при всякой встрече с искусством, сознающим, а значит, в чем-то уже и превозмогшим породившую его боль.

Ставшая в недавнее время достоянием читателя повесть Венедикта Ерофеева вписалась в новый социальный контекст. Кавалерийская атака на пьянство не удалась, да и не могла удасться, потому что методами запретов на продажу «столичной», «сибирской» или «кориандровой», методом административного преследования, проклятий и отлучений заведомо ничего нельзя было добиться: эффект был временным и неустойчивым. Если бы организаторы этой кампании пристальнее изучали историю, они вспомнили хотя бы эти слова, сказанные русским сатириком 120 лет назад: «Некоторые... в своей наивной ограниченности доходят до того, что в регламентации распивочной продажи водки видят единственный способ выйти из периода лаптей и вступить в период сапогов. О! если бы это было так! если б было можно, с помощью одного ограничения числа кабаков, вселить в людей доверие к их судьбе, возвысить их нравственный уровень, сообщить им ту силу и бодрость, которые помогают бороться и преодолевать железные невзгоды жизни! если б можно было доказать людям, что с изменением системы патентного сбора их ждет в перспективе тот отрадный, светящийся пункт, к которому они искони бесплодно стремятся! Как легка была бы наука человеческого существования! и каких ничтожных усилий стоило бы разом покончить со всем безобразием прошлого, со всеми неудачами настоящего, со всеми сомнительными видами будущего!»

Так писал отчаянный «перестройщик» XIX века Салтыков-Щедрин, отвергавший, кстати, «предположение о пьянстве, как об органическом пороке целого народа», как «предположение глупое, могущее возникнуть только под влиянием паров мадеры» (любимый напиток «чистой» публики).

Повесть Венедикта Ерофеева также дает полезный материал для раздумья, почему не могут увенчаться успехом самые строгие постановления, скорые и спорые меры по борьбе с пьянством. Несомненно, что алкоголизм, помимо того, что это несчастье слабых душ,— еще и социальная болезнь. В тяге к рюмке причудливо сплелись тщетная жажда «взбодриться», иллюзия личной свободы, мгновенной внутренней раскрепощенности, жажда легкого и прямого общения, наконец, отдыха от томящих впечатлений будничной жизни. Стало быть, этого не хватает человеку. Нелепо замазывать внешние язвы, полагая, что лечишь болезнь, тогда как она — внутри. Отнимешь водку — станут пить самогон, отнимешь самогон — нацелятся на наркотики или одуряющую бытовую химию...

Атмосфера гласности, возможность вслух сказать, что думаешь, движение к демократии, то есть осуществление каждым человеком своих прав на производстве и в обществе,— таков, хоть и не скорый, но более надежный путь к умалению пьянства, чем закрытие винно-водочных «точек» и рубка виноградной лозы. Другим средством против народного бедствия, талантливо описанного в повести «Москва — Петушки», могла бы стать атмосфера материального достатка и духовной культуры, ее движения вглубь и вширь. Но об этом, говоря откровенно, можно пока лишь мечтать.

**В. Лакшин**

# Михаил Булгаков: Жизнеописание и судьба

Задолго до начала нынешних перестроечных времен М. О. Чудакова — по существу, одна из первых — стала изучать творчество Булгакова. В 1976 году вышло в свет выполненное ею обстоятельное описание архива писателя, хранящегося в Ленинской библиотеке,— это описание до сих пор остается одним из ценнейших источников булгаковской биографии. За долгие годы проделана большая и заслуживающая уважения работа, разысканы и исследованы многие документы и материалы, записаны часто уникальные устные свидетельства современников писателя. Итогом и стало нынешнее «Жизнеописание...» Впервые сделана попытка представить широкому читателю личность Булгакова во всей ее многогранности, показать нам и писателя, и человека, сказать обо всех без изъятия булгаковских произведениях и часто весьма непростых жизненных обстоятельствах. Исследование опирается на воспоминания Т. Н. Лаппа-Кисельгоф, Л. Е. Белозерской-Булгаковой, дневники Е. С. Булгаковой, переписку Булгакова с П. С. Поповым, В. В. Вересаевым и другими корреспондентами — материалы, частью опубликованные у нас в стране и за рубежом, частью остающиеся в рукописи. Всем этим объясняется и тот широкий общественный резонанс, какой вызвала книга М. О. Чудаковой

Журнал «Москва» «Жизнеописание...» опубликовал в разделе прозы, издательство выпустило в серии «Писатели о писателях». Волей-неволей начинаешь думать, что имеешь дело с неким художественным текстом, беллетризованной биографией вроде «Жизни господина де Мольера». Но уже в открывающем книгу предисловии Фазиля Искандера читаем: «Насколько я знаю, эта книга Мариэтты Чудаковой — первая научная биография Михаила Булгакова». Значит, мы должны познакомиться со строго научным исследованием, объясняющим жизненный путь писателя, его творчество. Однако позвольте, почему же «первая научная»? Ведь все мы знаем книги Л. М. Яновской «Творческий путь Михаила Булгакова» (М., 1983) и А. М. Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре» (М., 1986). За рубежом в издательстве «Ардис» появилась книга Эллендеа Проффер «Михаил Булгаков: жизнь и творчество». Неужели эти работы не являются научными?

Если говорить о жанре работы М. О. Чудаковой, то сразу приходит на память классический образец: капитальная работа Н. Н. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии» (М., изд-во АН СССР, 1954—1970). Фактически это — опыт критической научной биографии великого писателя. Гусев сформулировал и основные требования к анализу источников такого рода биографии. Так, художественный рассказ можно использовать лишь тогда, когда он «подтверждается несомненными биографическими данными и вполне соответствует фактам внешней и внутренней жизни» писателя. При анализе переписки надо помнить, что ее содержание определяется личностями корреспондентов и их взаимоотношениями. Еще сильнее субъективный элемент проявляется в дневниках, что «иногда приводило Толстого к совершенно противоположным (в разное время) суждениям об одном и том же лице или предмете». Записи дневников «часто отличаются большой лаконичностью, недосказанностью, что нередко затрудняет правильное понимание их смысла и значения». Мемуары же требуют к себе особо критического отношения, поскольку «здесь наряду с несомненными данными сплошь и рядом находим совершенно фантастические сведения, большей частью бессознательное искажение фактов».

К сожалению, эти принципы научного жизнеописания не всегда соблюдены в работе Чудаковой. Свыше 90 процентов текста «Жизнеописания...»—это цитаты, иногда на несколько страниц. Причем если Гусев на опубликованные материалы делает ссылки, излагая их кратко, то Чудакова предпочитает цитировать почти все целиком. Стремясь максимально объективизировать повествование, автор «Жизнеописания...» предпочитает дать слово документу, сведя собственные гипотезы и комментарии к минимуму. Поэтому у разных читателей по прочтении может сложиться тот или иной образ Булгакова. Мы же ограничимся задачей уточнить и прояснить некоторые принципиальные моменты, касающиеся нравственных, политических и творческих позиций писателя.

Вот Чудакова приводит запись беседы с Е. Б. Букреевым, знавшим Булгакова в гимназические годы: будущий писатель тогда «был совершенно бескомпромиссный монархист — квасной монархист». Чтобы убедить читателя, что подобные взгляды были характерны для Булгакова и позднее, в 1918 году, исследовательница тут же иллюстрирует это высказывание известной тирадой автобиографического героя «Белой гвардии» Алексея Турбина о том, что он, «к сожалению, не социалист, а... монархист». Но

**М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., Книга, 1988. «Москва» №№ 6, 7, 8, 1987; №№ 11, 12, 1988.**



ведь тут же противопоставлены друг другу и две группы офицеров — «вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин,— отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь», и те, которые «ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку». Хочется напомнить и слова Булгакова из автобиографической повести «Тайному другу»: «Бриолином я смазываю голову... но не всякий смазывающий голову бриолином так-таки обязательно монархист». Кстати, сам же Букреев ставит под сомнение «квасной монархизм» Булгакова, утверждая, что «монархистами были дети из очень богатых, чаще помещичьих семей или городских низов — уже с черносотенным оттенком. У Булгакова такого грубого оттенка, конечно, не было... Можно сказать, он придерживался правых взглядов, но умеренного порядка». Правда, мемуарист заявляет, что Первая гимназия в Киеве отличалась особо либеральными взглядами учащихся по сравнению с другими учебными заведениями и что поэтому монархисты вроде Булгакова встречались там редко. Тут уж позвольте внести ясность. Умеренно-монархические взгляды в российских условиях того времени (1900-е годы) — это взгляды конституционно-монархические, кадетские, а кадеты как раз и были самыми классическими либералами в России. По всей видимости, на воспоминания о событиях более чем семидесятилетней давности наложили отпечаток политические взгляды Букреева (по его признанию, он был и остался убежденным анархистом). Невольно гимназическое большинство представляется ему более «левым», чем оно было в действительности, а Булгаков, близкий мемуаристу лишь в приготовительном классе, гораздо бо́льшим монархистом и консерватором, чем на самом деле.

Есть достаточно веские основания предположить, что Булгаков служил не только в гетманской и деникинской, но и — в 1919 году — в Красной Армии (основания эти подробно изложены в нашей статье в сборнике «Контекст-1987»). М. О. Чудакова не отвергает такой возможности, но говорит о ней вскользь, не задаваясь вопросом: мог ли повлиять (и как) сей факт биографии на мировоззрение Булгакова.

В этой связи необходимо сказать и о републикованном в журнальном варианте «Жизнеописания...» первом булгаковском фельетоне 1919 года «Грядущие перспективы». Слова о грядущих победах деникинской армии здесь скорее всего — простая дань требованиям белогвардейской военной цензуры, поскольку они слишком контрастируют с общим пессимистическим духом фельетона, уверенностью писателя в том, что вскоре на Западе «станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества», а «мы опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще?..»

Еще одна область, в которой Чудакова пытается утвердить новый взгляд, это позиция Булгакова в национальном вопросе. Исследовательница не ставит под сомнение утверждение того же Е. Б. Букреева, что «Булгаков, например, в гимназические годы избегал евреев», настойчиво подчеркивает, со слов первой жены Булгакова Т. Н. Кисельгоф, что будущий писатель не присутствовал на нашумевшем процессе Бейлиса в 1913 году, намекая на будто бы присущее ему тогда юдофобство (неужто в самом деле все люди, бывшие в те дни в зале суда, были лишены антисемитских предрассудков, а все оставшиеся за его стенами были сплошь антисемитами?). Но вот комментарий автора «Жизнеописания...» к воспоминаниям Л. Е. Белозерской-Булгаковой об отрицательном отношении Булгакова к Бабелю: «От бытового раздражения далеко до того, что человек мог бы назвать **убеждением**, литературная оценка не тождественна оценке личности и тем более — целой этнической общности. В ранней редакции повести «Роковые яйца» жену Рокка звали не Маня, а Дора, национальность обеих подчеркивалась; но **в те же самые** годы, когда хотел выбрать самое страшное и отталкивающее из виденного — он описал убийство еврея на мосту в последней главе «Белой гвардии» и описал убийц с тем накалом ненависти и омерзения, выше которого, пожалуй, не подымался на страницах своей прозы. Какая бы то ни было национальная идея с насилием и произволом в придачу пленить его никоим образом не могла».

Тут все запутывается окончательно. Ведь не только в студенческие годы, по мнению Чудаковой, для Булгакова было характерно настороженное отношение к нерусскому населению Киева, но и «на некоторых страницах «Белой гвардии» она находит ту «избирательность» национально-исторического взгляда, которая была присуща ярому монархисту и стороннику «единой и неделимой России» В. В. Шульгину, не принимавшему сам этноним «украинцы». И вдруг выясняется, что в той же «Белой гвардии» содержится отрицание «национальной идеи», основанной на насилии, а нерусские национальности изображены более чем сочувственно!

Национальной идее Булгаков был привержен (вспомним хотя бы его характеристику образа Най-Турса), но идее здоровой, не допускающей пренебрежения к иным национальностям. В его произведениях вполне сочувственно изображены и евреи, и китаец, героически погибающий в борьбе за революцию (рассказ «Китайская история»). Среди украинцев в «Белой гвардии» — не только Петлюра и его присные, но и молочница Явдоха с

ее сочной, народной оценкой войны с немцами и гетманцами: «Чи воны нас выучить, чи мы их разучимо».

Рассуждая о зарождении замысла будущей пьесы «Батум» в 1936 году, Чудакова замечает: «...Сталин был для него в этот момент очередным воплощением российской государственности — и он стремился найти ему место в истории этой государственности...» Это не только противоречит ее же собственному утверждению о неприятии Булгаковым любой национальной идеи, связанной с насилием и произволом (неужто Булгаков ничего не знал о коллективизации, о деле Промпартии, о терроре, развязанном после убийства Кирова? Сама же исследовательница приводит материал, не оставляющий сомнений на этот счет), но и никак не согласуется с текстом пьесы, где Сталин, во всяком случае, с идеей российской государственности никак не связан (скорее эта идея здесь присутствует в шаржированном образе Николая II).

Чудакова все время говорит о какой-то вине Булгакова, выделяет в жизни писателя в качестве сквозного мотива попытки (пусть почти всегда и неудачные) приспособиться, приноровиться к литературным и общественным обстоятельствам. Даже одну из важнейших проблем «Мастера и Маргариты», проблему награды, дарованной мастеру — не свет, а покой,— она трактует под этим же углом зрения: «Роман не окончен, пока не развязано все, что связано с мотивом вины, прошедшим через все творчество писателя и глубоко трансформированным в течение последнего десятилетия его жизни; не окончена многолетняя духовная работа, пока не развязан этот узел, страшно скрутивший не одного лишь героя последнего романа писателя. Отпуская на свободу Пилата, этим жестом милосердия Мастер просит отпущения и себе, и всем тем, кто нуждается в прощении и успокоении. Искупление — только в самой длительности мучений и более ни в чем, и развязка в одном — в прощении. «Казнь — была»; исколотая память мучает сильнее, чем что-либо, и ищет забвения. Пилат увидит Иешуа и будет говорить с ним, а Мастер — нет, потому что никто не может сам дать себе полного искупления. И если обратиться вновь от текста романа к контексту биографии, то весной 1939 года автор романа, быть может, особенно явно сознавал роковую необратимость и прежних, и нынешних жизненных поступков, заключенность человека в кольцо своей собственной биографии. Не зная в точности высшего решения, Мастер слепо идет туда, куда направляет его Воланд. Но знай он его — не стал бы оспаривать. Романтический Мастер тоже в плаще с кровавым подбоем, но подбой этот остается невидим никому, кроме автора».

Но так ли уж неполноценна награда Мастеру, так ли уж реальна вина Булгакова? Автор «Жизнеописания...», видимо, считает, что винв писателя в поисках компромисса, в попытках обратиться к самому Сталину, в создании злосчастного «Батума». Потому-то автобиографический Мастер и не заслуживает света.

Но и в богословии, и в мировой литературной традиции, как и в булгаковской системе ценностей, покой занимает столь же достойное место, как и свет. Вспомним, в частности, роман Г. Сенкевича «Огнем и мечом»: «...пусть бог судит нас за наши деяния, и да пошлет он хотя б после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры». И современники Булгакова покой воспринимали как состояние творческое. Вот как, к примеру, развивал пушкинскую формулу «покой и воля» Блок: «Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». У Булгакова Мастер награжден именно творческим покоем, награжден за творческий подвиг — создание бессмертного романа о Пилате и Иешуа: «Звчем же гнаться по следам того, что уже окончено?» Эта тема исчерпана, новые замыслы ожидают Мастера и его подругу там, где можно будет «писать при свечах гусиным пером».

Высоко чтимый Булгаковым философ П. А. Флоренский в марте 1929 года писал так: «...в процессе государственного строительства произошли естественные расслоения, и то, что было законно в первые годы Революции, стало нарушающим общекультурную политику в дальнейшие годы... Лично я полагаю, что по миновании известных острых моментов культурной борьбы цензуре будут даны властью директивы более свободного пропуска в печать сочинений, которые хотя идеологически чужды задачам момента, но представляют общекультурный интерес». Писателю оставалось лишь надеяться на наступление таких более светлых времен. Проявил Булгаков и личное мужество. В феврале 1938 года, в самый разгар террора, он обратился к Сталину с просьбой о смягчении участи ссыльного драматурга Н. Р. Эрдмана. К сожалению, этот эпизод не нашел отражения в тексте «Жизнеописания...». А ведь тогда немногие решались хлопотать за осужденных — это грозило репрессиями самим ходатаям! Что же касается «Батума», то Булгаков взялся за эту пьесу уже больным, предчувствуя скорый конец и пытаясь хоть как-то открыть дорогу в печать роману «Мастер и Маргарита». Если в произведениях, посвященных Сталину, у таких поэтов, как Пастернак, Мандельштам (имеется в виду «Ода»), ощущается сила их таланта (в тот момент к этой фигуре они относились все еще неоднозначно, видели какое-то величие), то булгаковский Сталин в «Батуме» бледен, невыразителен... Еще за 20 лет Булгаков предвидел тра-



гическую судьбу Родины, теперь сознавал инспирированный характер массового террора (сталинский процесс «право-троцкистского блока» он запечатлел в «Мастере и Маргарите»). Мог ли он заблуждаться насчет Сталина?

Вообще надо сказать, что в «Жизнеописании...» господствует своеобразный «принцип дополнительности»: автор дорожит материалом, найденным ею лично, и зачастую игнорирует материалы других исследователей. Так, подробно характеризуя отца писателя, А. И. Булгакова, привлекая для этого новые данные, автор почти ничего не говорит о матери, В. М. Булгаковой, потому, видимо, что ей уделено много внимания в книге Яновской. Так же и многие моменты творческой и сценической истории пьес «Дни Турбиных» и «Бега» в «Жизнеописании...» просто опущены, поскольку они уже разбирались той же Яновской, Смелянским. Однако результаты работ других булгаковедов в книге Чудаковой либо вовсе не находят отражения, либо присутствуют на уровне глухих отсылок. Уже одно это обстоятельство лишает «Жизнеописание..» необходимой для работы такого рода академической полноты.

Недавно М. Чудакова отмечала: «Если в 1967 году богатая выписками из «Руля» и «Последних новостей» монография имела ценность — и вполне реальную — главным образом благодаря этим выпискам, то уже вчера это потеряло часть своей цены... а завтра эти обусловленные нашей бедностью достоинства, будем надеяться, и вовсе обесценятся... Конкуренция в доступе к источникам, в том, кому какую цитату и сноску удалось протащить... заменится, наконец, конкуренцией идей, концепций, представлений о действительном, а не мнимом ходе литературного процесса 20—40-х годов и более поздних, тоже уже уходящих в историю». Очень правильные слова! Но «Жизнеописание...» за вычетом разобранных примеров как раз и представляет во многом образец сочинения этого «докритического» периода нашего литературоведения. Будем, однако, надеяться, что обширные материалы книги сослужат полезную службу в дальнейшей работе над научной биографией Булгакова.

Б. Соколов

# *Из почты «Знамени»*

Многоуважаемый господин редактор!

До наших берегов долетела книга Вашего журнала с подборкой в ней стихов Арсения Несмелова. Вот уже четверть века, как я занимаюсь изучением творчества этого крупного русского писателя и поэта.

Публикация Л. Хаиндравы вызвала у меня ряд соображений...

Почти шестьдесят лет тому назад в стихотворении «Пять рукопожатий» Арсений Несмелов пророчествовал:

...Мы умрем, а молодняк поделят —
Франция, Америка, Китай.

Тогда же Муза поэта восставала против расхожего утверждения, что «мы не в изгнании — мы в послании»:

Много нас рассеяно по свету,
Отоснившихся уже врагу;
Мы — лишь тема, милая поэту,
Мы — лишь след на тающем снегу.
(Поэма «Через океан»)

Казалось, что в споре между собою славян-изгоев прав окажется Арсений Несмелов, но не мог он предвидеть возрастающую социальную зрелость своей родины, начало «одвуконя» литературного процесса нашей словесности и, наконец, того, что многим эмигрантским поэтам будет дано «стихами вернуться в Россию».

Впервые стихотворения Арсения Несмелова были опубликованы в СССР «метафизическим» путем — в романе Натальи Ильиной «Возвращение». Там они приписаны стихотворцу Ещину, выведенному в книге под именем Евсеева. После этой «публикации» последовало частичное признание в «Огоньке» (№ 48 за 1987 год), правда, представляя поэта, Евгений Евтушенко сказал всего лишь две фразы: «Жил на Дальнем Востоке. Автор нескольких поэтических книг».

И вот теперь большая подборка стихотворений Арсения Несмелова в книге журнала «Знамя» (№ 10 за 1988 г.), предваренная литературно-биографическим очерком о поэте пера Левана Хаиндравы. Публикация эта заслуживает всяческих похвал, тем более что сегодня в Союзе многие выступают против предания гласности литературного наследия Зарубежья, разделяя проскуринские взгляды, облаченные в термин «некрофилия». Без утаения греха признаемся: и на другом берегу Океана, в Зарубежье, омытом «третьей волной», тенденции эти живы — эмигрантские апологеты Проскурина, где могут, не допускают «гальванизацию трупов» (в терминологии они явно уступают своему советскому наставнику).

История поэзии изгнания — важный ключ к пониманию трагедии диаспоры, поэтому объективная точность и непредвзятость, столь необходимые в эпоху гласности, в состоянии оградить нас от дальнейших умолчаний, искажений, передержек. Представляя Арсения Несмелова советскому читателю, Л. Хаиндрава правильно отмечает, что о «...жизни поэта известно немногое». Вот тут-то было бы крайне уместно отметить, что сам Несмелов сообщил о себе харбинской журна-



листке Евгении Сентяниной перед публикацией ею статьи «Харбинские писатели и поэты» (журнал «Рубеж», № 24, 8 июня 1940 г.):

«Родился в Москве; в Москве начал писать. Два раза уезжал из Москвы, и оба раза — воевать. Уехав в 1918 году в Омск, назад не вернулся, а вместе с армией Колчака оказался во Владивостоке, где и издал первую книгу стихов («Стихи» — 1922, затем, в том же году, поэма «Тихвин» и в 1924 — книжка стихов «Уступы»). До этого, еще в Москве, издал маленькую книжечку рассказов — военных («Военные странички: стихи и рассказы — 1914»). Печататься начал в «Ниве», в 1912—1913 году, кажется. Поручик, с австро-германцами воевал в рядах 11-го гренадерского Фанагорийского полка. Пятнадцать лет живу в Харбине; пишу стихи, рассказы. Еще кое-как существую. Летом, впрочем, славно. Имею «движимое имущество» — лодку «Удача», в которой с другом уплываю далеко от города. Надеюсь, что это довольно. Арсений Несмелов».

Продолжим за поэта. У Арсения Ивановича Митропольского было несколько литературных псевдонимов: Арсений Несмелов, Анастигмат, Н. Дозоров, «Тетя Розга». Псевдонимом Н. Дозоров поэт подписывал стихотворения ура-патриотического характера: сборник стихов (посредственных) «Только такие»... В течение десяти лет в Харбине издавалась ежедневная газета «Рупор». По четвергам, раз в две недели для юных читателей выходило приложение — «Юнчит». Там печатались стихи и письма детей в возрасте от 10-ти до 16-ти лет. Зачастую в стихотворной форме им давала литературные советы и поощряла более удачные писания «Тетя Розга». Только сейчас, после публикации в Амстердаме мемуаров Валерия Перелешина «Два полустанка», узнали мы, что за псевдонимом «Тетя Розга» скрывался не кто иной, как Арсений Несмелов.

Ни словом, к сожалению, не обмолвился Л. Хаиндрава об Арсении Несмелове-прозаике. Несмотря на опубликованную мною год назад книгу — «Арсений Несмелов. Избранная проза», эта сторона творчества поэта ждет еще своего вдумчивого исследователя. В 1936 году в Харбине, в издательстве В. Камкина и Х. Попова выходит книга писателя — «Рассказы о войне». Обращаясь к читателям, Арсений Несмелов писал:

«До известной степени моя беллетристика уже устарела,— новая война, если ей суждено случиться, будет страшнее той, картины которой я восстанавливаю. И, следовательно, душа человеческая будет на эти удары реагировать более мучительно... Кроме того, в мировой литературе есть Ремарк. Но я не повторяю его, да и рассказы мои написаны еще до появления его романов, так же как и до «Тихого Дона» Шолохова.

Рассказ «Короткий удар» впервые был напечатан в СССР, в новосибирском ежемесячнике «Сибирские огни». Он вызвал нарекания. Редактора журнала побранили за то, что он помещает произведения, в которых офицеры выводятся в благожелательном освещении...»

В конце биографической справки о поэте Л. Хаиндрава пишет: «Умер Арсений Несмелов в СССР в 1945 году. Более подробных данных об обстоятельствах его смерти пока нет». Точная дата гибели поэта неизвестна, скорее всего она произошла на стыке 45—46 годов. Друг Несмелова, Евгения Сентянина, оставила документ... составленный ею список имен — «На память». В этом документе перечислены лица, лично ей известные, которые были вывезены смершевцами из Харбина и других городов Маньчжурии в августе 1945 года и в последующие месяцы. В записи этой 127 имен-жертв. Евгении Сентяниной удалось точно установить, что Арсений Несмелов погиб в лагере... За несколько лет до своей смерти поэт точно предсказал ее, предугадав почти все ее «мизансцены» и «сквозные действия»:

Часто снится: я в обширном зале...
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.

Сяду, встану,— много раз подымут
Господа в мундирах за столом.
Все они с меня покровы снимут,
Буду я стоять в стыде нагом.

Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою трясти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом, как червяка, раздавят
Тысячепудовым: расстрелять!

. . . . . . . . . . . . . . .

И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!
(«Моим судьям»)

Жаль, что в предисловие Л. Хаиндравы вкрались некоторые сентенции, которые не только ничего не добавляют к творческому облику поэта, но и вообще неуместны при серьезном разговоре о творчестве. Автор утверждает следующее: «Изгнание Несмелов переживал очень тягостно и остро, и, несомненно, ярче, чем кто-либо из зарубежных русских поэтов его поколения, выразил тоску и боль разлуки с родной землей в своих стихах». Никому пока не удалось безошибочно измерить «величину» тяжести изгнания, и если уж пойти на поводу у Л. Хаиндравы и воспользоваться его шкалой оценок, то окажется, что, быть может, ярче, чем у Несмелова, разрыв с родной землей выражен и у Набокова, и у Георгия Иванова, и у Смоленского, и у харбинки Марианны Колосовой.

Не соглашусь я с Л. Хаиндравой и в том, что «мужество» — якобы квинтэссенция творчества Арсения Несмелова. Это скорее сарказм, перерастающий в непримиримость в равной степени и к победителям, и к побежденным. Именно таков мотив почти программного стихотворения «Цареубийцы»:

Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.

Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?

Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься,—
Государя не отстоять?

Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными — сто сорок
Миллионов себя звало.

Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни,—
Не на всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни.

И один ли, одно ли имя,
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.

И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ты, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!

Серьезно ошибается Л. Хаиндрава, когда утверждает — «в кружке «Молодая Чураевка» Несмелов вырастил целую группу способных поэтов». К этому объединению Несмелов не имел никакого отношения. Скрытый и замкнутый по натуре, Арсений Несмелов всячески избегал кружковщину, объединения и съезды. Даже в антологии русской поэзии, которые издавались в Китае, такие, например, как «Лестница в облака», «Излучины», «Семеро», он не давал своих стихов. И только однажды, в 1936 году, по настоятельной просьбе Адамовича и Кантора Арсений Несмелов изменил своему принципу и согласился на публикацию в первой антологии зарубежной поэзии «Якорь» трех своих стихотворений, одно из которых, «За», характеризует поэта как утонченного лирика:



За вечера в подвижнической схиме,
За тишину, прильнувшую к стеклу...
За чистоту. За ласковое имя,
За вытканное пальцами твоими
Прикосновенье к моему лицу.

За скупость слов. За клятвенную тяжесть
Их, поднимаемых с глубин души,
За щедрость глаз, которые, как чаши,
Как нежность подносящие ковши.

За слабость рук. За мужество. За мнимость
Неотвратимостей отвергнутых. И за
Неповторяемую неповторимость
Игры без декламаторства и грима,
С финалом, вдохновенным, как гроза.

Сбор и изучение литературного наследия Арсения Несмелова крайне затруднителен: дело даже не в ограниченных тиражах сборников его стихов. Вот уже четверть века я безуспешно стараюсь разыскать хотя бы отрывки из романа писателя «Продавцы строк», одна глава из которого была опубликована во второй книге шанхайского сборника «Врата». Ряд стихотворений и критических статей Арсения Несмелова найдены мною на страницах пражской «Вольной Сибири», чикагского журнала «Москва», харбинского журнала «Рубеж» и в издании шанхайского содружества работников искусств — «Понедельник».

Всех тех, кто лично знал Арсения Несмелова и его творчество, сегодня можно пересчитать по пальцам. Прежде всего это Валерий Перелешин (Бразилия). В Америке — профессор Семен Карлинский, поэтессы Мария Визи и Виктория Янковская, в Канаде — профессор Ю. Волков, во Франции — Ларисса (с двумя «с») Андерсен, в Австралии — Михаил Волин. В СССР, слава Богу, все еще здравствует поэт Михаил Спургот.

Журнал «Знамя» сделал первый крупный шаг на пути к возвращению читателям поэзии Арсения Несмелова. Эмигранты-исследователи и советское литературоведение на своем нынешнем этапе могут, как мне кажется, совместными усилиями сохранить многое из созданного большим русским писателем и поэтом. За работу эту ждет нас ценное — читательская благодарность.

**Эммануил Штейн**

США.

# Советуем прочитать

**Возвращенные имена. Сборник публицистических статей в 2-х книгах. Сост. А. Проскурин. М., АПН, 1989.**

Соратники Ленина Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, А. И. Рыков, вожаки комсомола А. В. Косарев и Л. А. Шацкин, выдающиеся ученые Н. И. Вавилов, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, не побоявшиеся открыто выступить против сталинской диктатуры Ф. Ф. Раскольников, М. Н. Рютин, О. А. Пятницкий... «Люди старшего поколения,— говорится во введении к сборнику,— должно быть, помнят, как портреты героев этой книги заклеивались в школьных учебниках, как замалчивались их имена». Время постепенно возвращает нам эти имена, эти трагические судьбы.

В сборник вошли статьи, публиковавшиеся в последние два-три года в советской печати, причем многие из них специально дополнены и переработаны авторами. Собранные воедино, эти материалы становятся своего рода памятником жертвам беззаконий, равно как и путеводителем по еще недавно скрытым от народа страницам нашей истории. «... Мы исходили из того,— говорят издатели сборника,— что всем нам нужна такая история, какой она была в действительности...»

Двадцать семь возвращенных нам имен, судеб — лишь капля в скорбном океане сталинско-ежовско-бериевских жертв. Очень многое нам еще предстоит узнать. Честный, объективный сборник «Возвращенные имена» — один из первых, но важных шагов в процессе познания прошлого во имя настоящего и будущего.

**Р о й  М е д в е д е в. Трудная весна 1918 года. Волга, №№ 1, 2, 1989.**

Труд этот — «попытка взглянуть на события весны 1918 года под несколько иным, чем это было принято раньше, углом зрения и проанализировать возможные, но не найденные тогда альтернативные пути развития революции и строительства Советской власти».

Анализируя события первых послеоктябрьских недель и месяцев, автор предлагает читателю судить, какие из осуществившихся и не осуществившихся тогда альтернатив были бы благотворнее для судеб нашей Родины. По мнению Р. Медведева, разрушительной гражданской войны «вполне можно было избежать при более осторожной, более правильной и более продуманной экономической политике весной 1918 года».

В работе затронута и сложнейшая тема красного террора. Основываясь на конкретных материалах, в частности на партийном составе Пятого Всероссийского съезда Советов, автор пишет об отходе масс от большевиков весной и летом 1918 года. В те дни стало ясно, «что крестьяне добровольно хлеб не отдадут. Потому во всех воззваниях к рабочим говорилось о беспощадном подавлении сопротивления кулаков и спекулянтов. На практике это означало террор... Этот же террор, начатый для ликвидации хлебных затруднений, распространился и на города».

Наиболее реальную альтернативу такому развитию Р. Медведев видит во введении нэпа еще весной 1918 года. Но «большевики и Ленин, как их руководитель, не нашли тогда этого более правильного решения экономических проблем послереволюционного периода, и понадобился тяжелый опыт гражданской войны и политического кризиса 1920 года».

**В а р л а м  Ш а л а м о в. Анна Ивановна. Пьеса в пяти картинах. Л ю б о в ь  Р у д н е в а. Зинаида Райх. Театр, № 1, 1989.**

Героиню пьесы, хлебнувшую полной мерой горя в сталинско-бериевских лагерях, и знаменитую актрису театра Мейерхольда, которой рукоплескали Москва и Париж, объединяет многое: потеря близких, крушение надежд, сострадание и вера.

Пьеса сюжетно продолжает прозаический «колымский» цикл В. Шаламова, в ней действуют легко узнаваемые герои его рассказов. Главная героиня Анна Родина из тех, кто в колымском кошмаре, похожем «на зловещий сон», сумела сохранить чистоту и величие сердца. Рискуя жизнью и предстоящим освобождением, она совершает Поступок: предлагает отвезти на материк тетрадку стихов заключенного доктора Платонова.

«Во всех ее поступках сквозила решимость натуры верной и непосредственной, и было неподдельным очарование ее влюбленности...» — это из воспоминаний И. Эренбурга о дебюте З. Райх в роли Аксюши из пьесы Островского «Лес».

Зинаиде Николаевне исполнилось в ту пору тридцать, но кто бы мог подумать тогда, следя за сценической жизнью молоденькой Аксюши, что в реальной жизни ее ожидает множество тяжких испытаний: насильственное отлучение от театра в 1938-м, травля и арест мужа Всеволода Мейерхольда. А потом на квартире в Брюсовском разделаются с нею самой...

«Ро́дина! — выкликает на поверке конвоир в финале пьесы В. Шаламова,— Анна Ивановна! Пятьдесят восемь — семь, восемь, одиннадцать — двадцать пять и пять».

Какая статья была предъявлена Зинаиде Райх?..

Горестна, трагична судьба, выпавшая в те годы на долю многих дочерей России.



**А л е к с а н д р а  Т о л с т а я. Младшая дочь. Новый мир, №№ 11—12, 1988.**

Обширная литература о Льве Николаевиче Толстом пополнилась ранее неизвестным советскому читателю мемуарным очерком «Младшая дочь». Он был опубликован в Париже в 1931 году под названием «Из воспоминаний» и позже вошел в трехтомное автобиографическое повествование «Отец и дочь».

Александра Львовна Толстая — двенадцатый ребенок в семье. В последние годы жизни писателя она была самым близким ему человеком. После смерти отца занималась разбором его рукописей, изданием произведений, пропагандой философско-гуманистических идей. Декретом Луначарского была назначена полномочным комиссаром Ясно-полянского дома-музея, затем его первым директором. В 1929 году эмигрировала из СССР.

В центре повествования трое — отец, мать, дочь. Большая семья Толстых постепенно распадается, отношения Льва Николаевича с Софьей Андреевной все более усложняются. «Отец был окружен близкими, но одинок», «в доме все тосковали, мама — больше всех». Одинокая не менее взрослых, подрастающая дочь по-детски зорко подмечает многое из того, что позже приведет Толстого в Астапово.

**М а р и о  В а р г а с  Л ь о с а. Кто убил Паломино Молеро? М., Известия, 1989.**

«Писатель был, есть и всегда будет недовольным — дело обстоит именно так и никак иначе. Человек удовлетворенный, согласный, примиренный с действительностью не способен писать...» — эту мысль, высказанную еще в 1967 году при вручении ему премии Ромуло Гальегоса, Варгас Льоса подчеркивал почти во всех своих выступлениях. У нас писатель известен по романам «Город и псы», «Тетушка Хулия и писака», «Война конца света».

Новая повесть «Кто убил Паломино Молеро?» — детектив и вместе с тем острая пародия на массовую литературу, хотя пародийные элементы в ней затушеваны, действие разворачивается как бы «всерьез», и читатель вместе с автором напряженно следит за любовными — и профессиональными — приключениями героя, сержанта Литумы.

В книгу включена пьеса «Барышня из Такны» — первая зрелая работа перуанского писателя в драматургическом жанре.

**А л е к с е й  К и р и л л о в. В середине тридцатых. Дневники ссыльного редактора. Наш современник, № 11, 1988.**

Убийство С. М. Кирова стало поводом для разгрома Ленинградской партийной организации. Алексей Андреевич Кириллов — партийный работник и журналист, один из тех, кто за причастность к оппозиции был «переброшен» из Ленинграда в Красноярский край «на техническую работу». Здесь с февраля 1935-го по апрель 1936-го он вел дневник. Это размышления о жизни, политической ситуации в стране. Удручающие картины разорения сельского хозяйства, безграмотности руководства, невежества и дикости крестьянского быта воссоздают эти страницы. Приводятся в дневнике и оставшиеся без ответа письма в высшие партийные инстанции.

По-разному можно расценивать добровольный уход из жизни А. Кириллова. Как акт гражданского мужества или отчаяния человека перед непреодолимостью судьбы. Одно ясно — ушел из жизни честный коммунист, активный общественный деятель, талантливый журналист, несостоявшийся писатель. «Святой мученик идеи коммунизма»,— так пишет в своем послесловии к дневникам жена А. Кириллова. Чудом удалось ей уцелеть и сохранить дневники мужа. Сегодня она представляет их на суд читателей как еще один документ той страшной поры.

**А л е к с е й  Р е м и з о в. Неуемный бубен. Роман, повести, рассказы, сказки, воспоминания. Кишинев, Литература артистикэ, 1988.**

«Веду свое от Гоголя, Достоевского и Лескова. Чудесное — от Гоголя, боль — от Достоевского, чудное и праведное — от Лескова. Хочу верить: имя мое сохранится в примечании к этим писателям»,— говорил на склоне лет А. Ремизов, имя которого долгое время было мало известно широкому читателю. В 1978 г. в Москве выходил его однотомник. Настоящее издание включает в себя как дореволюционные произведения, так и написанные в эмиграции. Творчество писателя представлено достаточно разносторонне. «...Тараканий быт русской провинции» (во многом автобиографический роман «Пруд»), сказочный фольклорный мир, населенный славянскими языческими образами («Посолонь»), воскрешение исконного русского лада допетровской литературы («Повесть о Петре и Февронии Муромских»). «Взвихренная Русь», «Подстриженными глазами», «Встречи» написаны в Париже, когда А. Ремизов осознал положение эмигранта как непоправимость. Размышления о Пушкине, Гоголе, Достоевском, воспоминания о Блоке, Шаляпине, Горьком, Дягилеве пронизаны тоской по утраченному дому, по Москве, своему родному городу. Особо следует отметить отрывки из книги «Огонь вещей» (Сны и предсонье в литературе)». Это ключ ко всему художественному наследию писателя, основным творческим методом которого было своеобразнейшее сочетание сна и яви, реального и иррационального, какого не достигал никто из русских писателей.

В приложении даются главы из книги

воспоминаний Н. В. Резниковой, друга и добровольного секретаря писателя в последние годы его жизни.

**Велимир Хлебников. Избранное. Детская литература, 1988.**

Начало революции. Молодой человек расклеивает на стенах домов Петрограда «Манифест», в котором объявляет себя «председателем Земного Шара». Это был поэт Велимир Хлебников.

Его считали человеком «не от мира сего», углубленным в себя, свое творчество, в цифры и природу... Многое в его стихах было не понято современниками. Но были у него и строки, яростно вторгавшиеся в эпоху, в события революционных лет:

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!

Долгие годы «поэт поэтов» — как называли В. Хлебникова современники — не издавался. Целые поколения читателей не слышали даже имени талантливейшего русского стихотворца, новатора и экспериментатора, у которого не считали зазорным учиться многие крупные литераторы...

Сегодня незаслуженно забытые произведения возвращаются читателям и среди них книги Велимира Хлебникова.

**Федор Сологуб. Мелкий бес. Роман. М., Художественная литература, 1988.**

По словам А. Блока, «Мелкий бес» был прочтен «всей образованной Россией». Уже при жизни автора (1863—1927) роман переводится на немецкий, английский, итальянский, польский, шведский и другие языки. В дореволюционной России он выдержал несколько изданий — только за 1908—1910 годы выходил пять раз. В предисловии ко второму изданию Федор Сологуб писал: «Одни думают, что автор, будучи очень плохим человеком, пожелал дать свой портрет и изобразил себя в образе учителя Передонова... Другие, не столь жестокие к автору, думают, что изображенная в романе передоновщина — явление довольно распространенное... Нет, мои милые современники, это о вас я писал мой роман о Мелком Бесе...»

Слово «передоновщина» вошло в обиход русской жизни и литературы. Именем главного героя пользовался В. И. Ленин в своей статье «К вопросу о политике министерства народного просвещения». Ни одно произведение русских писателей-модернистов — до «Мелкого беса» — не было столь тесно связано с общественно-политическим контекстом той переломной эпохи.

**Я лучшей доли не искал... Судьба Александра Блока в письмах, дневниках, воспоминаниях. Составление, очерки и комментарии В. П. Енишерлова. М., Правда, 1988.**

Три основные темы раскрываются читателю в полифоническом звучании писем, дневников, воспоминаний А. Блока и его окружения.

Главная — судьба «последнего,— по словам Луначарского,— крупного художника русского дворянства», мучительный поиск пути, ему предначертанного. Из шахматовского уютного гнезда «вылетел лебедь новой русской поэзии» навстречу всемирному ураганному ветру Революции, музыку которой Александр Блок столь чутко уловил.

Читатель «услышит» рассказы современников, составлявших окружение поэта: М. А. Бекетовой, Сергея Соловьева, Л. Д. Блок, Андрея Белого, Сергея Городецкого, Вл. Пяста и др.

Их письма, воспоминания передают атмосферу напряженной духовной жизни России на рубеже веков, в начале XX века, в столь важные для нашей страны годы: от первой русской революции до суровых послеоктябрьских будней.

**В. Ропшин (Б. Савинков). Конь вороной. Повесть. Юность, № 3, 1989.**

Главным в его жизни была борьба. Менялось время, распадались партии и «союзы», а он непрестанно боролся. И преград для этого одержимого человека, казалось, не было. Ради своей идеи — счастья России, как он его понимал,— Борис Викторович Савинков был готов на убийство, насилие, кровавый террор.

В 1906-м он ждет в одиночке смертной казни и, видимо, здесь впервые задумывается о напрасно пролитой крови, о том, что насилие не оправдало себя. «Великий террорист» бежит из заключения, в 1907-м порывает с партией эсеров... Но после Октября вновь включается в борьбу — участвует в походе генерала Краснова, помогает организовывать Добровольческую белую армию. Позднее, уже в эмиграции, пишет повесть о гражданской войне «Конь вороной». «Эта повесть не биография, но она и не измышление»,— подчеркивает автор в предисловии к русскому изданию. Скорее это мучительный самоанализ человека, который, как и герои произведения, солдаты и офицеры — Федя, Егоров, Вреде,— все меньше и меньше понимает, ради чего он проливает море крови, крови своих соотечественников. Ради чего эта бессмысленная борьба против своих, когда братья погибают «...не от чужой, от русской пули?..» Ведь Россия уже сделала свой выбор и выбор этот не изменить... Впервые, пожалуй, духовный кризис белого движения показан с такой впечатляющей силой, причем именно глазами человека с «иной» стороны баррикад.

---

# В конце 1989—в 1990 гг. в журнале «Знамя» будут среди других произведений опубликованы:

### Романы, повести, рассказы

С. АНТОНОВА, А. АНФИНОГЕНОВА, А. БИТОВА, В. БОГОМОЛОВА, Д. ВИТКОВСКОГО, И. ДРУЦЭ, О. ЕРМАКОВА, Ф. ИСКАНДЕРА, В. КОНДРАТЬЕВА, Ю. КУРАНОВА, А. КУРЧАТКИНА, Б. МОЖАЕВА, В. МАКАНИНА, Г. МАТЕВОСЯНА, Б. ОКУДЖАВЫ, А. ПРИСТАВКИНА, М. РОЩИНА, В. ФОМЕНКО, Н. ШМЕЛЕВА

### Стихи

Б. АХМАДУЛИНОЙ, Т. БЕК, И. БРОДСКОГО, Е. ЕВТУШЕНКО, А. ЖИГУЛИНА, Б. КЕНЖЕЕВА, В. КОРНИЛОВА, М. КУДИМОВОЙ, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, Ю. ЛЕВИТАНСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, М. МАТУСОВСКОГО, А. МЕЖИРОВА, Б. ОЛЕЙНИКА, О. ПОСТНИКОВОЙ, Д. САМОЙЛОВА, Т. СМЕРТИНОЙ, А. ЦВЕТКОВА, О. ЧУХОНЦЕВА, И. ШКЛЯРЕВСКОГО

### Из литературного наследства

Г. АДАМОВИЧ. **Комментарии** (О литературе, о современниках и о себе)
Р. ГУЛЬ. **Азеф.** Роман
Г. БЁЛЛЬ. **Рассказы, эссе**
Б. ЗАЙЦЕВ. **Литературные портреты**
Г. КУЗНЕЦОВА. **Грасский дневник**
В. ТЕНДРЯКОВ. **Рассказы**

### Документальная проза. Дневники. Воспоминания

Б. ВИКТОРОВ. **Записки военного прокурора**
Виктория ГАМАРНИК. **Об отце**
В. КАРПОВ. **Маршал Жуков**
Е. КЕРСНОВСКАЯ. **Скальная живопись**
В. ЛАКШИН. **«Новый мир» во времена Хрущева**
Р. МЕДВЕДЕВ. **Брежнев**
А. ТВАРДОВСКИЙ. **Из рабочих тетрадей (1953—1960)**
В. УБОРЕВИЧ. **Письма к Е. С. Булгаковой**
Н. С. ХРУЩЕВ. **Мемуары**
Д. ШЕПИЛОВ. **На трудном пути.** Воспоминания
М. ШРЕЙДЕР. **Записки чекиста-оперативника**

### Публицистика

И. АРШАВСКИЙ. **Наука и нравственность** (Судьба академика А. А. Ухтомского)
П. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. **Размышления на Валааме**
Я. ГОЛОВАНОВ. **Катастрофа** (из жизни С. П. Королева)

А. СТРЕЛЯНЫЙ. **В Америке и дома**
Статьи и очерки О. ЛАЦИСА, А. ЛЕВИКОВА, Г. ЛИСИЧКИНА, В. СЕЛЮНИНА, Н. ШМЕЛЕВА, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

Критика

И. ЗОЛОТУССКИЙ. **Обзор прозы 1989.**
Статьи Л. АННИНСКОГО, А. БОЧАРОВА, И. ДЕДКОВА, А. ЗВЕРЕВА, В. КАРДИНА, Л. ЛАЗАРЕВА, А. ЛЕБЕДЕВА, Вл. ОГНЕВА, Ст. РАССАДИНА, Е. СЕРГЕЕВА, В. СОКОЛОВА, И. СОЛОВЬЕВОЙ, Е. СТАРИКОВОЙ, В. ТУРБИНА, А. ТУРКОВА, И. ФОНЯКОВА, С. ЧУПРИНИНА, И. ШАЙТАНОВА

---

**К сведению уважаемых авторов:**

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. Я. ЛАКШИН** (первый зам. гл. редактора), **В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.**

Адрес редакции: 103863, ГСП. Москва, ул. 25 Октября. 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева

Сдано в набор 11.05.89. Подписано к печати 05.06.89. А 04212. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00 Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 980 000 экз. (1-й завод 1—730 022 экз.). Заказ № 605. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.